

И О В Ы И  
М И Р

|| 5 ||

И О В Ы И М И Р

5



1963

|| 1963 ||



# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 5

Май, 1963 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Из лирики. С аварского. Авторизованный перевод Н. Гребнева	3
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Материнское поле, повесть. С киргизского	6
С. ЩИПАЧЕВ — Два стихотворения	62
Е. ВИНОКУРОВ — Память, стихотворение	64
М. ГАЛЛАЙ — Испытано в небе. Записки летчика-испытателя. Окончание	65
СТИХИ В БОЕВОМ СТРОЮ: Михаил Кульчицкий — Бессмертие; Николай Отрада — Футбол; Николай Майоров — Нам не дано спокойно сгнить в могиле...	145
ЕВГЕНИЙ КОНДРАТЬЕВ — На китобойце (Из записок новичка)	148
В. ИСТЛЕЙК — Прощай, крокодил, рассказ. Перевели с английского Ю. Жукова, Б. Рубальский	177

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. РАТМАНОВА-КОЛЬЦОВА — Судьба книги	185
--------------------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ БЕЗЫМЕНСКИЙ — Приговор окончательный...	192
Н. ВЕРХОВСКИЙ — Совхозные будни	211

### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных журналов*

Р. Орлова — Что значит жить в шестидесятые годы?	230
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ — В. И. Ленин и литературная журналистика	235
--	-----

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Ф. Светов.</b> На Энской атомной...— <b>В. Непомнящий.</b> Подвиг Пушкина.— <b>И. Питляр.</b> Поэтическая проза.— <b>М. Блинкова.</b> Филолог на стройке.— <b>Д. Шестаков.</b> Два романа Чарльза Сноу.	249
<i>Политика и наука</i>	
<b>Б. Дубровин.</b> Молодые войны Советской Армии.— <b>А. Карамышев.</b> Книга об отце В. И. Ленина.— <b>М. Кораллов.</b> Сквозь строй.— <b>И. Селинов.</b> Жизнь во Вселенной.	265
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
<b>Н. Полякова</b> — Каким был Гайдар?	277
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

## ИЗ ЛИРИКИ

*С аварского*

### *Мой возраст*

Как в детстве я завидовал джигитам!  
Они скакали, к седлам прикипев,  
А ночью пели у окон закрытых,  
Лишая сна аульских королев.

Казались мне важнее всех событий  
Их скачки, походившие на бой.  
Мальчишка, умолял я: «Погодите!»  
Кричал: «Возьмите и меня с собой!»

Клубилась пыль лихим парням вдогонку.  
Беспомощный в своей большой беде,  
Казался я обиженным орленком,  
До вечера оставленным в гнезде.

Как часто, глядя вдаль из-под ладони,  
Джигитов ждал я до заката дня.  
Мелькали месяцы, скакали кони,  
Пыль сединой ложилась на меня.

...Коней седлают новые джигиты;  
А я, отяжелевший и седой,  
Опять кричу вдогонку: «Погодите!»  
Прошу: «Возьмите и меня с собой!»

Не ждут они и, дернув повод крепко,  
Вдаль улетают, не простясь со мной,  
И остаюсь я на песке, как щепка,  
Покинутая легкою волной.

Мне говорят: «Тебе ль скакать по склонам,  
Тебе ль ходить нехоженой тропой?  
Почтенный, сединою убеленный,  
Грей кости у огня и песни пой!»

О молодость, ужель была ты гостьей  
И я, чудака, твой проворонил час?  
У очага пора ли греть мне кости?  
Ужели мой огонь уже погас?



Нет, я не стал бесчувственным и черствым.  
Пусть мне рукою не согнуть подков,  
Я запою и королевам горским  
Не дам уснуть до третьих петухов!

Всем сушим поколениям ровесник,  
Поняв давно, что годы — не беда,  
Я буду юн, пока слагаю песни,  
Забыв про возраст раз и навсегда.

### *Горцам, переселяющимся на равнину*

Горцы, вы, с новой свыкаясь судьбою,  
Переходя на равнинный простор,  
Горство свое захватите с собою,  
Мужество, дружество, запахи гор.

Перед дорогою, на перепутье,  
Перебирая нехитрый свой груз,  
Говор ущелий в горах не забудьте,  
Горскую песню, двухструнный кумуз!

Не оставляйте своих колыбелей,  
Старых, в которых баюкали вас.  
Седел тугих, на которых сидели  
Ваши отцы, объезжая Кавказ.

Земли щедрее на низменном месте,  
Больше там света, тепла и красот...  
Чистой вершины отваги и чести  
Не покидайте, спускаясь с высот.

Вы, уходящие в край, напоенный  
Солнечным светом, водой голубой,  
Бедность забудьте на каменных склонах,  
Честность ее заберите с собой!

Горцы, покинув родные жилища,  
Горскую честь захватите с собой.  
Или навечно останетесь нищи,  
Даже одаренные судьбой.

Горцы, в каких бы лучах вы ни грелись,  
Горскую стать сохранить вы должны,  
Как сохраняют особую прелесть  
Лани, что в горном краю рождены.

Статью отмечен прыгун тонколобий,  
Житель вершин — молодой козерог,  
И сохраняют свой привкус особый  
Реки, берущие в скалах исток.

Горцы, кувшины возьмите с собою,  
Вы издалека в них воду несли,  
С отчих могил захватите с собою  
Камня осколок, щепотку земли!

Может, внизу вам судьба улыбнется,  
Встретит вас слава на новом пути,  
Горцы, храните достоинство горцев,  
Чтобы и славу достойно нести!

*Авторизованный перевод Н. Гребнева.*



---

---

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

## МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ

*Повесть*

*Отец, я не знаю, где ты похоронен.  
Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.*

*Мама, ты вырастила всех нас, четверых.  
Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.*

1

**В** белом, свежестыранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими, старыми глазами.

— Здравствуй, поле,— тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.

— Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения.

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подросток, теперь он может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду, Толгонай.

— Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как посмотрит на бывшее, дойдет ли



разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто, в двух словах, взять, да и рассказать, будто сказку. В последнее время только об этом и думаю, ведь неровен час — помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала — конец. И не столько боялась смерти — пришла бы, я противиться бы не стала, — а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я... Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели — в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может, воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду я, с какого конца приступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так и эдак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять... Вот и раздумываю... Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы...

— Садись, Толгонай. Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

— Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.

— А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.

## 2

Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени, под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибежала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой, косматой девчушкой. Взбалмошное, беззаботное время — детство! Помню, скотоводы шли с низовий Желтой равнины. Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной, подвернешься — растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе, а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной.

— Эй, косматая, вот мы тебе!

Но я увертывалась, убегала по арыкам.

Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли кочевья богатых аилов с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеленых лугах, о чистых реках. Дивилась я и, позабыв обо всем на свете, долго бежала за ними. «Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» — мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака-джатака. Деда моего оставили за долги пахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шелкового платья, выросла приметной девушкой.

И любила смотреть на свою тень. Идешь и поглядываешь, как в зеркало любишься... Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было, когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас — закрою глаза и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще, лет девятнадцати... Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет. Черный от загара, как прокопченный; скулы блестели, как темная медь; с виду казался он худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был — такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди — любо смотреть, как работают. Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне сравниться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

— Ну, кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!

А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?

Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке нашей.

— Ты пришла? — говорил он мне.

— А я думала, что ты давно ушел, — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет.

И потом мы шли вместе.

А заря разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле — серое, испотанное и перепаханное — становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встречал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе; как точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья звенело в его песнях...

— Смотри, запел наш жаворонок! — говорил Суванкул.

Чудно, даже жаворонок был у нас свой.

А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе... Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

— Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?

И он ответил:

— Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить — это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посеет да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежа-

ли, взявшись за руки, и молча, просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий пыльный дух суховея, и тогда колюсь на меже качались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика — Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий, добрый хлебобоб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка ссыломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной половы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери-земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если ты не дашь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю — нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень рано. Вокруг на жнивье всюду лежали зпвалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало — как бы я поработала рядом с ним в ранний час...

— Суванкул, что же ты меня не разбудил? — крикнула я.

Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро — голый по пояс, черные, сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел, будто не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал, улыбаясь:

— Я хотел, чтобы ты поспала.

— А сам? — спрашиваю.

— Я ведь теперь за двоих работаю, — ответил он.

И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень хорошо.

— А где же твои вчерашние слова? — укорила я его. — Ты говорил, что мы во всем будем равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:

— Отныне вместе во всем — как один человек. Жаворонок ты мой, родная, милая!..

Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась — ведь жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие слова!

А солнце только-только восходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

— Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто, не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди!..



И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом, ни зимой не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в новое время — дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить как люди. А самое великое — сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной раз такая досада душу палит и такие несуразные мысли приходят в голову: зачем я рожала их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года — может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать...

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи — ходить-то было далеко, — мне и жалко и обидно становилось за него.

— Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром... — упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался:

— Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна — и тогда убедишься. Потерпи малость...

Говорила я это не со зла — нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству, опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не евши, а я еще заставляю его оправдываться — и самой становилось неловко.

— Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, — ворчала я, вроде бы прощая.

В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В айле тогда не нашлось грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался: «Я, говорит, пойду и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас — интересное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были учителями. Бывало, по вечерам в доме — настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон и каждый учил: ты, говорят, отец, прямой держи карандаш, да гляди — строка-то вкривь пошла, да за рукой следи — дрожит она у тебя, вот так пиши, а тетрадь вот так держи. А то вдруг заспорят между собой и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у барабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу на них, и меня смех разбирает.

— Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбери одно — или тебе муллой быть, или трактористом.

Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжело вздохнет:

— Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.

Одним словом — и смех и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.

Ранней весной — только сошел снег и установилась погода — за аилом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломя голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседками. И первое, что я увидела, — мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку, оказывается, трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали, побоялись, что не отпущу. А оно и правда, испугалась я за детей — а вдруг что случится, и крикнула им:

— Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! — Но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой — мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Особенно старшие — Касым и Маселбек — точь-в-точь не отличить от Суванкула, такие же поджарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная медь. А младшенький мой — Джайнак, тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемеха легко врезались в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, — все заликовали, загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих коней, двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я отстала тогда от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу идти. Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла обессиленная и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли, что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала: «Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли вы такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги целы — что может быть лучше работы?

Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки. Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал, а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сторону реки — в колхозе Каинды под горами. А через год вернулся комбайнером в свой аил.

Для матери все дети равны, всех одинаково носишь под сердцем, и все же Маселбека я вроде больше любила, гордилась им. Может, оттого, что тосковала о нем в разлуке. Ведь он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, рано ушел из дома. В школе он с самого детства учился хорошо, все книгами зачитывался — хлебом не корми, только книгу дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу, учителем решил стать.

А младший — Джайнак — красивый, ладный вышел собою. Одна беда: дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарем комсомольским, вечно у него то собрания, то кружки, то стенгазета, то еще что. Посмотрю, как парнишка пропадает днем и ночью, зло берет.

— Слушай, непутевый, ты бы уж взял гармонь свою, подушку да поселился бы в конторе колхозной, — говорила я ему не раз. — Тебе все равно где жить. Ни дома, ни отца, ни матери тебе не надо.

А Суванкул заступался за сына. Переждет, пока я пошумлю, а потом скажет как бы между делом:

— Ты не расстраивайся, мать. Пусть учится жить с людьми. Если бы он болтался без толку, я бы ему и сам шею намылил.

Суванкул к тому времени вернулся снова на свою прежнюю бригадирскую работу. На тракторы села молодежь.

А самое важное вот что: Касым женился вскоре, первая невестка порог перешагнула в дом. Как там у них было, не расспрашивала, но когда Касым проходил легионистом в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг другу. Он привез ее из Каиндов. Алиман была молодой девушкой, горянка смуглая. Сначала я обрадовалась тому, что невестка попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбила ее, очень она мне по душе пришлась. Может, оттого, что тайне я всегда мечтала о дочери, хотелось мне иметь дочку свою. Но не только поэтому, просто она была толковая, работающая, ясная такая, как стеклышко. Я и полюбила ее, как свою родную. Многие, случается, не уживаются между собой, а мне посчастливилось; такая невестка в доме — это большое счастье. К слову сказать, настоящее, неподдельное счастье, как я понимаю, — это не случай, оно не обрушивается вдруг на голову, будто ливень в летний день, а приходит к человеку исподволь, смотря, как он к жизни относится, к людям вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другое дополняет, и получается то, что мы называем счастьем.

В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано. Рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурлила в поймище гремучая вода, понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно, до самого рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули — старых островов как не было, начисто смыло за ночь.

Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно, зеленоватая понизу, а поверху желтизной наливалась. В то лето конца-края не было спешим нивам, хлеба колыхались в степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы загодя выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком, так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня:

— Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невесткой своей. Уважение имей к себе.

А я думала иначе. Какое к себе уважение — дома сидеть... Да и не усидела бы я дома, люблю жатву.

Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду. На краю поля среди колосьев цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в крупных белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Смотрю, Алиман наша набрала букет мальвы и, как бы тайком от меня, понесла куда-то. Я поглядываю незаметно, думаю: что ж она будет делать с цветками? Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки



и молча прибежала назад. Комбайн стоял наготове у дороги, со дня на день ждали начала уборки. На нем никого не было, Касым куда-то отлучился.

Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать — застенчивая она еще была, но в душе крепко обрадовалась: значит, любит. Вот и хорошо, спасибо тебе, невестушка, благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама раздумянилась, и глаза блестят — от радости, от озорства. Что значит молодость! Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная! Охотница была до цветов, как девочка. По весне снег лежит еще сугробами, а она приносила из степи первые подснежники... Эх, Алиман!..

На другой день началась жатва. Первый день страды — всегда праздник, никогда в этот день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в самих людях, в их походке, в голосе, в глазах... Даже в тарактенье бричек и в резвом беге сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы, никто толком и не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как всегда, было шумно илюдно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой. Но веселей всех было у нас, на ручной жатве, потому что молодаек и девушек здесь целый табор был. Бедовый народ. Касым, как на грех, проезжал тем часом на своем велосипеде, полученном в премию от МТС. Озорницы перехватили его на пути.

— А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со жницами, зазнался? А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!

Насели со всех сторон, заставили Касыма поклониться в ноги Алиман, прощения просить. Он и так и эдак:

— Извините, любезные жницы, промашка получилась. Отныне буду вам кланяться за версту.

Но этим Касым не отделался.

— Теперь,— говорят,— давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да чтоб с ветерком!

И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со смеху покатываются. Сидели бы уж смирно, так нет — крутятся, визжат.

Касым от смеха еле на ногах держится.

— Ну, хватит, довольно, отпустите, черти! — умоляет он.

А те нет, только одну прокатит — другая цепляется.

Наконец Касым осерчал не на шутку:

— Да вы что, посбесились, что ли! Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы! Работать пришли или в шутки играть? Отстаньте!

Ох и смеху было в тот день. А небо какое было в тот день — голубое-голубое, а солнце как ярко светило!

Приступили мы к работе, замелькали серпы, солнце жарче припекло, и застрекотали на всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, пока не втянешься, но весь день не покидало меня утреннее настроение. Широко, светло было на душе. Все, что видели глаза мои, все, что я слышала и ощущала, все, казалось мне, создано для меня, для моего счастья, и все, казалось мне, полно необыкновенной красоты и радости. Отраднo было видеть, как кто-то скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы,— может, то был Суванкул? Отраднo было слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отраднo было, когда неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала, то и дело подставлял пригоршни под бурую струю обмолота, падающего в бункер, и каждый раз, поднеся

зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим теплым, еще молочным запахом спелого зерна, от которого голова идет кругом. А когда комбайн приостановился напротив нас, Касым крикнул, словно бы с вершины горы:

— Эй, ездовой, горопись! Не задерживай!

А Алиман схватила кувшин с айраном.

— Побегу,— говорит,— пить отнесу ему!

И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по новой комбайновой стерне стройная, молодая, в красной косынке и белом платье и, казалось, несла в руках не кувшин, а песню любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала: «Вот бы и Суванкулу испить айрана» — и оглянулась по сторонам, но где там. С началом страды не найдешь бригадира, день-деньской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло.

К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из пшеницы нового урожая. Эту муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса, который мы начали неделю назад. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершая святой обряд. Хлеб этот хотя и темного цвета, и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешанного теста, но ни с чем на свете несравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух: пахнет он солнцем, молодой соломой и дымом.

Когда проголодавшися жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у арыка, солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть светлым и долгим. Мы собрались подле юрты, на траве. Правда, Суванкула еще не было, он должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братнином велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать.

Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих лепешек, налила в чашки квасу. Касым вымыл в арыке руки и, сидя у скагерти, неторопливо разломил лепешки на куски.

— Горячие еще,— сказал он,— бери, мама, ты первой отведай нового хлеба.

Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук — свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб — тех, кто вырастил его, тех, кто сидел в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце мое переполнилось гордостью за сына, но об этом никто не знал. И я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. Я и сейчас не отрекусь от этой своей веры, что бы ни пережила, как бы круто жизнь ни обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива...

В тот вечер Суванкул долго не появлялся, некогда было ему. Стенелось. Молодежь жгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джайнака... Он там у них гармонистом был, заводилой. Слушала я знакомый голос сына и говорила ему про себя: «Пой, сынок, пой, пока молод. Песня очищает человека, сближает людей. А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой пел ее в этот летний вечер». И снова я стала думать о своих детях, такова, наверно, природа материнская. Думала я о том, что Касым, слава богу, стал уже самостоя-

тельным человеком. Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся. А там и внуки пойдут. За Касыма я не беспокоилась: работник он вышел в отца, покоя не знал. Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне — осталось немного загон закончить. Трактор и комбайн при фарах шли. И Алиман там с ним. В страдное время минуту вместе побыть — и то дорого.

Вспомнила я Маселбека и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо. Писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссык-Куль, в пионерлагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь, раз он такую работу себе выбрал — значит, по душе. Где бы ни был, главное, чтоб здоров был, рассуждала я.

Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо было по хозяйству управиться. На вечер приглядеть за скотиной я попросила соседку нашу Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День поработает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее была женская, поясницу ломило, потому и осталась с одним сынишкой — Бекташем.

Когда мы ехали домой, уже стояла ночь. Дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях. Стремена задевали метелки созревшего курая, и в воздух бесшумно поднималась терпкая, теплая пыльца. По запаху слышно было — цвел донник. Что-то очень знакомое было в этой ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади Суванкула, на седельной подушке. Он всегда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень. И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый — намотался ведь за день, и то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, — все это было мне дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела: «Стареем мы понемногу, Суван. Ну что ж, время-то идет. Но недаром, кажется, жизнь проживаем. Это самое главное. А ведь, сдается, совсем недавно мы были молодыми. Как быстро пролетают годы. И все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться. Дел еще много. Хочется долго жить с тобой...»

И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо, и в груди что-то дрогнуло: высоко среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась Дорога Соломщика. И мне опять почудилось, что и в самом деле кто-то только что прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там, наверху, золотистые соломинки, ость и мякина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с мякиной зерна. «Боже мой!» — подивилась я, и разом мне вспомнилось: и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебоборо, о котором я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали! Да, земля и вода стали нашими, мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб — значит, исполнилось то, о чем мы думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь, но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелхнувшись и молчала. Суванкул оглянулся и сказал:

— Ты что, уснула, Толгонай? Устала. Ну, ничего, сейчас доберемся до дома. Я тоже намаялся. — Потом он помолчал и спросил: — А может, на новую улицу завернем?

— Завернем, — согласилась я.

Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине аила. Улицы-то самой еще не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у них де-

лается. Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по своим делам. Касым, Алиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных наделали, теперь они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент да на прошлой неделе навозили с реки бутового камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых.

— Ну что ж, начало есть. Камня вполне хватит, еще и останется,— сказал Суванкул.— Закончим уборку — стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом dokonчим весной. До зимы все равно не управиться. Как ты думаешь, правильно я говорю, Толгонай?

— Правильно,— ответила я,— главное — стены под крышу подвести, а остальное успеется.— И вспомнив о Джайнаке, я засмеялась.— Вот Джайнак наш все не унимается, говорит, на собрании они постановление записали: назвать новую улицу Комсомольской. А Алиман подшучивает над ним. «Ты, говорит, Джайнак, как Насреддин, ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй, тогда и придумывай название». А Джайнак спорит: «Ты, говорит, ничего не понимаешь».

Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся:

— Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он таки правильно придумал. Ведь все это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В аиле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. Это хорошо. Ну, а когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав...

В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей...

## 3

— Подними голову, Толгонай, возьми себя в руки.

— Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот день?

— Помню... Я ничего не забываю, Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне, Толгонай. Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти — она вся во мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во мне, в моем сердце. Я слышу тебя, Толгонай. Сегодня твой день.

## 4

На другое утро солнце еще не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали жать новую полосу хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не развернуться, а колос уже сухой стоял — с краю всегда раньше поспевают. Только мы развернулись цепочкой, сжали снопа по два, как вдруг на той стороне показался скачущий всадник. Он выскочил из-за крайних дворов Заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поскакал напрямик, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вынес его на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы удивленно разогнули спины: что за нужда гонит этого человека, почему он не сворачивает к мосту, который был ниже верстах в двух по течению? Всадник оказался русским парнем. Он с ходу понукнул рыжего жеребца к воде, и мы все замерли: что он, ищет гибели? Разве можно в такое время шутить с рекой: при разливе не то что коня — верблюда унесет, костей не соберешь.

— Э-эй, куда ты, остановись, остановись! — закричали мы.

Он что-то кричал нам, размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать, слышно было только протяжное:

— ...а-а-а-а...

Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью, бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился за гриву. Фуражку снесло с его головы, она закружилась на волнах. Мы метались по обрыву. Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу. Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни восхитились смелостью всадника, хвалили его: «Молодец!» — кто-то сказал, что неспроста это, надо бы разузнать, а другой недовольно вставил:

— Пьяный дурак какой-то, куражится, а вы будете бегать следом!

На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, — подумала я, — трезвый человек не стал бы так рисковать собой».

Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился — а он в тот день обкашивал загон возле мельницы, — я не придавала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:

— Мама!

Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.

— Что с тобой? Змея, что ли? — Бросилась я к ней.

Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон прямо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бричках, нахлестывали кнутами коней.

— Что-то случилось, мама! — закричала Алиман и бросилась бежать. Чьи-то слова резанули ухо:

— Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!

И все жнецы кинулись вслед за Алиман.

«Сохрани, боже! Сохрани, боже!» — взмолилась я, воздевая на бегу руки; прыгая через арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать. Ох, как я бежала тогда по пшенице! Крикнуть хочу, чтобы подождали меня, но не могу, голос пропал.

Когда я добежала наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» — люди расступились, и, когда я увидела подле комбайна Касыма и Алиман, стоящих рядом, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками. Касым шагнул навстречу, подхватил меня.

— Война, мама! — услышала я его голос будто издали.

Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.

— Война? Ты говоришь, война? — переспросила я.

— Да, мама, война началась, — ответил он.

А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.

— Как война? Почему война? Ты говоришь, война? — повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой неожиданной вести.

Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, заголосили, запричитали.

— Тише! А ну, замолчите! — раздался в толпе чей-то мужской голос.

Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо в степи, что явственно донесся с реки громахающий гул воды. Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все

опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:

— Теперь надо быстрее управляться с хлебом, а не то под снегом останется.— Он помолчал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: — Что стоишь? Заводи мотор! А вы все, что смотрите? Не успеем с уборкой, вам же придется туго! Давай за работу!..

Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал подтягивать подпруги седла. И я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу, на губах и лице — свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечьи, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла: только что он оставил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших аильских ребят:

— Слушай, друг, ты скачи сейчас, разыщи председателя, бригадиров, передай, чтоб немедленно отправлялись в райком. А я поеду, мне еще в два колхоза.— С этими словами он сел на коня и тронул поводья.

Но тот, к кому он обращался, остановил его:

— Постой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою. Жарко сегодня.

Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога под копытами рыжего, уносящегося птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы еще стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем, и, когда разом взревели моторы комбайна и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг другу в лица.

С этой минуты началась новая жизнь — жизнь войны...

Мы не слышали грохота сражений, но слышали наши сердца и крики людей. Сколько жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя. Плюнешь на камень — и слюна кипит. А хлеба созрели сразу, за три-четыре дня: сплошь стояли сухие и желтые, простирались под самый полог неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было смотреть, сколько добра пропадало в спешке. Сколько было потоптано, растеряно, растрясено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, кидали пшеницу вилами в можары — и быстрее на молотилку, на тока, а колосья сыпались и сыпались по пути. Но и это ладно, еще тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи — на жатве, на молотье, на обозах все работали и работали, не зная сна, не покладая рук. А работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось все меньше и меньше. Касым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, что было уже невпроворот: жатва безнадежно затягивалась, а он как одержимый гонял свой комбайн по полю. И комбайн его не смолкал ни днем, ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной пыли с загона на загон. Все эти дни Касым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала. Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное море, за которым скрывались еще не убранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кровью. «Ой, пропадет он, свалится на солнце», — думала я, но сказать не решалась. Знала я по злomu блеску в его глазах, что не отступится он, до последнего часу будет стоять на жатве.

И час тот пришел. Как-то побежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой.

— Повестку прислали ему, — тихо сказала она.

— Когда?

— Только что, с нарочным сельсовета.

Я знала, что рано или поздно придет черед Касыму идти в армию, как и многим другим. И все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись. И такая боль заняла в намаявшихся руках, что я выронила серп и сама села на землю.

— Что ж он там делает, собираться надо, — проговорила я, с трудом совладев с дрожащими губами.

— К вечеру, говорит, приду. Я пойду, мама, а вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня. Где он пропадает?..

— Иди, Алиман, иди. Да тесто поставь. Я подйду скоро, — сказала я ей.

А сама как сидела, так и осталась сидеть на жнивье. Долго сидела так. Сил не было поднять с земли платок, опавший с головы. И вот тогда, смотрю я, муравьи цепочкой бегут по тропке. Они тоже трудились, ташили солому, зерна и не подозревали, что рядом сидел человек со своим горем, тоже труженик, во всяком случае не меньше, чем они, труженик, который завидовал в ту минуту даже им, муравьям, этим крошечным работягам. Они могли спокойно делать свое дело. Если бы не война, разве стала бы я завидовать муравьиной жизни, стыдно говорить...

Тем временем Джайнак прикатил на своей бричке. Он в те дни на комсомольском обозе работал по вывозке хлеба на станцию. Видно, узнал о повестке брата и приехал за мной. Джайнак соскочил с брички, поднял платок и накиннул мне на голову.

— Поедем, мама, домой, — сказал он и помог мне встать на ноги.

И мы молча поехали. За последние дни Джайнак неузнаваемо изменился, посерьезнел. Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, нарочного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распротился с юностью. Многие тогда распротились с ней... Думая о Джайнаке, вспомнила, что давно уже нет вестей от Маселбека. «Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет, почему не может прислать хоть бы коротенькую весточку? Знать, отвык от дома, позабыл отца-мать, зачерствел там в городе. Да и какая сейчас учеба, лучше бы уж приезжал домой, что там теперь делать», — уныло думала я, сидя на бричке, и потом спросила у Джайнака:

— Джайнак, ты вот едешь на станцию, как там, не слыхать случайно, скоро закончится война?

— Нет, мама, не скоро, — ответил тогда Джайнак. — Плохи сейчас наши дела. Немец все гонит и гонит. Вот если бы нашим удалось где-нибудь удержаться да обломать им разок бока, тогда мы пошли бы. Думаю, скоро это случится. — Он замолчал, погоняя коней, потом оглянулся и сказал мне: — А ты, мама, боишься? Очень, да? А ты не думай, не надо, мама, тебе думать, не беспокойся. Все будет хорошо, вот посмотришь.

Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успокоить меня так, пожалел. Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши — и все равно думать не перестала бы.

Приехали домой, а там Алиман сидит плачет; тесто еще не замесила. Зло взяло меня, хотела было пристыдить ее: «Что, мол, ты, лучше других, что ли, все идут, не один твой муж. Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы будем жить дальше?» Но раздумала, не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно, может, надо



было сразу с первых дней опалить ей душу, чтобы потом ей легче было. Не знаю, только я тогда ничего не сказала.

Касым пришел к вечеру, почти на закате солнца. Как только он появился в воротах, Алиман бросила подтапливать очаг, в слезах кинулась к нему, повисла на шее.

— Не останусь, не останусь я без тебя, умру!

Касым пришел прямо с комбайна, как был в пыли, в грязи, в мазуте. Он снял с плеч руки жены и сказал:

— Постой, Алиман. Грязный я очень. Ты бы дала мне мыла, полотенце, пойду искупаюсь в реке.

Алиман обернулась, глянула на меня, я поняла. Сунула ей ведро по-рожнее:

— Принеси заодно воды.

В тот вечер они вернулись с реки поздно, луна уже на три четверти поднялась. Дома я управлялась сама да Джайнак помогал. А к полночи и Суванкул заявился. Я-то все ждала, думала, куда он запропастился. А он, оказывается, еще днем поскакал в горы, иноходца саврасого привел из табуна. Мы его еще жеребенком покупали для Касыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был иноходец, резвый на побужку, с крепкими гулками копытами, в белых чулках задние ноги. На весь аил был известный, девушки в песнях пели:

...Как заслышу иноходца по дороге,  
Выбегаю-глянуть со двора...

Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем саврасом иноходце хоть день-два на прощанье.

Рано утром мы все выехали из аила в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джайнака, а Касым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народу было еще много. Как глянула я на шоссейную дорогу — черным-черно, один конец в Большом ущелье, а другого не видно. Понаехало народу со всех поселков на конях, на быках. А в райцентре двинуться некуда от людей, от бричек. И детишки здесь, и старики, и старухи. И все возле своих толкуются, ни на шаг не отстают. Кто плачет, а кто уже и подвыпил. Но недаром говорится: народ море, в нем есть глубины и мели. Так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну, были твердые, ясные джигиты, которые крепко держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели и плясали под гармонь. Киргизские и русские песни сменяли друг друга, а «Катюшу» пели все. Вот тогда-то я и узнала эту песню.

Мобилизованные не вместились в широком дворе военкомата, их построили рядами посреди главной улицы села и стали выкликать каждого по фамилии и имени. Народ сразу затих, затаил дыхание. Глянула я на тех, кто уходил на войну, — горячая волна подкатила к горлу. Все они были как на подбор молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить да жить, да работать. Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «я» и бросал взгляд в нашу сторону. Я невольно вся вздрогнула, когда услышала: «Суванкулов Касым», и новая волна горячей боли застала мне глаза. «Я», — ответил Касым. А Алиман крепко стиснула мою руку. «Мама», — прошептала она. Что ж я могла сделать, понимала я: трудно, страшно было ей расставаться, но кто может стоять в стороне от народа, да еще в лихие дни. Эх, Алиман моя, Алиман, и она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны, но не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она.

В тот день мы вернулись в аил, узнали, что отправка будет через

сутки. Касым уговорил нас уехать домой: незачем, мол, здесь томиться, забегу по дороге попрощаться. Благо колхоз наш лежит у большака. Мы оставили для Алиман лошадь Суванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе, он должен был везти на своей бричке мобилизованных на станцию.

Ночью, войдя в опустевший дом, я дала себе волю, зашлась слезами. Суванкул вскипятил чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал, сидя рядом:

— Кто мы были с тобой, Толгонай? Вот с этим народом мы стали людьми. Так давай поровну будем делить с ним все — добро и беды. Когда хорошо было, все были довольны, а теперь, выходит, каждый будет думать только о себе да на судьбу свою плакаться? Нет, так будет нечестно. Завтра держи себя в руках. Если Алиман убивается — так это дело другое, она не видела в жизни того, что мы видели. А ты — мать. Запомни это. А потом, учти, если война подзатянется, то и я уйду, и у Маселбека годы выходят, и его могут призвать. Если потребуется, все уйдем. Так что, Толгонай, готовь себя ко всему, привыкай...

На другой день после полудня началась отправка. Касым и Алиман опередили колонну, прискакали на рысях. Касыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алиман опухли, как волдыри, видно, всю дорогу плакала. Касым старался держаться, крепился, но и ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Касыма придумать такое: то ли он побоялся за Алиман, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и вправду ему было сказано так, но он, как только сошел с коня, сразу попросил нас не ехать на станцию. Касым сказал, что, может быть, еще вернется домой, потому что трактористов и комбайнеров решили пока не призывать до конца уборки. И если приказ поспеет, то их могут вернуть со станции. Теперь-то я понимаю, что он пожалел Алиман, пожалел нас. До станции почти день езды, а какво возвращаться назад — ведь дорога станет нескончаемой, слез не хватит. А тогда я поверила; говорят, надежда живет в человеке до смерти. И когда мы вышли провожать его к большаку, я уже сомневалась.

По дороге с Касымом прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, возчики, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалеку. Помощники Касыма остановили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься.

Говорят, кузнец, уходя на войну, прощается с наковальной и молотом. А Касым мой был мастером, кузнецом своего дела. Когда комбайн остановился, Касым, разговаривая с односельчанами, глянул на дорогу. В тот момент растянувшаяся колонна мобилизованных с обозом, с конями, с красным знаменем во главе только показывалась на повороте.

— На, отец, поддержи! — Касым отдал поводья саврасого Суванкулу, а сам направился к комбайну. Он обошел его, оглядел со всех сторон. И потом вдруг взбежал на мостик. — Давай, Эшенкул, гони! Гони, как тогда! — крикнул он трактористу.

Моторы, что чуть слышно работали на пол-оборотах, зарокотали. взревели, комбайн загрохотал, залязгал цепями и, выбрасывая из молотилки соломенный буран, пошел захлестывать пшеницу мотовилами. А Касым подставил лицо горячему ветру, смеялся, расправляя плечи, и, казалось, обо всем забыл. Они с трактористом о чем-то перекрикивались, кивали головами, развернулись в конце загона и снова пошли. Комбайн летел по полю, как степная птица. И мы все забыли на минуту о войне. Люди стояли со счастливыми глазами, но больше всех горда была Алиман. Она тихо шла навстречу комбайну и тихо смеялась. Комбайн остановился. Мы снова помрачнели. А Бекташ — сынишка соседки нашей Айши, ему было тогда лет тринадцать, он в то лето солощиком работал

на комбайне — кинулся к Касыму и стал целовать его, плакать. Я губы себе искусала, хотела закричать в голос, но, помня наказ Суванкула, не посмела. Касым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его обступили. Здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и трактористом. Надо было поторапливаться. Колонна на большаке поравнялась уже с нами.

Вот так мы провожали Касыма. А когда настала минута садиться ему на коня, то Алиман, бедная Алиман, не посмотрела ни на старших, ни на малых — крикнула и замертво повисла у него на плечах. А сама без кровинки в лице, только глаза горят. Мы ее силком оторвали. Но она вырвалась и снова бросилась к мужу. И вот так каждый раз, как дитя малое, ташила Касыма за руку, не давала ему ногу вдеть в стремя. Молила его:

— Постой! Минутку! Еще одну минутку!

Касым целовал ее, уговаривал:

— Да не плачь ты так, Алиман! Вот увидишь, я завтра же вернусь со станции. Поверь мне!

И тогда Суванкул сказал снохе:

— Ты иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь. Не будем задерживать.— Суванкул взял сына за руку и тихо сказал: — Посмотри мне в глаза.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ты меня понял? — спросил отец.

— Да, отец, понял,— ответил сын.

— Ну, отправляйся с богом! — Суванкул сел на коня и, не оглядываясь, поскакал прочь.

Прощаясь со мной, Касым сказал:

— Если будет письмо от Маселбека, пришлите его адрес.

Касым и Алиман пошли к дороге, ведя на поводу саврасого иноходца. Я не спускала с них глаз. Колонна на большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя, потом Касым нагнулся с седла, поцеловал ее в последний раз и пустил саврасого большой иноходью. А Алиман все бежала и бежала за пылью копыт. Я пошла следом, привела ее домой.

На другой день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный иноходец был привязан к заднику брички.

## 5

Вдали шла битва, лилась кровь, а нашей битвой была работа. Правильно предупредил Касым: сколько мы ни старались, а последние хлеба снег прихватил на корню и на гумнах. Картошка кое-где осталась под снегом, не успели выкопать. Мужчины уходили один за другим, изо дня в день, все на фронт. А мы с утра до вечера в колхозе, разговоры только о войне — как там да что там, и самым желанным человеком в домах стал почтальон.

После того как проводили Касыма, неделю спустя пришло письмо от Маселбека. В первом письме он писал, что его с товарищами по учебе призвали в армию, местопребывание пока там же, в городе. Он просил не печалиться, что не пришлось увидеться, попрощаться,— кто мог знать, что так случится, жалеть об этом не надо, самое главное — вернуться с победой. Второе письмо он прислал уже из Новосибирска. Писал, что учится там в командирском училище, и фотокарточку свою прислал. Эта карточка и сейчас висит под стеклом, потускнела уже. Красивая фотография: военная форма ему идет, густые волосы зачесаны назад, а

глаза смотрят чуточку печально, задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор... Алиман только раз видела Маселбека, когда он приезжал на денек на свадьбу брата.

— Смотри, мама, а Маселбек наш красивый парень, оказывается,— говорила она, разглядывая фотографию.— В тот раз я его и не разглядела толком из-за занавесок, неудобно мне было, невесте, плялить оттуда глаза, постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся и нашел себе девушку, такую же образованную, как он сам, и красивую. Правда, хорошо было бы, да, мама?

Я соглашалась и сама начинала мечтать об этом дне.

До середины зимы более или менее спокойно было у меня на душе, письма получала от сыновей и довольствовалась этим. Но тут пришло письмо от Касыма, что направляются они в сторону фронта. И затаился в душе страх, сердце замирать стало. А тут еще Суванкула начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что ни день — то на комиссию, то на учет, то на переучет. Он прямо извелся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадирскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкула возьмут в армию: ведь без бригадира в колхозе все равно. что без рук. Однако призвали и его. Узнала я об этом на току, где мы домолачивали прихваченный снегом хлеб. Я как узнала — уткнула вилы в солому, прислонилась лицом к холодному черенку и стояла так, с мыслями не могла собраться. Как быть, как жить дальше? Двое сыновей уже там, теперь муж уходит туда же, на фронт...

Тут и сам Суванкул прискакал, молча слез с коня, подошел ко мне и сказал:

— Пошли домой, собираться надо.

Я ехала на лошади, а он шел рядом, сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился, больше молчали. Не оттого, что не о чем было, а оттого, что тяжело было, сковывалось все внутри, слово выдать страшно. Так мы и двигались — я на коне, а он пешком. Мутные, серые тучи застилали небо. С Желтой равнины тянуло сиверком, поземка пошевеливалась, кураи посвистывали к бурану. Я глянула по сторонам — поле лежало унылое и пустое. Без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное.

Суванкул шел, курил сигарку за сигаркой. Потом взял меня за руку.

— Замерзла? — спросил он.

Я ничего не сказала. И он, собираясь что-то сказать, промолчал. Может, хотел поделиться думкой: «Вот, мол, ухожу вслед за сыновьями. Как оно там будет, суждено ли вернуться домой или же нет... Может, нынче навеки распрощаемся. Если так, то что ж, столько лет прожили мы в дружбе и согласии. Если что, простим друг другу. Неизвестно ведь, как обернется судьба». Хотел ли он сказать эти слова или другие, кто его знает, только тогда, глядя мне в лицо, он стоял молча, прикусив губы. Мне бросилось в глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше я этого как-то не замечала.

Вспомнила я, как мы с Суванкулом встретились на этом поле молодыми, как двадцать два года вместе трудились здесь, проливали пот, детей растили, хлеб растили, и вся наша жизнь в мгновение предстала перед глазами. Не думала — не гадала я никогда, что придется нам так разлучаться, быть может, навсегда. Вспомнила, как мы летом, в первый день жатвы, ночью ехали на коне по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю аила осталась заброшенной и недостроенной, увидела на усадьбе Алимана и Касыма кучу камней и кирпичей, упала на гриву коня и зарыдала. Долго плакала я. Суванкул молча терпеливо ждал, а потом сказал:

— Ты, Толгон, выплачь сразу все, что на душе, тут никого нет, но

отныне при людях не показывай слез. Ты теперь остаешься не только хозяйкой дома, не только головой над Алиман и Джайнаком, тебе придется и бригадиром остаться вместо меня. Больше никому.

Я еще пуше залилась слезами:

— На кой черт мне твое бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего. Слышать даже не хочу!

Но вечером меня вызвали в контору правления колхоза. Здесь был наш новый председатель — раненый фронтовик Усенбай, Суванкул и еще несколько стариков, айльных аксакалов. Усенбай сразу сказал мне:

— Что ни говори, тетушка Толгонай, а придется по-мужски, крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня. Землю, и воду, и народ нашего айла никто лучше вас не знает. Мы вам верим, верим еще и потому, что вам верит наш лучший бригадир, которого мы теперь, стиснув зубы, провожаем на фронт. Ничего не поделаешь. С завтрашнего дня беритесь за работу, тетушка Толгонай.

Аксакалы тоже стали советовать. В общем, уговорили меня, согласилась я быть бригадиром. Да и как было не согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно я поступила, хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего Суванкула. В ту ночь он до утра не спал, все наказывал мне давал. Начиная готовиться к весне, тягло поставь на отдых, ремонтируй плуги, бороны, брички... Присмотри за многодетными семьями, за стариками... То делай так, это эдак... Эх, беспокойный человек мой, милый муж мой, друг сердечный...

И до самого утра не утихала на дворе метель, ветер гудел в трубе.

Суванкула мы провожали тоже на большаке. Он сел в бричку Джайнака вместе с такими же пожилыми людьми, и они укатили по бурану, скрылись в снежной мгле. Ох, как холодно было, лютый ветер лицо обжигал. Я шла медленно, часто оглядывалась и всхлипывала, плакала.

С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не каждому по плечу, а тогда и подавно — мука одна. Здоровых мужчин не осталось — больные да хромые, а остальные работники — женщины, девушки, дети, старики. Все, что добывали, отдавали фронту. А в хозяйстве телеги без колес, упряжь — обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали мы жечь джерганак колючий по суходолу в поймище, тем и не давали угаснуть горну. А житье — не прежнее, голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не остановилось хозяйство колхозное, тянули его сколько хватало сил. Как вспомню теперь: ради дела к кому с добрым словом подойдешь, к кому с выговором, а то чуть и не за волосы таскались, всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда... А все равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не разбрелся, остался народом. Тогдашние женщины — теперь старухи, дети — давно отцы и матери семейств, верно, они и забыли уже о тех днях, а я всякий раз, как увижу их, вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были — голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как плакали и как мужались! Не знают они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось переносить, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в седле, то туда надо, то сюда, то в степь, то в горы, с вечера до поздней ночи в конторе — вот так и не замечала, как пролетали дни. Быть может, меня это и спасло. И пусть иной раз с досады, с горя ругали меня, хватали за горло, бросали работу — не в обиде я. Нет, в таких случаях я больше наваливала работу на Джайнака и Алиман, днем и ночью не было им покоя, и тоже

не каюсь, что гоняла их безжалостно. А не то тягостные мысли, страх задавили бы нас — ведь три человека из одной семьи на войне, разве можно было не думать? От Касыма второй месяц не было ни слуху ни духу. Мы с Алиман прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, — о Касыме. Если разговаривали, то о том о сем, о работе, о хозяйстве по дому. Как дети, старались не напоминать.

В один из зимних дней с утра побежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель наш Усенбай летит на рысях, а в руке у него бумажка небольшая, с ладонь. Телеграмма, говорит, вам срочная. У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было.

— Да вы что, тетушка Толгонай! — вскричал председатель. — Это же телеграмма от Маселбека, из Новосибирска. Да подойдите же, возьмите, не бойтесь! — И нагнувшись с седла, отдал мне эту бумажку. — Вы, — говорит, — немедленно отправляйтесь на станцию, сын ваш будет проезжать, хочет увидеться, просит встретить. Я там велел заложить вам бричку, сена, овса лошадям велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу.

И такая радость обуяла меня! Засуетилась я, забегала по кузнице и не знаю, что делать. Кузнецы прогнали меня.

— Сами, — говорят, — управимся, бригадир, езжай быстрее на станцию, чтобы не опоздать.

И побежала я домой. Сама толком не понимаю, что к чему. Знаю только одно: что Маселбек просит приехать на станцию, что Маселбек просит увидеться. Бегу по улице, жарко от мороза, пот прошиб. Бегу и сама с собой разговариваю, как ненормальная:

— Что значит просит? Да я, сынок мой, пешком тысячу верст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу!

Эх, мать, мать... Не подумала я в тот час, куда же проезжает мой сын, в какую сторону.

Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала, мяса наварила, ведь там небось Маселбек не один, а с товарищами, пусть угостит их домашней стряпней. Уложила все это в переметный курджун, и в тот же день мы с Алиман выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком. Но он сам отказался.

— Нет, — говорит, — мама, лучше будет, если поедет Алиман, а я дома останусь по хозяйству. Так оно будет вернее.

Потом-то я поняла, правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка он был, а не глупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, как она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на сеной двор, где работала Алиман, сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась вся, загорелась, захопотала больше, чем я, и стала торопить меня:

— Быстрее, мама, быстрее собирайся. Вот твоя шуба, вот платок пуховый, одевайся, поехали!

И в дороге тоже места себе не находила.

— Погоняй, погоняй быстрее! — торопила она возчика, а иногда выхватывала у него из рук вожжи и сама, гикая, нахлестывала лошадей.

Бричка ходко катила по наезженному насту, лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колеса на смазанных осях. Всю дорогу шел снег — ровный такой, веселый. Стоял легкий морозец. Алиман была в снегу, но она не знала, как это ей идет. Снег густо налипал ей на голову, на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и ее пшеничная смуглость с разлившимся на щеках румянцем, ее сияющие,

черные быстрые глаза и белые зубы казались еще красивее. В молодости человеку все идет — даже снег. Алиман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Маселбек, не говорить о ней: узнает он ее или нет? То собиралась незаметно подойти к Маселбеку сзади и закрыть ему глаза: что скажет он, перепугается, наверно, скажет, кто это еще здесь с шутками глупыми? И сама смеялась, хохотала над своими придумками. Эх, Алиман, Алиман, невестушка моя сердечная! Неужто думала она, что не догадываюсь я, почему она вела себя так. Да она и сама проговорилась. Замолчала вдруг, перестала смеяться и тихо пробормотала:

— Маселбек очень похож на Касыма. Они как близнецы, правда ведь?

Я сделала вид, будто не расслышала. А она помолчала, думая о чем-то своем, и потом снова выхватила вожжи у паренька и снова, гикая, погнала лошадей.

К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку — и сразу же побежали с Алиман на пути, словно Маселбек должен тотчас же прибыть. Там никого не было. Мы огляделись по сторонам и приуныли, стоим, как сироты, куда идти, что делать — не знаем. Между рельсами по шпалам бежала поземка. Паровоз ползал взад и вперед, со скрежетом и лязгом страгивал заиндевшие, примерзшие к месту вагоны. В проходах посвистывал ветер.

Нам не приходилось раньше встречать поезда, мы даже не догадались расспросить кого-нибудь, что к чему — когда поезд надо ждать. Тем временем издали послышался гудок паровоза, показался поезд.

— Идет, мама! — сказала Алиман.

У меня коленки задрожали, страшно стало. Поезд быстро приближался. Вот и паровоз прошел в снежной пыли. Поезд остановился. Мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто они были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек? Скажите, пожалуйста, нет здесь Суванкулова Маселбека?

Одни отвечали, что не знают, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бежали, поезд тронулся и ушел. Всего-то три минуты, оказывается, остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошел пожилой русский железнодорожник в черном полушубке, в валенках. Я заметила его, как он выходил навстречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рассказали ему, дали почитать телеграмму Маселбека. Он надел очки, долго шевелил губами и сказал затем:

— Сын ваш едет воинским эшелонном. А какой эшелон и в какой час он будет проходить по станции — неизвестно. Если не опоздает, то должен сегодня ночью или завтра прибыть. А может быть, эшелон уже прошел. Сколько теперь эшелонов каждый день в ту или другую сторону пронесится, иные и не останавливаются даже, напролет идут.

Мы совсем повесили головы.

— Эх, война, война, — вздохнул железнодорожник, — перевернула все вверх дном. Ну что ж вы будете стоять на ветру? Идите на станцию, там комнатка для ожидающих есть. Сидите там, а когда поезда будут проходить, выходите встречать... Другого выхода нет.

В станционной комнатке было человек десять. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям, привыкли, наверно, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили, в углу двое пили из жестяных кружек горячий кипятик — обжигались, дули на воду, а один тихо наигрывал на



гитаре и что-то тихо напевал себе под нос. Десятилинейная лампа с разбитым нечищеным стеклом помигивала, коптила. Оглядевшись в полутьме, мы с Алиман тоже примостились с краю скамейки. Посидели немного, но тут послышался шум поезда, и мы опрометью кинулись к двери. Ветер во тьме рванул за полы и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Солдат в них не видно было, но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек?

— Суванкулов Маселбек здесь?

Никто не откликнулся, никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали.

— Мама, приляг немного, отдохни, а я постерегу поезд,— сказала Алиман.

Я прислонила голову к плечу невестки, думала, вздремну, но где там. Какой мог быть сон? Да и как можно думать о сне, если не только слухом — сердцем, разумом угадываешь приближение поездов, но даже чуешь под ногами за тридевять земель первое неуловимое содрогание пола и сразу спохватываешься. С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали курджун и выбегали на пути.

Эшелоны шли, но ни в одном из них Маселбека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохватились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно послышались раскатистые гудки паровозов, поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колеи. С оглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливаясь, все быстрее и быстрее набирая бег, пошли напролет. И застучали колеса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, норовя кинуть под вагоны.

— Мама! — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятьях и не отпустила.

Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна: а вдруг увижу Маселбека, а вдруг мой сын там и я не знаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись, у фонаря.

До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще невиданный нами эшелон: вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне — ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглившимися досками и краской.

Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем.

Алиман спросила у него шепотом:

— Что это за эшелон?

— Бомбили его,— шепотом ответил он.

— А куда теперь эти вагоны?

— На ремонт,— так же тихо ответил железнодорожник.

Я слушала этот разговор и думала о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки... А ведь эти бомбы — лишь отголосок войны. Что же тогда сама она?

Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхивая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе: вот и Маселбек отправится туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? Как Суванкул? Он писал, что находятся они где-то под Рязанью. Ведь это, наверно, не так уж далеко от фронта...

Настало утро. Пора было уезжать — сено у лошадей кончилось. А вдруг Маселбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы с Алиман. Но уехать не посмели.

Погода была, как и вчера, ветреная, холодная. Недаром называют станционное ущелье караван-сараям ветров. Вдруг тучи развеялись и солнышко проглянуло. «Эх,— подумала я,— вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч, появился бы на глаза хоть разок...»

И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью.

Земля затряслась под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах — танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек, и пошли — вагон за вагоном — проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармоней и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо:

— Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей! — И стал отталкивать нас.

В эту минуту раздался рядом крик:

— Мама-а-а! Алима-а-ан!

Он! Маселбек! Ах ты, боже мой, боже! Он пронесился мимо нас совсем близко. Всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Маселбек!» И в тот короткий миг увидела его точно и ясно: ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах — радость, и горе, и сожаление, и прощание! И не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох, как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом и он стих.

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову пронесется этот эшелон, и долго стучат в ушах колеса.

Алиман добежала вся в слезах, опустила рядом, хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подоспела русская женщина, стрелочница. И тоже: «Мама! Мама!» — обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину, и, когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку.

— Возьми, мама,— сказала она.— Маселбек оставил.

Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном.

Я ехала домой с этой шапкой в руках; сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди.

Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом и слышу запах сына.

## 6

— Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына?

— Не знаю, Толгонай. Такой войны, как в твое время, мир не знал.

— Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи бог никому обнимать железные рельсы и биться головой о шпалы.

— Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретишься с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни.

— Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке.

— Бедная моя Толгонай. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы... Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне то понятно было, по глазам видела, с каждым разом трудней и трудней становилось тебе.

— Да, мать-земля, поневоле станешь такой. Если бы только я одна была — ведь не осталось ни одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги — похоронные, и в аиле в один день сразу в двух-трех домах поднимался плач и проклятья, вот тогда закипала кровь и месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром, хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод. Потому и выстояла я, за других выстояла, а иначе упала бы я и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа — биться, бороться, побеждать. Иначе смерть! Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя, молча здоровалась и молча поворачивала назад.

## 7

Настал день, когда от Касыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы, с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку:

— Суйунчу, суйунчу — радость!

Как же было не порадовать их! Ведь от Касыма два месяца подряд не было ни строчки, не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы, и о том, что полк ихний отвели на передышку.

А Алиман как обрадовалась! Спрыгнула с брочки и наперегонки с Джайнаком, обогнала его.

— Мама, масла в твои уста! — Схватила письмо дрожащими руками, зашла от счастья, читать не может. Только твердит одно: — Жив! Жив-здоров!

Тут подбежали женщины, обступили ее.

— А ну, прочти, Алиман, что пишет муж? Может, о наших что знает?

А она:

— Сейчас, милье, сейчас! — И ни строчки не может прочесть.

Джайнак не утерпел:

— Дай-ка сюда, людям надо прочесть. — Взял письмо и стал читать вслух.

А Алиман присела на корточки, хватая снег горстями и прикладывает ко лбу. Джайнак кончил читать, она встала и даже лицо забыла утереть, стоит с тающими ручейками на лице, разгоряченная, радостная.

— Ну, теперь пойдете работать! — тихо сказала она и медленно пошла по снегу.

Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чем она думала в тот час — кто ее знает, может, о том, как летом бежала она здесь по жнивью к мужу с кувшином в руке. А может, о том, как Касым прощался здесь с комбайном. Алиман, казалось мне, заново переживала все дорогое ей, памятное. Глаза ее то улыбались, то меркли. Она долго смотрела в сто-

рону большака. вспоминала, наверное, как уходил по дороге саврасый иноходец, как гудели его копыта и как она бежала за Касымом.

А Джайнак шел рядом и стал дразнить ее, тормошить:

— Да ты очнись наконец, приди в себя. Ты понимаешь, что над тобой теперь будет смеяться весь аил. Письмо не могла прочитать, эх ты! Я вот напишу Касыму, скажу, что жену твою отдал в школу, снова в первый класс, азбуку учить!

Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к бричке и гонялись друг за другом.

А я шла и думала. Конечно, кому же и защищать народ, если не таким джигитам, как мои сыновья! Только бы они живыми вернулись, с победой. А все остальное переживем, перетерпим, пусть кожа да кости останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорей бы победа! И потому что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на все шла, со всем соглашалась.

Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему восемнадцати еще не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела.

К концу зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят, обучали их там военному строю. Ну, это было дело привычное, я и не очень беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней десять и отпускают по домам. Однажды он что-то быстро вернулся домой, на второй же день.

— Что это тебя так скоро отпустили? — удивилась я. — Или совсем освободили?

— Нет, мама, — ответил Джайнак, — завтра я снова уйду. Разрешили денек побывать дома. В этот раз нас подольше задержат, так что ты не беспокойся.

А я и поверила, нет чтобы догадаться. Ведь он как-то странно вел себя в тот день, словно собирался в дальний путь. С молотком, с гвоздями ходил целое утро, что-то подбивал, приколачивал. А потом, смотрю, дров наколот кучу, навоз убрал на задворье, сено, что было сложено на крыше сарая, перебрал, подсушил. К вечеру пришла, смотрю — он двор вымел, привел в порядок развалившиеся конские ясли. Они нужны были, когда отец был дома, он любил коня держать при себе.

— Зачем ты возишься с ними, сынок, летом успеешь починить, — сказала я ему.

Но он ответил, что надо сделать тогда, когда время есть, а потом некогда будет. И тогда недомыслила я, не подумала ни о чем. Ведь он добровольно ушел на фронт, по комсомольскому призыву. А узнали мы об этом, когда Джайнак был уже в пути. Письмо передал он с товарищем со станции. Вот ведь, негодник этакий, сынок мой бедный, хоть ты и написал письмо, но разве можно было так уходить, не простившись? Да пусть я с ума сойду, все равно надо было сказать. Он просил в том письме у нас с Алиман прощения за то, что молча ушел. Так, говорит, легче, отрубить одним разом. Я, говорит, хотел, чтобы вы меньше переживали, чтобы сразу узнали о моем решении и, узнав, примирились, согласились со мной. Кто его знает, может, он и прав. Конечно, трудно ему было сказать мне в лицо, а может, побоялся, что я стану плакать, отговаривать, упрашивать...

И сейчас, когда я уже лишилась его и прошло уже столько лет, я веду с ним разговор так же, как с матерью-землей.

Джайнак, послушай меня! Пусть тебя не мучит совесть, не в обиде я, нет. Я тогда еще простила тебя, Джайнак, сынок мой младшенький, жеребенок мой, весельчак мой! Думаешь, я не понимала, почему ты

ушел, не простившись, почему ты оставил меня одну, почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую? Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не смог ты спокойно смотреть на наши страдания и ушел. Ты очень хотел, чтобы люди оставались людьми, чтобы война не калечила в людях живую человеческую душу, чтобы она не вытравила из них доброту и сострадание. И ты все сделал для этого. На свете остаются жить только добрые дела, все остальное исчезает. И твое доброе дело осталось жить. Ты давно погиб, пропал без вести. Ты писал, что ты парашютист. Что три раза ходил в тыл врага. И вот в какую-то темную ночь сорок четвертого года ты прыгнул с самолета вместе со своими товарищами, чтобы помогать партизанам, и пропал без вести. Погиб ли ты в бою, или шальная пуля настигла, или попал в плен, или в болоте утонул — никто не ведает. Но если б ты был жив, то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джайнак, вот так и не стало тебя. Ты ушел совсем молодым, восемнадцати лет, и не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя и всякий раз вспоминаю, как ты ушел на фронт, не посмеяв сказать мне об этом, потому что ты любил и жалел меня. Вспоминаю, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. Увидел на станции семью эвакуированную — мать и четверо детей, и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке — зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится.

Эх, что теперь говорить, словами не сможешь. Сколько людей война погубила. Если бы не война, каким красивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак!

Сын мой, обидно мне, из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного. Ты только начинал жить, и я даже не знаю, какую девушку ты любил...

Последняя свеча горит в душе моей, скоро она погаснет. Но я все помню. помню и тот злосчастный день, когда приехал за мной тот старик на пахоту.

Было это ранней весной. Подснежники еще не сходили, бороньба только начиналась. С Желтой равнины шел понизу теплый ветер, зябь просыхала, трава на солнце пошла зеленеть.

В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне шажком вслед за трактором, вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Касыма.

Тем временем приехал сюда старик наш один, вроде бы не по очень срочному делу. Я ему сказала:

— Кстати приехали, аксакал, благословите с добрым началом пахоты.

Он развернул ладони, сидя на коне, и, поглаживая бороду, прошептал:

— Пусть покровитель хлеборобов Дыйкан-баба побудет здесь, пусть урожай будет, как полководье.— А потом сказал мне: — Тебя. Толгонай. вызывает начальник какой-то из района. Приказал, чтобы ты явилась в контору. Я за тобой приехал.

— Хорошо, сейчас поедем, аксакал.

Подъехала я к плугарям, предупредила, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к айлу. В том, что меня вызвал уполномоченный, ничего удивительного не было. Обычное дело, особенно с началом посевной много их разных наезжает в айл. Ехали не торопясь,

разговаривали о том о сем, о житье-бытье нашем, и старик в разговоре как-то осторожно вставил:

— Спасибо тебе, Толгонай, что в такое лихолетье служишь ты на коне народу. Хотя и женщина ты, но всем нам голова. Так и держись, Толгонай, крепче держись в седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе нелегко, знаем. Судьба человеческая, как горная тропа: то вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному случается не под силу, а всем миром одолеть можно... Так-то оно в жизни нашей суетной...

Мы ехали уже по улице, и я заметила возле нашего двора вроде бы толпу людей. Я увидела их головы за дувалом. Но почему-то не придала этому значения. Старик вдруг взял за повод моего коня и сказал мне, не глядя в глаза:

— Слезай, Толгонай, ты должна спешиться.

Я удивленно уставилась на него. Только он сам слез с лошади и, беря меня под руку, повторил:

— Ты должна слезть с седла, Толгонай.

Все еще не соображая, в чем дело, но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мертвая, я медленно спешила и увидела Алиман, идущую к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке арыков. Алиман несла кетмень на плече. Одна из женщин взяла ее кетмень с плеча. И тут я все разом поняла.

— Что вы? Что вы надумали? — закричала я на всю улицу.

Когда я закричала, из двора соседки Айши выбежали женщины. Молча, быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали:

— Крепись, Толгонай, лишились мы наших соколов, погибли Суванкул и Касым.

Я услышала в ту минуту, как вскрикнула Алиман, как заголосили все разом:

— Боорумой — братья наши! Боорумой!

И больше уже ничего не слышала, оглохла сразу. Оглохла, наверно, от своего крика. И закачалась улица, чудилось мне, деревья падают, дома падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искаженные немые лица. Я вырывалась, силилась освободить зажатые в чьих-то руках свои руки. Я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только Алиман. Видела ее с беспощадной ясностью. Она была страшна, с изодранным в кровь лицом, с разлохмаченными волосами, в изорванном платье. Ее удерживали женщины, закрутив руки за спину, а она вырывалась изо всех сил ко мне и кричала так сильно, что я ничего не слышала. Я тоже рвалась к ней. У меня было только одно желание — быстрее прийти к ней на помощь. Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы наконец сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я наконец услышала ее надсадный, хриплый крик:

— Мама, вдовы мы, мама! Несчастные вдовы! Погасло наше солнце. Черный день! Мама! Черный день!

Да, мы были вдовами. Две вдовы — свекровь и невестка, мы оплакивали свою судьбу, обнимаясь и обливая друг друга горячими слезами.

Но нам с Алиман не пришлось вволю поголосить. На седьмой день пришли колхозники, чтобы еще раз почтить память погибших, и сказали нам:

— Год круглый траур держать и то было бы мало. Мы будем их помнить, но живой человек должен жить. То, что они не дожили, пусть доживут Маселбек и Джайнак.— (От Джайнака мы тогда еще почти каждую неделю получали письма.) — Пусть они вернуться с победой. А вам мы разрешаем выходить на работу. Время сейчас посевное, земля

не ждет. Зажмите сердца в кулак. Будьте с нами. И пусть это будет нашей мезтью врагу.

Посоветовались мы с Алиман и согласились с народом.

Утром, когда мы собирались на работу, председатель Усенбай принес две бумажки. Это, говорит, похоронные, сберегите их. Похоронная Касыма прибыла в колхоз, оказывается, еще полмесяца тому назад. Он погиб в наступлении под Москвой, в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом, подоспела и похоронная Суванкула. Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим ничего не оставалось, как сказать правду. И пришлось им сделать это в один и тот же день. Ну, а дальше рассказывать нечего. Снова крепко подпоясалась я и снова села на бригадирского коня.

Ведь если бы я стала сетовать, судьбу проклинать, руки опустила, то что было бы с Алиман? Она так убивалась, что мне страшно становилось. Горя у меня было не меньше, я потеряла сразу мужа и сына, утрата была двойная, и все-таки положение мое было иное. Мало ли, много ли, мы с Суванкулом прожили большую жизнь. Всякое видели, всякое испытали — и трудно жили, и счастливо. Детей имели, семью имели, вместе трудились. И если бы не война, вместе были бы до конца дней. А много ли познали Алиман и Касым? Жизнь для них вся была в будущем, вся в мечтах. В самую пору молодости срубила их война топором. Конечно, со временем затянулись бы раны в душе Алиман. Свет не без людей, нашла бы, может быть, человека, которого и полюбила бы даже. И жизнь вернулась бы с новыми надеждами. Другие солдатки так и поступили. Кончилась война, они вышли замуж. Кто удачно, кто не совсем удачно, но они не остались одинокими, все они теперь матери, жены. Многие из них нашли свое счастье. Но не все люди одинаковы. Есть такие, что быстро забывают о горе, быстро переступают на новую дорогу — другие мучительно, отчаянно топчутся на месте, не находя в себе сил уйти по памяти прошлого. Вот и Алиман, на беду свою, оказалась такой. Не сумела она забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Здесь есть и моя непростительная вина. Слаба я оказалась, не осилила жалость свою...

Весной бригада наша копала головные арыки. Я тоже была там. Однажды закончили мы работу рано, до захода солнца, и народ стал расходиться по домам. Мне надо было еще завернуть к плугарям, и я сказала Алиман, чтобы она не ждала меня. Шалаш плугарей был неподалеку. Они как раз ужинали. Я потолковала с ними о делах и, выйдя из шалаша, собиралась было сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирала тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман, горемычная моя невестушка. В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собиралась, наверно, домой понести. Я как увидела ее с цветами, пот горячий проступил на лбу. Вспомнила, как она тогда на обкоме загона набрала дикой мальвы и тоже стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а цветы белые, а теперь она была повязана черным платком и в руках держала красные цветы. Вот и вся разница. Но как это резануло по сердцу! А Алиман подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась, уныло уставилась на цветы, вроде бы: кому их теперь и куда?.. И вдруг встrepенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в ключья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами. Я спряталась за шалаш. Не стала ее тревожить. Пусть, думаю, поплачет, может, легче ей станет. А она вскочила на ноги и помчалась по перелогу к большаку. Я перепугалась, на коня — и за



ней. Страшно мне было видеть, как убегала моя невестка, как бежала она в черном платке по красному полю.

— Алиман! Остановись! Что с тобой? Остановись, Алиман! — кричала я ей, а она не останавливалась.

Добежала до дороги, по которой уходил когда-то саврасый иноходец, тут лишь я догнала ее.

— Мама! Не говори мне ничего. Мама, не говори мне ничего. Не надо!

Я натянула поводья, а она подбежала, схватилась за гриву коня, ткнулась к моей ноге и зарыдала. Я молчала. А что мне было ей говорить? Потом она подняла голову, а лицо все в глине, в слезах, и сказала, всхлипывая:

— Посмотри, мама, как светит солнце. Посмотри, какое небо, а степь какая, в цветах! А Касым не вернется, да? Никогда не вернется?

— Нет, не вернется,— ответила я.

Алиман тяжело вздохнула.

— Прости меня, мама,— тихо сказала она.— Хотела добежать туда и умереть там вместе с ним.

И я не выдержала, заплакала, ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была ей твердо сказать: «Ты что, дитя маленькое? Не ты одна, сколько овдовело таких, как ты,— не сосчитать. Перетерпи. Как тебе ни дико это слышать — забудь Касыма. Что прошло, того не вернешь. Придет время — найдется человек по душе. Если не возьмешь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя. Ты еще молода и должна жить». И как я каюсь теперь, что не посмела сказать этой грубой, этой единственной правды. И потом сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман не хотела меня выслушать. Есть, оказывается, у каждого слова свое время, когда оно ковкое, как раскаленное железо, а еслипустишь время — слово остывает, каменеет и лежит на душе тягостным грузом, от которого не так-то просто освободиться. Это я говорю теперь, когда прошло столько лет, а тогда в каждодневной суматохе, в каждодневных заботах и нехватках колхозных некогда было одуматься, сообразить толком что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном — скорей бы победа, скорей бы конец войне, а все остальное потом. Думалось: кончится война — и все само собой станет на свое место. А оно, оказывается, не совсем так...

## 8

— Мать-земля, почему не падают горы, почему не разливаются озера, когда погибают такие люди, как Суванкул и Касым? Оба они — отец и сын — были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях, они его кормят, поят, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами. Если бы не война, сколько бы еще дел сделали Суванкул и Касым, сколько людей одарили они плодами своего труда, сколько еще полей засеяли бы, сколько еще зерна намолотили бы. И сами, сторицею вознагражденные трудами других, сколько бы еще радостей жизни увидели бы! Скажи мне, мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?

— Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, были города, сожженные огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть след человеческого. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за моря-

ми! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!» А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня — от вас, от людей зависит, от вашей воли и разума.

— Как подумаешь, земля родная, ведь самых лучших тружеников твоих, самых лучших мастеров убивает война. А я не согласна с этим, всей жизнью своей не согласна! Могут люди, должны люди преградить путь войне.

— А ты, Толгонай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет, я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам, я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов, мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются несжатými, а хлеба необмолоченными, я зову их: «Где вы, мои пахари, где вы, мои сеятели? Встаньте, дети мои, хлеборобы, придите, помогите мне, задыхаюсь я, умираю!» И если бы тогда пришел Суванкул с кетменем в руках, если бы Касым привел свой комбайн, если бы Джайнак пригнал свою бричку! Но они не откликаются...

— Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я, так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля.

## 9

Третий и четвертый годы войны и радовали и омрачали: врага изгнали шаг за шагом — душа ликовала, но, что ни день, все трудней и трудней становилась жизнь. Осенью еще куда ни шло, колоски собирали по жнивью, картошку копали в огородах, а с середины зимы начинался голод. Особенно весной. да в желтые летние дни туго приходилось, иные едва-едва пробивались дикими кореньями, травой да чуть забеленной молоком водичкой. Мы с Алиман обе работали и за подол нам детишки не цеплялись. Но лучше бы они цеплялись. Невыносимо становилось на душе, когда у других, у многодетных, детишки с раздутыми животами и опухшими лицами глядели в руки, безмолвно прося хлеба. Если бы мне сказали: «Иди и ты на фронт, умри там — и война кончится, дети будут сытыми» — я не задумалась бы. Только бы не видеть их голодных глаз. Как-то я поделилась этими мыслями с Алиман, она посмотрела на меня и потом сказала:

— Я бы тоже так поступила. Ведь самое страшное то, что дети не понимают, почему они должны голодать. Взрослые-то хоть утешают себя, знают причины, знают, что будет этому когда-нибудь конец. А дети не понимают. Пока не вернутся их отцы, мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это и осталось. А то ведь и жить не стоит...

Все безраздельно принадлежало только войне: и жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашка — все, все до единой крупички уходило в ненасытную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем; да зачем скрывать, были такие люди. Они тоже урывали от нашего куска.

Как-то я заблудилась. Это произошло в сорок третьем году, кажется, в середине зимы, или нет, к концу зимы дело было. В степи уже темнели прогалины голой земли, но окна еще замерзали по ночам.

Кто его знает, в какой час ночи — все давно спали, — только вдруг заколотил кто-то в окно, думала, стекла полетят.

— Толгонай! Бригадир! Вставай! Проснись! — кричал кто-то с улицы. Мы перелугались, и обе, я и Алиман, вскочили с постелей.

— Мама! — прошептала Алиман в темноте, и так тревожно, словно ждала какого-то чуда.

Эх, проклятая, никогда не покидающая надежда! У меня тоже сердце зашло от страха и смутной радости: «Может, вернулся кто из наших?» — и я приникла к окну:

— Кто тут? Кто ты?

— Выходи, Толгонай! Быстрее! Лошадей увели! — ответил голос за окном.

Пока Алиман зажигала лампу, я быстро натянула сапоги, надела чапан и выскочила на улицу. Прибежали на конюшню, там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трех лошадей увели, в том числе и нашего саврасого иноходца — я его в колхоз передала. Это были лучшие мерины нашей бригады, мы их готовили к пахоте. Конюх говорил, что пошел на сеновал задать лошадям полночное сено, вернулся, а в конюшне темно, фонарь не горит. Решил, что ветер задул, потому не спеша зажег свет, глянул — с краю три стояла свободные.

В то время для колхоза потерять три рабочие лошади — все равно что сейчас десять тракторов потерять. А если подумать поглубже, то это все равно что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы оседлали лошадей, некоторые прихватили ружья, и все кинулись в погоню. И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы!

За аилом мы разделились на кучки по несколько человек и поехали в разные стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджिमистый, в побегу просился. Я дала ему повод. Помню, перемахнула через большак и направилась в сторону гор. За мной скакали еще двое наших. Вдруг оглянулась — нет их. То ли они свернули в сторону, то ли я свернула. Ошибиться было не мудрено: луна хоть и просвечивала, но свет ее был обманчив — шагах в двадцати все сливалось в темную мглу. Но не об этом думала я тогда: только бы догнать конокрадов; так досадно и обидно было, что не замечала, куда уносит меня конь, и когда он внезапно остановился, смотрю — впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над темным хребтом, звезды туманились. Вокруг ни огонька. Понизу скользил порывистый ветерок, шевелил сухостойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы перекликались совы.

Я опустила на коне в овраг. Ничего не слышно. Только вспугнула лисицу. Она выскочила из камыша и понеслась — сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видать кругом.

Я повернула в аил. Ехала над обрывом и вспоминала: поговаривают, что Дженшенкул — был у нас такой в аиле — сбежал из армии, что с ним двое таких же, как сам он, дружков откуда-то с Желтой равнины и что прячутся они в горах. Я не очень-то верила этим слухам. Не понимала я, как можно прятать свою голову, когда все в опасности. Выходит, что кто-то должен идти сражаться, погибать, а кто-то может отсиживаться за его спиной? Нет, вряд ли кто пойдет на такое бесстыдство, думала я. А тут вдруг усомнилась. В аиле мы все знаем друг друга, как пять своих пальцев. Вроде не было людей, которые могли бы пойти на конокрадство. Да и конь не иголка, в воротнике его не припрячешь. Тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли откуда-то. Должно быть, сейчас, как волки, рыскают в горах и в степи. Если правда, что Дженшенкул в бегах, то, пожалуй, это дело его рук, думалось мне.

Однако уверенности в этом не было: как-никак, не пойман — не вор, а видеть — никто не видел.

Три лошади — упряжка одного двухлемешного плуга. Упряжь эту мы восстановили с горем пополам, объездили молодняк, четверку, запрягли в плуг. Жаль, но ничего не поделаешь. А тут нагрянула посевная, и началось такое, что не до воров было и не до самого бога. Это была, пожалуй, самая тяжелая весна в моей жизни. Народ что — народ не виноват. Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запаздывали работы, затягивалась посевная. А тут еще беда — семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли закрома, кое-как свели концы с концами, но план бригады все же выполнили.

В эти дни я крепко призадумалась над нашей жизнью. На трудодни мы ничего не получали, что было из прежних запасов, давно съели. Как быть? По миру расходиться, разбрестись куда глаза глядят? Нет, это значит потерять себя. Ну что же дальше? Хорошо, дотянем до осени, перебежмся зиму, а там опять же весна и опять же придется заставлять работать полуголодных, ослабевших людей. И не работать нельзя.

По-всякому думала я, ночей не спала, и осенила меня мысль такая: распахать залежь — была у нас небольшая на отшибе — с тем, чтобы урожай поделится по семьям. Посоветовалась с председателем, до района дошла, объяснила, что план мы свой выполнили, а это сверх плана, своими силами, специально для себя на трудодни, поддержать чтобы народ. Кто-то мне из-за стола бросил:

— Ты сталинский устав колхоза нарушаешь!

Я не утерпела:

— А пусть он провалится, этот устав! Если мы будем голодными, кто вас будет кормить?

— А ты,— говорит,— знаешь, куда Макар телят не гонял?

— Знаю. Отправляйте, если от этого легче станет. Только подумайте сначала, кто будет хлеб сеять для солдат на фронте?

Зашумели, в райком толкнулись. В общем, разрешили, сказали: под личную ответственность. А дело-то было не в ответственности, а в семенах. В колхозе — хоть шаром покати, что было, все высеяли. Помозговала я и собрала свою бригаду, всех от мала до велика. Не то что собрание, а так, вроде семейный совет устроили.

— Давайте подумаем, как быть нам? — сказала я. — На то, что посеяно на полях, не надо надеяться. Сами знаете, там все для фронта, а если что останется — на семена. Но у нас, если найдем семена, есть возможность посеять хлеб для помощи многодетным, старикам и сиротам. Если верите мне, я беру на себя эту ответственность. Дело сейчас стоит за тем, чтобы каждый из нас отдал на семена золотые крупницы, то, что еще берегаем мы на дне мешочков и сусеков. Не гневайтесь на меня, пусть мы оторвем кусок от своего рта, пусть мы будем голодать — дотянем как-нибудь на молоке до жатвы, но зато каждое зернышко вернется нам сторицей. Поднатужьтесь, родные, стисните зубы, отважьтесь на такой подвиг ради себя, ради детей своих. Не пожалеете. Поверьте моему материнскому слову. Помогите мне, пока есть еще время посеять...

На сходке вроде бы все поддержали меня. Но когда коснулось дела, пришлось туго, просто страшно. Особенно страшно было мне, когда выбегали из дворов многодетные матери, когда они проклинали все на свете: и войну, и жизнь такую, и детей, и колхоз, и меня. И все же люди с кровью отрывали от сердца, давали каждый сколько мог и что мог: кто полпуда, а кто пригоршню. Понимала я, что люди отдавали свое последнее, и все же я брала. Собирала все, высыпала в мешки по горс-

точке. И так обходила я с бричкой двор за двором, умоляла, просила, ругалась, выхватывала из рук. И только одно утешение было, что осенью люди поблагодарят меня, что осенью каждая горсточка вернется пудом.

Никогда не забыть мне, как я обошлась с соседкой своей, Айшой. Она ведь болезненная была. Рано овдовела, муж ее, Жаманбай, умер еще до войны. И осталась она одна, хворающая, с единственным сыном — Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровенку имела — тем и кормилась и растила сына. Бекташ в ту пору был уже работником, надежный вырос парнишка. В тот день как раз на его бричке и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его:

— Бекташ, есть у вас дома что-нибудь?

— Есть немного, — ответил, помедлив, парнишка. — В торбочке, за печкой.

— Ну, так иди принеси, — сказала я.

— Нет, тетушка Толгонай, сами пойдите, — попросил он.

Айше нездоровилось в те дни. Она сидела на кошме, укутав поясницу теплым платком.

— Айша, я пришла получить то, что все дают, — сказала я.

— Все, что у нас есть, вон там, — показала она на торбу за печкой.

— Сколько есть. Не для утешения отдаешь. Для семян, поле готово, сева ждет, не задерживай, Айша, — поторопила я.

А она прикусила губу и молча опустила голову. Ох, нужда проклятая, до чего доводит людей.

— Айша, подумай, ну десять — пятнадцать дней тебе легче было бы перебиваться. Но подумай и о будущей зиме, о весне подумай. Ради сына твоего прошу, Айша. Он ждет на улице с бричкой.

Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня.

— Если бы было что, думаешь, жалко? Ты же знаешь, Толгонай, соседка ведь я твоя...

Я почувствовала, что не устоять мне перед ее мольбой, но тут же отбросила в сторону жалость.

— Я сейчас тебе не соседка, а бригадир! — отрезала я. — От имени народа забираю у тебя это зерно! — Встала и взяла в руки торбу.

Айша отвернулась.

В торбе было килограммов семь пшеницы. Я хотела унести все, но не посмела. И отсыпала половину зерна в порожнее ведро. И сказала ей:

— Смотри, Айша, я половину только беру. Не обижайся.

Она обернулась. И я увидела слезы, стекавшие по ее лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометью кинулась из дома. Ах, почему я не поставила эту торбу на место? Но откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами?

Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провеяли, очистили от сорняков, по зернышку перебирали. И я сама свезла семена к пашне. Повременить бы мне в тот день. Но ведь оставалось еще допахать край загона. А мне не терпелось быстрее засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять вручную. Все было готово — семена, пашня, все получалось так, как задумала.

Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, места себе не находила. Днем я велела Бекташу и еще одному пареньку отвезти на бричке борону к полю. Дети, как ни говори, это дети. Не совсем уверена была я, выполнили ли они мое поручение. И я сказала Алиман:

— Съезжу-ка я к ребятам. Погляжу, что они делают.

Села на коня и поехала.

За аилом пошла рысью: сумерки сгущались, темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю — быки стоят на пашне в ярме. И рядом никого нет. Зло взяло на мальчишку-пługаря: до сих пор тягло не распряжено, томится в ярме. Ну, думаю, подожди у меня, парень, я тебе дам нагоняй. Двинулась я разыскивать его, смотрю — бричка с боронами опрокинута набок. И тут тоже никого нет.

— Эй, ребята! Где вы? Откликнитесь! — позвала я.

Никто не отозвался, ни души вокруг. Да что с ними? Куда они запропастились? Перепугалась я. Поскакала к шалашу, прыгнула с лошади. Засветила спичку. Ребята лежали в шалаше связанные, избитые в кровь, ободранные, во ртах тряпье какое-то набито. Я вырвала кляп изо рта Бекташа.

— Семена? Где семена? — вскричала я не своим голосом.

— Забрали! Избили! — прохрипел он и мотнул головой в ту сторону, куда исчезли воров.

А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так коня, как в ту ночь. Что там ночь — тьма могильная была нипочем. Если бы дом мой сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осенью с гумна похитили десять мешков хлеба — стерпела бы: мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий — да я придушила бы своими руками.

Оказывается, я гналась по следам воров и вскоре увидела их. Искры заметила из-под копыт. Мешки воров везли перед собой на седлах. Уходили в сторону гор.

Увидев их, я стала кричать, просить:

— Оставьте мешки, это семена! Оставьте, это семена! Семена это!

Они не оборачивались. Расстояние между нами быстро сокращалось, и я увидела, что один из них, тот, что с краю, ехал на иноходце. Я сразу узнала его. Как было не узнать саврасого иноходца? По побежке узнала, по белым чулкам на задних ногах. И тогда я крикнула:

— Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул! Ты Дженшенкул! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой!

Он и в самом деле оказался Дженшенкулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрехотало. И уже падая с коня, я поняла, что это был выстрел. А сначала я подумала, что просто споткнулась лошадь.

Придя в себя, я почувствовала тупую, тяжелую, ломившую спину боль. Из головы сочилась кровь, она затекала к затылку холодным студнем. Рядом со мной хрипела, издыхая, лошадь, она еще сучила ногами, пытаюсь встать. Клокочущий предсмертный вздох вырвался из ее груди, голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И все вокруг утихло — утихла вся жизнь. Я лежала не шелохнувшись, не пытаюсь даже встать. Все теперь было для меня безразлично. И жизнь не имела смысла. Я думала о том, как убить себя. Была бы поблизости круча, дополнила бы и бросилась вниз головой. Я не представляла себе, как, какими глазами теперь буду глядеть на людей. И тут я увидела в небе Дорогу Соломщика. Тусклая, туманная река Млечного Пути напомнила мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я встала на колени, потом на ноги, пошатнулась, снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятья:

— Чтоб тебя кровь войны прокляла, Дженшенкул! Убитые пусть проклянут тебя, Дженшенкул! Дети пусть проклянут тебя, Дженшенкул!

Я плакала и кричала, пока не обессилела.

Долго лежала я. Потом послышались чьи-то шаги, и кто-то позвал меня:

— Тетушка Толгонай! Где вы? Тетушка Толгонай!

По голосу узнала Бекташа и отозвалась. Бекташ прибежал запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову:

— Тетушка Толгонай, что с вами, вы ранены?

— Нет, расшиблась,— успокоила я его.— Лошадь вот убило пулей.

— Ну это не так страшно, мы вам сейчас поможем! — обрадовался Бекташ.— И добавил: — А мясо не пропадет. Раздадим по дворам.

Ребята привезли меня домой на бричке. Дня три провалялась в постели, спину не отпускало. И сейчас, когда непогодит, ломит порой. В те дни многие приходили наведать меня, справиться о здоровье. Спасибо за это людям, но больше всего спасибо за то, что никто не укорил меня, никто не напомнил, будто ничего не случилось. Может быть, люди догадывались, что мне и так было тяжело. Как вспомню, что труды наши пропали даром, что пашня осталась незасеянной, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов,— такая горечь жгла душу, что в глазах меркло.

## 10

— Да, Толгонай, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле саднило все лето, как зияющая рана. Долго не утихала боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, Толгонай. А сколько полей осталось бесплодными из-за войны! Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну.

— Ты права, мать-земля. Не об этом ли писал мой сын Маселбек? Ты помнишь, земля, письмо Маселбека?

— Помню, Толгонай.

— Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовения, мать-земля. Сегодня мы снова все вспомним.

— Вспомним, Толгонай. Ведь Маселбек был не только твоим сыном, он и мой сын — сын земли. Повтори мне его письмо, Толгонай.

## 11

Когда приходили люди поведать о моем здоровье, я думала, что они из сочувствия ко мне старались как-то умолчать о случившемся и поэтому говорили большей частью о новостях, о работе, о погоде; но была, оказывается, еще одна причина. Я потом догадалась об этом. А они-то знали, что меня ждет.

Как-то заглянула к нам Айша, принесла мне чашку сметаны. Когда она переступила порог, мне стало очень стыдно. Я не знала, что говорить, молчала, сидя на постели. А она сказала мне:

— Ты не думай, Толгонай, о том, что было. И прости мою слабость. А я обиды не держу. За тебя, если надо, и жизнь отдать мне не жалко. Бекташ мой теперь у нас помощник на два двора. Он тебя, Толгонай, больше даже любит, чем меня. А я рада этому. Значит, вырастет он понятливым человеком...

Я только промолвила:

— Спасибо на слове, Айша.

Утром другого дня мне было уже легче, и я вышла во двор кое-что по хозяйству присмотреть. Но быстро утомилась и села возле окна, на солнышке посидеть. Алиман тоже была дома. Она стирала белье во дворе. Я ей говорила, чтобы она выходила на работу, но она ответила, что сам председатель предложил ей остаться на денек дома, чтобы я не была одна.

В ту весну большая старая яблоня — ее еще сам Суванкул сажал — так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда



сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш старик Темирчал пожаловал. Здравствуй, мол, Толгонай, как поживаешь? А сам, против обыкновения, что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было, кашлял надсадно и жаловался на кашель; на прошлой неделе, говорит, простыл, замучался совсем; а потом, как бы между прочим, говорит:

— Кажется, тебе письмо есть какое-то.— И достает его из сумки.

Я даже обиделась на такое равнодушие:

— Да что же ты сразу не сказал? От кого?

— Да вроде от Маселбека,— пробормотал он.

От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольником, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненой ногой хуже стало— еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бектурсун поздоровался, взял конверт. От Маселбека, говорит.

— А что у тебя руки дрожат? Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне,— попросила я.

Он с трудом сел на кошму, нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами открыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла.

«Понимаешь, мама,— писал он,— пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки, хотя ты и поймешь, где-то в глубине твоего сердца останутся невысказанные мне слова: «Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила?» Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что мы не выпросили себе войну и не мы ее затеяли, это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то не достойны будем имени Человека. Я никогда не жаждал совершать геройства на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии — я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока.

Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке.

Это мое последнее письмо, это мои последние слова. Мама! Да тысячу раз я буду повторять твое материнское имя и все-таки останусь перед тобой в неоплатном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми.

Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать.

Прости, мама, и прощай.

Прощайте, горы мои — Ала-Тоо! Как я любил вас!

Твой сын — учитель, лейтенант Маселбек Суванкулов.

Фронт, 9 марта 1943 г. 12 часов ночи.

Как во сне я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. За белой нашей яблоней, за белыми вершинами далеких гор синело бесконечно чистое и бездонное небо. А во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет. Но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына, он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я увидела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями.

Вот так я лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его.

## 12

— А мне осталось имя его, Толгонай. Я его родина. Народу остались слова его, Толгонай. Они его земляки.

— Да, мать-земля, все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо Маселбека прислали в сельсовет его однополчане вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов, от взрыва этого смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рожают детей для жизни, для простого, земного счастья...

— Ты права, Толгонай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа, я всегда помню тот день, когда вы, люди, встречали солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толгонай, чего было больше — радости или горя.

## 13

В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом.

— Мама, соберайся быстрее, — заторопила она меня. — Народ идет солдат встречать.

Плуг, быки в ярме так и остались на пашне. Действительно, весь аил — конные, пешие, сгорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях, — все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий (зареченский как будто) сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона, там ребята со всех аилов и что они уже в дороге и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды, люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений.

Мы сбежались на окраину аила, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с седел, пешие поднялись на пригорок у арыка, мальчишки забрались на развалины недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали и смотрели на дорогу. Одни, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне, другие собрали по пригоршке камешков, стали гадать на них. И во всем этом — и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах — видели люди хорошие, желанные предзнаме-

нования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили, то на земле, может быть, не было бы войны.

Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя: кто вернется, а кто нет? Кто дождется, а кто нет? От этого зависела жизнь и дальнейшая судьба.

Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул с дерева: «Идут!» И все замерли, натянулись, как струны комуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут!» — и снова замолчали в ожидании, снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели: «Где? Где идут? Где?» — и снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок к нашему айлу, и с брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевого мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова, все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат с шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих.

Солдат подходил все ближе и ближе, потом остановился в нерешительности — тоже оробел, увидев на окраине айла безмолвную толпу людей. Он, наверно, подумал: что это за люди, почему они молчат, почему они стоят как вкопанные? Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два оглянулся на дорогу, но, кроме него, на ней не было ни души. Он снова зашагал к нам, и снова остановился, и снова оглянулся назад. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула:

— Это мой брат! Аширалы! Аширалы! — И, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со всех ног.

Бог ее знает, как она его узнала, только крик ее, как выстрел, вывел нас из оцепенения. За ней побежали мальчишки, девушки.

— Да ведь это он, Аширалы! Это он! — зашумели голоса, и тогда все, старые и малые, все мы хлынули толпой к солдату.

Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное, наши муки ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, наше мужество несли мы солдату-победителю. И он вдруг, поняв, что это встречают его, тоже побежал нам навстречу.

И когда мы бежали всей толпой, мне почудилось, что мимо пронесется с грохотом эшелон; ветер бьет в лицо, я слышу крик: «Мама-а! Алима-ан!» — и в ушах стучат, стучат колеса.

Конные первыми доскакали до солдата, на лету подхватили его шинель и вещевого мешок, а самого взяли за руки с двух сторон.

О, Победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши слезы! Прости мою невестку Алиман за то, что она билась головой на груди Аширалы и спрашивала его, трясая за плечи: «Где? Где мой Касым?» Прости всех нас, Победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики: «Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернутся все?» Прости солдата Аширалы за то, что он отвечал всем нам: «Вернутся, родные мои, все вернутся. Скоро вернутся, завтра вернутся». Прости нас, Победа, прости. Обнимая и целуя Аширалы, я думала в ту минуту о Джайнаке, о Масел-

беке, о Касыме, о Суванкуле: из них никто не вернулся. Прости меня, Победа...

Мы шли молча. Алиман все еще изредка и неожиданно всхлипывала, тяжело, шумно вздыхала, словно ей не хватало воздуха. Лицо ее было сумрачно, она смотрела только под ноги себе и, понутив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась: мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по ее лицу, по ее тоскливым взглядам и прикушенной губе. Я знала, о чем она думала, и говорила ей про себя: «Ну что ж, невестушка, верно, придется нам расстаться. Теперь-то уж небось ты окончательно похоронила Касыма. А что ж делать? Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовой. Все кончено. Ты уйдешь. Ничего не поделаешь — уйдешь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по прихоти уходишь. Судьба такая. Эх, судьба, судьба... Знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучаться. Жили мы с тобой, как мать с дочерью. Будешь уходить, благословлю тебя, как дочь свою, буду молиться за твое счастье. Тебе еще жить, молода ты и красива, найдется кто-нибудь. Главное, чтобы человек хороший попался. А сможет ли он быть для тебя таким, как Касым? Кто его знает. И помочь тебе я ничем не могу. Одна лишь просьба: когда уйдешь, то вспоминай меня хоть изредка. Никого у меня нет теперь, кроме тебя. Ведь я остаюсь в доме совсем одна, одна в целом свете. Подумать страшно. И нет мне утешения на старости лет: не успела ты родить мне внука. Но для тебя это, может быть, к лучшему. И ты не смотри на меня. Не губить же тебе молодость свою из-за меня, старухи. Я свое отжила. А тебе жить. Когда надумаешь, тогда и скажешь. Ты свободна уйти в любой день. Уйдешь со спокойной совестью. А я буду всегда тебя помнить, любить и благодарить тебя...»

Так я шла, думала и готовилась сказать эти слова. И Алиман, оказывается, знала, что у меня на уме. Когда люди живут душа в душу, они понимают друг друга с полуслова, с полунамека. И все-таки она сказала не то, чего я ожидала.

Мы шли мимо заброшенной улицы. И я на беду свою глянула на бывшую стройку Алиман и Касыма: на дворе там все так же, как пять лет тому назад, серой громадной кучей лежали навезенные камни, а кирпичи давно превратились в груды обломков. С тех пор как началась война, недостроенная улица совсем заглохла. Каждое лето усадьбы зарастали репьем и лебедой. Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки, выглядывали из пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе да грустно куковали удо-ды. Эти хохлатые птицы любят запустение кладбищ. Они и в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежились тихой теплыню весны и вполголоса, уныло переключались.

«Боже! — подивилась я пустоте. — Где же остались люди, что хотели здесь жить, иметь свой дым над очагом? И бедному Касыму моему не довелось построить здесь свой первый дом!» Пусто, горестно стало на душе. А Алиман, придерживая меня за руку, жалеючи, улыбнулась.

— Мама, — сказала она, — ну что ты так поникла? Или совсем уж разуверилась в жизни? Не надо, мама. Понимаю, тяжело. Но ты крепкая у меня. Ты у меня... — Она запнулась, собираясь что-то сказать, и, наверно, раздумав, виновато улыбнулась. — Ты у меня просто хорошая. Давай сядем здесь на бугорок, поговорим, мама.

«Ну вот, сейчас скажет, скажет, что уйдет», — подумала я. Горячей волной нахлынула жалость к себе и к ней, и я ответила, стараясь унять задрожавший голос:

— Хорошо, сядем, поговорим.

Мы присели на бугорок на краю дороги. Да, сели мы с ней так, вдвоем — свекровь и невестка, чтобы решить свою судьбу, как нам дальше быть.

Алиман потупчилась и, вздохнув, заговорила:

— Ну вот, мама, война проклятая кончилась. И ты теперь думаешь, наверно, как нам жить дальше. — Она замолчала, и я молчала. Алиман подняла глаза, серьезно и прямо посмотрела мне в лицо. — Не печалься, мама, — грустно улыбнулась она. — Думаешь, не осталось нам от счастья ничего, ну маленько, чуточку хотя бы. Не может быть, чтобы из четырех человек не вернулся ни один. Нет, ты постой, мама, не перебивай, послушай меня. Честно говорю, не мне тебя утешать и обманывать себя я не стала бы. Ты поверь мне, мама, сердце мне подсказывает так: Джайнак должен вернуться. Пропал без вести — это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. А может, он в плену или с партизанами скрывался в лесах, а теперь вдруг объявится. Или лежит где тяжело раненный и не может сообщить об этом. Всякое может быть. Вот увидишь — возьмет да вернется, упадет как снег на голову. Давай подождем, мама, не будем хоронить прежде времени. Были же случаи — ты же сама слышала — живыми оказывались не то что там без вести пропавшие, а даже те, на которых приходила черная бумага. Вот в соседнем аиле и еще где-то у казахов Желтой равнины уже оплакивали, поминки справили, а мертвые оказались живыми, вернулись. А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернется скоро. Никак не должно быть, чтобы из четырех человек ни один не вернулся. Давай по-временам, мама, долго ждали, подождем еще. А обо мне не беспокойся, если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын, вместо всех сыновей...

Алиман замолчала, и мы долго еще сидели молча. Была уже середина мая. Далеко-далеко от нас собирались в тучу облака и словно бы наливались черным дымом. Там погромыхивал гром. Оттуда тянуло прохладным духом дождя. В той дали шел светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримыми широкими шагами ходил по земле: то уходил в горы, то спускался вниз, то снова поднимался в горы, то снова опускался к степи. Я смотрела в ту сторону не отрывая глаз. Далеким дождевым ветром обдавало мое горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман. Слова мои для нее были там: такие же щедрые и светлые, как этот светлый далекий ливень.

Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ — и я с ним буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну. Нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и пустыми? Нет, война, сорок лет ты будешь топтать людей сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать — и все равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его.

А моя Алиман была человеком! Ради кого крепила она в себе веру в то, что наш Джайнак, спрыгнувший темной ночью с парашютом в стан врагов и бесследно пропавший той же ночью, непременно жив и непременно вернется? Ради кого убеждала она себя, что мир не так уж несправедлив, как нам кажется? И я не посмела разрушить эту веру, я не посмела смутить ее надежды на лучшее и даже поверила ей. А что, если правда Джайнак жив? Значит, не будет никакого чуда, если в один прекрасный день он вернется. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне, когда Алиман нарушила молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным.

— Мама, а ведь у нас плуг простаивает. Пошли, живей! Земля пересохнет, — заторопила она.

Мы прибежали на огород. Быки, волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом. Алиман пригнала их назад, мы снова установили плуг в борозду и продолжали пахоту. Странно, как мало надо человеку! Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алиман. Или мне так казалось? Но она вдруг превратилась в прежнюю, довоенную Алиман. Все в ней засветилось, и каждое слово ее, каждая улыбка и движение — все было таким, как когда-то. Она забросила на межу свой коротенький бешмет, подоткнула платье, засучила рукава, косынку сбила на затылок и ловко погоняла быков:

— Эй, белоголовый, цоб-цобе! Эй, куцехвостый, цоб-цобе! — покривляла она на них, хлестко хлопая длинным кнутом.

Алиман хотела, чтобы я немного приободрилась, чтобы я работала, жила. Потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она оборачивалась на ходу и, смеясь, говорила мне:

— Мама, полегче налегай на чапыги — камень пойдет наверх. Побереги свою силушку!

Когда осталось нам еще два-три круга пройти по огороду, и дождь подоспел. Это был шумный, веселый ливень. Дождь сначала потрогал спины волов первыми редкими каплями, призадумался — и затанцевал сразу всеми струями, заиграл, будто в ладоши захлопал, вмиг всполошил весь аил. Закудахтав, растопырив крылья, побежали куры с цыплятами. Женщины срывали белье с веревок и тоже бежали к домам. На улицу выскакивали детвора и собаки. Они носились в дождевой кутерьме наперегонки. Ребятишки пели песенку:

Дождик, дождик, подожди,  
Мне с тобою по пути...

— Намокнем! Побежим переждем! — сказала я Алиман.

Она мотнула головой:

— Ничего, мама, не раскиснем! — И как девчонка, захохотав от щекотки дождя, стала быстрее погонять быков.

И я заразилась ее весельем. Любовалась ею и шептала про себя: «Светлая моя, дождевая! Какая бы ты счастливая была! Эх, жизнь, жизнь...» Теперь-то я понимаю, что все это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселей глянула на жизнь. Алиман подставляла руки и лицо струям дождя и говорила мне:

— Смотри, мама, какой дождь! Смотри, какой чистый дождь! Год будет урожайный! Цоб-цобе, дождь, лей, поливай щедрей, цоб-цобе! — И хлестала кнутом струи дождя и парные спины волов.

Смеялась она и не знала, наверно, какая она была красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и сильными бедрами, с сияющими от счастья глазами и с разгоряченным румянцем на щеках. Будь же ты еще раз трижды проклята, война!

Когда ливень поредел и ушел гулять дальше, Алиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушивалась к его стихающему за рекой шуму, быть может, думая о том, что и дождь не вечен, что и он быстро проходит. Она печально вздохнула. Вспомнила ли она о Касыме или еще что, но, глянув на меня, снова улыбнулась.

— Вот кстати по дождю и засеем кукурузу! — сказала она и побежала домой.

Алиман принесла в ведерке намоченную кукурузу. Взяла полную пригоршню набухших, крупных зерен.

— Мама,— сказала она мне.— Пусть Джайнак вернется, пока поспеют молочные початки! — И швырнула по огороду первую горсть.

Никогда не забыть мне этот день. Как новорожденный ребенок, взглянуло из-за облаков омытое дождем чистое солнце. По темной влажной пашне Алиман шла босая и, улыбаясь, разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зерна, а зерна надежды, добра, ожидания.

— Вот посмотришь, мама,— говорила она при этом.— Сбудутся мои слова. Я еще сама испеку Джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной из-за початков. Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху — и бежать от меня. А початок как припечет ему живот. Он завертелся, словно ужаленный. Целое ведро воды выплеснул себе на грудь. А я нет, чтобы ему помочь как-то, со смеху покатываюсь и приговариваю все одно: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Помнишь, да, мама? — смеялась она, вспоминая этот забавный случай.

И за это спасибо ей...

## 14

— Да, Толгонай, долго вы ждали Джайнака.

— Долго, мать-земля. Кукуруза поспела не один раз, а два, три раза поспела, а Джайнак наш так и не вернулся. И никаких известий о нем не объявилось. Ты же помнишь, сколько раз я приходила к тебе со слезами, горем своим делилась...

— Приходила, Толгонай. Да, много раз приходила ты ко мне. Плакала, спрашивала, как быть с невесткой, не погубить бы ее молодую жизнь. Но ничем я не могла помочь тебе, Толгонай. И сейчас вот уже прошло столько лет, но и сейчас ничего не скажу тебе.

## 15

Жизнь шла своим чередом, колхоз стал понемногу налаживаться, житье полегчало и вместе с этим тускнела память о войне, стирались ее следы в душах людей.

Мы с Алиман все так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала молодым сразу же, как солдаты вернулись с фронта.

— Три года без вас поработала, походила по мукам, а теперь вы вернулись, беритесь за дело сами,— сказала я ребятам.— А меня увольте, постарела я за эти годы, буду вам и так помогать.

Тогдашняя молодежь меня и сейчас зовет: «Бригадир-апа», стало быть, уважают еще...

Хотя жизнь и вошла в свою колею, мы с Алиман так и не обрели покоя. Никто этого не замечал, но в душе мы постоянно страдали, постоянно думали об одном и том же. На первый взгляд, казалось бы, чего легче — с глазу на глаз откровенно потолковали: так и так, мол, пусть каждый пойдет по своей дороге, пусть каждый устраивает свою жизнь. Да, суть была очень проста. Если бы невесткой моей была не Алиман, а какая-нибудь другая женщина, если бы не была она так добра со мной, я не долго думая сказала бы ей в глаза, что, мол, нечего засиживаться — пока не поздно, найди себе мужа и уходи. А ей, Алиман, не решалась сказать этих слов. Ведь как ни подстилай слова помягче, как их ни выбирай, а смысл остается тот же — грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать ее поневоле. Однажды как-то заехали к нам по пути ее родственники из Каиндов. Чтобы совесть моя была чиста, я заставила себя сказать им, что, мол, Алиман свободна и я готова благословить ее. Но Алиман им так отрезала, что мне было неудобно

перед людьми и за себя и за нее. Она и говорить им запретила об этом. У меня, мол, своя голова есть, уйду я или не уйду, когда уйду — это дело мое, и не вмешивайтесь в нашу жизнь. Каялась я потом, что поспешила. Глаза прятала от Алимана. А она, умница моя, все поняла, словом не обмолвилась, как будто бы ничего и не было. Вот так мы и жили, жалели друг друга, обманывались надеждами на возвращение Джайнака; потом и эти надежды иссякли, а время шло, и уже стало поздно...

Как это получилось, я и сама не знаю. Аил-то наш на скотопрогоне. Издавна гоняют здесь скот — весной в горы, а осенью — с гор, в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по несколько дней. Отдыхают себе и отарам.

Осенью сорок шестого года гонял здесь свою отару по суходолу в поймище один молодой чабан из соседнего аила. Видно, солдат бывший, на нем еще была серая шинель, ездил он на хорошем коне, с ружьем через плечо, шубу возил с собой, притороченную к седлу. Часто он пронесился рысью по аилу. Ну, носится — и ладно, мало ли людей ездит по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала.

В ту осеннюю пору свадьбы шли в аиле. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козлодранье на конях. Чабан этот оказался ловким наездником. Мы с Алиманом собирались на свадьбу сходить. Пока она принаряживалась, по улице проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот чабан. Конь с запала горячился под ним, приплясывал, сам он ладно красовался в седле, с плетью в зубах, с подвернутыми рукавами гимнастерки. А у самых ворот лежала туша козла. Победитель игры волен бросить его в любой двор. Только я почему-то так растерялась, что и не знала, что сказать.

— Ты к чему это, сынок? — сорвалось у меня с языка.

А он спросил:

— Дома кто?

— А кого тебе надо? — говорю.

Тогда он пробормотал, мол, уронил козла, подхватил его с земли и, развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подросла погоня за ним. Увидели, что он ушел с козлом, и тоже следом помчались на конях. Вот и все. После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было. Раз уж привез в дом козла, должен его оставить хозяевам — обычай такой. А может быть, и в самом деле уронил случайно? Так почему же козел лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить?

Когда из дома вышла Алимана, я сразу все поняла. На ней был цветастый полушалок, шелковое платье. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, застыдилась.

— Пойдем, мама, — тихо сказала она.

Без слов стало ясно, почему прискакал сюда этот чабан. Я вспомнила, что вот уже несколько дней по вечерам Алимана ходит по воду на реку, хотя за двором в арыке полно воды, и возвращается поздно. Больно стало на сердце. Не потому, что я ревновала ее — а может быть, и ревновала, — но дело было в другом. Ведь я сама молила бога, чтобы Алимана не засиделась во вдовах, чтобы она быстрее нашла себе мужа, я желала ей этого, как счастья, а тут страх вдруг охватил меня. Забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна выдать замуж. Боялась я, как бы она не ошиблась, каково-то ей будет в новом доме, да к каким людям попадет, да что за муж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращалась домой, и дома не выходило у меня это из головы.

«Ты хорошо узнала его, Алимана? Что он за человек? Не торопись, доченька Алимана, смотри не ошибись. Узнай хорошенько человека», — просила я ее про себя. И думала, как бы не оказалась помехой на пути



молодых. Как бы так сделать, чтобы Алиман не стеснялась меня, как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступать, как считает сама нужным. И я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней, как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась и, не дай бог, не подумала, что я не одобряю ее. И все-таки знала она, оказывается, о чем я тревожилась.

Вечером, когда Алиман взяла ведро и пошла по воду, я облегченно вздохнула, словно гора свалилась с плеч. Вот и хорошо: пусть встретится с ним, подумала я. Но она быстро вернулась назад. На реку не пошла, а принесла воды из арыка.

— Мама,— сказала она, ставя ведро на место.— Я воды согрею, помой себе голову.

— Успеется,— говорю,— доченька, завтра есть день, если тебе куда надо...

Но она перебила меня:

— Завтра на работу, некогда будет. Ты помой, мама, я тебе волосы расчешу гребнем.

Нагрев котел воды, Алиман принялась возиться со мной, как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову. Сперва она заставила меня мыть волосы кислым молоком, потом душистым мылом, потом водой и снова мылом, и все время не отходила ни на шаг, то и дело меняла воду, горячую мешала с холодной и ковшем поливала мне на голову. В другой раз я бы не утерпела, сказала, чтобы она оставила меня в покое, но в тот вечер я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из-за меня она не пошла на свидание. «Вот ведь беда, ну зачем она это сделала?» — досадовала я и на себя и на нее. А Алиман как будто была очень довольна всем и, лишь расчесывая мне гребнем косы, сказала грустно:

— Мама, когда-то косы твои были густые, наверно, и ты ведь молода была.

Она тихонько погладила меня по голове и ласково коснулась ладонями моего лица. Я не поднимала глаз — слезы навертывались. «Стало быть, прощается со мной», — думала я с тоской. Потом она заплела мне косы и достала из сундука свои давнишние духи. Касым их покупал, а она все берегла. Я стала отмахиваться:

— Да что ты, Алиман, бог с тобой! Зачем мне это? Стыдно на старости-то лет, люди засмеют!

А она и слушать не хотела, смеялась, развеселившись, надушила мне лицо, шею, голову, вылила все, что оставалось в пузырьке. А потом стала обнимать меня, рассматривать со всех сторон.

— Ну вот, смотри, какая ты у меня молодая и красивая стала! — радовалась она своей затее.

Я тоже повеселела. После чая Алиман сказала:

— А теперь будем отдыхать, мама. Я тебе сейчас постелю.

В ту ночь мы обе не спали. Алиман думала о чем-то своем, вздыхала в углу, ворочалась с боку на бок. А у меня душа была полна ею. То мне виделось, как Алиман бежала по пшенице к комбайну с букетом дикой мальвы. Как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад. То мне виделось, как она не давала Касыму сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку. То вспоминалась наша поездка на станцию. Чудилось, мы быстро едем на бричке, Алиман сидит со мной рядом с морозным румянцем во всю щеку и вся запорошена снегом. Снег налип на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и она от этого кажется еще красивей. То мне виделось, как она кинулась ко мне с распростертыми руками: «Мама-а! Вдовы мы, несчастные вдовы!» То виделось, как она убежала

от меня в черном платке по красному полю тюльпанов. Все, что связывало нас, перебрала я в памяти и вдруг представила себе, как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу. Будто слышу ее голос: «Прости, мама, ужоу я. Не поминай лихом, прощай, мама!» Я бежала за ней по крутояру, махала рукой и тоже прощалась: «Прощай, свет мой! Закатилась звезда моя. Прощай, Алиман! Будь счастлива, прощай!.. Эй, парень! — кричала я чабану. — Смотри не обижай ее, береги мою невестку. А не то прокляну тебя, страшной клятвой прокляну!» Слезы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой, чтобы не услышала Алиман.

На другой день, вернувшись с работы, Алиман никуда не пошла. Осталась вечером дома. После этого чабан угнал куда-то отару и больше не появлялся. Алиман, видно, переживала это, ходила хмурая.

«Плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе, — ругала я ее про себя и жалела: — Эх, бедняжка ты моя, горемычная. И на что ты уродилась такая на беду свою!» Но дни шли, и понемногу все это забылось.

Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я заметила его в поймище, где он пас овец. И снова Алиман стала уходить по вечерам и возвращалась поздней ночью. Я ей ничего не говорила. Сама она должна была решать свою судьбу.

Как-то ночью я долго ждала Алиман. Аил весь спал, и я прилегла было, прикрутила лампу, но не спалось. Непокойно, тяжело было на душе. Ожидая Алиман, я прислушивалась к каждому шороху за окном. На дворе стояла луна, тучи иногда задевали ее краем, погода была тихая, весенняя. Знобило меня. Не от холода, а от одиночества. Укуталась я в шубу и задремала, сидя. А потом проснулась, испугавшись чего-то; смотрю. — Алиман появляется в дверях. Пуговицы на платье сорваны, видна голая грудь, волосы растрепаны и глаза помутневшие. Первый раз я видела ее пьяной. Переступив порог, она зашаталась, едва не упав, схватилась за печку и замотала головой. У меня мороз пробежал по коже.

— Что смотришь? — спросила она, подняв голову. — Ну что ты смотришь на меня? Да, я пьяна. Да, я пила водку. А что мне остается делать? Кому же пить, если не мне, а? Что молчишь?

Онемела я, слово не в силах была выдать. Жутко было глядеть, до чего невестка моя докатилась. Алиман стояла все так же, держась за печь. Опустив голову, она вдруг зашептала:

— Мама, ты ничего не знаешь. А я... я... я сегодня... Помнишь, когда провожали Касыма, мы ходили на реку. Вот там... — И, не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол и забилась в плаче.

И только тогда я пришла в себя. Кинулась я к ней, схватила ее, прижала к груди:

— Что с тобой, Алиман? Что ты плачешь? Ну скажи? Опечалилась? Или обидел кто? Скажи, скажи мне! Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи все, что на душе...

— Нет, нет, мама, мамочка! — захлебывалась Алиман в слезах. — Бедная моя, несчастная, одинокая моя! Ничего-то ты не знаешь... А если бы и знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама, ой, мама!

Долго еще она стонала, уткнувшись в меня мокрым лицом. А потом понемногу успокоилась и уснула. Но и во сне она продолжала всхлипывать и жалобно стонать. До самого рассвета просидела я у ее изголовья и все думала: как нам быть дальше? Что делать? Решила поговорить с ней начистоту. Но утром она не стала разговаривать со мной. И без того ей было тошно. Молча глазами просила не напоминать ей о том,

что случилось ночью, только когда мы выходили на работу, тихо сказала в воротах:

— Прости меня, мама.

И я не стала больше тревожить ее.

Прошло месяца три. Летом было следствие по делу того самого дезертира Дженшенкула. После войны он не решался открыто вернуться в аил, но украдкой по ночам, оказывается, бывал дома. Скрывался он где-то в Казахстане, промышлял там спекуляцией, перепродавал ворованный скот и вот попался. Выяснились его прошлые дела, и Дженшенкула привезли к нам в аил на очное дознание. Ко мне тоже прискакал рассыльный из сельсовета, говорит:

— Вызывают тебя свидетелем.

Я пошла. На улице встретила Алимана. Она возвращалась с работы. Усталая, понурая, шла она в сторонке от всех. Потемнела она лицом в то лето. Мне стало жалко ее, и, чтобы не сидела она дома одна, я сказала ей:

— Идем, детка, сходим в контору. Домой вернемся вместе.

А она ответила:

— Нет, мама. Что мне там делать? Я пойду домой, голова что-то болит.

— Ну, иди,— сказала я ей.— Да приляг, отдохни. Корову я сама буду доить.

Возле сельсовета стояла глухо крытая машина. На крыльце толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что завернули сюда по пути с работы. Давненько я не видела Дженшенкула, почитай лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, толсторожий сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая исподлобья, и огрызался в ответ кому-то:

— Ты говоришь, что я вор, а вы меня ловили руками, вы меня видели глазами? Нет! Так вот не возводи напрасно поклеп. Можешь говорить сто раз, и все это пустое. Факты, факты нужны!

Услышав это, я рванула приоткрытое окно и крикнула с улицы:

— Ты врешь, сволочь! Тебе факты нужны — вот я — факт!

— Мамаша, войдите сюда,— попросил меня следователь, привстав из-за стола.

Я вошла и сразу заговорила.

— Да, мы тебя не ловили на месте преступления. Да, нам и некогда было гоняться за тобой. Мы тогда ногтями пахали землю, мы тогда хлеб добывали для фронта. Мы тогда колоски собирали, чтобы прокормить детей. А ты угонял наших лошадей — с плуга срывал тягло рабочее. Ты тогда вырывал из рук последние семена, собранные по зернышку, от детей отрывали мы, а ты от нас. Значит, ты был врагом. И когда я догнала тебя, я крикнула: «Стой! Я тебя знаю. Дженшенкул, стой!» Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты!

Я замолчала, и следователь сказал мне:

— Спасибо вам, мамаша. Теперь вы свободны. Можете идти домой.

Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила жена Дженшенкула. Она, как бешеная, накинулась на меня с криком:

— Ах ты, карга одинокая! Ты все правды ищешь, и правда карает тебя. Так тебе и надо. Мало было, теперь поплачешь. Откуда живот у твоей невестки, а? Под носом у тебя твоя шлюха забрюхатела, а ты правды ищешь. Вот и поищите теперь вместе, бесстыжие твари!

Люди оттащили ее от меня в угол, зажали ей рот, но я сказала им:

— Отпустите ее, не троньте! — И молча пошла домой.

То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд жег мои ноги, но сначала я чуть не бежала. А потом медленно побрела, стала соби-

раться с мыслями. Никогда мне в голову не приходило такое, а ведь можно было догадаться. В последнее время Алиман как-то странно изменилась, неразговорчивой стала, нелюдимой, сторонилась даже подруг своих. Я приписывала это тому, что с чабаном тем у нее ничего не получилось. Он еще весной ушел в горы, и след его простыл. Думала, что не поладили они, вот она и переживает. Однако дело-то оказалось совсем другое. Ах, какая беда! Но кто мог знать, что так получится. Растерялась я, не представляла, что делать. На другой день вечером Айша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и за разговорами она сказала между прочим:

— А жена Дженшенкула ночью пересхала куда-то из аила.

Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, ну и пусть. Каждый волен себе. И только потом, года через два, я узнала: пришли ночью люди к жене Дженшенкула, погрузили все ее добро на брички и сказали: «Езжай куда хочешь. Тебе у нас в аиле нет места». После этого никто никогда не напоминал мне о нашей с Алиман беде. Может быть, самой ей и говорили что-нибудь, может быть, люди всякое думали про себя, кто жалел, а кто осуждал ее, но мне никто не намекал об этом, и за это людям великое спасибо. Прошло столько лет, но все по-прежнему уважают меня.

После того как я узнала, что Алиман беременна, у нас с ней ничего не изменилось. Жили, работали, советовались обо всем, как и раньше. О своем будущем материнстве Алиман не заговаривала. То ли не решалась, то ли откладывала до поры до времени. Я тоже молчала об этом, щадила ее гордость. А главное — в душе я не осуждала ее. Права такого не имела, потому что вся ее жизнь проходила на моих глазах, все я видела, все понимала и в чем-то сама была виновата. И поэтому я сразу сказала себе: если Алиман совершила грех, то это и мой грех, если она родит, то это и мой ребенок, и весь стыд, все тяготы и муки возьму на себя. Я знала, так же как и она, что рано или поздно наступит день, когда мы поневоле заговорим и простим друг другу долгое молчание. И все же мы откладывали разговор сегодня на завтра, завтра на послезавтра. Однажды я все-таки проговорила.

К концу лета, когда Алиман носила уже пятый или шестой месяц, как-то рано утром я погнала корову к стаду. Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоня коров, пастушок улыбался мне во всю рожицу.

— Тетушка Толгонай! — сказал он. — Суйунчу — дайте мне плату за хорошую весть! Сноха деда Джоробека родила!

— Да ну! Когда родила?

— На рассвете.

— Мальчик или девочка?

— Девочка, тетушка Толгонай. Сказали, что имя ее будет Жаворонок. Потому что родилась она на заре, как жаворонок!

— Вот и хорошо. Пусть долго живет. Спасибо за добрую весть.

Очень тронуло меня, что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чем думала и днем и ночью? Я крикнула в воротах:

— Алиман, ты слышала новость? Сноха Джоробека родила. Девочку. Слышала? Бедняжка так тяжело переносила; слава богу, благополучно... — И, не договорив, осеклась, словно камень попал на большой зуб.

Алиман стояла молча, опустив глаза и добела прикусив губу. Что подумала она в тот миг? Может, у нее мелькнула мысль, что, когда она родит, никто не будет с такой радостью оповещать об этом людей. Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость. Не смея взгля-

нуть ей в глаза, я подседа к очагу и принялась подкладывать кизяки в огонь, хотя в этом не было никакой нужды. Когда я обернулась, Алиман все так же, опустив глаза, стояла у стены. Сердце защемило от жалости. Я заставила себя встать и подойти к ней.

— Что с тобой, тебе нездоровится? — спросила я.

— Нет, мама, — ответила она.

— Может, тебе трудно на работе — полежала бы дома.

— Да нет, нетрудно, мама. Табак низать — какая же трудность, — сказала она и пошла на работу.

Тогда я решила, что больше тянуть нельзя. Надо сейчас же сказать, что ей нечего стыдиться, что все новорожденные одинаковы и что ее ребенок будет для меня родным. Буду нянчить его, как нянчила своих детей. Пусть она поймет это. Пусть не вешает головы. Пусть живет гордо. Смотрит людям в глаза смело — она имеет право быть матерью.

С этими мыслями я выбежала за ней, окликнула ее:

— Алиман, подожди минутку. Разговор есть, стой!

Она сделала вид, что не услышала, ушла, не оглянувшись.

Весь день переживала я, думала: «Нет, так дальше нельзя. Вечером скажу обязательно. Так будет легче ей и мне». Но не пришлось мне исполнить свое намерение. Вечером, когда я вернулась с работы, Алиман не было дома. Подождала и забеспокоилась. Что с ней? Почему так долго не возвращается? Собралась идти искать и, выйдя из дому, увидела Бекташа. Он молча вошел в калитку с большой охапкой зеленой травы. Так же молча бросил траву в кормушку корове и только тогда сказал негромко:

— Тетушка Толгонай, Алиман передала, чтобы вы ее не искали. Она сказала, что уезжает к себе в Каинды.

Ноги мои подкосились, я села на порог.

— Когда уехала?

— После обеда. Часа два тому назад. Уехала на попутной машине.

Я сидела как побитая. Так тошно, так беспросветно было на душе, точно час мой смертный настал. Бекташ стал успокаивать меня:

— Да вы не волнуйтесь, тетушка Толгонай. Шофер посадил ее в кабину. В кабине хорошо, — говорил он.

«Эх, Бекташ, Бекташ, если бы дело было только в этом», — думала я про себя. И все же я была благодарна ему за его бесхитрое утешение. В ту пору он был уже рослым парнем. Работал в колхозе ездовым. Посмотрела я на него и удивилась, как быстро он вытянулся, раздался в плечах. И походка и голос стали уже мужскими. И лицо спокойное, приветливое. Я его мальчишкой еще любила, и в такой горький для меня час хорошо было, что он пришел ко мне. Бекташ принес воды из арыка, поставил самовар, полил водой двор и стал подметать.

— Вы отдохайте, тетушка Толгонай, — сказал он. — Я сейчас кошму постелю под яблоней. Мама придет. Говорит, соскучилась по вашему чаю. Она сейчас придет.

После того как ушла Алиман, дни стали бесконечными. И как я могла до этого считать себя одинокой? Вовсе не знала я, оказывается, что такое настоящее одиночество. Потерпела дня три, а потом стало невмоготу. Дом не дом и жизнь не жизнь. Впору хоть уйти куда-нибудь скитаться по свету. А как подумаю, что там с Алиман, — еще тяжелей становилось. Хорошо, если родственники в Каиндах приняли ее подобру, а что, если издеваются: когда-то слушать не желала, не ваше, мол, дело, сама знаю, не вмешивайтесь, а теперь пришла опозоренная приют искать, теперь мы тебе нужны стали. Могли ей так сказать, конечно, могли. И если сказали, каково-то ей там? Гордая она, снесет ли эти упреки? Не дай

бог, руки еще наложит на себя. Эх, Алиман, Алиман, была бы ты рядом со мной, сама бы весь позор приняла, но в обиду никому не дала. Всякое думала, по-всякому гадала. А потом сказала себе: «Нет, так не годится. Поеду, узнаю, посмотрю сама. Буду упрашивать, может, послушается, вернется домой. Какое счастье было бы, если бы она снова вернулась. А если не захочет вернуться, ну что ж, ничего не поделаешь. Благословлю ее, поплачу и приеду назад». Так я решила и на другой день собралась в путь. Дом и корову поручила Айше. Бекташ остановил на улице попутную машину, села я в кузов и отправилась в Каинды.

Когда мы выехали за аил и двинулись по проселку, я заметила женщину, идущую по тропинке в жнивье. Сразу узнала — Алиман! Родная, ненаглядная моя, она возвращалась ко мне домой. Я заколотила кулаками по кабине: «Стой! Стой! Остановись!» Машина с разгона прошла еще немного, остановилась, я схватила курджун и скатилась с кузова. В налетевшей пыли все вокруг сразу скрылось, как в густом тумане. Я подумала даже, не во сне ли видела мою Алиман. Когда пыль ушла вслед за машиной, я снова увидела ее:

— Алима-ан! — крикнула я изо всей мочи.

Не помню, как добежала. Помню только, обнимались мы, целовались, плакали. И так истосковались, оказывается, друг по дружке, что и слов-то не находили, как сказать обо всем, что думано и передумано было за эти дни. Ласкала я, гладила лицо Алиман и все говорила одно и то же:

— Вернулась, да? Вернулась, доченька моя. Вернулась ко мне, к матери своей! Вернулась!

Алиман отвечала:

— Да, вернулась! Вернулась, мама, к тебе. Вернулась!

И когда мы стояли так, обнявшись, ребенок ее вдруг шевельнулся внутри и раза два толкнул ножкой в живот. Мы обе услышали эти толчки. Алиман положила руки на живот и стала осторожно гладить его ладонями. И глаза ее в ту минуту будто перевернули всю мою жизнь. И как мне могли приходиться в голову скверные мысли о ней! О, святое материнство! Одна лишь такая капля счастья окупит море твоих страданий. Я прижалась к ее щеке и, не удержавшись, заплакала:

— Ненаглядная моя, сердечная, ласковая! Как я боялась за тебя!

Она успокаивала:

— Не плачь, мама. Прости меня, глупую. Не уйди мне никогда от тебя. Попробовала, ничего не получилось: не вытерпела я, все время тосковала о тебе.

Я решила, что подошел самый удобный случай для нашего откровенного разговора, и сказала ей:

— Ты почему ушла, обиделась?

Она молчала, точно обдумывая свой ответ, а потом со вздохом сказала:

— Не спрашивай меня об этом, мама. Зачем тебе это? Ты мне ничего не говори, и я ничего не буду тебе говорить. Не мучай меня, мама, и так мне тошно.

Опять она уклонилась от разговора. И вот так всякий раз. Как она не понимала, что этим делала себе только хуже.

Осень в том году была затяжная и очень дождливая. Не было дня, чтобы не капало сверху. И в эти серые, долгие, ненастные дни мы большей частью сидели дома. И так же, как сама осень, томилась Алиман. Все больше мрачнела, вовсе перестала разговаривать и смеяться. Все думала о чем-то. Сдавалось мне: последние дни донашивала она ребенка. Как ни старалась я расшевелить немного ее, прибодрить шуткой, лаской, ничего из этого не получалось. Не дитя же она маленькое,

чтобы ее печаль можно было развеять шуткой. Да не только я — и другие пытались как-то помочь ей в беде, но что можно было сделать? Бекташ однажды привез нам соломы. Говорит, мать снова слегла. И я пошла попроведать Айшу. Жар был у нее, кашляла. Я ее пожурила немного.

— Сама,— говорю,— ты виновата. Знаешь, что беречься тебе надо, так нет, куда там, разъезжать стала по гостям, да в такую погоду.

Она виновато улынулась. Возразить-то ей было трудно, потому что до этого ездили они, четыре женщины, на бричке Бекташа в соседний аил в гости к кому-то, на свадьбу. Когда я собиралась было уже уходить, Айша задержала меня.

— Постой,— говорит,— Толгонай, если не осерчаешь, разговор есть у меня к тебе.

— Ну, говори.— Я вернулась от дверей.

— В нижний аил мы ездили не на свадьбу. Родственников там у меня нет, ты это и сама знаешь. Задумали мы одно дело, хотя и без разрешения на то от тебя, так ты прости нас, Толгонай, хотели, как лучше. Нашли мы этого парня, чабана, ну и взяли его в оборот. Говорим: так и так, Алиман уже на сносях, последние дни, а ты и глазу не кажешь. Как же так получается? Нехорошо вроде! Однако ничего у нас не вышло из этого. Во-первых, жена у него есть, а во-вторых, совести у него нет. Отрекся: не знаю ничего и знать не хочу. Ни в какую. Да тут еще жена его пронюхала в чем дело. Да такая скандальная баба оказалась, накричала, наорала на нас, срам один. Обесчестила и прогнала. А в пути дождь застиг холодный, промокли до ниточки, вот и слегла я. Но и это ладно, как же теперь с Алиман-то, а? — И Айша, зажимая рот, заплакала.

— Не плачь, Айша,— сказала я ей.— Пока я жива, в обиду ее не дам! — И вышла. А что я еще могла сказать?

Потянулись трудные дни, роды приближались, и тут уж я не спускала глаз с Алиман. Она во двор — и я за ней. Ни на шаг не отставала. Боялась, как бы не упустить схватки. А не то стала бы я разве надоедать ей?

А однажды смотрю — оделась она тепло, платком укуталась.

— Ты куда,— говорю,— доченька?

— На реку пойду,— ответила она.

— Не ходила бы ты, что там делать на реке в такую сырость? Посиди лучше дома.

— Нет, пойду.

— Ну, тогда и я пойду. Одну тебя не отпущу,— сказала я.

А она так глянула на меня — и все, что наболело у нее на душе за эти дни, всю свою злобу сорвала на мне:

— Да что ты привязалась ко мне? Чего тебе надо от меня? Что ты ходишь по пятам, как тень? Оставь меня в покое. Думаешь, подохну я, что ли, не подохну! — Хлопнула дверь и ушла.

Будто по сердцу моему хлопнула она дверью. Очень обиделась я. И, однако, не уседела, опять же вышла на задворье глянуть, где Алиман. Не видно было ее, ушла она в поймище.

Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавало. Ветер таскал за космы седые тучи. В саду было неуютно. Деревья стояли голые, озябшие, с мокрыми, потемневшими ветвями. Народ весь сидел по домам. Безлюдно кругом. За дымной мглой вдали едва угадывались гребни темного хребта.

Подождала я немного и потом пошла следом: пусть как хочет ругает меня, но хуже будет, если ляжет где-нибудь в сырости, когда начнутся схватки. Выйдя на тропу за огородом, я увидела Алиман. Она возвраща-

лась. Шла медленно, едва передвигая ноги и понуро опустив голову. Поспешив домой, я поставила чай, быстренько надела оладей на сметане и яйцах. Потом расстелила на кошке чистую скатерть и принесла яблочко-зимовок, выбрала самые красивые. Алиман вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне.

— Замерзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладей,— сказала я ей.

— Нет, ничего мне не хочется кушать, мама. Дай вот одно яблоко. Попробую,— ответила она.

— Может, у тебя где болит, Алиман, ты скажи мне,— стала допытываться я.

Но она опять сказала:

— Не спрашивай меня, мама. Я какая-то сама не своя. Ненавижу себя. И тебя обругала ни за что. Лучше оставь меня в покое.— И махнула рукой.

Наступила ночь, и, укладываясь спать, я с обидой думала, что теперь Алиман не нравится все, что бы я ей ни сказала, и с этой обидой уснула. Обычно я часто просыпалась по ночам, поглядывала, как там Алиман, а тут сон придавил меня, словно камнем. Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза — да десять ночей подряд не прислонила бы голову к стене...

Не помню, когда и отчего я вдруг проснулась. Глянула — а Алиман нет на месте. Спросонья-то не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла на двор. Подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алиман. Постель холодная, и у меня сердце похолодело: давно уже она встала! Кое-как оделась и выскочила во двор. Обошла все углы, сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать ее: «Алиман! Алиман!» — не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам. Муторно стало мне: значит, ушла! Куда же она ушла в такую темную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветила и с фонарем в руках пошла искать. Но, выходя из дверей, услышала, будто застонал кто и вскрикнул в сарае. Кинулась через двор, рванула двери сарая — и фонарь чуть не выронила из рук, застыла, не веря своим глазам: Алиман лежала на соломе навзничь. Рожала. Металась в горячке.

— Да что же ты это? Почему не сказала? — закричала я и бросилась к ней.

Хотела помочь, стала приподнимать ее и содрогнулась, когда на руку мне вернулся пропитанный кровью подол платья. Алиман горела, как огонь. Она тяжело и с хрипом выдыхала:

— Умираю. Умираю.

Видно, давно уже она маялась.

— Упаси боже! Упаси боже! — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор.

Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окна изо всех сил:

— Вставайте, вставайте быстрее! Бекташ, запрягай бричку. Плохо с Алиман! Быстрей, милый, плохо с ней!

Разбудила их, прибежала назад, дала Алиман воды. Зубы ее стучали по кружке, било ее, как в лихорадке, кое-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заохала. Тут подросла Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Как увидела, что с Алиман — с лица сошла, запричитала:

— Алиман, милая, да что ж это такое? Алиман, деточка моя! Не бойся. В больницу повезем!

К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потому лошадей не отвел на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро



пригнал бричку во двор. Мы набросали в нее сена, постель постелили, подушки подложили и втроем кое-как вынесли Алимана из сарая, положили в бричку. И тут же, не медля, поехали в больницу.

Ах, эта разбитая осенняя дорога, ах, эта темная проклятая ночь... Больница была тогда только в Заречье, а мост через реку в объезд далеко внизу.

Как только мы выехали из аила, у Алимана снова начались схватки, она закричала, стала сбрасывать с себя все. Я держала ее голову у себя на коленях. То и дело укрывала одеялом, то и дело подносила к лицу фонарь — все смотрела ей в глаза, успокаивала. И Бекташ успокаивал:

— Потерпи, Алимана. Скоро приедем. Вот увидишь, сейчас приедем. До моста уже рукой подать.

До моста было еще кто его знает сколько. Погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя — растрясет Алимана. А тут дождь припустил сильнее. Все будто сошлось одно к одному — тьма непроглядная, холодный дождь, грязь да ухабы. Алимана билась в судорогах, стонала, кричала и вдруг как-то сразу затихла, захрипела.

— Алимана! Алимана! Что с тобой? — всполошилась я, обняла ее, посветила фонарем. На меня глядели ее горящие глаза.

— Остановитесь! Умираю я! Остановитесь! — проговорила она черными, запекшимися губами и стала задыхаться.

Мы остановили бричку.

— Подними мне голову выше, — попросила она. — Воздуху не хватает. — И заплакала. И торопясь, глотая слезы, стала говорить: — Мама, родненькая... Горит у меня все внутри, сил нет... Умираю я... Спасибо тебе за все, мама. Прости меня... Если бы Касым был жив.. О-ой, Касым, умираю я... Прости меня...

Я взмолилась перед ней:

— Нет, доченька, не умрешь ты. Потерпи, потерпи, родная. Вот уже до моста недалеко. Слышишь, не умрешь ты!

Ее снова скрутило. Стиснув зубы и теряя сознание, она забилась из последних сил.

— Бекташ, — приказала я. — Бери ее под руки, поднимай! Быстрей! Да не стыдись ты, ради бога!

Бекташ поднимал Алимана, а я старалась помочь ребенку. Потом Бекташ заплакал навзрыд, и тут снова вдруг вспомнился мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: «Мама-а! Алима-ан!» И сейчас же раздался крик новорожденного. О жизнь, почему ты так жестока, почему ты так слепа! Ребенок родился, а Алимана умерла. Я успела только завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алимана, уже безжизненно висела на руках Бекташа. Голова откинулась набок, руки болтались, как плети.

— Алимана! — вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку: пульс пропал.

В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть!

Когда мы повернули назад, рассвет уже занимался. В сумеречном свете кружились крупные белые снежинки. Они мягко опускались на дорогу. Вокруг была тишина — ни звука, во всем мире была белая тишина. И в этой белой тиши бесшумно тащились усталые лошади с белыми гривами и белыми хвостами, беззвучно рыдал Бекташ, сидя на бричке. Он не погонял лошадей, лошади сами шли. Он всю дорогу плакал. А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребенка под чепан у себя на груди, и белый снег на земле казался мне черным.

Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной дорогой в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить... А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым, мягоньким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила: «Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью». И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль: «А ведь жизнь не совсем погибла, осталась росточек». Но тут же подумала: «Да какой же он хилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его». Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе: «Ну, оставь в живых хоть этого! Не дай ему умереть. Может, выживет! Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась, и незаметно наступило утро, когда мы добрались до аила.

Снег все так же бесшумно и густо валил, все так же стояла вокруг белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины недостроенной улицы показались еще более страшными. От того, что здесь было начато семь лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, заматывая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураев. На бывшем дворе Алимана и Касыма, точно в память их забот и мечтаний, все также лежали гряда камней и куча кирпичей.

Навсегда успокоенная, Алимана лежала бледная, с закрытыми глазами. Голова моталась из стороны в сторону, снег падал на ее лицо и не таял.

У первых дворов аила Бекташ прыгнул с брочки и первый раз в жизни громким мужским плачем оповестил людей о смерти человека. Из дворов стал выбегать народ, нас обступили со слезами. Прибежала Айша, заголосила на всю улицу, взяла у меня ребенка и понесла его к себе домой.

Через день мы похоронили Алимана. По обычаю, женщине не положено идти на кладбище, но я пошла, и никто ничего не сказал мне: в доме у меня не было мужчин, чтобы я могла соблюсти обычай. Я сама схоронила Алимана, сама уложила ее на дно могилы и сама бросила первую горсть земли. В тот день тоже шел густой, пушистый снег. Красная куча глины быстро стала белой горкой.

Весной я посадила на могиле Алимана цветы. Каждую весну сажаю. Ведь она очень любила цветы.

Ну, а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жанболота кормила грудью сноха деда Джоробека, а потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горя вдосталь, стоит ли об этом говорить. Одним словом, было ему написано на роду остаться в живых, и он выжил. И за это благодарю судьбу. Теперь ему двенадцать лет. Доктор, что лечил его маленького, — нынче известный в округе человек, и сейчас при встрече спрашивает:

— Ну как, бабушка, внучек-то растет?

— Слава богу, — говорю, — джигит уже!

Он смотрит на меня и улыбается:

— Вот и хорошо, расти его человеком.

Знает он нас с Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и занемог не на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает и дышит едва-едва. Схватила я его — и быстрее в больницу. И опять же ночью да в зимнее время вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким пар-

нем, недавно, наверно, учение кончил. Как увидел меня, что дрожу я от холода в мокрой одежде, перепугался, замахал руками:

— Да вы с ума сошли, кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители?

— Я ему и отец и мать, сынок. Не дай ему помереть. Если помрет, жить не буду,— сказала я ему.

Всю ночь он возился с малышом, через каждые два часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил, однако утром свалилась я в жару, кровью захаркала. Лежала я в горячем тумане, в забытьи. Помню только, что доктор подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил:

— Не сдавайся, мамаша, держись. Внучек твой смеется уже, выздоровел.

— Коли так, и я вытяну,— прошептала я.

Может, потому и выжила я, что внук остался жив.

Летом в этом году интересный случай был. На каникулах бежал он по улицам, а потом смотрю — выволоч во двор велосипед Касыма. Тот самый, двадцать лет висел он в сарае под крышей. Да, вытащил, стало быть, и давай ремонтировать. Ну, я ничего не сказала, мальчишка ведь, думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было нечего: железо все в ржавчине и резина полопалась. Прибегали друзья его и тоже смеялись. Это, говорят, рухлядь, допотопная машина. А он упрямый, сопит и делает свое. Не знаю, получилось бы у него что-нибудь или нет, если бы не Бекташ. Он тоже ввязался в это дело. И тоже с самым серьезным видом, как мальчишка, хотя он и отец семейства. Бекташ любит Жанболота, если что — и в школу ходит к учителям. Женился он, когда Айша была еще жива. Умерла она года через три после Алимана. Крепко убивалась я по подруге своей. Сколько мы с ней повидали горя. А Бекташ хорошим вышел человеком. Разумный, работающий. Трое детей у него, жена — Гульсун — добрая соседка. А сам он давно уже комбайнером работает.

Так вот однажды Жанболот появился с велосипедом, начищенным, смазанным, и сам весь в масле.

— Бабушка,— сказал он,— смотри, какой стал отцовский велосипед!

У меня и руки отнялись: радостно и горько мне стало от этих слов. А он загордился:

— Я,— говорит,— и ездить уже умею. Вот смотри!

На седло сесть — ноги не достают педалей, так он прицепился сбоку к велосипеду, перегнулся весь и поехал, завихлял из стороны в сторону: вот-вот свалится.

— Слезь, упадешь! — прикрикнула я.

А он еще пуще. В ворота — и на улицу. Я за ним. Разогнался по дороге да как полетит с размаху вместе с велосипедом. Сильно ушибся. Я добежала, подняла его с земли, стала ругать:

— Убиться хочешь, что ли? Ишь что выдумал! Не смей больше ездить!

А он говорит:

— Я больше не буду падать, бабушка. Это я попробовать хотел, я ведь еще не падал с велосипеда.

Я рассмеялась. Смотрю, Бекташ стоит у калитки. Вроде бы так просто, стоит и поглядывает. Он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Но мы без слов поняли друг друга.

А тут вскоре жатва началась. Бекташ как-то зашел к нам вечером.

— Хочу,— говорит,— вашего Жанболота в помощники взять на комбайн.

— Если подходит, бери,— согласилась я.

Разрешить-то разрешила, а через два дня пошла проведать. Дитя ведь еще: может, трудновато будет на уборке.

Жанболот мой работал на комбайне соломушкой. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы:

— Бабушка! Я здесь!

А Бекташ, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился.

До самого вечера сидела я в тени под деревом у арыка и смотрела на жатву. Машины пылили взад-вперед по дороге, отвозя обмолот на тока.

В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Жанболот шагало устало и гордо, подражая Бекташу, и, так же молча и так же фыркая, стал умываться по пояс в арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался:

— Бабушка, ты яблоки принесла?

— Принесла,— ответила я.

И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал.

Бекташ прыснул со смеху.

— Что ж ты важничал? Давно бы так. Ну, поласкайся, поласкайся, а то некогда будет.

Ужинать сели мы на траву подле полевого вагона. Хлеб был горячий, только что испеченный. Жанболот разломил лепешки и сказал:

— Бери, бабушка!

Я благословила хлеб и, откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук. Хлеб припахивал керосином, железом, соломой и спелым зерном. Да-да, в точности, как тогда! Я проглотила хлеба со слезами и подумала: «Хлеб бессмертен, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна, и труд бессмертен!»

Домой меня комбайнеры не отпустили. Говорят, вы у нас гостья, оставайтесь ночевать в поле. Мне постелили на соломе. Глядела я в ту ночь в небо, и чудилось мне, что Млечный Путь усеян свежей золотистой соломой, рассыпанными зернами и шелухой обмолота. И в той звездной выси, сквозь Дорогу Соломушки, как далекая песня, уходит эшелон, удаляется стук его колес. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришел на свет новый хлебороб. Пусть долго живет он, пусть будет у него столько зерна, сколько звезд на небе.

А на рассвете я поднялась и, чтобы не мешать комбайнерам, пошла в аил.

Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. Он взлетал все выше и выше в ясное небо, повис там серым комочком и, словно человеческое сердце, неустанно бился, трепыхался, немолчно звенел на всю степь. «Смотри, запел наш жаворонок!» — говорил когда-то Суванкул. Чудно, даже жаворонок был у нас свой. И ты бессмертен, жаворонок мой!

— О поле, мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмета яби. Сейчас здесь нас двое — ты да я, и больше никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я поклонюсь памяти Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алиман. Пока жива, я их

никогда не забуду. Придет время, расскажу обо всем Жанболоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем, то он поймет все. А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека?

Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям.

Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой каплей своей скажи!

Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям!

— Нет, Толгонай, ты скажи. Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех, ты — Человек! Ты скажи!

18

— Ты уходишь, Толгонай?

— Да, уйду. Если жива буду, приду еще. До свидания, поле.

*С киргизского перевел автор.*



---

С. ЩИПАЧЕВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### *Поэзия*

Когда, ища слова живые,  
в душе поэзия проснулась?  
Ее увидел я впервые  
в дождинке, что у глаз блеснула,  
в порханье утреннем синицы,  
в коленцах соловьиных звонких  
и в капле пота над ресницей  
с серпом склонявшейся сестренки.  
Ее внушали мне не арки,  
а люди, что тесали камень,  
пальба, когда казался жарким  
булыжник под броневиками.  
Но, тех побед целую флаги,  
поэзия глядится в дали.  
Ни для нее ли на рейхстаге  
потом автографы остались?  
И нелегки ее дороги:  
ведь в жизни не одни победы,  
ведь и она за все в тревоге:  
за жизнь ребенка и планеты.  
Сперва дождинкою блеснула  
она возле капустных грядок,  
а после в душу заглянула  
прищуром ленинского взгляда.

### *О жизни и смерти*

«Что жизнь! — говорит мне сосед. — Всех нас  
ждет смерть. В этом мире мы только гости.  
Наверно, видел и ты не раз,  
как в крышку гроба вбивают гвозди.

По шляпке стучит, стучит молоток:  
вот в том человеку и вся награда,  
а ты проповедуешь людям, браток,  
как надо жить и как жить не надо».

В лицо мне с усмешкою глянул старик,  
кухонный философ, ехидства и пошлости слепок.  
А в мире весна. Горласт петушиный крик.  
В открытые окна вливается влажное небо.

И мальчик горн пионерский к губам поднес  
и славит, славит великое жизни начало,  
чтоб стал человек выше гор, выше звезд,  
чтоб слава дерзаний его никогда не кончалась.

Обидно, конечно, что жизнь человеческая коротка.  
Но в поле цветок не увидит и первого снега,  
и все же прекрасна недолгая жизнь цветка,  
и трижды прекрасна недолгая жизнь человека.



---

Е. ВИНОКУРОВ

★

## ПАМЯТЬ

*Мнемозина — по-гречески память.*

Ее когда-то звали Мнемозина  
и преклонялись. А на мой же взгляд —  
она всего подобье магазина  
универсального, или, вернее, склад,  
где весело навалены на полки  
события за многие года.

И кажется, того и жди подпорки  
не выдержат и рухнут, и тогда,  
как в той поднявшейся неразберихе,  
в том хаосе ночном, как в том аду,  
облупленный твой домик на Плющихе,  
в нем комнату, а в ней тебя — найду?  
Тьма беспросветна вечности.

Найду ли,  
хлебнув забвенья из ночной реки,  
испуг во сне, и лифчик твой  
на стуле  
и две ко мне протянутых руки?





---

М. ГАЛЛАЙ

★

## ИСПЫТАНО В НЕБЕ\*

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О смелости, риске, ходе времени, суеверии и многом другом

**З**адание на боевой вылет было получено. Мы со штурманом Николаем Лебедевым вышли из землянки командира полка и по протоптанной в лесу тропинке направились в свою эскадрилью.

Не знаю, была ли на всем фронте — от Баренцева до Черного моря — еще хотя бы одна авиационная часть, которая базировалась в лесу. Не на опушке и не на лесной поляне, а в самой что ни на есть чаще многолетнего хвойного леса.

Чтобы добраться после приземления до своей стоянки, нам приходилось добрых полкилометра осторожно рулить по выложенной бревнами извилистой лесной дороге. Сомкнувшиеся над ней раскидистые ветви сосен делали ее совершенно невидимой сверху. Поэтому-то наш полк и не нес потерь на земле от налетов авиации противника. Ей предоставлялась полная возможность вволю — сколько душе угодно — бомбить и штурмовать всякую жестяно-фанерную бутафорию, соблазнительно расставленную вдоль опушки леса по краю летного поля. А мы в это время спокойно занимались своими текущими делами, вплоть до подготовки немедленного — «в хвост» только что резвившимся над нашим аэродромом фашистским самолетам — ответного визита к ним.

Но сейчас мы получили другое задание. Командир полка майор (ныне генерал-полковник авиации) Г. А. Чучев приказал нашей эскадрилье бомбить эшелоны с боеприпасами и боевой техникой противника на одной из станций железной дороги Ржев — Великие Луки.

Он напомнил (хотя мог бы этого и не делать: подобные вещи сами по себе неплохо запоминаются), что станция сильно прикрыта зенитной артиллерией и что над ней весьма вероятно патрулирование истребителей противника. Так что ухо нам следует держать остро!

В своей пушистой меховой шапке и кожаном пальто с прикрытыми воротником петлицами Чучев был похож скорее не на командира боевого полка пикирующих бомбардировщиков, а на директора завода или заведующего учреждением, дающего своим сотрудникам распоряжения сугубо хозяйственного характера. Впрочем, это сходство происходило, наверное, главным образом от его манеры разговаривать с подчиненными, даже при отдаче боевого приказа, спокойным, подчеркнуто деловым тоном, с неизменным детальным разбором всех подробностей, способных усложнить выполнение задания либо, наоборот, способствовать ему.

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

И на сей раз, только «обговорив» все детали, Чучев отодвинул зарисованную карандашами всех цветов штабную карту и тем же ровным, спокойным голосом закончил свою речь приказом:

— Бомбардировать!

Когда я, прибыв на фронт, впервые услышал из его же уст это слово — «бомбардировать», — оно, помнится, показалось мне каким-то архаически вычурным. Возникали ассоциации со старинными, украшенными фигурным литьем пушками, круглыми ядрами с дымящимися фитилями, даже с воинским званием Петра Первого — «господин бомбардир». Но никакого другого, более подходящего слова я и сам придумать не смог: «бомбить» — звучало удобно, но несколько жаргонно и для завершения официального боевого приказа не годилось, «произвести бомбометание» — не по-военному многословно, «атаковать» — не отражало специфики нашего рода оружия... Действительно, лучше, чем «бомбардировать», пожалуй, не скажешь.

Ну что ж, бомбардировать так бомбардировать...

Мы с Лебедевым откосыряли командиру полка, повернулись и вышли из землянки на свет божий.

В лесу полным ходом шла подготовка машин к вылету: техники гоняли моторы, оружейники подвешивали бомбы и заряжали пулеметы, ползали, выворачиваясь среди деревьев, автозаправщики. От звенящего рева моторов и тревожного треска пробных пулеметных очередей с ветвей осыпался недавно выпавший снег. Воздушные струи от вращающихся винтов подхватывали его и превращали в какую-то удивительную, закрученную штопором, неизвестно откуда и куда — с неба к земле или от земли к небу — несущуюся метель.

«Дóма», в землянке нашей эскадрильи, нас ждали.

Летчики, штурманы, стрелки-радисты внимательно, без особых комментариев, выслушали задание. Вопросов ни у кого не возникло. Через какие-нибудь пять минут можно было бы уже подавать команду: «По машинам!» — но делать это не имело смысла, так как до назначенного времени вылета оставалось добрых полчаса.

То ли задание мало отличалось от десятков других, выполненных эскадрилей за последние месяцы, то ли я был по своей командирской неопытности чересчур лаконичен, но, так или иначе, между получением боевого приказа и началом активной деятельности по его выполнению образовался разрыв — десятки минут ничем не заполненного времени.

Впоследствии я усвоил, что такой разрыв крайне нежелателен. Но на сей раз мне и самому не оставалось ничего другого, как продолжать сидеть в землянке, натужно поддерживать разговор, конвульсивно переоскакивающий с одной посторонней темы на другую, и поглядывать по нескольку раз в минуту на часы.

Впрочем, кроме всего этого, было еще одно доступное мне дело — я мог наблюдать за окружающими. Занимаясь этим, я легко обнаружил бросавшееся в глаза обстоятельство: никто из участников предстоящего вылета не остался точно таким, каким был до объявления боевого приказа!

У одних изменения в выражении лица, в манере разговора, во всем внешнем облике были заметнее, у других — более скрыты, но в той или иной степени они коснулись всех присутствующих (не исключая, наверное, и меня самого).

Люди, на которых я смотрел, были безусловно смелы. Об этом свидетельствовала их ежедневная, текущая, будничная боевая работа: бомбардировки, разведки, трудные бои с вражескими истребителями, с зенитками, даже с суровой изменчивой погодой первой военной зимы. Да и предстоящее сегодня задание они, без сомнения, выполнят безу-

пречно. Конечно же, эти люди, во всяком случае большинство из них, не трусливого десятка!

Впрочем, что, в сущности, значит смелые? И каково место этого симпатичного человеческого свойства в нашей летной профессии?

В ранней молодости, когда я восторженным оком взирал на настоящую авиацию из ее авиамодельного преддверья, смысл выражения «хороший летчик» не вызывал у меня ни малейших сомнений. Послушно следуя за журналистами и писателями, я мысленно наделял хороших летчиков прежде всего такими эпитетами, как «храбрый», «отважный», «бесстрашный».

И только оказавшись в Отделе летных испытаний ЦАГИ, я не без удивления обнаружил, что среди самих летчиков-испытателей в ходу совсем другие оценки: «грамотный», «дотошный», иногда неожиданное — «хитрый» и как высший комплимент — «надежный».

Никто не говорил здесь: «он летает изумительно», или «поразительно», или «блестяще». Вершиной положительной оценки было замечание: «он летает грамотно» или «профессионально».

И, конечно, не в одной терминологии тут было дело.

В первой книге этих записок я уже говорил о том, как под влиянием старших товарищей — коллектива летчиков-испытателей ЦАГИ — постепенно во мне формировался новый, строго деловой взгляд на такие категории, как риск, смелость, отвага. «Обыкновенное» и «исключительное» в облике летной профессии незаметно (хотя, говоря откровенно, не без некоторого внутреннего сопротивления) менялись в моем сознании местами.

В течение многих последующих лет мои товарищи по оружию, выполняя свой долг (сами они охотнее говорили — «неся службу»), давали десятки и сотни примеров такого мужества, что пропустить его, не заметив, было невозможно. И, конечно, каждый такой случай воспринимался всеми нами с большим уважением. Но все же ценили мы достойное поведение летчика в сложной обстановке прежде всего с позиций чисто деловых, рассматривая его как один из рациональных, выгодных, а потому обязательных элементов летного мастерства. К вопросу: а что же, в сущности, такое смелость как психологическая и моральная категория — не то чтобы не было интереса, а попросту «не доходили руки».

\* \* \*

Письмо группы моряков Балтийского флота, пересланное мне несколько лет назад редакцией флотской газеты, застало меня, откровенно говоря, врасплох.

Вот что писали старший матрос А. Абдукадыров и его товарищи:

«У нас завязался спор о героизме, о подвиге. Одни считают, что герой — это тот, который ничего не боится. Он может ночью, не задумываясь, броситься в штормовое море, закурит на пороховой бочке, один вступить в драку против нескольких, смело поспорить с командиром, если чувствует себя правым. Такой и врага не побойтсся. Вот Павка Корчагин — ведь был, что называется, сорвиголова... А Чкалов? Он же с гауптвахты не выходил. А какой герой был!

Другие говорят, что на подвиг способен только тот, кто в повседневной жизни ни на шаг не отступает от устава, всегда безупречно повинуется приказаниям. А может быть, такой человек просто боится наказания? Тогда в минуту опасности он тем более струсит!..

Есть еще среди нас и такое мнение, будто для подвига нужны определенные условия. На фронте, в бою — там все зависит от тебя. А что у нас?.. У нас чуть ли не подвигом считается, если матрос в штормовую

погоду две смены подряд отстоит на вахте. Но разве это героизм? И что такое героизм вообще?..»

Поначалу, каюсь, я не собирался отвечать на это письмо.

Не собирался прежде всего потому, что никак не считал себя таким «специалистом по подвигам», который знал бы в этой области нечто неизвестное прочим смертным. Мне ежедневно приходилось встречаться с людьми, гораздо более достойными, нежели я, выступать в роли учителей и наставников в этом вопросе. Им, как говорится, и карты в руки. Да и вообще вряд ли существуют в природе некие универсальные «рецепты» подвига, храбрости, отваги, которые можно было бы, как бирки, нацепить на эти явления.

Но тем не менее письмо моряков, при всей утрированной полярности обрисованных в нем «типов героизма», заставило меня задуматься и натолкнуло на попытки сформулировать, хотя бы для собственного употребления: что же в конце концов такое смелость?

Многое из утверждений моряков — авторов приведенного письма — вызывало возражения.

Прежде всего — насчет «ничего не боится».

Инстинкт самосохранения — естественное свойство человека. Людей, которые относились бы к грозящим им опасностям совершенно равнодушно, нет.

Вся разница между так называемыми «храбрыми» и так называемыми «трусливыми» людьми заключается в умении или, наоборот, неумении действовать, несмотря на опасность, разумно и в соответствии с велением своего долга — воинского, служебного, гражданского, а иногда и неписаного — морального.

Со временем подобный образ действий входит в привычку. И тогда «храбрый» человек приобретает прочный, почти автоматический навык «загонять» сознание опасности куда-то в далекие глубины своей психики так, чтобы естественная тревога за собственное благополучие не мешала ему рассуждать и действовать быстро, ловко, четко, не хуже, а лучше, чем в обычной, спокойной обстановке.

Если же говорить о природной, смолоду естественно присущей данному человеку смелости или, наоборот, робости, то и их нельзя рассматривать как полное отсутствие реакции нервной системы на опасность в первом случае и наличие такой реакции — во втором. Нервы нормального, психически здорового человека никогда не остаются безразличными к опасности. Речь может идти только о двух разных видах этой неизменно возникающей реакции.

И гут-то у меня в памяти всплыла фронтовая землянка, в которой два десятка людей ждали вылета навстречу вражеским истребителям, многослойному зенитному огню, навстречу возможной смерти.

Повторяю, никто из этих людей не остался точно таким, каким был до объявления боевого приказа. Но по характеру видимых изменений можно было разделить всех присутствующих в землянке на две четко отличающиеся друг от друга группы.

У одних голоса стали громче. Их лица порозовели. Им не сиделось на месте. Они то вскакивали, то вновь садились, то принимались без явной к тому необходимости переключать снаряжение в своих планшетах. Их нервная система пришла в возбуждение, активизировалась. Конечно, это было вызванное сознанием предстоящей опасности волнение. Но — волнение смелых людей. То самое волнение, благодаря которому они в бою — это было неоднократно проверено — действовали энергично, активно, решительно, вовремя замечали все изменения в скоротечной обстановке воздушных сражений и принимали в соответствии с этим разумные, грамотные решения. В результате такие люди

считались (да и были в действительности) храбрецами, и успех в бою почти всегда сопутствовал им.

Но были среди присутствующих и другие. Они замерли. Побледнели. Углубились в себя. Им не хотелось не только разговаривать, но даже вслушиваться в разговоры окружающих: чтобы привлечь их внимание, приходилось иногда по нескольку раз окликать их по имени. Нервная система этой категории людей тоже реагировала на предстоящую опасность, но реагировала по-своему: торможением, снижением активности. Конечно, добиваться успеха в бою и тем более прослыть смельчаком в подобном состоянии было трудно.

Письмо матроса Абдукадырова и его товарищей проявило в моей памяти этот, казалось бы, прочно забытый эпизод первой военной зимы, наверное, потому, что очень уж благоприятны были в тот раз условия для психологических наблюдений. Прямо как в лаборатории: тут и достаточно большая группа людей, поставленных силой обстоятельств в совершенно одинаковые условия, и повышенно нервная обстановка, вызванная рискованностью задания (вылет получился действительно нелегкий), а также тем, что не очень опытный ведущий не сумел рассчитать время проработки задания так, чтобы закончить ее командой: «По машинам!..»

Знакомая с летчиком, у нас любят задавать традиционный, столь же старый, как сама авиация, вопрос:

— А летать страшно?

Если подойти к этому вопросу всерьез (чего в большинстве подобных случаев делать, конечно, не следует), то ответить на него односложным «да» или «нет» невозможно.

В каждом полете — даже не боевом или испытательном (трудно сказать, который из них «острее») — летчик вынужден требовать от своей нервной системы больше, чем едва ли не в любом ином виде трудовой человеческой деятельности.

Но вопреки распространенному мнению природа этой неизбежной нервно-психической нагрузки состоит прежде всего не в преодолении страха, а связана, как правило, с вещами, гораздо более невинными: вынужденно неизменной позой, шумом, вибрациями, а главное — длительно действующим безотрывным напряжением внимания. Пока летчик управляет летательным аппаратом, он не может позволить себе даже мысленно отвлечься от своего дела. Не может встать, потянуться, пройтись по комнате, чтобы стряхнуть усталость. Должен быть всегда готов без промедления и правильно реагировать на возможные осложнения обстановки. Вынужден действовать без пауз и остановок, в том именно темпе, который задан внешними обстоятельствами — сменой этапов полета.

В этом — главное! А не во всепоглощающем разгуле инстинкта самосохранения!..

\* \* \*

Почему-то в авиационной литературе последних лет наблюдается явный перебор всяческих «страхов».

Даже в интересной книге «Один в бескрайнем небе» — записках известного американского летчика-испытателя Уильяма Бриджмэна, написанных им в соавторстве с писательницей Жакелиной Азар, — этой моде отдана обильная дань.

Слово «страх» повторяется в этой книге кстати и некстати, едва ли не на каждой странице. «Охвативший меня страх» (это при перебоях — даже не при полном отказе — в работе двигателя), «предстоящая встреча с самолетом внушала мне страх», «оставить все это, чтобы пойти на-

встречу страху», «хорошо знакомое чувство страха и опустошенности перед каждым полетом» и так далее, вплоть до сообщения, что полетное задание казалось летчику судебным приговором, а новый самолет вызывал у него ассоциации не более и не менее, как... с операционным столом и даже электрическим стулом!

Все это противоречит прежде всего облику самого Бриджмэна, его отличным скоростным и высотным полетам на ракетном самолете «Скай-рокет», в которых были достигнуты рекордные для начала пятидесятых годов высота (24 километра) и скорость (1,88 скорости звука). Под гнетом непроходящего страха таких полетов не выполнить!

Кстати, в опубликованных в американской прессе статьях самого Бриджмэна — без соавторства с Азар — никаких подобных «страхов» нет. Боюсь, что и в книге они появились в результате отступления жизненной правды перед соображениями «читабельности» (такое порой случается, причем не в одной только Америке)...

В действительности эмоции летчика перед полетом и в полете представляют собой, как мне кажется, сложный, многокомпонентный сплав. Тут и вкус к своей работе, тут техническая и «общечеловеческая» любознательность, чувство долга, самолюбие, даже азарт, по своему характеру близкий к спортивному, и, наверно, много другого.

Присутствует здесь, конечно, и знакомая нам реакция нервной системы на опасность — «страх», по терминологии Бриджмэна и Жакелины Азар.

Но его место в этом сложном букете чувств далеко не первое.

Иначе ни один летчик просто не стал бы летать. И тем более видеть в этом наивысшее наслаждение своей жизни.

Очень точно сказал по этому поводу заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Григорий Александрович Седов: «Если человек, отправляясь в полет, считает, что идет на подвиг,— значит, он к полету... не готов!»

Это изречение по достоинству стало классическим.

И как всякую классику, его уже нередко перевирают и даже приписывают авторство другим лицам. Поэтому я и пользуюсь случаем, чтобы воспроизвести эти очень точные, умные и правильные слова, а также напомнить, кто их подлинный автор.

\* \* \*

Но где же пролегает грань между разумным, обоснованным риском и бессмысленным, опасным озорством — тем, что в авиации издавна получило образное наименование «воздушного хулиганства»?

Вообще говоря, такая грань существует — это н у ж н о с т ь, общественная целесообразность поступка, претендующего на то, чтобы именовать себя героическим.

Бездумно пренебрегать опасностью — нерационально. Более того — это аморально. Аморально потому, что не имеет права человек бессмысленно, «за просто так» рисковать драгоценным даром природы — собственной жизнью.

Казалось бы, все ясно. Пробный камень найден — остается последовательно им пользоваться.

К сожалению (а может быть, и к счастью), живая жизнь сложнее, чем любая самая стройная схема. Железный критерий целесообразности иногда оказывается очень хитро замаскированным.

Взять хотя бы пресловутое «воздушное хулиганство» — без преувеличения одно из самых страшных зол в авиации. Не раз этот ярлык без излишних размышлений навешивался на попытки летчика добраться до

всех глубин возможностей своей машины, практически убедиться, что она может, а чего не может, и научиться в совершенстве использовать это «что может».

Более того: бывает порой, что летчик выполняет заведомо технически доступные его самолету, но тем не менее весьма рискованные маневры для того, чтобы приучить самого себя не терять твердости руки и верности глаза в тех именно ситуациях, в которых они особенно необходимы.

Моряки — авторы полученного мной письма — упоминали о Чкалове. Действительно, его летная биография, можно сказать, полна подтверждений только что сказанного. Всем известно, например, как однажды Чкалов пролетел под одним из раскидистых ленинградских мостов через Неву. Менее известно, что едва ли не каждый летчик последующих поколений на определенном этапе своей летной жизни, когда собственное искусство пилотирования представляется безукоризненным, а самолет беспредельно послушным (это счастливое, хотя и весьма небезопасное состояние наступает обычно на втором-третьем году летной службы и длится, слава богу, сравнительно недолго), находил «свой» мост, пролетал под ним один или несколько раз и таким несколько прямолинейным, но убедительным способом приобретал в собственных глазах право ощущать себя достойным наследником Чкалова.

Для чего они это делали? Для чего пролетал под мостом сам Чкалов?

Проще всего было бы сказать — «воздушное хулиганство»: ведь элементы этого явления в поведении самого молодого Чкалова и тем более его менее известных последователей, конечно, были. Но безусловно не они одни!

Если подойти к тому же полету под мостом, так сказать, с линейкой в руках, нетрудно установить, что технически он вполне выполним. Расстояние между опорами моста превышает размах самолета, на котором летал Чкалов, не меньше чем раза в три. В просвет между поверхностью воды и нижней точкой центрального пролета самолет также проходит с изрядным запасом.

Казалось бы, остается спокойно прицелиться издалека и лететь себе на высоте двух-трех метров над водой, пока мост не прогремывает звучным барабанным эхом над головой летчика и не останется позади. Выполнив такой бреющий полет над водой — вполне по силам любому пилоту средней квалификации.

Единственное дополнительное обстоятельство, которое несколько осложняет дело, это... наличие самого моста. Осложняет по той же труднообъяснимой причине, из-за которой пройти по доске, лежащей на земле, значительно проще, чем если бы она находилась на уровне шестого этажа.

Этот-то чисто психологический фактор и хотел опробовать, собственными руками «пощупать» Чкалов. Мост для него был контрольным инструментом, которым он измерял свою способность не ошибиться в том самом случае, в котором ошибаться нельзя. К таким случаям надо готовиться загодя!

Другое дело, что избранная Чкаловым и его последователями «методика подготовки» вряд ли заслуживает безоговорочного одобрения.

Но приклеить к ней ярлык «воздушного хулиганства» и этим ограничиться — тоже нельзя...

А вот еще пример смелого, более того — героического поступка, целесообразности которого с первого взгляда далеко не очевидна.

В ту самую первую военную зиму сорок первого — сорок второго года, которую я уже вспоминал в начале этой главы, летчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов был командиром звена истребительного авиационного полка на Калининском фронте.

Это была уже вторая война, в которой ему довелось участвовать: он пришел в наш коллектив худеньким двадцатилетним лейтенантом с орденом боевого Красного Знамени — за Халхин-Гол — на груди.

Испытательский талант этого незаурядного летчика выявился в полной мере уже в послевоенные годы. Достаточно сказать, что именно он первым поднял в воздух такой без преувеличения этапный в истории нашей авиации самолет, как реактивный истребитель со стреловидным крылом МиГ-15.

В день, о котором идет речь, Юганов получил задание во главе своего звена сопровождать бомбардировщиков.

К моменту, когда группа ПЕ-2, базировавшихся глубже в тылу, подошла к передовому истребительному аэродрому, Юганов и оба его ведомых (звено истребителей в то время состояло еще не из четырех, а из трех самолетов) сидели в кабинах своих машин и были готовы к запуску моторов и взлету.

Увидев бомбардировщиков над головой, Виктор махнул рукой ведомым: «Запускай!» — открыл воздушный кран, включил зажигание и нажал кнопку пускового вибратора. Чихая выхлопами сжатого воздуха, мотор лениво перебрал несколько раз лопастями винта, дал одну вспышку, другую — и заработал, выплюнув из патрубков облако белого дыма от масла, накопившегося за время стоянки в камерах сгорания.

Взгляд налево — винт у левого ведомого уже крутится.

Взгляд направо — тут дело хуже: правый ведомый безуспешно пытается запустить мотор. Вторая попытка, третья — снова безрезультатно. По-видимому, дает себя знать трескучий, более чем тридцатиградусный мороз, успевший за короткое время настолько охладить мотор, что он требует повторного прогрева специальной печкой. Скандал! Полный скандал!

А шестерка пикировщиков, распластавшись в крутом вираже, делает уже третий круг над аэродромом. У них тоже время расписано по минутам. Как бы ни сложились обстоятельства — с сопровождением или без него, — но бомбовый удар по цели они обязаны нанести не когда-нибудь, а точно в заданный момент.

Ждать больше нельзя. И Юганов, кратко бросив своему единственному готовому к взлету ведомому: «Сокол — девятый! За мной!» — вырывается на узкую, расчищенную от снега полосу полевого аэродрома, разворачивается в ее конце и начинает разбег.

Еще несколько секунд — и истребитель в воздухе. Левая рука летчика привычным движением надавливает на черный шарик головки рычага шасси и поднимает его вверх. Легкое, едва слышное сквозь шум мотора шипение, двойной хлопок закрывающихся створок по днищу фюзеляжа — и машина еще энергичнее рванулась вперед и вверх: шасси убралось.

И в тот же момент боковым зрением летчик замечает: за левым плечом у него пусто — ведомого нет. Быстрый поворот головы, и только тогда становится виден ведомый, у которого одна лыжа убралась, а вторая как ни в чем не бывало несуразно торчит наружу. Из-за этого-то машина уже отстала на добрых пятнадцать—двадцать метров от ведущего и продолжает отставать дальше.

— Не убирается правая нога, — докладывает Юганову ведомый.

— Спокойно! Попробуй еще раз: выпусти шасси и убери снова.

Но ни вторая, ни третья, ни четвертая попытки успеха не приносят. Как всегда в подобных случаях, исправная нога послушно выпускается и убирается, а «забастовавшая» упорно торчит в прежнем положении.



В таком виде — с неубранной ногой — истребитель в воздушном бою будет для своих товарищей не подкреплением, а только обузой!

Раздумывать больше нет времени. И Юганов, мысленно (а может быть, и не только мысленно) крепко выругавшись, командует ведомому идти на посадку, а сам энергичной горкой пристраивается к бомбардировщикам, уже взявшим курс за линию фронта, к цели.

Это не укладывалось ни в какие нормы тактики воздушных сил, но летчик Юганов в одиночку полетел сопровождать бомбардировщиков в тыл противника!

Безрассудство? Жест отчаяния?

Так действительно могло показаться с первого взгляда: ну какую там помощь сопровождаемым сможет оказать одиночный истребитель, когда на него навалится по меньшей мере шестерка или восьмерка «Мессершмиттов» (в меньшем составе они тогда не летали)?

Потом, на земле, Юганов убедительно ответил на этот вопрос.

Его ответ был прост и логичен: шансов на выигрыш боя с группой истребителей противника у него в самом деле, практически не было — это он понимал отлично. Но расстроить боевой порядок врага, отвлечь его от бомбардировщиков, по крайней мере пока они сбросят бомбы, возможно, даже сбить одного-двух истребителей противника он рассчитывал твердо.

— Да и вообще, — добавил Виктор, — полный расчет пожертвовать одним одномоторным самолетом-истребителем, в котором сидит один человек, ради прикрытия, хотя бы телом собственной машины, двухмоторного трехместного бомбардировщика. Даже такая игра стоит свеч. А я надеялся успеть еще кое-что до того, как меня собьют...

Этот разговор с Югановым — к счастью, он все-таки состоялся — произошел уже на земле. А в воздухе ведущий группы пикировщиков, поняв самоотверженный замысел истребителя, дал команду своим ведомым следовать за одиноким «ястребком», в бою прикрывая его огнем бортовых пулеметов, а в случае, если он будет поврежден, но сможет хоть кое-как держаться в воздухе, разомкнуться, впустить в середину своего строя и так проэскортировать до дома.

На этот раз дело обошлось без боя. Скрытности действий всей группы сильно помогла благоприятная (в данном случае это означает — очень плохая) погода в районе цели. Встреча с вражескими истребителями не состоялась.

Но трудно переоценить моральный подъем экипажей бомбардировщиков, видевших в течение всего полета «истребительное прикрытие» в лице носящегося над ними маленького одинокого самолетика! Это было, можно сказать, практическое занятие на тему «Что такое героизм».

\* \* \*

Нервное возбуждение, возникающее у нормального, здорового человека в минуту опасности, не только вооружает его для того, чтобы благополучно выпутаться из острой ситуации. Оно, кроме всего прочего, еще и облегчает ему связанную с этим психологическую нагрузку, ибо сильно занятому, активно действующему человеку не до «переживаний».

Но до чего же противно, когда вызванный сознанием опасности приток энергии в силу тех или иных обстоятельств не находит себе выхода!

Однажды я имел возможность хорошо прочувствовать это.

Мы с ведущим инженером В. В. Уткиным попали в очередной «переплет»: на нашем двухмоторном самолете вышел из строя один двигатель, а лететь горизонтально на втором моторе машина по ряду причин кате-

горически не желала. Так мы и тянули к дому со снижением. А впереди еще добрых полсотни километров!

Представьте себе такое положение: установлена и скрупулезно — километр в километр — выдерживается наивыгоднейшая скорость. Створки и заслонки выключенного мотора плотно закрыты, а на работающем прикрыты, насколько это только можно, чтобы не перегреть наш единственный оставшийся источник движения. И все же, несмотря на все принятые меры, машина неуклонно снижается!

Больше ничего я сделать не могу. Уткину в этом смысле все-таки легче: он продолжает упорные, хотя и безуспешные, попытки восстановить нормальный режим работы отказавшего мотора или хотя бы загнать его винт во флюгерное положение. Результатов, правда, пока не видно, но так или иначе он «при деле».

А мне остается одно: ждать. Долгие, полновесные минуты ждать, что же в конце концов окажется под носом нашей машины, когда окончательно растает уменьшающийся с каждой секундой запас высоты: ровное поле аэродрома или густой частокол многолетних деревьев мрачного, густого леса.

Не раз приходилось мне видеть просеки, пробитые упавшим в лес самолетом. Сначала срезанные верхушки, затем деревья, перебитые у середины ствола и стоящие наподобие колодезных «журавлей» с поникшей к земле вершиной; и наконец, сплошной бурелом исковерканного обгорелого древесного крошева вперемешку с разбросанными остатками самолета... и всего, что в нем было.

Не берусь утверждать, что воспоминания о подобных вещах, мелькавшие где-то на задворках сознания, действовали вдохновляюще.

Втыкаться в лес категорически не хотелось...

Еще минуту назад этот лес размеренно уплывал назад. Теперь его бег убыстрился. Затем стал еще стремительнее. И вот уже деревья, сливаясь в сплошную буро-зеленую пелену, угрожающе мелькают едва ли не под самым брюхом самолета. Нет, мы не стали лететь быстрее. Я по-прежнему точно держу одну и ту же, постоянную, наивыгоднейшую скорость. Дело обстоит хуже — мы летим совсем уже низко!

Принято считать, что летчику-испытателю, укрощающему внезапно взбрыкнувшую технику, приходится в лихорадочном темпе совершать одно действие за другим: включать и выключать разные кнопки и тумблеры, крутить всякие штурвалы, что-то тянуть на себя, что-то толкать от себя — словом, работать в поте лица, лишь бы успеть в течение считанных секунд, отпущенных в его распоряжение суровыми обстоятельствами, проделать все, что надо. Ни для каких «переживаний» тут ни времени, ни внимания не остается.

Действительно, чаще всего так оно и бывает.

Много лет спустя после случившейся у нас с Уткиным раскрутки винта отказал двигатель на сверхзвуковом реактивном самолете летчика-испытателя В. С. Ильюшина. Скоростной истребитель, лишившись тяги, «сыпался» к земле с огромной скоростью, неудержимо снижаясь на многие десятки метров в секунду. Аэродром был, правда, недалеко, но, как говорится, «не там, где надо». Чтобы попасть на него, необходимо было описать в пространстве очень хитрую кривую — нечто вроде глубокой, круто нисходящей спирали переменного радиуса. Трудно, очень трудно было, выполняя эту головокружительную спираль, в то же время разобратся, где упрется в землю траектория движения самолета: на аэродром или до него. И в зависимости от этого своевременно решить, что делать: продолжать ли заход на посадку или, если это безнадежно, катапультироваться.

После благополучного завершения этой трудной посадки у Ильюшина спросили:

— Володя, а в какой момент захода ты убедился, что попадаешь на аэродром?

Летчик секунду помялся и, видимо, решив «не темнить» (разговор происходил в среде коллег и имел для них немалое деловое, чисто профессиональное значение), признался:

— Окончательно — когда сел...

Словом, это был случай, в котором летчик-испытатель попал в исключительно сложное положение и отлично справился с ним. Но психологически он обошелся — именно благодаря своей предельной быстротечности — «дешевле», чем по существу гораздо более простая ситуация, в которую попали мы с Уткиным.

Нам приходилось пассивно ожидать...

Но вот наконец в дымке впереди что-то светлеет — это поле нашего аэродрома!

Последние деревья на самой опушке лесного массива кажутся мне еще выше остальных. Конечно, это только кажется, но теперь даже такое обстоятельство, как чуть-чуть большая или чуть-чуть меньшая высота этих последних сосен («Вымахали тоже, черт бы их побрал!»), может сыграть в исходе дела решающую роль.

Не уверен, что мы не срезали винтами несколько верхушек на самой границе леса, потому что темп событий в этот момент снова предельно убыстрился. Через полминуты мы будем на земле, но выпускать шасси — я это интуитивно чувствую — рано. Выходящие наружу колеса резко увеличат сопротивление, машина затормозится, и мы приземлимся среди ям и канав, досадно не дотянув до аэродрома (вот он, ограждающий его забор: прямо перед нами) каких-нибудь двухсот метров. Но и мешкать с выпуском шасси тоже нельзя: оно выходит не мгновенно, а в течение приблизительно пятнадцати секунд. Не успеют его стойки полностью выйти и стать на замки до приземления — и машина тоже будет поломана, причем еще более конфузным образом: на середине собственного аэродрома, до которого мы с таким трудом дотянули. Рано — плохо и поздно — плохо. Начинать выпуск шасси надо точно в «ту самую» секунду, чтобы оно вышло до конца к моменту приземления.

...Рано... рано... рано... пора! Подчиняясь интуиции — своему «летному глазу», перевожу кран шасси до упора вперед и сразу всем телом чувствую, как тормозится машина. Вот проскочил под нами аэродромный забор (дотянули-таки) — и самолет несется над ровной зеленой травой летного поля.

Краем глаза вижу, как загорается на приборной доске зеленая лампочка. Но где же вторая? Самолет почти в посадочном положении, сейчас он сядет, а одна нога не выпущена.

И тут, к сугубому удивлению Уткина, с похвальной невозмутимостью наблюдавшего за ходом событий, я громко рявкнул, обращаясь к замешкавшейся правой ноге:

— А ну, давай выпускайся!..

И в ту же секунду нога встала на место! А буквально в следующее мгновение колеса самолета зашуршали по траве аэродрома...

Самое противное во всей этой истории было пассивное ожидание — куда приведет нас неотвратимое снижение: то ли на аэродром, то ли в гущу могучих стволов многолетнего леса.

Это было противно прежде всего потому, что было противоестественно, противоречило проявлению нормальной человеческой реакции на опасность — стремлению к активной деятельности.

Поэтому-то опытные, квалифицированные, много полетавшие наблюдатели и переносят, как правило, всякие рискованные ситуации нервнее, чем летчики. Тут дело не в том, конечно, что одни «храбрее», а другие «трусливее». Просто летчик в подобных ситуациях обычно больше занят, чем наблюдатель.

Правда, попадались мне, особенно в последние годы, когда на борту испытываемого самолета стали в изобилии появляться так называемые «узкие специалисты», и такие наблюдатели, которые сохраняли завидное олимпийское спокойствие даже в самых опасных положениях. Но это объяснялось уже другим: они просто недостаточно понимали в авиации, чтобы правильно оценить рискованность происходящего.

Это была так называемая «храбрость неведения».

Такой же храбростью неведения болеют (именно болеют) и многие молодые летчики, вызывающие бурное восхищение у некоторой части околоавиационной и, к сожалению, даже авиационной публики. Впрочем, летать с такими летчиками их поклонники не любят. Летают они охотнее с летчиками, которых укоряют за осторожность.

\* \* \*

В наши дни смелый поступок, особенно в авиации (хотя, конечно, не в ней одной), почти всегда имеет свою «технологию».

Грубо говоря, совершить такой поступок надо уметь.

Эффектные строки:

...Рассудку вопреки,  
Наперекор стихиям ..—

в авиации категорически неприменимы: успешно продвигаться «наперекор стихиям» здесь удается, только неуклонно следуя велениям рас-судка.

Зачастую знание настолько вооружает человека, что он, не испытывая никаких тревог, уверенно делает свое дело, в то время как наблюдающие со стороны зрители удивляются его смелости. Так, житель большого города спокойно переходит улицу с оживленным движением. Он ориентируется по показаниям светофоров, знает расположение «островков безопасности», понимает намерения водителей автомашин — словом, он знает, как надо действовать в данном случае.

А человеку приезжому та же улица представляется хаотическим нагромождением всяческих опасностей; увидев, что транспорт на перекрестке остановился, он долго не может решиться начать переход. Собравшись наконец с духом — как раз в тот момент, когда сигнал светофора вновь сменяется и скопившаяся на перекрестке масса машин, взревев моторами, трогается с места, — он с мужеством отчаяния бросается им наперерез. В сущности, он прав, этот приезжий: переход улицы для него действительно предприятие безумно опасное. Но столичного старожила он считает смельчаком напрасно.

Подобно этому и летчик, в совершенстве владеющий сгустком современной техники — самолетом, — сплошь и рядом спокойно, в полном сознании своей безопасности выполняет маневры, со стороны представляющиеся порой довольно рискованными. Такое состояние — назовем его условно «храбростью знания» — представляет собой прямой антипод «храбрости неведения». Прямой и, главное, значительно более надежный!

История авиации знает множество примеров, подтверждающих это. Еще в свое время Нестеров настаивал на выполнении виражей и разворотов обязательно с креном — тем более глубоким, чем круче разворот. Сейчас мы просто не представляем себе, как можно делать виражи ина-

че. Но во времена Нестерова — еще до первой мировой войны — кренов боялись и при изменении направления полета старались сохранять то же «ровное», без крена положение машин, которое было при движении по прямой. Психологически пилотов тех времен можно, пожалуй, понять: им приходилось тратить столько сил и внимания, чтобы на своих неустойчивых, плохо управляемых, все время норовящих опрокинуться летательных аппаратах сохранять «нормальное» положение в пространстве! А тут кто-то предлагает им самим, собственной рукой, нарочно выводить машину из этого столь тщательно оберегаемого положения. Страшно!

И потребовалось немало времени (еще долго после этого старые инструкторы учили выполнять развороты без крена, «тарелочкой») и — увы! — крови, чтобы эта эмоция уступила натиску знания. Сейчас ни один начинающий учлет не расходует и грана своей нервной энергии на «переживания» и ни в малейшей степени не чувствует себя героем, закладывая машину в глубокий — одним крылом к небу, а другим к земле — вираж.

Получается, что знания, умение, опыт иногда не только подкрепляют собой устои смелости, но даже, если можно так выразиться, принимают часть ее функций на себя!

Конечно, говоря о личной смелости, мы имеем в виду прежде всего непосредственных участников полета. Но знания, подкрепляющие или даже частично «заменяющие» смелость, суть удел гораздо более широкого круга людей — от «мозгового треста» авиационных ученых и конструкторов и до вооруженных практическим опытом механиков и мотористов. Нельзя в наши дни, на современных летательных аппаратах летать, не думая. Но столь же невозможно, не думая (или думая плохо), и руководить испытаниями в воздухе. Методическое руководство должно, как шитом, прикрывать летчика-испытателя в его трудной, нестандартной работе.

Много лет назад на наших глазах из-за ошибки методического руководства случилось тяжелое летное происшествие.

На самолете ЯК-3 — самом легком и маневренном истребителе военных лет — нужно было выполнить несколько десятков фигур высшего пилотажа. Это требовалось для того, чтобы уточнить перегрузки, фактически действующие на машину при произвольном энергичном маневре. А чтобы на результаты испытания не повлияла индивидуальная манера пилотирования, присущая любому летчику не в меньшей степени, чем походка или почерк, решено было разбить задание на несколько полетов и поручить выполнение каждого из них разным испытателям.

Первым ушел на стройном ЯКе в воздух еще молодой в то время летчик-испытатель Игорь Владимирович Эйнис.

Набрав высоту, он осмотрелся вокруг, включил приборы-самописцы и начал пилотаж. Мотор то работал на полной мощности, то шуршал на малом газу, прерываемом звучными хлопками из патрубков. Машина, сверкая на солнце, то вздымалась вверх, то пикировала носом вниз, то лихо, будто насаженная на невидимый вертел, вращалась вокруг собственной продольной оси.

Игорь «таскал» самолет во все стороны так энергично, как только мог. К этому его побуждало, кроме всего прочего, и то обстоятельство, что после него на то же самое задание и на этом же самолете должен был идти признанный мастер высшего пилотажа Сергей Николаевич Анохин — ныне Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, один из наиболее популярных пилотов нашей страны. Эйнису, естественно, очень не хотелось, чтобы Анохин привез из своего полета записи, существенно отличающиеся от его собственных.

Наконец каскад фигур завершен: все заданные петли, иммельманы, бочки, перевороты через крыло, боевые развороты выполнены по счету и даже с небольшим запасом: в отличие от игры в очко здесь перебор лучше недобора.

Можно выключать приборы, прибирать газ и снижаться к аэродрому.

Войдя в круг и приближаясь к предпоследнему развороту, летчик нагнулся вперед и привычным движением сунул рычаг выпуска шасси вниз. Зашипел воздух, машину слегка повело из стороны в сторону — ноги шасси вываливаются из своих гнезд не строго одновременно, — и правая нога, выпустившись, с глухим стуком встала на замок. Об этом свидетельствовали и загоревшаяся на приборной доске зеленая лампочка, и механический указатель — ярко, в полоску раскрашенный штырек, выползший наружу из маленького круглого отверстия на верхней поверхности крыла.

Но левая нога что-то замешкалась. Прошла секунда... вторая... третья. До слуха летчика даже сквозь плотно закрывающие уши чашки шлемофона донесся какой-то непривычный треск — и нога выпустилась. На приборной доске горели обе зеленые лампочки. Но со штырем механического указателя дело было не в полном порядке: он, правда, вышел, но не сквозь предназначенное для этого отверстие, а рядом с ним, прорав толстую фанерную обшивку крыла...

После посадки машину осмотрели, но никаких особых криминалов не обнаружили. Странное поведение своенравного штыря сколько-нибудь убедительного объяснения так и не получило. Поврежденный участок обшивки крыла был отремонтирован, и... самолет признан годным к дальнейшим полетам.

Это очень соблазнительно — когда идет срочная работа и ее угрожает прервать какое-то непонятное, требующее размышлений явление — назвать это явление «ерундой» и вынести бодрую резолюцию: «не обращать внимания». И на сей раз (как, к сожалению, и во многих других случаях) этот могучий соблазн легко одержал верх над слабым голосом рассудка, который, конечно, не мог совсем уж начисто молчать в сознании людей, руководивших экспериментом.

ЯК-третий был возвращен после осмотра и «холодного» ремонта на аэродром, заправлен горючим, смазочным, сжатым воздухом и, управляемый теперь уже другим летчиком — С. Н. Анохиным, вновь оторвался от бетонной полосы.

Радио донесло на командный пункт краткое сообщение:

— Высоту набрал. Начинаю работать.

Но благополучно выполнить задание до конца Анохину не удалось.

Начав очередную фигуру, он услышал громкий треск, и в то же мгновение машина рванулась в сторону так резко, что летчика со страшной силой ударило виском о фонарь кабины, а рукой и плечом — об ее жесткий борт.

У самолета отлетело крыло!

Истребитель, вернее, то, что от него осталось — фюзеляж с нелепо торчащим единственным крылом, — беспорядочно падал, то вертясь, как кленовый лист, то кувыркаясь через мотор, то выделявая совсем ни на что не похожие пируэты.

Привязанного ремнями к креслу летчика швыряло по кабине, ударяя об ее выступы и торчащие рычаги так, что он долго не мог ухватиться за шарик аварийного сброса фонаря. Один глаз ничего не видел, но сквозь кровь, заливавшую второй, Анохин разглядел этот шарик — самую нужную сейчас вещь на свете! — и, изловчившись, может быть, с пятой, а может быть, и с двадцатой попытки дернул его. Дернул одной

рукой, потому что вторая остро болела и не слушалась своего владельца (потом выяснилось, что она была сломана о борт кабины).

Вот — тоже одной рукой и тоже с немалым трудом — раскрыт и замок привязных ремней. Казалось бы, ничто больше не удерживает Анохина в самолете. Но это не так! Ничто, кроме перегрузки — непреодолимо мощных сил инерции, прижимающих летчика к сиденью кресла так, будто на его плечи сели еще несколько человек такого же веса.

Используя каждую секунду временных спадов перегрузки, цепляясь здоровой рукой за обрез фонаря, отвоевывая один драгоценный сантиметр за другим, преодолевал Анохин полметра расстояния, отделявшего его кресло от спасительного потока забортного воздуха.

Впрочем, спасительным он станет только тогда, когда тело летчика будет подхвачено им. А пока задувающий в кабину поток действует заодно с перегрузкой: старается отнять у борющегося за свою жизнь человека завоеванные с таким великим трудом сантиметры, запихнуть его обратно внутрь машины, не выпустить на волю!..

До земли было уже недалеко, когда это напряженное единоборство закончилось победой Анохина и ему удалось вырваться наружу.

И тут — новое дело! — не оказалось на месте, в кармашке у левого плеча, парашютного «кольца»: выкрашенной в яркую красную краску скобы, за которую надо дернуть, чтобы раскрыть парашют.

Во время дикой свистопляски в кабине беспорядочно падающего самолета кольцо, по-видимому, выпало из своего кармашка и болталось на тросике где-то возле него.

И Анохин сумел, ничего не видя, нащупать это не ко времени затеявшееся кольцо, выдернуть его и раскрыть парашют.

Все дальнейшее — приземление в болото, возвращение на аэродром, длительное лечение в госпитале — было по сравнению с только что пережитым если не легче, то во всяком случае обычнее. Но одного глаза в результате этой аварии Анохин все-таки лишился...

Он остался в живых исключительно благодаря собственной выдержке, хладнокровию, квалификации мастера парашютизма, даже физической силе. Все это бесспорно. Но я усматриваю в случившемся и другую, не менее важную сторону.

Штырек механического указателя положения шасси честно сигнализировал о «третьем звонке» перед разрушением крыла — об его опасных остаточных деформациях, возникших еще в предыдущем полете. И однако столь очевидный сигнал остался непонятым и непринятым во внимание.

Это вообще бывает чаще, чем принято думать, что машина перед тем, как «взбрыкнуть», предупреждает людей о своем недобром намерении. Но предупреждает почти всегда еле слышно, как бы шепотом. Надо иметь тонкий, изощренный слух, чтобы услышать ее.

Здесь же машина не шептала, а, можно сказать, громко, в голос кричала о своей неисправности. Почему этот голос не был услышан? Думаю, что не по недостатку квалификации руководителей работы, а прежде всего под гипнотическим воздействием пресловутого «давай, давай!».

Знания, те самые знания, которые, как мы установили, должны сопутствовать смелости, подкреплять, а порой и подменять ее, на сей раз своей миссии не выполнили.

\* \* \*

Одним из сильнейших элементов воздействия на психику летчика, едва ли не самым серьезным испытанием его волевых качеств принято считать так называемую «оторванность» от людей и всего земного, одиночество человека в трудной обстановке полета.

При подготовке первой группы космонавтов к орбитальным полетам вокруг Земли им всем пришлось даже пройти через специальное испытание в сурдокамере — наглухо закрытом, звуконепроницаемом, полностью изолированном от внешнего мира помещении, в котором испытуемые жили в течение полутора-двух недель. Предполагалось, что реакция на длительное одиночество позволит судить о психической устойчивости космонавта.

Не берусь судить, как для космонавтов, но применительно к «атмосферным» летчикам сила влияния «оторванности от всего земного» кажется мне несколько преувеличенной.

Особенно после внедрения двусторонней радиосвязи.

Радио дошло непосредственно до летчика уже при жизни нашего авиационного поколения, каких-нибудь двадцать лет назад. И нечего греха таить, поначалу было принято летающей братией без особого энтузиазма. Причиной тому послужил не один только присущий грешному человеку консерватизм: первые образцы бортового радиооборудования были действительно чрезвычайно неудобны, чтобы не сказать мучительны. Жесткие чашки вмонтированных в шлем телефонов (эту комбинацию так и называли: шлемофон) больно давили на уши. Плоские бочонки ларингофонов, плотно прижатые на резинке к шее — иначе сколько-нибудь внятная передача была невозможна, — вызывали произвольные ассоциации с казнью через повешение. Шум, треск и помехи передаче и приему были таковы, что первые радиопереговоры в воздухе напоминали классическое собеседование двух полуглухих старух:

— Здорово, кума!

— Купила петуха...

Впрочем, удивляться этому не приходится: дело было, что ни говори, очень новое. Удивительно скорее другое: всего через несколько лет полеты без надежной двусторонней радиосвязи стали представляться каким-то диким, совершенно немыслимым анахронизмом.

«Медовый месяц» непосредственного общения летчиков с радиотехникой привел (как и положено всякому медовому месяцу) даже к некоторым излишествам. Руководители полетов, стоя на старте с микрофоном в руках, стали сначала давать летчикам на борт информацию о ветре и обстановке на аэродроме (что заслуживало безоговорочного одобрения), затем начали указывать на видимые с земли — или предполагаемые — ошибки пилотирования (что уже следовало делать далеко не всегда и во всяком случае с большой осторожностью), и наконец некоторые из них, войдя во вкус, перешли к непрерывному словесному аккомпанементу «под руку» летчику. В эфире только и стало слышно:

— Доверни влево!

— Доверни вправо!

— Подтяни!

— Выравнивай!

— Убери газ!

— Отпусти!

— Тяни!

— Низко!

— Высоко! — и многое другое, порой весьма колоритное.

Впрочем, прошел «медовый месяц», прошло и чрезмерное увлечение радио, как модной новинкой, на старте. Руководители полетов научились эффективно и экономно использовать его, научились пользоваться им и летчики...

Но на этом все устремления к «радиоизлишествам» не закончились.

Нашлись вскоре такие сверхэнтузиасты радиосвязи, которые решили потребовать от летчика-испытателя чего-то вроде непрерывного репорта-



жа о ходе испытания. Они понимали, конечно, что руки и ноги летчика в полете заняты управлением машиной, допускали, с известными оговорками, что чем-то занята в это время и его голова. Но язык! Язык летчика находился во время полета в состоянии почти полного возмутительного бездействия. Так вот — пусть поработает и он.

Один наш летчик-испытатель, к которому обратились с просьбой выдавать в очередном полете такую непрерывную радиоинформацию, спросил:

— Вы меня случайно не спугали с другим товарищем? С Синявским, например?

И, конечно, он был прав.

Синявскому и вправду легче: ведя репортаж, он в то же время сам в футбол не играет.

\* \* \*

Почему летчики такие суеверные?

Этот вопрос, относящийся к той же тонкой области «психологии летного труда», занимает по частоте повторяемости второе место, сразу после пресловутого «А страшно ли летать?».

А суеверны ли в действительности летчики и вообще представители авиационных профессий?

Думаю, что нет.

Во всяком случае не больше, чем люди, избравшие себе иное дело в жизни.

Хотя, впрочем, бывает иногда всякое...

Многоместная десантная машина готовилась к первому вылету. Как всегда в подобных случаях, в последний момент одна за другой выплывали всякие мелочи — то незашплинтованная гайка, то непротарированный прибор, то не «закрытый» контролером дефект. В результате «полный ажур» был наведен только к вечеру.

Солнце было уже совсем невысоко над горизонтом, когда летчик-испытатель В. П. Федоров успешно выполнил небольшой подлет — взлет, короткую прямую над самой землей и посадку прямо перед собой. Время пребывания в воздухе при этом измерялось буквально секундами, иначе для посадки в пределах аэродрома не хватило бы места. За эти секунды летчик должен был разобраться в новой машине в такой степени, чтобы уверенно сказать: можно идти на ней в воздух или надо перед этим сделать что-то еще. Без подлета первый вылет был бы гораздо опаснее.

Итак, подлет остался благополучно позади.

Тут же, на летном поле, летчик и конструктор обменялись несколькими фразами:

— Ну как, Владимир Павлович, машина?

— Нормально, Николай Николаевич. Рулей слушается. Садится просто. Запас ручки небольшой, но все-таки есть. Так что вроде все в порядке.

— Как ваше мнение о первом вылете?

— По-моему, препятствий нет.

Летчик был прав: технических препятствий к вылету не оставалось. Но быстро приближалось препятствие другого характера — заход солнца.

Об этом главному конструктору прямо сказал находившийся тут же руководитель летной части института:

— Николай Николаевич, до захода солнца осталось тридцать пять минут. Пока соберутся, осмотрят машину, отгасят ее снова в начало полосы, пока суд да дело, пройдет еще самое малое минут пятнадцать. А на первый полет надо по крайней мере вдвое больше...

— Ничего, я разрешаю: пусть полетает для первого раза хотя бы пятнадцать минут.

— А если какая-нибудь неисправность? Бывает, что и рад бы сесть, да воздух держит!

— Ничего подобного быть не может: я гарантирую!

— Николай Николаевич! Ну зачем так торопиться? Что изменится, если вылет будет не сегодня вечером, а завтра утром?

И тут-то по лицам «свиты», плотно окружавшей место спора, пробежали сдерживаемые, но вполне явные усмешки. «Завтра» чем-то не годилось. Но чем?

Это вскоре выяснилось. Завтра было тринадцатое число.

Послезавтра было воскресенье — день категорически нерабочий, причем, как я подозреваю, не из одних лишь соображений заботы о сбережении сил и здоровья трудящихся.

После воскресенья, в соответствии с законами календаря, должен был последовать понедельник, почитавшийся в этой «фирме» столь же тяжелым, как и тринадцатое число. В общем, выходило, что с отменой вылета сегодня дело откладывалось на целых четыре дня.

И тем не менее вылет новой машины перед самым заходом солнца, конечно, не состоялся. Руководитель летной части, не продолжая бесплодную дискуссию, просто-напросто не поставил на полетном листе свою подпись. А заменить или отменить эту подпись не могут никакие, даже самые высокие инстанции и лица. В этом смысле положение летного руководителя похоже на положение караульного начальника. Его можно снять, заменить другим, но пока он не снят и не заменен, обойти его, сделать что-то через его голову не имеет права никто.

А «свита» оказалась права: машина не вылетела ни завтра (тринадцатого), ни послезавтра (в воскресенье), ни на третий день (в понедельник). Только на четвертый день после подлета, во вторник, шестнадцатого — не имевшего никакой мистической силы числа, — она благополучно ушла в воздух...

Живучи предрассудки! Суеверие в этом смысле исключения не составляет.

Почти через десять лет после запомнившейся мне эпопеи с первым вылетом этой десантной машины силой сложившихся обстоятельств я оказался на работе в организации, среди летчиков которой были две или три женщины.

Едва успел я несколько дней полетать на новом месте, как, получая очередное задание, не без удивления услышал вопрос:

— Слушай, как ты посмотришь, если мы сегодня назначим тебе вторым летчиком Людмилу С.?

Я не сразу уловил суть вопроса:

— То есть как это посмотришь? В каком смысле? Она что, не летала на этой машине?

— Да нет, летала. И даже оттренирована самостоятельно с левого сиденья. Но, знаешь, может быть, ты...

Мы полетели с Люсей С., и в воздухе быстро выяснилось, что она грамотно и уверенно ведет самолет, точно выдерживает заданный режим, внимательно следит за приборами — словом, не дает ни малейших оснований для того, чтобы предъявить ей как второму летчику какие-либо претензии.

Лишь через некоторое время я понял, что среди моих коллег — не всех, конечно, но некоторых — продолжала всерьез котироваться как сулящая всяческие беды примета «баба на корабле». Причем речь шла не о способности или, наоборот, неспособности женского организма вы-

держивать нагрузки, сопутствующие летной или тем более летно-испытательной работе, — этот вопрос действительно дискуссионен. Нет, дело было не в физиологии и не в психологии, а в чистой воды суеверии. Баба на корабле!..

Конечно, если вздуматься, позиция суеверного человека чрезвычайно удобна. Он может позволить себе очень мало чего знать и уметь, сохраняя в то же время полную счастливую уверенность в том, что надежно прикрыт от всех возможных в жизни неприятностей.

Избегай ответственных, а лучше всяких полетов по тринадцатым числам и в понедельник. Не желай никому удачи (для этого существует охотничья формула «ни пуха ни пера»). В ответ на эти «пух и перо» ни в коем случае не благодари, а в нарушение всех правил элементарной вежливости посылай собеседника самое близкое к черту. Не брейся перед полетом. Никогда не констатируй, дабы не «сглазить», вслух, что дела идут хорошо. Применяй в нужных случаях столь несложную операцию, как поплеывание через левое (обязательно левое, правое не годится!) плечо. Соблюдай еще два-три сильно действующих приема подобного же толка — и все всегда будет хорошо! Особо изысканные суеверы полагают бесполезным трактовать приведенные правила расширительно: например, избегать не только тринадцатых номеров, но и кратных им — двадцать шестых, тридцать девятых и так далее. А если все-таки, несмотря на все принятые меры, дела обернутся в чем-то неблагоприятно — значит, это было неотвратимо! Во всяком случае пострадавшему остается утешительное сознание, что он-то сделал все от него зависящее, дабы умиловить судьбу.

Многочисленные примеры неблагоприятного поворота дел при скрупулезном соблюдении этих правил, а равно явных удач при полном пренебрежении ими — ни в малой степени суеверных людей не разубеждают. Живуча человеческая слабость — верить чему-то, издавна вбитому в голову, больше, чем собственным глазам и логике фактов!

Так что, говоря о суевериях в летной среде, не будем греха таить — бывает!

Но бывает, по-видимому, не чаще, чем у представителей любой иной профессии. И уж во всяком случае нет никаких оснований подозревать летчиков, особенно в наши дни, в какой-то особой склонности к этому предрассудку. А так иногда делают. В «околоавиационных» кругах порой объясняют суевериями даже такие явления, которые на самом деле имеют под собой вполне реальную, отнюдь не мистическую основу.

На старых самолетах с открытыми кабинами, залезать в которые приходилось прямо с земли, летчики проделывали эту операцию обычно строго определенным способом: правую руку на борт кабины, правую ногу на подфюзеляжную скобу, затем левую ногу на заднюю кромку крыла, а левой рукой — за стойку центроплана и так далее.

— Обрати внимание, — любили с иронией в голосе шепнуть иные сверхнаблюдательные аэродромные посетители, — он каждый раз залезает в аэроплан с одной и той же ноги. А расскажи кому-нибудь — не поверят: такой известный летчик и настолько суеверен!

И невдомек подобным Шерлокам Холмсам было, что иначе — не в раз навсегда отработанной последовательности — занимать свое место в самолете оказалось бы попросту очень неудобно: схватившаяся не за то, за что надо, рука мешала бы занести через борт ногу, а не туда поставленная нога не позволила бы руке дотянуться до очередной точки опоры.

Еще один повод для обвинения летчиков в тяжком грехе суеверия — их приверженность к старому, порой выслужившему все сроки летному обмундированию. Приверженность, на первый взгляд, труднообъяснимая

и во всяком случае обратная той, которой подвержено человечество в целом, а его лучшая половина в особенности.

Но и здесь дело, оказывается, очень просто: летчику в полете должно быть прежде всего удобно. А в чем же может быть удобнее, чем в старом, привычном, давно обмявшемся по фигуре обмундировании? Все в нем хорошо пригнано, шлемофон сидит на голове плотно, но в то же время и не сдавливает ее, пальцы в старых, мягких перчатках легко сгибаются и не теряют чуткости в поисках нужного тумблера или кнопки (да чтобы, боже упаси, не задеть соседних!), даже комбинезон под двойным сплетением плотно натянутых привязных и парашютных ремней если и сминается, то — вопреки очевидности — вроде без складок!

Посмотришь на иного франта, который в «цивильной жизни» с завидным тщанием следует моде — и брюки у него должной ширины, и носок ботинка такой, как нужно, и воротничок современнейших очертаний, и даже на голове надета не обычная вульгарная кепка, а какая-нибудь «жангабеновка-восьмиклинка с пуговкой». В полет же он отправляется в древнем, неопределенно рыжего цвета шлемофоне, потертом, заплатанном комбинезоне и при перчатках, существующих на белом свете несколько меньше, чем винтомоторная авиация, но значительно дольше, чем реактивная.

Среди туалетов летчиков-испытателей нашего института фигурировали столь выдающиеся образцы, как, например, комбинезон Николая Степановича Рыбко, отличавшийся, во-первых, своими размерами (мы считали, что тут имеет место явный расчет «на вырост»), а во-вторых, нежно-лиловым колером, более уместным, по мнению Бориса Петровича Осипчука, в дамском бельевом гарнитуре.

Но все понимали, почему Рыбко не торопится менять свой комбинезон на новый. Тот же Борис Осипчук выражал твердую уверенность, что так было во все времена и у всех народов. Он в лицах изображал, как, по его предположению, перед ответственным рыцарским турниром при дворе короля Артура какой-нибудь сэра Ланселот подвергался настоячим уговорам своего оруженосца:

— Ваша светлость! Извольте новые латы надеть. Королева Джиневра будут-с. А у вас, извините, на щите заплата приклепаца и кольчуга, обратно, в дырках...

Разумеется, сэра Ланселот оставался непреклонен, и его ответ своему верному оруженосцу Осипчук, несколько выпадая из стиля изображаемой эпохи, излагал в выражениях, весьма энергичных и вполне нам современных...

Чем-чем, а уж никаким суеверием здесь, конечно, и не пахло.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Вчера это было экзотикой

Широкая — почти во весь горизонт — призрачная тень, ритмично мелькая, метет по небу над моей головой. В такт этим мельканиям раздаются гулкие, прослушивающиеся даже сквозь шум мотора хлопки — будто кто-то вытряхивает огромное одеяло. Дрожит и как-то «не по-самолетному» покачивается кабина. Даже ручка управления в моей руке «дышит» не так, как всегда.

Я лечу на вертолете.

Точнее — на геликоптере: тогда, в сорок девятом году, слова «вертолет» еще не существовало. И тень над моей головой принадлежала не несущему винту, как сказали бы сейчас, а ротору.

Но не терминологические проблемы занимали меня в тот момент:

справляться с этой маломощной, тихоходной, небольшой по размерам машиной оказалось куда более хитрым делом, чем можно было ожидать. Во всяком случае попотеть при этом пришлось гораздо больше, нежели на реактивных истребителях, тяжелых бомбардировщиках и едва ли не всех остальных летательных аппаратах, на которых мне доводилось летать до этого...

Сейчас, когда пишутся эти строки, вертолет прочно вошел и в народное хозяйство, и в арсенал оборонной техники, и, можно сказать, во весь наш быт.

Нет нужды рассказывать о применении вертолета в транспортной и санитарной авиации, в арктических, антарктических и всяких иных экспедициях, в разведке полезных ископаемых — словом, повсюду, где подступиться к цели удобнее всего с воздуха, а посадочных площадок нет и строить их невозможно (или нерационально). Обо всем этом немало написано в многочисленных популярных брошюрах. Но последние годы принесли нам новые примеры применения вертолетов в самых неожиданных ситуациях.

Понадобилось заменить поврежденные во время войны перекрытия крыши Екатерининского дворца в Пушкинском парке, да притом заменить так, чтобы обойтись без вырубки окружающих дворец вековых парковых деревьев — тех самых, которыми когда-то, может быть, любовался Пушкин. Эти исторические деревья удалось спасти. Удалось с помощью мощного двухмоторного вертолета — «летающего вагона», — использованного в роли воздушного крана. С его легкой руки (если, конечно, позволительно назвать такую «руку» легкой) и пошло в нашей стране широкое использование вертолетов в строительстве, прокладке трубопроводов, установке опор электропередач.

Не следует, однако, рассматривать вертолет как самоновейшее изобретение послевоенных лет. Еще задолго до начала войны в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) существовал специальный Отдел особых конструкций — ООК, — занимавшийся изучением и конструированием винтокрылых летательных аппаратов.

На созданных под руководством его ведущих работников — И. П. Братухина, А. М. Изаксона, Н. И. Камова, В. А. Кузнецова, В. П. Лапидова, Н. К. Скржинского, А. М. Черемухина — машинах успешно летали летчики-испытатели А. П. Чернавский, С. А. Корзинщиков, Д. А. Кошиц (известный в те годы не только как сильный летчик, но и как редкого остроумия человек, неизменный радиокомментатор и конференсье на всех довоенных празднованиях Дня авиации в Тушине), В. А. Карпов и другие. Перечитав только что написанный (не первый и далеко не последний в этой книге) перечень фамилий, я подумал, что иной читатель, наверно, пропустит его. Оставит вне своего сознания, как некое «инородное тело», нарушающее нормальный ход повествования. Не знаю, может быть, так оно и есть. Но обойтись без подробных «перечней» я не могу. И очень прошу читателя: пожалуйста не пробегайте их торопливым, равнодушным взглядом! Остановитесь на каждой из этих фамилий! За ней стоит славная, боевая, нелегко сложившаяся биография...

Построенный тогда же под руководством профессора А. М. Черемухина первый в нашей стране вертолет взялся испытывать в воздухе сам... А. М. Черемухин. Полеты проходили на редкость удачно, и вскоре Александр Михайлович стал, в добавление ко всем своим прочим степеням и званиям, еще и мировым рекордсменом — держателем рекорда высоты полета на вертолете, равного в то время шестистам с лишним метрам.

Но все это была, так сказать, «штучная» работа. Ее результаты редко приводили хотя бы к малой серии, а чаще так и оставались материализи-

рованными в виде единичных опытных экземпляров. Лишь после войны авиационная техника «доросла» до создания вертолетов, которые строились бы крупными сериями и могли занять серьезное, вполне «деловое» место в народном хозяйстве и обороне страны.

За это дело взялось молодое, специально для этого организованное конструкторское бюро во главе с доктором технических наук Михаилом Леонтьевичем Милем, в недалеком прошлом научным работником ЦАГИ, видным специалистом в области устойчивости и управляемости самых разных (не одних лишь винтокрылых) летательных аппаратов.

Одновременно работали над созданием вертолетов и конструкторские бюро И. П. Братухина, Н. И. Камова, А. С. Яковлева. На их машинах готовились летать, а вскоре и залетали летчики-испытатели К. И. Пономарев, М. Д. Гуров и В. В. Тезавровский — сейчас ни одного из них, к несчастью, с нами уже нет.

В конструкторском бюро Миля тоже был свой летчик-испытатель — Матвей Карлович Байкалов, хорошо мне знакомый, так как одно время он работал в нашем институте. Пришел он к нам незадолго до войны, в разгар очередного «аврала», на сей раз связанного с ненадежной работой моторов на новейших скоростных истребителях МиГ-3.

Этот самолет, построенный одновременно с истребителями ЯК-1 и ЛАГГ-3, первым превзошел скорость шестьсот километров в час. Тогда эта скорость, сейчас считающаяся «нормальной» даже для пассажирских самолетов, выглядела весьма солидно.

Но «не скоростью единой жив самолет»! А потому все наши усилия были направлены на «доводку» новых истребителей с целью сделать их надежными, доступными массовому летчику средней квалификации (на одних асах в большой войне далеко не уедешь!). Для этого надо было прежде всего излечить эти стройные, остроносые, стремительные машины от «детских болезней». Большой аврал шел полным ходом! И не мудрено: на дворе уже стояла весна сорок первого года! Мешкать не приходилось...

У МиГ-3 едва ли не самой тяжелой из «детских болезней» была плохая приемистость мотора. «Давать газ» на нем приходилось чрезвычайно осторожно, медленно, буквально по миллиметрам двигая вперед рычаг сектора газа. Малейшее убыстрение темпа этой операции приводило к тому, что мотор «не забирал» — давал перебой и отказывал! Уже росла грустная статистика тяжелых летных происшествий. В таком виде давать машине путевку в жизнь было невозможно.

Не мудрено, что многие летчики поначалу летали на МиГ-третьем без видимого удовольствия. Помню, как один из них, зрелый пилот и весьма авантажный на вид мужчина, с вибрацией в голосе и трелетно смотря начальству в глаза, уговаривал:

— У каждого летчика есть свой личный потолок. Так вот, я чувствую, что не дорос до МиГ-3! Чувствую и честно докладываю об этом...

Нет, Байкалов ничего подобного не «чувствовал». А если и чувствовал, то во всяком случае не делился своими эмоциями с начальством. Нет розы без шипов. Так и в профессии летчика-испытателя есть свои немногие теневые стороны — иногда приходится летать на такой технике, которая особенно жгучего желанья вплотную ознакомиться с ней не вызывает.

О подобных ситуациях летчики обычно говорят:

— На этой машине летать — все равно что с тигрицей целоваться: и страшно, и никакого удовольствия!..

Но что поделаешь, не летая на «тигрице», превратить ее в надежно прирученное, домашнее животное невозможно. Кто-то должен сделать и эту работу.

И Матвей Байкалов без лишних разговоров, буквально на следующий же день после своего прибытия в наш коллектив, включился в полеты по «перевоспитанию» строптивых моторов. Такое начало позволило ему сразу же занять должное место среди наших зачастую весьма придиричивых к новичкам старожил.

А ровно через месяц после начала войны — двадцать второго июля срок первого года, — в ночь первого налета фашистской авиации на Москву капитан Байкалов в составе сформированной из летчиков-испытателей особой эскадрильи ночных истребителей провел свой первый воздушный бой. Провел на том самом самолете МиГ-3, в «доводку» которого вложил столько труда. В черном небе над светящейся пожарами Москвой он обнаружил тяжелый четырехмоторный Фокке-Вульф «Курьер», решительно, невзирая на огонь стрелков, атаковал его и выбил ему два мотора. Правда, добить противника — так, чтобы он тут же упал, — Байкалову не удалось. Недобитый «Фокке-Вульф» на малой скорости потянул к западу, но уйти до рассвета из сферы действия наших — теперь уже «дневных» — истребителей не успел. В предутренних сумерках его атаковал и добил кто-то из фронтовых летчиков. Так и записали эту весьма «жирную шучу» — четырехмоторный тяжелый бомбардировщик — на двоих.

Воевал Байкалов и на Калининском фронте, а после этого немало потрудился над испытаниями самых разных объектов авиационной техники. Словом, в КБ Миля он пришел знающим, опытным и к тому же «понюхавшим пороху» испытателем.

\* \* \*

За спиной у Байкалова было уже несколько десятков полетов на новом вертолете, когда он вместе со своей машиной неожиданно оказался в центре внимания наших, как принято выражаться в прессе, «авиационных кругов».

Завидовать этому вниманию не стоит: оно чаще всего бывает вызвано не чем иным, как очередным происшествием. Так получилось и на сей раз.

Забравшись на высоту около пяти километров, Байкалов попробовал погасить поступательную скорость вертолета.

Не буду вдаваться в технический разбор того, что за этим последовало. Важно одно: машина «взбрыкнула» и полностью вышла из повиновения летчику. Она неуправляемо раскачивалась со все возрастающей амплитудой из крена в крен и с носа на хвост. Матвей говорил потом:

— Я почувствовал: сейчас она перевернется вверх колесами. И тогда — все! Не то что вернуть ее в нормальное положение, но даже выброситься не удастся, потому что между мной и землей окажется мясорубка — вращающийся несущий винт! Ну, думаю, довольно баловаться! Отбросил я дверку, раскруил замок привязных ремней, улучил паузу между бросками — и прыгнул... Прыгнул, подзатянул несколько секунд, дернул кольцо. Парашют раскрылся сразу. Отдышался немного и смотрю, ищущий где вертолет? Да вот он — метров на сто ниже меня. Перевернулся, злодей, вниз винтом, вверх колесами и сыплет себе в этой позиции к земле. Да так ровно, спокойно, устойчиво сыплет, будто это вовсе и не он только что мотался из стороны в сторону как сумасшедший. Словно хочет сказать мне: «Вот, брат, к какой позе я всю жизнь стремился, а ты меня не пускал!..»

От машины остались, конечно, одни обломки. И все же этот вертолет успел до своей гибели сделать очень важное дело — положить начало собственного опыта молодой «фирмы». Уже на выходе была следующая, более совершенная модель, та самая, которой суждено было стать прото-

типом первого отечественного вертолета, пошедшего в большую серию,— МИ-1.

Машина была на выходе, а летать на ней было некому. Приземляясь после своего вынужденного прыжка на парашюте, Байкалов немного ушибся — не очень сильно, но вполне достаточно для того, чтобы придиричивая авиационная медицина временно отставила его от полетов.

И тут-то я и получил от Михаила Леонтьевича Миля предложение взяться за испытание нового вертолета. Не знаю, почему он остановил свой выбор на мне: то ли сыграла тут роль моя застарелая — со времен трехколесного «птеродактиля» — склонность ко всякой летающей экзотике (а вертолет в сорок девятом году еще прочно числился по ведомству экзотических летательных аппаратов), то ли запомнился Милю интерес, с которым я как-то при встрече расспрашивал его о полетах Байкалова, то ли по какой-нибудь другой причине, но так или иначе предложение было сделано. А я был как раз относительно свободен. Эпопея с испытаниями ТУ-четвертых была к этому времени уже окончена, «двадцатка» благополучно сдана заказчикам, и я летал то на одном, то на другом самолете по текущим, не бог весть каким интересным заданиям. В подобной ситуации предложение Миля пришлось как нельзя более кстати. И я не долго думая принял его...

Начать освоение вертолета пришлось с «висений» над самой землей, во время которых Байкалов, стоявший в вихре снега и пыли неподалеку от носа машины, исполнял нечто вроде шаманского танца: подпрыгивал, приседал, всячески извивался, махал руками, пытаясь как можно более оперативно и наглядно выдавать мне так называемые ЦУ (ценные указания).

Откровенно говоря, ни старания Байкалова, ни мои собственные попытки прочувствовать поведение вертолета на висении особого успеха не имели. Все внимание уходило на противодействие активным попыткам машины завалиться то на нос, то на хвост, то на бок, и толком приноровиться к ней никак не удавалось. Для этого нужно было попробовать ее в движении.

И я самочинно пустился в полет на высоте десяти — пятнадцати метров над летным полем аэродрома. С «самолетных» позиций такая высота, конечно, выглядит ничтожной, но падать с нее все же не рекомендует: как-никак это трех-четырёхэтажный дом. Последнее обстоятельство представляло в тот момент отнюдь не один лишь теоретический интерес, так как неустойчивый аппарат в моих еще неопытных руках сразу же стал угрожающе раскачиваться с быстро возрастающей амплитудой.

Погасить эти колебания оказалось чрезвычайно трудно: суешь ручку вперед, а машина как ни в чем не бывало продолжает валиться на хвост, и только когда ручка отдана к приборной доске до отказа — внезапно «спохватывается» и переваливается на нос, да так, что полностью отклоненной в лихорадочном темпе назад ручки не хватает, чтобы удержать ее. Прозрачный застекленный нос вертолета то задирался в равнодушное (что ему мои неприятности!) бледно-голубое зимнее небо, то устремлялся к накатанному аэродромному снегу, ярко-оранжевым самолетам базировавшейся по соседству Полярной авиации, каким-то автомашинам, каткам, сараям — подо мной мелькали уже окраины летного поля.

Я был очень занят в эти секунды, но представляю, какого страху натерпелись во время моих курбетов оставшиеся на стоянке Миль, Байкалов, ведущий инженер Герман Владимирович Ремизов и механик Виктор Васильевич Макаров — мой сослуживец еще по Отделу летных испытаний ЦАГИ. Он-то, на правах старого знакомства, и высказал мне потом откровеннее всех, что они думали об этом подлете вообще и личности выполнявшего его летчика в частности.



Но фокусы продолжались недолго. В конце концов я уловил нужный темп и размах работы ручкой — действительно, на ходу это оказалось гораздо понятнее, чем на висении, — и привел машину в должное повиновение.

Обратно — над теми же сараями, катками, машинами — я летел к своей стоянке уже вполне чинно, аккуратно строя маршрут по периметру летного поля. Внимания теперь хватало даже на такие эстетические излишества, как поддержание постоянной высоты.

Немного не долетая до стоянки, я, окончательно обнаглев, позволил себе пойти на мелкую провокацию: энергичным движением ручки намеренно загнал машину вновь в режим раскачки. Загнал и тут же, позволив ей перевалиться по одному разу с боку на бок, прекратил колебания. Да, значит, это не случайность, что она в конце концов послушалась меня две минуты назад. Кажется, я уловил, как надо управлять вертолетом: упреждая его собственные стремления мелкими энергичными движениями.

После этого хорошо запомнившегося мне подлета первый вылет прошел просто. Я сделал большой круг на высоте ста—ста пятидесяти метров вокруг аэродрома, прошел над зеленоватым льдом водохранилища — с множеством замерших над лунками рыбаков, — развернулся **вокруг увенчанного** звездой (вблизи она оказалась неожиданно большой) шпиля на здании речного вокзала, сделал полный замкнутый вираж и **пошел на посадку**.

Начались нормальные полеты по программе испытаний.

Время от времени вертолет преподносил сюрпризы — к счастью, сравнительно мелкие. Особенно оперативно — без минуты промедления — он наказывал меня за попытки автоматически, не думая, применять к нему привычные приемы управления самолетом. Как-то раз, при спуске, когда до земли оставалось метра три, налетевший сзади легкий порыв ветра чуть-чуть «подал» машину вперед. Чтобы парировать это движение, я чисто рефлекторно, «по-самолетному», взял ручку управления немного на себя. Вертолет послушно попятился наподобие рака назад, а затем так энергично провалился вниз и так крепко трахнулся о землю, что — спасибо шасси — не знаю, как оно выдержало! Я упустил из виду, что в подобной ситуации вертолет ведет себя диаметрально противоположно самолету.

Самые, казалось бы, бесспорные навыки могут подвести, если отдаваться им во власть бездумно!

\* \* \*

И вот наступил день, когда работа была закончена.

Все конструкторское бюро собралось в самом большом из немногих занимаемых им в то время помещений. В лабиринте чертежных станков — «кульманов» — на стульях, скамейках, даже столах расселись люди. Те, кому не хватало места, стояли вдоль стен. За пыльными, остекленными в мелкую клетку окнами сгушались лиловые зимние сумерки, но в комнате от множества зажженных над столами ярких ламп было светло и даже, казалось, тепло. Впрочем, конечно, не лампы грели нас в этот вечер! Официального собрания не получилось. Всех присутствовавших охватил настоящий душевный подъем. Да как могло и быть иначе после всего, что пришлось преодолеть молодому коллективу, прежде чем собраться по такому торжественному поводу.

Позади были долгие месяцы напряженной — с утра до позднего вечера — работы, изнуряющие «авралы», досадная авария первой машины, полный набор так называемых «трудностей» — от чисто технических до сугубо дипломатических (оказывается, не обходится дело и без них, осо-

бенно на первых порах существования еще только претендующей на свое место под солнцем молодой организации).

«Фирма» все-таки сделала свой вертолет!

Но и он — этот вертолет — в свою очередь «сделал» «фирму». Ее право на существование было убедительно доказано.

— Товарищи! — сказал главный конструктор. — У нас с вами сегодня радостный день: успешно закончены летные испытания нашей машины...

Он говорил о результатах испытаний и дальнейших планах КБ, напоминал факты, называл фамилии. Его слушали с волнением, которое было нетрудно понять.

Когда на свет рождается что-то новое, нужное людям — более совершенная, чем ее предшественники, машина, дом, мост, дорога, картина, книга, — авторы этого нового всегда испытывают едва ли не самое сильное из всех возможных видов человеческого удовлетворения. В авиации новое создается, вопреки распространенному заблуждению, не единолично. Новый самолет — не рисунок и не стихотворение. Для его рождения нужно не одно гениальное озарение, а упорный творческий труд множества людей. И каждый из них (конечно, далеко не в одинаковой степени) законно испытывает могучее чувство авторского — точнее, «соавторского» — удовлетворения. Испытывал его не раз в своей жизни и я.

Но в тот вечер я чувствовал не только причастность — пусть в самой малой степени — к рождению новой машины, но и полезность своего труда для становления нового творческого коллектива. Это еще больше, чем внести свой вклад в создание самолета или вертолета: что ни говорите, а жизнеспособных конструкторских бюро в природе существует значительно меньше, чем удачных типов летательных аппаратов...

Однако на этом запомнившемся мне собрании праздники не закончились. Правда, то, что должно было последовать за ними, выглядело по-праздничному лишь внешне, а по существу представляло собой нелегкую, порой даже коварную, но, к сожалению, в условиях реальной жизни бесполезную работу.

Речь шла о так называемых «показных полетах».

Летчики, механики и едва ли не все другие авиационные специалисты дружно не любят их. Не берусь точно сформулировать причину этой неприязни, но так или иначе антипатия к данному виду летной работы налично. И один из механиков нашего вертолета обнаженно выразил ее, отреагировав на известие о предстоящих полетах ворчливым заявлением:

— Ну, держись, ребята: нас ждет большая показуха!

В последующие годы это слово — «показуха» — стало применяться в значении совсем уж нехорошем. Но и тогда, окрестив таким образом показательные полеты, наш механик продемонстрировал свое полное их неодобрение.

Никакого положительного эффекта от подобных дипломатических «мероприятий» он признавать не желал.

Впрочем, ко мне грядущая «показуха» прямого отношения не имела. Руководство КБ решило, что показательные полеты должны проводиться собственными силами, без «варягов». Да и дело, для выполнения которого я был прикомандирован к КБ — девяносто три полета по программе испытаний вертолета, — было закончено.

Я сердечно простился со всеми — от мала до велика — сотрудниками КБ и отправился восвояси, имея все основания полагать, что этот вертолет надолго ушел из моей жизни.

Однако судьба — капризная авиационная судьба — решила иначе.

Спустя две недели меня срочно вызвал к себе начальник летной части института инженер-летчик Д. С. Зосим.

— Видишь, Марк,— начал он,— я говорил тебе, что зря ты напрашивался на эту сверхновойшую технику! К сожалению, я оказался прав.

— А что случилось?— спросил я.

— Случилась катастрофа. Только что позвонили: ваш вертолет разбился... Матвей погиб...

Оказалось, что Байкалов успел сделать на этой машине четырнадцать полетов. Последний из них — четырнадцатый — был уже не показным, а перегонным. Взлетев с летного поля, на котором проводились испытания, летчик должен был посадить вертолет на аэродроме заказчиков. И взлет, и весь полет проходили нормально. Придя на место назначения, вертолет сделал еще один круг, затем подлетел к предназначенной для него стоянке, завис на высоте около ста метров над ней и начал уже было медленно спускаться по вертикали, как вдруг — в который раз это злосчастное «вдруг!» — резко забросил свой длинный стрекозиный хвост в сторону, завалился набок и, описав полвитка крутой спирали, врезался в землю...

\* \* \*

И вот снова аварийная комиссия.

Не раз приходилось мне участвовать в их работе — едва ли не самой тяжелой из всех, существующих в авиации.

Аварийная комиссия должна установить причины происшествия с тем, чтобы исключить их в будущем. Сделать это иногда бывает очень непросто. Далеко не всегда от потерпевшей аварии машины остается достаточно, чтобы судить о причинах, приведших к ее гибели. Иногда не остается и живых свидетелей происшедшего... Можно было бы рассказать о многих случаях, в которых расследование причин очередной катастрофы носило почти детективный характер, заставлявший вспомнить великого сыщика Шерлока Холмса и его поражавшие юные умы методы расследования преступлений.

Когда причина происшествия установлена, надо назвать конкретного виновника (иногда этого требуют даже в тех случаях, когда причина происшествия не установлена). А это не всегда легко — проблема перестает быть абстрактно технической и начинает задевать (порой очень чувствительно!) живые интересы живых людей.

Но, даже независимо от этих дополнительных «психологических» обстоятельств, назвать конкретного виновника происшествия сплошь и рядом бывает действительно очень трудно.

Разбиралась как-то авария одного истребителя. Когда дело дошло до деликатных пунктов распределения персональной ответственности, председатель комиссии, неуютно пожившись, предложил:

— Ну что ж, приступим, как говорил Остап Бендер, к материализации духов и раздаче слонов?..

— А чего тут особенно материализовать и раздавать?— бросил в ответ на это самый бойкий (хотя вряд ли самый вдумчивый) из присутствующих.— Дело ясное: ошибка в пилотировании!..

«Ошибка в пилотировании»... А что это, в сущности, такое? Все мы отлично знаем, что такое арифметическая ошибка: так сказать, дважды два — пять. Приблизительно представляем себе сущность ошибки сапера, который, как известно, «ошибается один раз в жизни». Довольно уверенно судим о житейских ошибках (правда, преимущественно не о собственных, а совершаемых другими людьми): от оценки прогноза погоды на завтра и до выбора достойного спутника жизни.

Но что же такое ошибка летчика?

Не следует думать, что она представляет собой просто неверный выбор одного из двух возможных вариантов действия. Скажем, полет в одном направлении вместо другого или перекладка рычага уборки шасси, когда нужно было бы взяться за рычаг уборки закрылков.

Бывают, конечно, у летчиков и такие ошибки, но очень редко. Неони «делают погоду» в длинном перечне аварийных происшествий, отнесенных к этой удобной графе.

Гораздо чаще так называемая ошибка пилотирования заключается совсем в другом.

Известно, что точность — категория сугубо относительная. Абсолютная точность нигде — ни в быту, ни в науке, ни в технике — недостижима. В каждом отдельном случае речь может идти лишь о величине допустимой ошибки, в пределах которой мы полагаем нужную степень точности соблюденной. Мы считаем, что пришли в назначенное место точно вовремя, если опоздали, скажем, на несколько секунд, и говорим, что стали точно на середине комнаты, даже если отклонились от этой середины на несколько миллиметров. Никому не придет в голову требовать от печника той же точности, что от часовщика.

Итак, все дело в том, какой величины ошибка может быть допущена без ущерба для результата дела. И, конечно, в том, насколько способен человек (или машина — все сказанное может быть с полным правом отнесено и к ней) удержаться в пределах реально осуществимой «полосы» допустимых ошибок, которые мы поэтому как бы и не считаем ошибками. Лишь с выходом за пределы этой «полосы» начинается ошибка в обычном, не математическом смысле этого слова.

Объяснять все это на аварийной комиссии было бы чересчур долго. Вместо этого один из ее членов — сам летчик-испытатель — просто спросил:

— Ошибка пилотирования? А в чем конкретно она выразилась?

— Как в чем? В инструкции ясно сказано, что летчик не должен допускать кренов, превышающих...

— Хотите, я вам напишу инструкцию — как ходить в цирке по канату? Для этого всего только и надо, что держать центр тяжести вашего тела в вертикальной плоскости, проходящей через натянутый канат. Вот напишу так и пошлю вас в цирк: извольте-ка, ходите! А если упадете, скажу, что сами нарушили инструкцию. В ней ведь «ясно сказано»...

И вопрос был решен: в акте комиссии указывалось на чрезмерную «строгость» аппарата и необходимость упрощения техники его пилотирования. Об ошибке пилотирования не было ни слова...

Но катастрофа М. К. Байкалова столь жарких дебатов не вызвала. Спорить было не о чем. Летчика винить явно не приходилось. Причина несчастья заключалась в дефекте материала — раковине под сваркой в вале рулевого винта.

Вся история разрушения была буквально написана в месте излома. Вот чернеет первопричина беды — неправильной формы раковина. От нее в обе стороны по сечению трещины отходят первые, уже успевшие потемнеть ее участки. Затем, как бы ступеньками, идут все более светлые следы ее дальнейшего распространения и, наконец, совсем белый, свежий излом — разрушение тонкой перемычки, на которой до последнего момента держался вал.

Гибель подстерегала этот вертолет с самого начала.

Никто не мог бы предсказать, на каком полете это произойдет: первым, десятом, сороковым, сотом?

Это произошло на сто седьмом...

В наши дни подобная катастрофа невозможна — проведенные конструктивные и технологические доработки машины надежно гарантируют от этого.

Да и тогда стоило валу, уже выдержавшему многие часы работы, «до-терпеть» еще хотя бы несколько десятков секунд, оставшихся до приземления, — и все обошлось бы благополучно. Вал, конечно, так или иначе неминуемо должен был лопнуть, но случилось бы это на земле, от ударной нагрузки в момент следующего запуска. Катастрофа не состоялась бы.

\* \* \*

А вертолет выжил. Конечно, не тот самый экземпляр, который разбился в этот несчастливый день, а его многочисленные собратья, или, если хотите, потомки — серийные машины МИ-1, до сих пор летающие в наших Военно-Воздушных Силах, в Гражданской авиации, даже в аэроклубах.

Совсем недавно — через добрых десять лет после взлета первого МИ-1 — вышла в свет его пассажирская модификация.

Долгая, хорошая жизнь получилась у этой машины!

Много талантливых людей — ученых, конструкторов, инженеров — приложило руку к становлению отечественного вертолетостроения. Внесли свой большой вклад в это дело и летчики-испытатели винтокрылых машин — С. Г. Бровцев, В. В. Виницкий, Ю. А. Гарнаев, М. Д. Гуров, Д. К. Ефремов, Р. И. Капрэлян, Е. Ф. Милютчев, Г. А. Тиняков.

Мне же довелось испытать за свою жизнь всего лишь... полтора вертолета. Да, да, именно полтора!

Через полгода после окончания испытаний МИ-1 я, на сей раз уже как «дипломированный» вертолетчик, получил предложение заняться новой машиной такой же схемы и почти таких же размеров, как мой недавний «крестник».

К сожалению, довести эти испытания до конца мне не довелось. Обстоятельства неожиданно сложились так, что я — впервые в жизни — оказался вынужден бросить начатое дело на полдороге. Пошла смутная, продолжавшаяся несколько лет и закончившаяся только после пятьдесят третьего года полоса в моей (да и не в одной только моей) биографии.

Впрочем, не о том сейчас речь.

Так или иначе еще «полвертолета» испытать мне пришлось. И я не жалею об этом хотя бы потому, что совместная работа послужила поводом для нашего первого знакомства с ведущим конструктором этого вертолета Игорем Александровичем Эрлихом, знакомства, которое со временем перешло в прочную и близкую дружбу.

Я не встречал до этого другого конструктора, который с таким глубоким, непоказным вниманием и пониманием воспринимал бы каждую мысль, наблюдение, даже мелкое частное замечание любого из своих сотрудников, не говоря уже о ведущем летчике. Это не значит, конечно, что он обязательно соглашался с ними. Но он неизменно брал все, исходящее от окружающих, в «обработку» со всей силой своего острого, аналитического ума и с таким добросовестным азартом, будто это были его собственные мысли. Демократизм мышления — одна из самых редких форм проявления демократизма! Трудно переоценить вред, который наносит делу позиция руководителя, признающего монопольное право изрекать новое лишь за самим собой.

Конечно, не одно это свойство — умение «слушать людей» — определяет облик конструктора. Но оно больше, чем любое иное, проявлялось

в общении Эрлиха с нами — участниками летных испытаний вертолета.

В нашей литературе и драматургии почему-то процветают два основных типа деятелей науки и техники. Один ужасно талантлив, все знает, все может, но никого кругом не слушает и самолично, так сказать, из собственного нутра выдает — одну за другой — драгоценные идеи. Второй же — пронырливый и бесталанный, ничего сам придумать не в состоянии, а посему рыщет — более или менее явным для окружающих образом — по мозгам окружающих, из каковых в мелкособственнических целях (диссертация, премия и т. п.) и извлекает прогрессивные идеи.

В жизни чаще всего бывает не так. Талант большого конструктора многокомпонентен. Собственная высокая творческая потенция, конечно, входит в число этих компонентов, но на ней одной далеко не уедешь. Не в меньшей мере нужен и, если можно так выразиться, «талант восприимчивости» всего прогрессивного, перспективного или хотя бы таящего в себе пресловутое «рациональное зерно», что носится вокруг. Все равно один человек, будь он хоть семи пядей во лбу, физически не в силах сделать те тысячи и десятки тысяч творческих находок, без которых не создать современной машины. В Эрлихе я увидел сочетание обеих этих черт настоящего конструктора: и собственную творческую потенцию, и остро развитое чутье ко всему прогрессивному. Можно было бы еще многое рассказать об этом человеке. Но я не буду делать этого: повторяю, мы — друзья. А тут тот самый случай, когда дружба «мешает»...

Вертолеты в то время едва выходили на широкую дорогу массовой, серийной эксплуатации. Другие летательные аппараты — те же самолеты, например, — имели перед ними несколько десятков лет «форы». И, конечно, чтобы ускоренным темпом пройти этот путь, надо было прежде всего отдать себе полный отчет в том, что же в вертолетах хорошо, а что плохо.

Казалось бы, все истинные друзья вертолетов должны были активно стремиться к такой расстановке точек над «i», а противиться ей — одни лишь враги вертолетостроения, буде таковые нашлись бы.

Увы, в действительности все произошло не так. Жизнь преподнесла мне еще один урок того, сколь опасно чересчур прямолинейно следовать доробгой формальной логики.

Главными противниками попыток составить «реестр» основных грехов устойчивости и управляемости вертолетов выступили... самые активные энтузиасты этого вида авиационной техники!

Им казалось, что всякое слово критики, сказанное по адресу их любимых детищ, принесет страшный вред новому, едва встающему на ноги делу, подорвет доверие к нему со стороны кого-то «наверху» и отбросит наше вертолетостроение с только что завоеванных исходных позиций.

Это был не первый (и — увы! — далеко не последний) случай, в котором я имел возможность убедиться, какой большой вред могут порой принести любимому делу его энтузиасты. Им обязательно нужен «противовес», хотя бы в виде «скептиков» — носителей критического элемента, — если уж нет рядом людей, способных трезво, спокойно, всесторонне разобраться во всех плюсах и минусах нового дела.

К сожалению, в случае, о котором идет речь, таких людей оказалось очень немного. Видные уже в те годы аэродинамики, специалисты по теории винтов и винтокрылых аппаратов Л. С. Вильдгрубе и Б. Я. Жердцов, тот же И. А. Эрлих — вот, пожалуй, и все.

Впрочем, не будем чересчур строго судить их тогдашних оппонентов. Боязнь правды — слабость, присущая далеко не только им одним...

\* \* \*

В наши дни — не только на аэродроме, но и на городской улице или сельской дороге — редко кто остановится и задерет голову, чтобы пропустить летящий вертолет взглядом.

Однако превращаться в обыденное — удел далеко не всякой экзотики.

Существовало немало летательных аппаратов, которые, родившись экстраординарными, так экстраординарными (во всяком случае пока, до наших дней) и остались.

С одним из таких аппаратов я познакомился — правда, лишь со стороны, «вприглядку» — еще в первый год моей работы в Отделе летных испытаний ЦАГИ.

Из ангара на летное поле вытащили какое-то странное сооружение — круглый, выкрашенный в яркий красный цвет диск, плашмя лежащий на трех довольно субтильных ножках шасси. Спереди диска был пристроен мотор (в сущности, только это и позволяло называть какую-то его часть «передом»). С противоположной стороны был наклеплен небольшой гребешок вертикального оперения. А в середине имелось экранированное прозрачным козырьком углубление — кабина пилота.

Судя по всему, странное сооружение предназначалось для того, чтобы летать.

Каких только кличек не было ему дано: «блин», «клоп», «камбала», даже «тарелка» (таким образом, термин «летающие тарелочки» не приходится считать послевоенным американским изобретением)!

Мне приходилось и до этого видеть так называемые бесхвостые самолеты. Мой друг — авиационный инженер Игорь Константинович Костенко — с юности увлекался проектированием бесхвостых самолетов, планеров и летающих моделей. Много лет спустя, в суровый сорок второй год, судьба забросила его на бывшую мебельную фабрику, которая была переведена на изготовление военной продукции — деревянных хвостов для штурмовиков ИЛ-2.

— Подумай только, какое злое издевательство! — жаловался тогда Игорь. — Всю жизнь я тянулся к самолетам без хвостов, а вынужден делать... хвосты без самолетов!..

Но «блин» — легкомоторный самолет с круглым в плане крылом конструкции А. С. Москалева — был не только бесхвостым, а и, если можно так выразиться, «бесфюзеляжным» и даже почти что «бескрылым» — во всяком случае крыльев подобной формы мне до этого видеть не приходилось.

Один за другим наши летчики, начиная с «корифеев» и кончая «доморощенной» молодежью, залезали в кабину этого интересного самолета, запускали мотор и носились по аэродрому, время от времени в коротком полете отдирая машину на несколько секунд от земли.

Красный, блестящий на солнце диск скользил над белым, свежеевыпавшим снегом. Это было очень красиво, но... безрезультатно. Взлетать машина упорно не желала. Даже оторвавшись после длительного разбега нехотя от земли, она неслась на высоте одного-двух метров, не обнаруживая сколько-нибудь заметных тенденций к дальнейшему подъему.

— Не полетит, — постановили большинством голосов летчики.

Но «блин» полетел.

Молодой в то время испытатель Н. С. Рыбко, обозлившись на свое нравный аппарат, пошел на очередной полет и, оказавшись в воздухе, не убрал газ через несколько секунд, а продолжал упорно гнать машину вперед.

Расстояние от земли возрастало буквально по сантиметрам — у летчиков это называется не набирать, а «скрести» высоту. Оставшиеся у ангара зрители видели, как маленький красный кружок стремительно приближался к границе аэродрома, за которой сплошной стеной стоял высокий лес. Убирать газ поздно. Еще несколько секунд — и машина врежется в деревья!

Невозможно, смотря летящему самолету в «хвост», с такого расстояния точно определить, сколько метров еще осталось ему до препятствия. Что произойдет раньше — пройдет ли он это расстояние или наскребет высоту, хотя бы на полколеса больше, чем у стоящих на его пути деревьев?

Долго шли эти секунды! Мне показалось уже, что дело плохо, — сейчас машина врежется в верхушки!

Но нет! Она перелетела — точнее, переползла — через них.

Переползла «впритирку» — так что только блеснула на солнце хвоя потревоженных воздушной струей ветвей.

Мы все хором шумно вздохнули: оказывается, последние полминуты никто из наблюдавших этот трудный взлет не дышал.

Впрочем, это еще не был вздох окончательного облегчения. Вырвавшись из последних сил на высоту леса, подниматься дальше «блин» категорически отказывался и быстро скрылся за зубчатым частоколом деревьев. Радиосвязи с одноместным самолетом в те времена не было. Да если бы она и была, вряд ли стал бы летчик в тот момент заниматься разговорами. Ничто не могло отвлечь его от отчаянной борьбы за сантиметры высоты.

...Сообщение пришло по телефону — Рыбко благополучно приземлился в Тушине. Он, едва держась выше препятствий в полете по прямой, справедливо не рисковал вводить машину в разворот. Лететь можно было только вперед. К счастью, там, впереди и чуть правее, лежал аэродром Тушино, и, увидев его, летчик не долго думая, произвел посадку — благо в н и з «блин» последовал несравненно охотнее, чем соглашался идти вверх.

— Не столько я прилетел к этому аэродрому, сколько аэродром (спасибо ему!) сам «подставился» под меня, — комментировал потом Коля свой несколько необычный для первого вылета маршрут.

А Чернавский уточнил:

— Полет с посадкой на другом аэродроме называется согласно наставлению перелетом... Смотрите, товарищи, «блин» уже ходит в перелеты!..

Можно было шутить — Рыбко сидел живой и здоровый среди нас.

Однако, на этом история не окончилась. Казалось бы, налицо все данные, чтобы испытания оказавшего столь строптивым самолета тут же и закрыть. Но оставалось неясным, чем вызвана такая решительная антипатия к удалению от земли у аппарата, в сущности, специально для этого предназначенного. В чем дело? Не оправдались расчеты конструктора? Допустим. Но нельзя и в этом случае ограничиться глубокомысленным: «Тем хуже для расчетов». Ведь они будут еще не раз применяться при создании следующих машин. Надо обязательно найти, где ошибка, чем именно «хуже для расчетов».

А для этого надо летать.

Летать, как бы трудно это ни было. Иногда «плохо летающая» машина представляет для будущего авиации даже больший интерес, чем самая что ни на есть удачная.

И Рыбко продолжил испытания «блина».

Правда, следующие полеты решено было организовать «с умом» (этим они, если говорить откровенно, бесспорно, отличались от первого).



Самолет перевезли на огромный естественный аэродром — замерзшее Переславское озеро, — над которым можно было лететь без разворотов по прямой хоть полчаса. и в то же время иметь в любой момент возможность, если понадобится, немедленно приземлиться.

Конечно, летать все равно было трудно. Новое всегда трудно.

Но результаты полностью окупили все тревожения, хлопоты и энергию, затраченную участниками работы и в первую очередь Николаем Степановичем Рыбко.

«Блин» залетал!

Он бодро забирался на полуторакилометровую высоту, свободно разворачивался в любую сторону, взлетал, садился — словом, исправно делал все, что положено приличному, уважающему себя аэроплану.

Дело оказалось в том, что на этой машине поначалу летали... неправильно. Выяснилось, что все ее качества расцветают на непривычно больших углах атаки — в таком «задранном» кверху носом положении, с которого самолеты, имеющие крыло нормальной формы и удлинения, немедленно сорвались бы в штопор.

В то время это было воспринято как «чуждачество» экзотической машины, а успех испытаний (вернее, исследований) расценен прежде всего как чисто спортивный. Польза от познания нового почти никогда не «отыгрывается» сразу. Но рано или поздно приходит и ее час!

Сейчас, наблюдая, как взлетают и садятся, высоко задрав носы к небу, современные сверхзвуковые самолеты с треугольными или трапецевидными крыльями малого удлинения, я каждый раз вспоминаю смелые новаторские полеты Н. С. Рыбко на маленьком экспериментальном самолете А. С. Москалева.

В конце концов «экзотика» дала свои плоды: конкретные, реальные, пригодные для каждодневного употребления.

\* \* \*

В конце войны до нас стали доходить отрывочные слухи о том, что в Германии построен и летает ракетный, то есть имеющий жидкостный реактивный двигатель (ЖРД), самолет подобный нашему, на котором еще в сорок втором году летал и впоследствии погиб летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи.

Слухи эти быстро обрастали подробностями. Выяснилось, что интересующая нас машина именуется «Мессершмитт-163», что она имеет стреловидное крыло, лишена горизонтального оперения и установленное на ней колесное шасси не убирается, а сбрасывается сразу после взлета, посадка же производится на небольшую выпускную лыжу.

В общем, аппарат по всем статьям должен был быть весьма интересным.

Несколько фронтовых летчиков даже видели ME-163 в воздухе.

И вот наконец трофейный экземпляр этого не похожего ни на какой другой — снова «экзотика»! — самолета стоит перед нами. Устойчивость и управляемость такой машины стоили того, чтобы подробно их исследовать — сначала в аэродинамической трубе, а затем и в воздухе.

Задача осложнялась тем, что возникли непредвиденные трудности с освоением установленного на ME-163 двигателя «Вальтер». Поначалу казалось, что стоит прогнать его на стенде, отработать запуск, попробовать на разных режимах — и можно идти с ним в воздух. Но все это было легче сказать, чем сделать! Начать с того, что для «пленного» двигателя у нас не оказалось горючего. Он работал на перекиси водорода, причем пожирал эту не принятую у нас пищу в таких количествах, что для удовлетворения его потребностей пришлось бы специально расширять заводское производство перекиси.

Словом, двигатель задерживался.

Разрешена эта проблема была в стиле Александра Македонского, в свое время разрубившего гордиев узел, вместо того, чтобы возиться, распутывая его.

Двигателя нет?

Ну что ж, будем летать без двигателя!

Опыт в проведении подобных полетов у нас уже был. Именно таким образом — в безмоторном варианте — испытывались «летающие лаборатории» конструкции П. В. Цыбина, самолет М. Р. Бисновата и даже знаменитый первенец мирового ракетного самолетостроения БИ-1 В. Ф. Болховитинова: перед установкой ЖРД летчик-испытатель Б. Н. Кудрин облетал его в виде планера. Конечно, все эти машины по своим параметрам существенно отличались от того, что обычно понимается под этим термином.

И тем не менее с ними обращались, как с планерами: поднимали в воздух и затаскивали на нужную высоту при помощи буксировки на длинном гибком тросе за самолетом-буксировщиком. А затем испытываемая машина отцеплялась и, снижаясь, выполняла все заданные режимы. Конечно, делать все это на летательном аппарате, гораздо более тяжелом, инертном, обладающем значительно большей скоростью снижения, чем планер, было непросто. Но ничего лучшего предложить никто не мог. Приходилось летать на «непланерах» так, как оно положено на планерах.

Впервые я попробовал, что такое полет на буксире, еще до войны. Один из первых мастеров советского планеризма Борис Киммельман, работавший некоторое время летчиком в ЦАГИ, затащил меня однажды на небольшой аэроклубный аэродром недалеко от Москвы. Подозреваю, что его гостеприимство было несколько подогрето некими дополнительными, вполне практическими соображениями: изо всех аэроклубных летчиков на самолете Р-5 летал только он один, и, следовательно, ему была уготована участь целый день буксировать других, не имея возможности полетать на планере самому. Во всяком случае очень скоро после нашего приезда Киммельман как бы экспромтом изрек:

— Слушай! А что, если бы ты стаскал меня разок наверх на Р-пятом? Не возражаешь?

Конечно, я не возражал. Мотивы, толкнувшие Бориса на всю эту нехитрую дипломатию — непреодолимая тяга к полетам, — были мне понятны и представлялись вполне уважительными. А кроме того, я не без удивления обнаружил, что, попав на аэроклубный аэродром, неожиданно «размяк»: открытая, ничем не огороженная площадка, не очень ровный, покрытый травкой грунт, легкомоторные учебные самолеты, среди которых даже двухместный разведчик Р-5 выглядел не по достоинству солидно, юноши и девушки в легких синих комбинезонах — каких-нибудь три-четыре года назад точно в такой же обстановке начинал летать в Ленинградском аэроклубе и я сам.

Отказать аэроклубовцам в чем бы то ни было, а особенно в такой мелочи, было невозможно. И я, сев в кабину Р-пятого, чтобы «стаскать разок наверх» Бориса, как-то незаметно провел в этой кабине, буксируя одного планериста за другим, весь свой выходной день.

Через шестидневку — тогда рабочая неделя была на день короче, чем сейчас, — я явился к своим новым друзьям планеристам снова. На этот раз среди них оказался еще один летчик, летающий на самолете Р-5. И я получил возможность попробовать, что за штука буксирный полет на планере.

Мы с Киммельманом сели в двухместный планер Ш-10, и самолет потащил нас вперед. Взлет показался мне очень несложным: разгоняясь,

Р-пятый держал трос туго натянутым так, что слабина образоваться не могла, и только в установившемся полете с постоянной скоростью я столкнулся с некоторыми трудностями. Чтобы не допускать излишнего «провисания» троса, приходилось маневрировать: своевременно выбирать слабину небольшим уходом вверх или в сторону — в противном случае она с резким рывком «выбиралась» уходящим вперед самолетом. Это называлось «дергать» и было одинаково неприятно и буксировщику и буксируемому.

Но зато после отцепки все сложности сразу кончились. Стало тихо. Исчез запах выхлопных газов, долетавший до этого вместе с воздушной струей от буксировщика. Планер легко парил в воздухе, мягко покачиваясь на невидимых ухабах атмосферных потоков.

Ни на одном летательном аппарате не чувствуешь себя в такой степени птицей, как на планере! Я провел у своих гостеприимных аэроклубных друзей несколько свободных дней, вволю полетал на разных планерах и, можно сказать, только тогда начал как следует входить во вкус этого замечательного дела, потому что полеты со склона горы, которыми я увлекался в дни своей ленинградской юности, ни в какое сравнение ни с полетом на буксире за самолетом, ни особенно со свободным парением не шли!

\* \* \*

Через несколько лет, уже во время войны, мне предложили облетать один ракетный самолет. Точнее, самолет, которому еще предстояло стать ракетным. Он тоже ждал своего задержавшегося на стендовых испытаниях двигателя. А пока машину в безмоторном варианте испытал летчик-испытатель С. Н. Анохин. Как всегда, после окончания программы следовал «облет» новой машины несколькими испытателями — нечто вроде воздушного консилиума для получения возможно более полной качественной оценки аппарата.

Получив задание участвовать в этом облете, я задумался о том, как поведет себя в полете на буксире стоящая передо мной машина. Будет ли она похожа в этом отношении на легкие тихоходные планеры Ш-10 или Г-9? Как буксироваться на ней? Как регулировать провисание троса? Мои раздумья разрешил Анохин.

— А вы не смотрите на трос,— сказал Сергей Николаевич (он пришел в наш коллектив незадолго до этого, и мы с ним еще были на «вы»).— Забудьте о нем. Держитесь, будто в строю, на одной и той же высоте относительно буксировщика, и трос сам провиснет так, как нужно.

Велика в нашем деле сила точного замечания! Я знал об этом из собственного опыта — выпускаю летчиков в самостоятельный полет на новых для них типах самолетов, ни в коем случае не следует загромождать сознание человека многословным — будто он впервые садится за штурвал — изложением всего, что и как ему придется делать в воздухе. Тут нужно другое: несколько лаконичных указаний о том, что в новой машине покажется ему новым, непривычным, не таким, как на ранее освоенных аппаратах,— остальное он отлично знает сам. Совет Анохина в этом смысле был очень точен.

Взлетев, я последовал ему и с тех пор больше никогда ни малейших затруднений в буксирных полетах — ни на этой машине, ни на какой-либо иной — не испытывал.

Когда же дело дошло до «Мессершмитта-163», моя задача облегчилась дополнительно еще и тем, что пилотирование самолета-буксировщика ТУ-2 было поручено крупнейшему специалисту в этой области —

старейшему мастеру безмоторных полетов летчику-испытателю Игорю Ивановичу Шелесту.

Шелест — еще одно живое подтверждение того же уже упоминавшегося мною правила, согласно которому способный человек почти никогда не бывает способным лишь в какой-то одной области. Искусство полета и конструкторско-изобретательская деятельность, журналистика и графика, методика летных испытаний и вокальное искусство — все находило свое место в жизни Игоря Ивановича. Конечно, в разные годы он уделял каждому из перечисленных (и, наверное, многих других, неизвестных мне) дел своей жизни неодинаковое внимание. Но то, что он делал, делалось неизменно добротнo, увлеченно, всерьез, на высоком, подлинно профессиональном уровне.

В связи с испытаниями МЕ-163 из всех достоинств Шелеста меня, как легко догадаться, интересовало прежде всего одно — его опыт в буксирных полетах. Игорь Иванович был участником первого в СССР «воздушного поезда», состоявшего из самолета-буксировщика Р-5, который пилотировал летчик Н. В. Федосеев, и трех буксируемых им планеров Г-9, на которых летели пилоты-планеристы С. Н. Анохин, Н. Я. Симонов и И. И. Шелест. Весной 1934 года «поезд» благополучно перелетел из Москвы в Крым, положив этим начало целой полосе увлечения воздушными поездами всяческого вида, начиная от одновременной буксировки одним самолетом одиннадцати (1) планеров и кончая «цепочкой», при помощи которой был доташен в стратосферу ракетопланер, упоминавшийся в первой книге этих записок. Иметь в роли пилота-буксировщика одного из основоположников данного способа передвижения в воздухе было и лестно, и, главное, весьма небесполезно!

Действительно, буксировал Шелест классически: четко, уверенно, без единого рывка, переходя из режима в режим так плавно, что я затруднился бы даже точно определить момент начала каждого очередного маневра.

Все это я особенно оценил — так сказать, «по контрасту», — когда в одном из полетов Шелеста, не помню уж по какой причине, заменил другой летчик.

Квалификация этого летчика была, вообще говоря, наивысшая, какую только можно себе представить, но специального опыта буксировки он не имел. Его дебют в этой области, невольным участником которого оказался, таким образом, и я, протекал поначалу довольно удачно. Выслушав перед стартом мои трепетные мольбы, — пожалуйста, поплавнее! — он довольно аккуратно взлетел, мягко перешел к набору высоты, плавно развернулся и «согрешил» лишь один раз — когда понадобилось включить вторую ступень нагнетателей (устройств, обеспечивающих сохранение земной мощности моторов до определенной высоты). У Шелеста я замечал этот момент лишь по клубу дыма из выхлопных патрубков моторов да еще по тому, как вновь возростала снизившаяся было скороподъемность.

Но мой новый буксировщик, следуя букве инструкции, перед включением второй ступени резко убрал газ — ему казалось, что «если быстро, то ничего». А включив вторую ступень, столь же резко дал полный газ снова.

Если вам нужно разорвать нитку, вы берете ее за два конца, немного сводите руки и резким движением вновь разводите их. Короткий рывок — и нитка разорвана.

Абсолютно то же самое произошло с нашим стальным буксирным тросом. Рывок — и в воздухе между мной и хвостом буксировщика, как извивающиеся змеи, сверкнули концы разорванного троса.

Энергично развернувшись от столь предательски бросившего меня самолета (первая задача сейчас — попасть на аэродром!), я довольно быстро убедился, что до дому, кажется, дотягиваю. Но тут же возникла вторая, не менее важная проблема: что делать с застрявшим в носу моей машины солидным — в десятки метров длиной — обрывком буксирного троса? Попытки сбросить его успеха не имели: замок, не рассчитанный на приложение усилия откуда-то сзади и снизу, заел и не открывался, сколько я ни дергал за скобу отцепки рукой.

В памяти (она в подобных ситуациях бывает услужлива до приторности) всплыл точно такой же случай с одним планеристом, тоже вынужденным заходить на посадку с длинным несброшенным отрезком буксирного троса.

Коснувшись земли, конец троса волочился по ней, пока за что-то не зацепился и не превратился, таким образом, в подобие мертвого якоря. В то же мгновение планер — как бы остановленный в воздухе — со всей накопленной живой силой своего движения устремился вниз. Подобно камню в праще, мелькнул он по дуге круга, радиусом которого служил обрывок буксирного троса, — и врезался в землю.

Нет, такой вариант нам ни к чему! От троса надо любым способом избавляться — иначе ничем хорошим сегодняшний полет не кончится. Но продолжать без толку дергать скобу замка отцепки тоже бессмысленно: нет оснований ожидать, что, не открывшись от тридцати дерганий, он откроется от трехсот. Надо придумать что-нибудь еще.

И я решил попробовать сочетать повторные дергания скобы с энергичным маневром: дать короткое крутое снижение, а как только машина разгонится, резко, с хорошей перегрузкой рвануть ее кверху. От перегрузки «вес» троса увеличится, да и рваться из закусившего его замка он будет как бы немного в другую сторону — больше «вниз», чем «назад». Попробуем! Тем более что ничего лучшего в голову не приходит.

Трос сорвался с четвертой попытки, когда до земли оставалось едва несколько сот метров и маневрировать было уже почти негде... Неосторожный рывок буксировщика обошелся всего одним сорванным заданием — в общем, гораздо дешевле, чем можно было бы ожидать.

\* \* \*

Полеты на безмоторном ME-163 — «карасе», как его прозвали механики за напоминающие эту рыбу очертания остроносого пузатого фюзеляжа, — протекали похоже друг на друга.

Машину устанавливали в начале взлетной полосы. Сюда же подруливал и становился на положенном расстоянии перед «Мессершмиттом» буксировщик ТУ-2. Между ними — прямо на бетонных плитах полосы — раскладывали буксирный трос и подсоединяли его к замкам.

Только после этого я залезал в свою пахнущую немецким авиационным лаком кабину. Оказывается, все органы чувств — даже обоняние — участвуют в формировании того, что мы называем «обликом», непотворимо присутствующим в каждой машине. Немало полетов на разных «Мессершмиттах» и «Юнкерсах», я уже успел принюхаться к этому «немецкому» запаху.

Последняя проверка радиосвязи с землей и буксировщиком. Контрольный пуск приборов-самописцев. Буксировщик медленно проползает на несколько метров вперед, чтобы «выбрать слабинку» троса. Все — можно взлетать.

Во время разбега я самолета обычно не видел: натянутая струна буксирного троса уходила прямо в густую клубящуюся мглу, поднятую винтами. Сразу после отрыва от земли надо было держать ухо остро —

попав в возмущенную буксировщиком струю, «карась» бросался в резкие неожиданные крены, провалы, взмывания, которые приходилось энергично парировать, чтобы не стукнуться о все быстрее мелькавшие под нами бетонные плиты взлетной полосы. Три-четыре метра высоты — можно нажимать кнопку сброса колесной тележки. Она свою задачу уже выполнила и теперь висит под машиной мертвым грузом; совершенно ни к чему в течение всего полета таскать его с собой. Наконец из мглы выступают очертания самолета. Между киями его двухвостого оперения поблескивает плексиглас кормовой кабины; там сидит механик, выполняющий сейчас обязанности «воздушного сцепщика». Контуры ТУ-2 устойчиво проектируются чуть ниже горизонта — мое законное место в строю занято. «Поезд» набирает высоту.

Три... четыре... пять километров остается между нами и землей. Все лежащее внизу просматривается сквозь вуаль туманной дымки — не так уж прозрачна земная атмосфера, как обычно думают. Единственный реальный, совершенно вещественный предмет во всем окружающем меня мире — наш буксировщик. На туманном фоне горизонта он контрастно выделяется, будто нарисованный яркой тушью на акварельной картинке. Каждая его деталь — даже прозрачные диски вращающихся винтов — представляется сейчас более вещественной, чем целый город, проплывающий глубоко внизу.

Высота шесть километров. Шелест хитро рассчитал маршрут полета так, чтобы набрать заданную высоту за один круг (лишние развороты — дополнительное осложнение моей работы) и оказаться к этому моменту носом к нашему аэродрому на расстоянии десяти — двенадцати километров от него.

«Воздушный сцепщик» утверждал, что этот маршрут проходит «через три области и две губернии».

Предупредив по радио, что отцепляюсь — это адресовано не столько Шелесту, сколько земле, которая обязана обеспечить безмоторному аппарату беспрепятственную посадку, — протягиваю руку и дергаю «ту самую» скобу.

Легкий толчок — и «Мессершмитт» замирает в воздухе.

Быстро удаляясь вперед, буксировщик энергично ложится в глубокий крен и крутым разворотом — будто это и не он только что добрых полчаса вел себя так подчёркнуто чинно и плавно. — уходит в сторону. Это Шелест освобождает мне место для свободного маневрирования.

«Карась» теряет скорость. Я помогаю ему в этом, выбирая ручку управления на себя. Первый пункт задания, составленного нами с ведущим инженером Игорем Михайловичем Пашковским, моим товарищем еще по Ленинградскому политехническому институту: исследование поведения машины на больших углах атаки. Краем глаза вижу, как вздрогнули и бурно затрепыхались специально для этого наклеенные шелковые ленточки на крыльях — благодаря им делается видимым течение омывающего машину воздушного потока. Включены самописцы, с жужжанием работают кино съемочные камеры. Скорость продолжает падать. Ленточки свидетельствуют, что поток сорван уже почти на всей поверхности крыла. Воздух больше не держит передранную машину — дрожа и качаясь, она с неровным свистом проваливается вниз. Выход на критические углы атаки записан. Теперь — разгон до максимально допустимой скорости.

Ручку от себя — и, перевалившись, как гимнаст на турнике, вперед, МЕ-163 круто устремляется вниз, к выбранной мною точке прицеливания: какому-нибудь лесочку, перекрестку дорог или изгибу реки на далекой земле.

Теперь шелковинки на крыльях, будто в один момент причесанные искусным парикмахером, все как одна, плотно прижаты к гладкой фанерной обшивке. Резко нарастает шум потока обтекания. Ручка управления, связывающая меня со всей мощью встречных струй воздуха, делается упругой и неподатливой. Она нервно вздрагивает в моей руке в такт ударам воздушных потоков, сквозь которые мы, с каждой секундой наращивая скорость, бомбой падаем к земле.

Чтобы траектория пикирования оставалась прямолинейной, как натянутая струна, приходится плавным, непрерывным, точно дозированным движением — на какие-то миллиметры в секунду — вести ручку управления вперед. Самописцы фиксируют это движение, и по нему на земле после обработки установят характеристики устойчивости, присущие машине столь интересной схемы.

Но вот предельная скорость достигнута.

Теперь — вывод. Плавный, с солидной, но постоянной перегрузкой — так, чтобы стрелка акселерометра дрожала у одного и того же деления — вывод. Точка прицеливания, которую я несколько десятков секунд держал как только мог точно перед собой, резво ныряет под фюзеляж. Быстро проваливается вниз линия горизонта, разрезающая весь мир на пестро-зеленую и бело-голубую половины. И вот передо мной уже одно только покрытое редкими облаками небо. «Карась» в крутой горке, постепенно уменьшая скорость, лезет наверх.

Во время горки делаю несколько «дач» ручкой и педалями управления. Нет, это, конечно, не те дачи, которые снимают на лето, а «дачи» от слова «давать»: энергичные отклонения органов управления, по которым судят об управляемости летательного аппарата...

Горка закончена. Фиксирую еще раз предельно малую скорость и выключаю самописцы.

На посадку «карась» снижается быстро и непривычно круто. Малейшая неточность при выравнивании грозит либо ударом с непогашенной вертикальной скоростью о землю, либо потерей скорости на высоте нескольких метров от земли и последующим сваливанием на крыло.

Впрочем, как всегда в подобных случаях, быстро нашелся прием пилотирования, позволяющий обойти выявившиеся трудности. Я стал, казалось бы наперекор элементарной логике, подходить к земле... еще круче, на еще большей горизонтальной и вертикальной скорости! Но этот-то запас скорости и давал возможность начинать выравнивание заблаговременно — за десятки метров до земли, — когда никакой ювелирной точности маневра не требовалось. А у самой земли «доделать» второй этап выравнивания — погасить теперь уже сравнительно небольшую скорость снижения — и спокойно посадить машину.

Я вспоминаю об этом приеме пилотирования потому, что через много лет он возродился, вернее, родился вновь совершенно независимо от меня, при выполнении вынужденных посадок с отказавшим двигателем на современных сверхзвуковых истребителях.

Отказы двигателей в наши дни — большая редкость. Но если такая редкость все же происходит, то на одномоторном самолете это означает либо катапультирование летчика, либо вынужденную посадку. Трудно сказать, что хуже! Покинуть машину жалко, но посадить ее, даже при наличии аэродрома «под боком», очень нелегко! Когда сверхзвуковой истребитель подходит с отказавшим мотором к земле, со стороны кажется, что машина стремительно падает (именно падает!) носом вниз, так, будто ее небольшие треугольные или остростреловидные крылышки вроде совсем и не держат плотный бочонок фюзеляжа. Куда там «карась»! Он теперь кажется неприхотливой, смирной авиеткой.

Первые удачные вынужденные посадки опытных сверхзвуковых истребителей, блестяще выполненные летчиками-испытателями В. П. Васиным, Ю. А. Гарнаевым, Э. В. Еляном, В. С. Ильюшиным, В. Н. Махалиным, Г. К. Мосоловым, Г. А. Седовым, потребовали от них такой мгновенной мобилизации всего своего опыта, таланта, интуиции, самообладания, что возводить это в норму поведения любого летчика, попавшего в подобную беду, было явно невозможно.

Поиски надежного, приемлемого для пилота средней квалификации способа выполнения вынужденной посадки современного самолета закономерно привели к тому же приему «двойного выравнивания», который когда-то был применен мною на «карасе». Летчики-испытатели Мосолов, Васин, Гарнаев, которым уже пришлось совершить подобные посадки в аварийном порядке, теперь не один раз повторили их намеренно. Повторили, разобрались подробно «что и как» и написали, как оно и положено, детально разработанные инструкции. Теперь можно было учить всех летчиков подряд выполнению этого маневра, еще недавно казавшегося смертельно опасным и доступным лишь пилоту высшей квалификации, да и то при условии, что ему «повезет».

Наверное, одна из наиболее характерных примет искусства летчика-испытателя — стремление и умение низводить (а может быть, возвышать?) это свое искусство до уровня общедоступного «ремесла».

А вместо каждого очередного «орешка», который силой испытательского искусства — именно искусства! — удается разгрызть и благополучно передать в сферу нормальной эксплуатации, неизменно выплывает целая куча новых проблем, ждущих приложения таланта, интуиции, знаний, — словом, того же неиссякаемого летного искусства.

\* \* \*

И все-таки один раз «карась» подвел меня!

То есть, конечно, правильнее было бы сказать, что это я подвел его, но соблазн сваливать грехи с одушевленных существ на предметы неодушевленные чересчур велик, чтобы устоять против него.

По ходу испытаний — для определения некоторых характеристик устойчивости — требовалось полетать на МЕ-163 при разных положениях центра тяжести аппарата. Методика проведения данного испытания была детально отработана в течение многих лет: в нос или хвост фюзеляжа закладывался груз — чугунные чушки или мешки с песком — так, что центр тяжести самолета сдвигался вперед или назад на нужную величину. Именно — н у ж н у ю величину! К сожалению, мы все — и в первую очередь я сам — подошли к решению вопроса о том, какую величину полагать нужной, довольно формально. Вернее, просто не поставили этот вопрос перед собой. Мы давно привыкли, что сдвиг центра тяжести на два-три процента хорды («глубины») крыла никаких сколько-нибудь заметных осложнений в пилотировании не приносит. И центр тяжести «карася» был без особых размышлений сдвинут вперед на те же два-три процента. А «карась»-то ведь был бесхвостый! Его рули высоты действовали на плече по крайней мере вдвое меньшем, чем на машинах нормальной схемы...

Едва оторвавшись от земли, я почувствовал неладное: самолет — как лодку с незагруженной кормой — сильно тянуло на нос. В полете на буксире это проявлялось еще в более или менее терпимых пределах — помогал буксирный трос, к которому «Мессершмитт» был «привязан» за нос. Но стоило мне отцепиться, как стремление «клянуть» овладело «карасем» с полной силой. Чтобы поддерживать машину в режиме нормальной планирования, пришлось полностью, до отказа выбрать ручку



управления на себя. А ведь предстояло, подойдя к земле, выровнять машину и посадить ее! Чем я буду это делать?

Создавалось глупейшее положение! Вроде машина совершенно исправна, но потенциально она уже бита! Даже отложить неизбежное соприкосновение с землей, дабы как-то обдумать оптимальные формы (если они, конечно, существуют!) этого соприкосновения, и то невозможно: двигателя нет, и каждая секунда приближает нас к земле.

Испытательные режимы я постарался выполнить особенно тщательно: в подобных невеселых ситуациях хочется, по понятной слабости человеческой, всеми мыслями погрузиться в предстоящие неприятности, а работу (из-за которой в конечном счете и пришлось столкнуться с этими неприятностями) сделать кое-как. Но работа не виновата. Ее надо делать как следует. Более того: записи на лентах самописцев должны быть тем безукоризненнее, чем больше шансов, что они окажутся на этой машине последними...

Перед самой землей я немного отдал ручку вперед. Правда, от этого машина «посыпалась» вниз еще быстрее, но зато в моем распоряжении оказался какой-то крохотный запас ручки. Сейчас попробую использовать его!

Метрах в пятнадцати от земли я резким, никогда не применяемым в нормальном пилотировании движением рванул ручку на себя: авось поможет — по крайней мере хлопнемся не носом, а «пузом» фюзеляжа! Больше, так или иначе рассчитывать не на что... Машина рывком подняла нос, замедлила снижение, казалось — сейчас она, как положено, замрет над землей!

Но нет — чуда не произошло. В полном соответствии всем законам динамики полета машина с ходу грузно стукнулась о грунт, снесла посадочную лыжу, подпрыгнула вновь и — на сей раз уж окончательно — хлопнулась днищем фюзеляжа о землю.

Говорят, грохот от ломающихся частей машины был изрядным. Но я его уже не слышал. Еще при первом ударе о землю меня чем-то плотно трахнуло по голове (или, возможно, голова плотно трахнула по чему-то), так что я успел только полурефлекторно удержать «карася» от падения на крыло, после чего немедленно впал в состояние блаженного небытия.

Очнулся я, лежа на снегу с подложенным под голову парашютом. Оказалось, что механик Евгений Алексеевич Жарков, одним из первых подбежавший к покалеченной машине, прямо руками взломал фонарь кабины и вытащил меня из нее. С этой, вообще говоря, не очень простой операцией — я уже тогда был мужчиной достаточно солидным, во всяком случае по комплекции — Женя Жарков справился, как мне потом рассказали, мгновенно: недаром он много лет занимался штангой, а стокилограммовые бомбы подвешивал на самолетные держатели «просто так» — руками, не пользуясь специально существующей для этого ледбедкой.

А тут уж он, надо думать, старался вовсю! Аэродромные старожилы за годы своей работы повидали достаточно разных «случаев», чтобы стремление прежде всего как можно скорее вытащить из аварийной машины людей стало для них органическим.

Расплата за неучтенную «стоимость» каждого процента центровки на бесхвостом аппарате, таким образом, не заставила себя ждать. Авиация подобных вещей не прощает. Каким самоочевидным показался мне когда-то принцип старых летчиков-испытателей ЦАГИ: «Сначала подумать, потом лететь» — и как трудно оказалось неуклонно следовать этому принципу на практике!

Хорошо еще, что в нашем распоряжении был второй экземпляр самолета того же типа. Через три недели он был оборудован приборами и

полностью подготовлен к испытаниям. Готов к этому времени (то есть, конечно, не то чтобы совсем «полностью», но все-таки готов) был и я.

Так, «на перекладных» — используя поочередно два однотипных аппарата, — удалось довести исследования этой интересной машины до конца.

После меня «Мессершмитт-163» облетали Я. И. Верников и А. А. Ефимов. На другом аэродроме полеты на таком же самолете проводил В. А. Голофастов.

Вообще трофейная техника у нас не застаивалась. Всесторонние испытания «ходового» немецкого истребителя «Фокке-Вульф-190» выполнил блестящий мастер высшего пилотажа летчик-испытатель В. Л. Расторгуев. На немецких самолетах с турбореактивными двигателями много и смело летали Г. М. Шиянов, А. Г. Кочетков, Ф. Ф. Демида и другие летчики.

Немало необычных летательных аппаратов пришлось мне повидать за долгие годы жизни на испытательном аэродроме. Из нашей «доморощенной» — воспитанной в ЦАГИ — компании больше всего таких аппаратов пришлось, пожалуй, на долю Г. М. Шиянова — ныне Героя Советского Союза и заслуженного летчика-испытателя СССР. Еще до войны Георгий Михайлович испытывал оригинальный самолет конструкции В. В. Шевченко, с убирающимся в полете крылом — так, что он мог в воздухе превращаться из моноплана в биплан и обратно (механики называли его: «Это птица какаду — меняет крылья на ходу»). А почти двадцать лет спустя он же испытал и отработал взлет сверхзвукового истребителя без разбега — со специальной эстакады, при помощи мощных ракетных стартовых ускорителей. Это был, поверьте, номер довольно сильный даже для привычных ко всему старожилов испытательного аэродрома.

\* \* \*

Говоря об испытаниях «карася», мы вернулись от первых полетов вертолета МИ-1 на три года назад. Забежим теперь мысленно на десять лет вперед.

Многое изменилось в авиации за это время. Реактивные самолеты всех видов — не только истребители, но и средние, и тяжелые стратегические бомбардировщики, и даже пассажирские — уже давно перестали казаться кому-либо в новинку, когда в дальнем углу нашего аэродрома появилось странное, ни на что не похожее сооружение.

Впрочем, ни на что не похожих вещей на свете, по-видимому, не бывает. Так по крайней мере считали наши аэродромные остроловы, немедленно окрестившие немислимое сооружение «летающей этажеркой».

При взгляде сверху — в плане — это был ажурный, сваренный из стальных труб крест, по концам которого крепились стойки с четырьмя небольшими свободно ориентирующимися, наподобие рояльных, колесиками шасси. А в середине всей этой конструкции был «торчком» укреплен в неестественном для него вертикальном положении обычный реактивный двигатель.

Таким образом, создаваемая им тяга была направлена вверх, а так как по своей величине она превышала вес «этажерки», то все сооружение могло подниматься в воздух. Подниматься на живой тяге двигателя — без крыльев, несущего винта или иного ранее известного источника создания подъемной силы.

Но это было еще только полдела. Мало подняться в воздух — надо там удержаться и управлять летательным аппаратом по своему желанию. Поэтому главная задача, стоявшая перед создателями этой ма-

шины — профессором В. Н. Матвеевым, инженером-конструктором А. Н. Рафаэлянцем, инженерами А. И. Квашниным и Г. М. Лапшиным, — заключалась в том, чтобы отработать способы стабилизации и управления аппарата нового типа.

Для чего это было нужно?

Оказывается, для очень многого, начиная с одной из ближайших задач развития авиации — создания самолетов, способных взлетать и садиться без разбега и пробега, и кончая возможно даже перспективой постройки космических кораблей, предназначенных для посадки на лишённые атмосферы небесные тела — например, на Луну.

Испытывать турболет — таково было официальное наименование «этажерки» — поручили летчику-испытателю Юрию Александровичу Гарнаеву. Трудно назвать летчика, который бы превосходил Гарнаева по универсальности — разнообразию освоенных им типов и классов летательных аппаратов!

Путь Гарнаева в Большую авиацию — если бы я так не боялся громких слов, то обязательно назвал бы этот путь «эпопеей» — был сложным и трудным. Трудно, я думаю, найти людей, которые с такой силой и самоотверженностью пробивались сквозь, казалось бы, непреодолимые преграды к цели своей жизни. Что говорить, ни у кого из нас эта дорога не была сплошь усыпана розами. Но таких препятствий, как Гарнаеву, судьба не преподносила, пожалуй, никому другому.

Окончание войны с Японией он встретил старшим лейтенантом, летчиком истребительной авиации. Казалось, ему открыты все дороги, все пути. И вдруг — как снег на голову — свалилась беда: нежданная, незаслуженная, злая...

Несколько лет Юра об авиации не мог и мечтать. Какая уж там авиация, когда и на обычную-то, земную жизнь приходилось смотреть сквозь перечеркнувшую весь мир сетку колючей проволоки!..

Лишь в самом конце сороковых годов Гарнаев появился на нашем аэродроме. Конечно, не как летчик — об этом, по существовавшему «правилам», не могло быть и речи. Невероятным везением было уже то, что его приняли техником-экспериментатором!

Группа, в которой он начал работать, была не совсем обычной.

Она трудилась над решением одной из проблем, стоявших в те годы перед авиацией всех передовых в техническом отношении стран мира. Эту группу возглавляли не ученые и даже не дипломированные инженеры, а профессиональные летчики-испытатели В. С. Васянин и И. И. Шелест, о котором я уже рассказывал. Едва ли не каждый день они, оторвавшись от чертежей и расчетов «своей» группы, уходили в воздух по другим, не имевшим к этому делу никакого отношения, заданиям.

Казалось бы, разумнее было поручить руководство экспериментально-конструкторской группой ученым, инженерам, просто администраторам наконец, но никак не летчикам. Но тут выступало на сцену одно существенное обстоятельство: летчики-испытатели Шелест и Васянин были авторами идеи, лежащей в основе всей работы. И, как показало будущее, идеи весьма плодотворной, позволившей успешно решить всю проблему.

Для Гарнаева такое начало службы в испытательной авиации оказалось, по-видимому, даже более полезным, чем если бы он пришел к нам сразу летчиком-испытателем. Так сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Практическое освоение «тылов» испытательной работы, опыт полетов в качестве наблюдателя, наконец само общение с Шелестом и Васиным — «настоящими» штатными летчиками-испыта-

телями, в то же время не ограничивающими свою деятельность одной лишь только пилотской кабиной, — все это было такой академией, переоценить которую невозможно. Особенно нам, «доморощенным», прошедшим в свое время мытье в тех же водах.

Теперь — после освоения «казов» — ему бы самое время садиться за штурвал! Но нет, в этот момент судьба нанесла Гарнаеву второй тяжкий удар.

В чью-то не по разуму инициативную голову пришла идея — «проверить» личный состав наших летчиков-испытателей: насколько, так сказать, надежны руки, которым доверены многомиллионные опытные и экспериментальные самолеты. Инициативная голова нашла себе влиятельных союзников, и проверка развернулась полным ходом.

К сожалению, основным ее критерием служили не живые дела «подследственных», а прежде всего их анкеты. Нет надобности перечислять номера всех анкетных пунктов, по которым шло разделение на «чистых» и «нечистых». Увы, последних в нашем коллективе оказалось числом поболее, чем первых, — так что кадры испытателей были признаны недопустимо «засоренными». И, как нетрудно догадаться, среди преданных остракизму оказался и Гарнаев: на фоне завидной безупречности всех прочих пунктов анкеты пункт: «Привлекался ли ранее...» — был у него существенно подпорчен.

Второй удар оказался для Гарнаева психологически едва ли не тяжелее первого... У него изъяли пропуск на аэродром. Только из-за ограды он мог видеть, как взлетают, уходят в зону испытаний, возвращаются, заходят на посадку те самые самолеты, теплые штурвалы которых всего несколько дней назад дрожали в его руках. Отрываться во второй раз от любимого дела оказалось едва ли не тяжелее, чем в первый. Хотелось закрыть глаза, скрыться, уехать прочь, не видеть того, что приходится с кровью отдирать от своего сердца!

Но сердце сердцем, а слушать его биение без контроля со стороны разума и воли нельзя. Это Гарнаев понимал отлично. Понимал, а потому... принял предложенную ему должность заведующего институтским клубом.

Целый год ежедневно приходил он на службу в расположенное тут же, у самой ограды аэродрома, здание клуба. Составлял репертуар киносеансов, организовывал самодеятельность, следил за своевременным обновлением плакатов и лозунгов — словом, делал все, что положено добропорядочному завклубом. Делал аккуратно, старательно, я сказал бы даже — с душой, если бы его душа прочно не осталась по ту сторону ограды, на аэродроме (благо ей, как субстанции нематериальной, пропуска для этого не требовалось).

Это было, конечно, чистое самоистязание! Но в конце концов оно себя оправдало. Прошла та смутная пора, и Гарнаева вернули — в третий раз — за штурвал.

Нетрудно представить себе, как залетал он после столь долгого и тяжелого поста! Быстро восстановив былые навыки и освоив новые для себя типы летательных аппаратов, Гарнаев брался, без преувеличения, за любую работу на любой машине — от одноместного скоростного истребителя до тяжелого пассажирского лайнера, от планера до самолета, от вертолета до винтокрыла (появился в свое время в природе и такой аппарат). Жаль, не было у нас воздушных шаров, а то он, конечно, постарался бы полетать и на них.

Случались у Гарнаева и «осечки», и, может быть, даже несколько чаще, чем у других, более осторожных и менее приверженных к нестандартной работе летчиков. Но если отнести эти единичные «осечки» ко всему, что, а главное — как испытал Юрий Александрович Гарнаев

(так сказать, подсчитать разность забитых и пропущенных мячей), счет в его пользу получается подавляющий.

Не мудрено, что испытания турболета были поручены ему.

Когда «этажерка» впервые неуверенно отделилась от земли и, покачиваясь, зависла на высоте одного-двух метров, трудно было отделаться от ощущения, что происходит нечто почти мистическое. Ни крыльев самолета, ни несущего винта вертолета, ни объемистого баллона аэростата — ничего того, что издавна помогало человеку, преодолевая вечно действующую силу тяжести, поднимать созданные им сооружения над землей, — и, гляди-ка, тем не менее летает!

В этом странном ощущении было нечто от восприятия внешнего вида первых реактивных самолетов: «Неужели эта дырка полетит?»

Но «та» дырка, как известно, полетела. Полетел, конечно, и турболет. Наподобие возникающей из пены морской Афродите (это поэтическое сравнение принадлежит, как легко догадаться, не мне, а одному из создателей турболета), вылезал он из густой шапки дыма и пыли, выходящей из грунта мощной реактивной струей.

Вскоре Гарнаев освоил созданную им же методику пилотирования турболета так, что выделял на нем эволюции, напомиравшие не столько полет «нормального» летательного аппарата, сколько танцы, — причем, по моему мнению, танцы не бальные, а скорее так называемые эксцентрические.

Впрочем, он и не был «нормальным», этот аппарат.

Уж кого-кого, а его отнести к ведомству экзотических, что называется, сам бог велел. Весь вопрос в том — навсегда ли?

Нет, конечно, далеко не навсегда!

Когда, упиравшись в упругий столб своей реактивной струи, первый космический корабль сядет на мертвую поверхность Луны, а затем, выплыв заданную программу исследований, поднимется вновь и уйдет в далекий обратный путь к Земле — тогда добрым словом вспомнит космонавт людей, которые, еще не думая ни о каких космических полетах, создали угловатую «этажерку» и на ней отработали приемы управления и стабилизации летательных аппаратов подобного типа. Вспомнит он и летчика Гарнаева, выполнившего когда-то эту работу.

Признание и благодарность тех, для кого прорубалась первая узкая тропка в непроходимых зарослях неизведанного!

Может ли быть для летчика-испытателя награда выше этой?..

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Сто двадцать четвертый

Огромный реактивный корабль, звеня работающими на малом газе турбинами, медленно рулит на старт. Сейчас он впервые уйдет в воздух. Первый вылет нового опытного самолета — самое интересное, что может достаться на долю летчика-испытателя. Особенно первый вылет самолета подобного тоннажа и размеров. Если положить его, будто в глубоком вираже, набок так, чтобы конец одного крыла уперся в землю, конец другого крыла окажется на уровне крыши двенадцати-тринадцатитажного дома.

Только что мы пожали руки наших друзей: начальника лётно-экспериментальной станции летчика-испытателя инженера А. С. Розанова, ведущего инженера А. И. Никонова, заместителя главного конструктора Г. Н. Назарова и еще много, много рук — десятки людей провожали нас. Их было бы еще в несколько раз больше, если бы не опасе-

ние «мешаться под ногами»; только поэтому все, кто не имеет прямого отношения к вылету новой машины, подчеркнуто держатся в стороне.

Во время выруливания пробуем тормоза, путевое управление, устанавливаем во взлетное положение закрылки, следим за показаниями приборов. Все работает, как часы.

Из пилотской кабины, вынесенной, наподобие ласточкиного гнезда, в самый нос самолета, как с балкона, видна уходящая вдаль многокилометровая взлетная полоса и заснеженное поле аэродрома с десятками стоящих по его краям самолетов. Ни один из них сейчас не собирается в полет — небо испытательной зоны очищено для рождения их нового собрата.

С противоположной стороны летного поля сквозь морозную дымку просматриваются контуры ангаров когда-то родного мне института, в котором я проработал четырнадцать, наверное лучших, лет своей жизни и с которым вот уже скоро пойдет седьмой год, как расстался.

Впрочем, сейчас не время для лирических, драматических и любых иных воспоминаний. Мы подрулили к месту старта.

Развернувшись вдоль оси взлетной полосы и поставив машину на тормоза, один за другим прогоняем в последний раз могучую четверку двигателей.

Показания приборов нормальные. На слух тоже как будто все в порядке (приборы, конечно, приборами, но и слух в авиации нужен не хуже музыкального!). На всякий случай поворачиваюсь к бортинженеру К. Я. Лопухову — моему старому приятелю, которого судьба снова свела со мной на борту одного корабля:

— Ну, Костя, как по-твоему?

— Полный порядок. Можно двигаться.

— Хорошо... В корме! Как там у вас?

В наушниках шлемофона раздается спокойный голос кормового наблюдателя С. А. Соколова — единственного члена экипажа, собственными глазами видящего такие ответственные части самолета, как задние кромки крыльев с закрылками и элеронами, руль высоты, двигателя:

— Все нормально, командир. Выхлопá хорошие. Закрылки во взлетном положении. Замечаний нет.

Переключаюсь на внешнюю радиосвязь и прошу у командного пункта разрешение на взлет. Руководитель полетов не вправе открытым текстом прямо в эфир пожелать нам счастливого первого вылета. Он связан жесткими правилами радиообмена и может лишь вложить максимальную теплоту в свой знакомый нам голос, говорящий сухие уставные слова:

— Четвертый, я Земля. Взлет разрешаю.

От работающих на режиме полной тяги двигателей мелко дрожит вся масса огромного самолета.

— Поехали!..

Спущенный с тормозов корабль трогается с места и, с каждой секундой наращивая скорость, устремляется вперед. Плиты бетонной дорожки сливаются в сплошную мелькающую пелену.

Боковым зрением вижу небольшую группу людей, стоящих невдалеке от взлетной полосы, против того места, где по расчетам мы должны оторваться от земли.

Самолет плавно поднимает нос... Еще секунда... Другая... И вот гаснет мелкая дрожь бегущих по бетону массивных колес шасси, различимая даже на фоне грохота и тряски работающих двигателей... Всем телом чувствуется, как к бурному устремлению корабля вперед пришивается еле ощутимое, будто дуновение, легкое движение вверх...

Мы в воздухе!

Почти подсознательно отмечаю, что отрыв произошел как раз на траверзе стоящей в стороне группы людей. Это хорошо: с первой же секунды полета начинают поступать подтверждения правильности расчетов. Дай бог — или кто там вместо него, — чтобы подобных подтверждений было побольше!

Но нет, так в авиации не бывает. По крайней мере на первых вылетах новых самолетов.

Едва успело мое требовательное подсознание обратиться к судьбе со столь беззастенчивым ходатайством (у него губа не дура, у этого подсознания!), как его более трезвый собрат — сознание зафиксировало первое и притом весьма серьезное отклонение от нормы.

Оторвавшись от земли, машина стала энергично задирать нос вверх — кабрировать. Если позволить ей это, она потеряет скорость и свалится. Надо во что бы то ни стало отжать нос самолета вниз! Но это легче сказать, чем сделать.

Что за черт! Прямо преследует меня это кабрирование на первых вылетах. Так было на реактивном МиГ-девятом, так повторяется и сейчас. С той только разницей, что теперь в моих руках корабль, по весу и массе — а значит, и инертности — превосходящий МиГ-девятый в десятки раз! Он реагирует на действия летчика не мгновенно — прямо «за ручкой», — подобно истребителю, а медленно, неторопливо, как бы предварительно «подумав». Исправить любое отклонение — особенно такое, как потеря скорости, — на тяжелой машине гораздо труднее.

Пытаясь упредить злокозненное стремление вышедшего из повиновения корабля задраться, изо всех сил жму штурвал от себя вперед.

Но отклонение штурвала не беспредельно, еще немного — и он уткнется в свой упор у приборной доски: руль высоты будет опущен до отказа. А самолет продолжает кабрировать. Несколько, правда, медленнее, чем в первый момент после отделения от земли, но продолжает.

И в ту же секунду (старое правило: беда никогда не приходит одна!) сквозь гром работающих двигателей прослушивается резкий хлопок — один из них отказал. Бессовестно отказал в самый неподходящий для этого момент!

Пульт запуска находится у второго летчика. Хочу дать команду — быстро запустить двигатель, но не успеваю. Второй летчик — Н. И. Горяйнов, всего несколько лет назад окончивший школу летчиков-испытателей, но успевший быстро зарекомендовать себя отличной техникой пилотирования, активной напористостью в полетах и смелостью, иногда даже чрезмерной, — уже действует: перекидывает тумблеры, нажимает кнопки и вскоре докладывает:

— Третий запущен и выведен на режим.

Представляю себе, с какой неохотой отвлекся Горяйнов для укрощения так некстати «взбрыкнувшего» двигателя — ведь он не хуже меня видел это чертово нарастающее кабрирование и ясно понимал, чем оно окончится, если не будет в ближайшие же секунды преодолено.

Легко сказать — преодолено. Но как это сделать?

Штурвал уже отдан до упора. Убрать шасси — будет только хуже: в выпущенном состоянии оно дает, хотя и небольшой, но все-таки пикирующий момент. Закрылки? Неизвестно — могут помочь, а могут, наоборот, усугубить неприятности; во всяком случае момент сейчас не для экспериментов.

Остается, кажется, одно — уменьшать тягу двигателей.

На первый взгляд, это представляется совершенно абсурдным. На каждом взлете — а при первом вылете опытного самолета — тем более — летчик стремится прежде всего разогнать скорость и удалиться от земли, обеспечив себе тем самым должную устойчивость, управляемость и

свободу маневра. Поэтому и вся силовая установка должна работать на полном газе, пока не будет набрано по крайней мере несколько сот метров высоты. И уж тем более дико убирать газ в ответ на угрозу... потери скорости!

Все это, вообще говоря, правильно. Вообще. Но не теперь!

Сейчас не время для стандартных решений: «законных» способов воздействовать на корабль в моем распоряжении нет. Будем пробовать незаконные.

Десять лет назад, когда на МиГ-9 у меня разрушилось хвостовое оперение, удалось заменить действие руля высоты переменной тягой двигателей. Теперь, слава богу, за м е н я т ь руль не надо: достаточно, если «игра» тягой хотя бы немного поможет ему.

Левая рука плавно тянет назад сектор оборотов двигателей. Становится заметно тише. Всем телом чувствую, как гаснет стремление корабля вперед,— тяга падает. Кабрирование от этого явно уменьшается, но... одновременно теряется и скорость. Весь вопрос в том — что больше.

Еще несколько секунд «размышлений» огромной машины... И ее нос начинает медленно опускаться! Стабилизировалась и скорость.

Кажется, выиграли!

Нет, еще не совсем. Чтобы победить кабрирование, пришлось уменьшить тягу двигателей гораздо больше, чем я ожидал. Теперь неясно — хватит ли ее куцего остатка для полета без снижения? Снижаться-то ведь некуда! И без того заснеженные поля и перелески зоны подходов мелькают совсем близко — на расстоянии всего нескольких десятков метров под нами.

Еще два-три уточняющих движения секторами газа — и наконец все становится на свои места: корабль, шурша реактивными струями приглушенных двигателей, устойчиво летит вперед, каждую секунду набирая — точнее, «наскребая» — полметра-метр высоты. Летит на весьма скромной скорости, с почти до упора отданным вперед штурвалом, но летит!

Бросаю взгляд на секундомер. От момента начала разбега прошло неполных две минуты...

Снова к аэродрому мы подходим, описав размашистую петлю над его окрестностями и набрав, наконец, заданные пятьсот метров высоты. Ровная нижняя кромка слоистых облаков стелется почти вплотную над нами. Кое-где по сторонам пятнистый черно-белый зимний пейзаж перечеркивают наклонные полупрозрачные столбы отдельных снегопадов.

На белом фоне окружающих аэродром полей расширенные темно-серые бетонные полосы выделяются, как обрезки стальных рельсов, кем-то небрежно брошенные и косым крестом упавшие в снег.

В кабине устанавливается спокойная рабочая атмосфера.

Время от времени в наушниках слышится что-то вроде пчелиного жужжания. Это инженер И. Г. Царьков включает самописцы: на первом вылете ценна каждая запись.

С земли запрашивают:

— Как дела?

Отвечаем:

— Нормально.

Это правда — сейчас все действительно нормально, если, конечно, не считать несуразно отклоненного до упора вперед штурвала и, как следствие этого, весьма жестких ограничений наших возможностей увеличивать скорость и набирать высоту. Но подниматься выше нам больше ни к чему. Теперь предстоит только снижаться... Кстати, оно и пора...

И вот мы на последней прямой. Выпускаем закрылки и устанавливаем рекомендованную нам по расчету скорость.



— Вроде великовата скорость. Здорово промажем,— замечает Горяйнов.

Я и сам чувствую то же самое. Но, впервые сажая новый, никогда еще не садившийся самолет, противопоставлять свою интуицию письменному заключению весьма солидной научной организации все же не рискую и подхожу к земле, тщательно — километр в километр — подерживая эту заданную скорость.

Увы, на сей раз «наука» подвела. Мы, как прокомментировал впоследствии Костя Лопухов, «с песнями» проскочили начало посадочной полосы, пронеслись мимо обеспокоенной толпы встречающих и приземлились с солидным «промазом» лишь после того, как я выпустил тормозной парашют. Попробуй определи — когда слушаться «летного чутья», а когда хладных цифр беспристрастного расчета! Чтобы «уложиться» в оставшуюся часть посадочной полосы, приходится жать на тормоза вовсю. И тут — как, впрочем, и следовало ожидать, раз они нам так нужны, — в гидравлической системе что-то лопается, и тормоза мгновенно и полностью отказывают. Хорошо еще, что остается исправной система аварийного торможения. Только с ее помощью мы, уже совсем недалеко от конца полосы, останавливаем наконец громаду нашего корабля.

Все! Первый вылет выполнен. И выполнен, в общем, успешно.

Да, да, конечно же, успешно: несмотря на все случившиеся в полете осложнения, установлено, что машина взлетает, садится, свободно разворачивается в воздухе, что исправно действуют почти все системы и что — самое главное — после нескольких мелких, несложных доработок можно продолжать полеты по программе. Для этого, в сущности, только и нужно, что немного (записи нашего полета точно покажут, сколько именно) переставить стабилизатор для устранения кабрирования, усилить крепление трубки гидросистемы да почище отрегулировать авгоматикку третьего двигателя.

А все наши приключения? Что ж, может быть, оно даже неплохо, что они произошли на первом вылете. Тем меньше оснований ожидать от машины сюрпризов в будущем.

Действительно, забегая вперед, можно сказать, что так и получилось: корабль этого типа — плод творческого труда большого и талантливого коллектива, руководимого видным советским авиаконструктором В. М. Мясищевым, — успешно прошел все испытания, в течение ряда лет строился серийно и заслужил любовь и доверие всех строевых летчиков, бравшихся за его штурвалы.

В моей летной книжке он был занесен в графу «Типы летательных аппаратов» под номером сто двадцать четыре.

\* \* \*

Сто двадцать четыре типа...

На чем только не приходилось мне летать!

Были среди этих типов самолеты, планеры, вертолеты.

Встречались — правда, гораздо реже, чем хотелось бы, — уникальные опытные и экспериментальные аппараты. Встречались и серийные, уже кем-то до меня освоенные и попадавшие мне в руки для каких-нибудь дополнительных исследований.

Одни из них — как, например, реактивный истребитель МиГ-9 или сверхтяжелый реактивный бомбардировщик, о первом вылете которого было только что рассказано, — по праву заняли заметное место в истории нашей авиации. Другие же исчезли с ее горизонта, едва мелькнув единственным опытным экземпляром, не оправдавшим возложенных на него надежд.

На некоторых машинах я налетывал сотни часов, а на некоторых выполнял один-единственный полет — чаще всего для качественной оценки пилотажных свойств.

Были среди этих ста двадцати четырех типов аппараты спокойные, бесхитростные, простые в управлении, были и такие «тигры», овладеть которыми удавалось лишь в обильном «поте лица своего».

Попадались довольно несурзные на вид — попадались и очень красивые. Кстати, я заметил, что красивая, ласкающая своими пропорциями взор машина обычно к тому же хорошо и летает. Эта, на первый взгляд, почти мистическая закономерность имеет, я думаю, свое вполне рациональное объяснение: дело, по-видимому, обстоит как раз наоборот — хорошо летающая машина начинает представляться нам «красивой». Эстетическое формируется под влиянием рационального...

Были среди освоенных мной типов самолетов такие, которые многому научили меня. Были и такие, после которых никакого видимого приращения своего опыта я не ощущал: слетал — и все. Впрочем, в интересах истины должен заметить, что подобные — ничему не научившие — аппараты почему-то попадались преимущественно в самом начале моей испытательской работы. Через несколько лет службы они таинственным образом исчезли — каждая последующая очередная машина чем-то обязательно обогащала мой опыт, знания, сформировавшиеся взгляды. Так что, может быть, не в них одних было дело...

Я не случайно упомянул о сформировавшихся взглядах. Без них, в частности, без твердой концепции «что такое хорошо и что такое плохо», верного пути в нашем деле не найдешь.

Взять, для примера, хотя бы проблему так называемых «строгих» самолетов вроде разведчика Р-1 или истребителя И-16, о которых в свое время было принято с восхищением говорить: «Да! Это — машина! На ней летать надо умеючи: чуть ногу передашь или ручку перетянешь — и «привет»: свалился! Что говорить, целое поколение летчиков выучилось на ней летать по-настоящему...»

Действительно, про человека, полностью освоившего такой самолет, можно было с уверенностью сказать: «Это — летчик!»

Но сколько людей, не обладавших подобными талантами (или, что совсем уж обидно, еще не обладавших ими), погибло, попавшись на одну из пресловутых «строгостей» непомерно капризной машины!

Нет! Не должен самолет требовать от управляющего им человека такого внимания и физической натренированности, как, скажем, профессия циркового акробата или жонглера. И дело тут не только в сравнительной «массовости» летной профессии по сравнению с цирковой, а прежде всего в том, что для летчика пилотирование самолета не самоцель. Большая часть его внимания должна быть освобождена для сознательного осуществления других функций, ради которых, в сущности, и предпринят полет.

И дурную услугу нашей авиации невольно оказали летчики-испытатели, доводившие пилотажные свойства попадавших в их руки машин применительно к уровню своего мастерства, так сказать «на собственный вкус», да еще к тому же в условиях этакого «спортивно-развлекательного» полета. Когда же на доведенный подобным образом самолет садился не летчик-испытатель, а только что выпущенный из училища молодой пилот и вылетал на нем не в зону для тренировки в выполнении фигур пилотажа, а во вполне реальный, тяжелый, часто неравный бой — достоинства, числящиеся за данным самолетом, зачастую оборачивались недостатками.

Да! Без твердых «концепций» машину не доведешь.

И мало что так способствует формированию таких концепций, как опыт полетов в разных условиях, по разным заданиям и, конечно, на летательных аппаратах разных типов. Так что «набирать типы» — отнюдь не спорт и не удовлетворение страсти коллекционера, как это порой думают.

Число освоенных типов — паспорт летчика-испытателя.

Невозможно, конечно, измерить тонкую и многообразную квалификацию пилота какой-то одной, пусть и очень характерной, цифрой. Это, пожалуй, создавало бы при оценке и распределении летных кадров удобства несколько даже чрезмерные.

Но первое, так сказать «прикидочное», представление об облике испытателя число освоенных им типов, безусловно, дает, так же как характеризует зрелость военного летчика число выполненных им боевых вылетов, а пилота Гражданского воздушного флота — число часов линейного налета.

Среди советских испытателей есть немало освоивших трехзначную цифру — более сотни — летательных аппаратов различных типов. Таковы В. К. Коккинаки, Н. С. Рыбко, Г. М. Шиянов, С. Н. Анохин, П. М. Стефановский, М. А. Нюхтиков, Ю. А. Антипов и другие. Добавлю при этом, что каждый записанный в их летных книжках очередной тип — беспорен. Это приходится особо подчеркивать потому, что некоторые наши коллеги бывают склонны — что греха таить! — считать «новым типом» каждую мелкую модификацию, даже если ее отличия от исходной модели ни в малейшей степени не сказывались на пилотировании. Таким способом, конечно, недолго набрать и двести и триста типов.

Кстати, после тридцати—сорока освоенных летательных аппаратов каждый последующий обязательно чем-то напоминает кого-то из предыдущих (если, конечно, это не «чистая экзотика» вроде какого-нибудь турболета), и вылет на нем делается для летчика с каждым разом все проще и проще.

Но от неожиданной, случайной «осечки» ни один летчик не гарантирован никогда.

Много лет назад, когда мы были еще совсем молодыми пилотами, один из моих друзей рассказывал о своем вылете на двухмоторном дальнем бомбардировщике:

— Разбежался, оторвался от земли. Ну, думаю, пора переключать винты с малого шага на большой. Снял левую руку с секторов газа, взялся за рычаг шага винтов и бодро ткнул его от себя. И тут же... рухнул вниз, в глубь кабины! Ничего не вижу. Штурвал где-то наверху остался... — Тут рассказчик, вытянув вверх обе руки, показал, как именно он держался за «оставшийся где-то наверху» штурвал. — Что делать? Рефлекторно сунул я этот чертов рычаг обратно и... тут же оказался снова наверху! Осмотрелся «квадратными глазами» вокруг — вроде все в порядке, да и «отсутствовал»-то я, наверно, какие-нибудь две-три секунды, так что и измениться за это время ничего особенно не могло... В чем было дело? Очень просто: там рядом стояли два похожих рычага — шага винтов и... регулировки высоты сиденья. Я схватился не за тот рычаг, за который нужно, и сам опустил кресло до отказа вниз. Вот и все...

Эта забавная история, с большим юмором рассказанная самим «потерпевшим», неоднократно исполнялась на «бис» и заняла прочное место в репертуаре по разряду комических новелл только потому, что обладала (как оно и положено произведениям данного жанра) классическим «счастливым концом».

Но и комические происшествия в авиации приходится коллекцио-

нирывать. И не одного только развлечения ради. Из них тоже проистекают выводы не хуже, чем из любых иных.

Первый вывод из рассказанного случая ясен: надо безукоризненно знать свою кабину. Это скажет каждый летчик. Но летчик-испытатель обязательно добавит, что, компоуя кабину, ни в коем случае не следует размещать два сходных по виду, но различных по назначению рычага рядом...

Вылетая на новой машине, надо обязательно знать ее ахиллесову пята. К сожалению, она есть — по крайней мере в начале испытаний — почти у каждого летательного аппарата. У одного это неожиданное и бурное затягивание в пикирование вблизи скорости звука, у другого — резкий «клевок» на нос от несоразмерных движений штурвалом при выпущенных закрылках, у третьего — неуправляемый энергичный заброс вверх с последующей потерей скорости и сваливанием при попадании в воздушный порыв возмущенной атмосферы.

На первый взгляд, парадоксально, но, если вдуматься, вполне логично, что особенно опасны подобные «взбрыки» на машинах, вообще говоря, спокойных, смиренных, легко и просто управляемых. К подобным машинам — как раз благодаря этой их бесхитростности — летчик привыкает относиться с полным доверием и оказывается застигнутым врасплох, когда самолет коварно преподносит ему свой, пусть единственный (больше и не надо!), издавна заготовленный сюрприз.

Искать ахиллесову пята каждого нового самолета — едва ли не главная забота летчика-испытателя. Искать и найти ее как можно раньше! Лучше всего — в ходе испытаний первого же опытного экземпляра.

Кстати, и эту работу скорее осилит человек, имеющий за плечами опыт полетов на летательных аппаратах многих типов.

\* \* \*

К своему сто двадцать четвертому типу я дошел нелегким путем.

Нет, речь тут идет не о заклинивших рычагах управления, отказавших двигателях, не желающих выпускаться шасси и прочих «нормальных», неизбежных в испытательной работе осложнениях. Все это, конечно, было, но, повторяю, — это норма, без которой в нашем деле не проживешь. Не воздушные, а сугубо земные злоключения сильнее всего подпортили мне жизнь.

Что может быть хуже неожиданного удара! Удара, нанесенного с в о и м и. Кем-либо из тех, кого привык считать другом, единомышленником, учеником или учителем...

Дождался такого удара и я.

Об этом периоде своей жизни и всех предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах можно было бы рассказывать достаточно долго. И я не делаю этого сейчас только потому, что пишу записки летчика-испытателя, а все эти «предшествовавшие и сопутствовавшие» отнюдь не составляли специфики какой-либо одной конкретной профессии.

Короче говоря, весной пятидесятого года я удостоился чести открыть своей скромной персоной довольно длинный список летчиков, откомандированных — в порядке «очищения засоренных кадров» — под разными предлогами из родного нам института. Испить сию горькую чашу пришлось и Рыбко, и Капрэляну, и Якимову, и Тарощину, и Гарнаеву, и Эйнису, и другим летчикам, немало потрудившимся как в прошлом, так и в будущем, когда окончилась эта мутная полоса нашей жизни.

Оставалось утешать себя тем, что я по крайней мере оказался в хорошей компании...

...Потянулись долгие, пустые, ничем, кроме бесплодных раздумий о странности происходившего, не заполненные дни.

Это было, кроме всего прочего, очень непривычно. Раннее лето пятидесятого года выдалось ясное и солнечное. Всю свою сознательную жизнь я бывал в этот сезон неизменно очень занят. А сейчас каждый день начинался с того, что я аккуратно, как на службу (именно — как на службу!), с утра отправлялся в очередную канцелярию, чтобы убедиться в отсутствии ответа (или наличии отрицательного ответа) на одно из своих многочисленных заявлений.

После этого оставалось бродить по городу, заходить в скверы и парки, часами сидеть у какого-нибудь фонтана. Даже кино не давало возможности отвлечься: по причинам, где-то очень далеко пересекавшимся с причинами моих собственных злоключений, репертуар кино в те времена был весьма беден — очередная выдающаяся (других тогда не выпускали) картина шла во всех кинотеатрах по несколько месяцев подряд.

Оставалось ходить и думать. Ходить и думать, снова и снова возвращаясь на одни и те же улицы и к одним и тем же мыслям.

Да, это было почище любого флаттера!..

\* \* \*

Лето уже перевалило за половину, когда я получил назначение на новое место работы.

Тихоходный пригородный паровичок (электричка на этой линии появилась только через несколько лет) привез меня на почти безлюдную платформу и, пыхтя, отправился дальше.

Станция находилась посреди поля. Ни домов, ни деревьев, ни даже приличных дорог вокруг нее тогда не было. Сбоку, километрах в полутора-двух, на пригорке стояло несколько самолетов. И я отправился по направлению к ним по протоптанной в поле тропинке (в недалеком будущем я убедился, что после даже самого малого дождика она превращается в скользкое, норвящее стяннуть с пешехода сапоги глинистое месиво).

Аэродром существенно отличался от того, к которому я привык, не только размерами, но и отсутствием бетонированных взлетно-посадочных полос, ангаров, подъездных путей — словом, едва ли не всего, что, как мне казалось, позволяет называть аэродром аэродромом.

На окраине летного поля стояло несколько стандартных деревянных домиков. К крыше одного из них была пристроена застекленная будочка — это был командно-диспетчерский пункт. На линейке перед ним выстроился десяток самолетов — почти все одного и того же типа: транспортные двухмоторные ЛИ-2, уже в то время изрядно устаревшие.

Долгие годы вся наша гражданская авиация, можно сказать, держалась на этой машине. Во время войны не кто иной, как ЛИ-2, обеспечил все военные воздушные перевозки, выполнил тысячи посадок на партизанских аэродромах в тылу противника, даже — чего не сделаешь от нужды! — использовался как ночной бомбардировщик. Словом, потрудились эти работяги честно. Но в пятидесятом году ЛИ-2 уже представлял собой вчерашний день авиации. Особенно по сравнению с тем средоточием последнего слова авиационной техники, с которым я привык иметь дело: реактивными околосвуковыми истребителями, многомоторными тяжелыми бомбардировщиками, вертолетами.

Первое же полученное через несколько дней задание повергло меня в еще большее уныние. Предстояло взлететь на ЛИ-2, набрать четыре тысячи метров и... ходить на этой высоте, ничего не делая, в то время как

инженеры — разработчики очередного электронного устройства, смонтированного в просторной пассажирской кабине, — будут заниматься его опробованием и наладкой. Так и летать взад-вперед, пока не скажут: довольно. Не буду утверждать, что подобная работа показалась мне увлекательной. Но это все-таки было лучше, чем слоняться совсем без дела!

— Что ж, — сказал я себе. — В жизни надо все попробовать.

Оглянувшийся на мое бормотание второй летчик спросил:

— Вы что-то сказали?

— Нет, — ответил я по возможности бодрым голосом. — Ничего. Поехали дальше...

\* \* \*

И я начал свою жизнь «в опале».

Впрочем, при ближайшем рассмотрении черт оказался менее страшным, чем его малевало мое травмированное всеми предыдущими событиями воображение.

На новом месте работы нашлось немало такого, о чем я и по сей день вспоминаю с теплым чувством. Начать с того, что новые сослуживцы, за редкими исключениями, отнеслись ко мне с сердечной доброжелательностью.

Задала тон в этом направлении руководительница летной службы моей новой «фирмы», известная летчица Валентина Степановна Гризодубова.

В довоенные годы много говорили и писали об ее рекордных полетах, а во время войны громкую славу завоевали бомбардировщики Гризодубовой, не только успешно громившие военные объекты противника, но еще и поддерживавшие (на тех же ЛИ-2) связь с партизанскими отрядами в глубоком тылу врага.

Летчики всех родов авиации рассказывали о Валентине Степановне много и тепло. Широкую известность получила история о том, как Гризодубова спасла пять человек из аварийной машины. Дело было так. Однажды ночью, вернувшись первой с боевого задания (ее экипаж в тот раз «освещал» цель и поэтому закончил работу раньше всех), Валентина Степановна осталась на старте. Один за другим приходили и приземлялись ее самолеты. После того как сел последний из них, Гризодубова собралась уж было ехать в штаб. Но в этот самый момент случилась беда — на посадке подломался самолет соседней, базировавшейся на том же аэродроме части. Снеся шасси, машина грузно, всей своей тяжестью рухнула фюзеляжем на землю, проползла, высекая из грунта веер ярких искр, несколько десятков метров вперед — и загорелась!

Не теряя ни секунды, Гризодубова бросилась к горящему самолету. Кто-то крикнул ей вдогонку:

— Куда вы? Поздно! Все равно они там сгорят!

Оглянувшись на бегу, Валентина Степановна успела узнать автора этого рассудительного совета. Им оказался не кто иной, как... командир той самой части, которой принадлежала терпящая бедствие машина! Впрочем, ни для удивления, ни для возмущения, ни для каких-либо других эмоций времени не было. С секунды на секунду должны были взорваться бензиновые баки и боекомплект крупнокалиберных бортовых пулеметов.

Гризодубова вместе с присоединившимися к ней летчиком В. Орловым и двумя сержантами-мотористами взломала аварийные люки, решительно залезла в полыхающую жарким пламенем машину, помогла зажатому в искореженной кабине экипажу выбраться на волю, а затем от-

ташила оглушенных людей — как говорится, «кого голосом, а кого и волоком» — на безопасное расстояние.

И тогда самолет взорвался!

После того как немного рассеялся дым и попадали на землю поднятые взрывом комья грунта и обломки машины, Гризодубова осмотрелась и в наступивших предзакатных сумерках быстро обнаружила группу людей, стоявших на почтительном расстоянии от места происшествия. Формально, судя по погонам на плечах, это были офицеры. Но Гризодубова не нашла возможным отнести их к числу носителей воинских званий. Она неторопливо (теперь уже можно было делать все неторопливо) оглядела проявлявшую слабые признаки смущения компанию и небрежно бросила:

— Эх вы, мужики! Вам бы юбки носить...

Гризодубова не боялась сложных ситуаций в воздухе, не боялась опасных боевых вылетов за сотни километров в глубь занятой противником территории, не боялась ни одной из многообразных трудностей жизни на войне, не боялась — и не боится по сей день — и... гнева начальства (вид смелости, встречающийся в жизни едва ли не реже всех предыдущих, вместе взятых). При этом свою точку зрения Валентина Степановна доводит до сведения собеседников любого ранга, неизменно заботясь прежде всего об убедительности и лишь после этого — о светскости формулировок.

Однажды — это было без малого года через три после моего прихода на новое место работы — несколько руководящих товарищей соединенными усилиями настойчиво убеждали Гризодубову в необходимости избавиться от некоторых сотрудников летно-испытательной базы, которые, по мнению самой Валентины Степановны, работали напористо, грамотно, инициативно — словом, были полностью на своем месте. После длительных, ни к чему не приведших дебатов один из уговаривающих не выдержал и раздраженно воскликнул:

— Валентина Степановна! Вы же умная русская женщина. Ну скажите сами: что может так прочно связывать вас с каким-нибудь... — И он назвал фамилию одного из «спорных» персонажей, инженера нашей базы.

— Очень просто, — ответила Гризодубова. — Мы с ним провоевали вместе четыре года. Впрочем, вам этого не понять. Вас в это время близости не было.

Так она и не дала в обиду ни кого из намеченных к увольнению людей.

Если вдуматься, этот случай не так уж сильно отличается от того, когда она вытаскивала экипаж из горящей машины.

В противоположность многим «вообще добрым» людям Гризодубова не только желала, но у м е л а — как, впрочем, умеет и сегодня — оперативно, по-деловому, не словом, а делом помочь каждому, кто только к ней ни обратится. А обращаются довольно часто: душевные свойства Валентины Степановны известны в авиации и вокруг нее очень широко. Ими пользуются. Ими, говоря откровенно, порой даже злоупотребляют...

Общение с такими людьми, как Гризодубова, — надежное средство для восстановления пошатнувшейся веры в человечество...

Доброе отношение сослуживцев оказалось первым, но не единственным даром судьбы, доставшимся мне на новом месте. Полетав немного на ЛИ-2, я получил возможность отвести душу за штурвалом более современного и солидного самолета — одного из четырехмоторных бомбардировщиков, имевшихся у нас на ЛИБ (летно-испытательной базе). Правда, это была далеко не новая машина, да и полеты, которые мне

приходилось на ней проводить, едва ли заслуживали названия испытательных. Но это были все-таки полеты!

А еще через несколько месяцев фортуна улыбнулась мне совсем уж, что называется, до ушей: наша «фирма» приступила к созданию специального оборудования для самолетов истребительного типа. Единственным летчиком ЛИБ, летающим на реактивной технике, в тот момент оказался я. А потому мне и были поручены эти испытания.

Так определилось мое основное амплуа на несколько последующих лет, в течение которых я летал преимущественно на опытных реактивных истребителях, созданных в конструкторских бюро, которыми руководили А. И. Микоян и М. И. Гуревич, С. А. Лавочкин, А. С. Яковлев. Правда, к нам эти машины попадали уже испытанными. На мою долю оставалась доводка нашего специального оборудования да разработка методики его использования. Это было само по себе интересно. А главное, никто не мог помешать мне искать и в самих самолетах что-то, не замеченное ранее летавшими на них коллегами. Должен сознаться, что сколько-нибудь результативными подобные поиски оказывались довольно редко,— испытания опытных реактивных истребителей проводили не дети. Но когда найти что-то новое все же удавалось, я получал полное спортивное удовлетворение. Да и не одно только спортивное — таким способом я старался избежать деквалификации, чтобы не отстать от своего дела к моменту, когда можно будет вернуться на «настоящую» испытательную работу. А что такой момент настанет — я не терял надежды в течение всех лет своей «опалы».

\* \* \*

Снова — не мытьем, так катаньем — в моих руках оказались настоящие «серьезные» самолеты. Но — увы! — нет розы без шипов.

В полетах на новых летательных аппаратах на свет божий неизбежно выплывает множество всяческих мелких, средних, а порой и крупных дефектов. Оно и естественно: на бумаге всего не предусмотреть, и каждое неточное решение конструкторов и технологов рано или поздно оборачивается в летной эксплуатации очередным дефектом. Рано или поздно! Это далеко не безразлично: рано — или поздно. Хотелось бы, конечно, выявить все без исключения недостатки новой машины в ходе испытаний первого же опытного экземпляра. Но это почти никогда не удается.

Большую часть — да. Но не все.

Многое еще «вылезет» при испытаниях дублера, если таковой будет сделан. Многое — в малой серии. А кое-что — это хуже всего! — и в последующей нормальной эксплуатации.

Продолжает, хотя, конечно, все реже и реже, преподносить свои сюрпризы (вот они, «шипы»!) и первый опытный экземпляр, если не ставить его на прикол, а продолжать летать на нем.

В последнем я однажды имел полную возможность убедиться практически, испытывая наше оборудование на опытном двухместном реактивном истребителе-перехватчике, выпущенном конструкторским бюро С. А. Лавочкина.

Выполнив задание, мы с ведущим конструктором Ростиславом Александровичем Разумовым, исполнявшим в этих полетах обязанности бортового экспериментатора, возвращались на аэродром. Описав широкую дугу — на малой высоте особенно заметно, с каким большим радиусом разворачивается скоростная реактивная машина,— мы выходим на последнюю прямую.



Посадочная полоса точно перед нами, высота — двести метров, я протягиваю руку и нажимаю кнопку выпуска посадочных закрылков. Сейчас они выхолзут из-под задней кромки крыла, машина уменьшит скорость и немного «вспухнет» вверх. Так по крайней мере положено реагировать всем самолетам на выпуск закрылков.

К сожалению, на сей раз события развернулись иначе.

Стоило мне нажать кнопку, как самолет резко повалился в левый крен. Повалился в таком резвом темпе, какой бывает разве при выполнении фигур пилотажа — переворота через крыло или бочки. Но выделять какие-либо фигуры нам было совершенно ни к чему — земля рядом! Попытка удержаться от переворачивания обычным способом — элеронами — ни малейшего результата не дала. Еще одна-две секунды — и машина перевернется вверх колесами, а дальше уж более или менее безразлично, в каком положении мы врежемся в землю.

И тут-то помогло железное эмпирическое правило, которому летчики-испытатели неизменно следуют в остром «цейтноте»: если после некоторого действия пилота в поведении самолета появляется что-то ненормальное, а разбираться в существе возникших явлений нет времени, надо немедленно «переиграть» это действие обратно.

Строго говоря, формальная логика придерживается на сей счет иного мнения. Еще древние римляне понимали, что отнюдь не обязательно «После этого — значит вследствие этого». Но на практике хронологическая связь явлений редко существует вне связи причинной. К тому же, повторяю, правило это пускается в ход лишь в тех случаях, когда времени для более строгих логических построений нет.

Поэтому, не тратя больше времени на тщетные попытки удержать самолет в повиновении элеронами, я без излишних размышлений ткнул кнопку уборки закрылков.

Эффект последовал почти мгновенно: вращение замедлилось, машина зафиксировалась с креном более девяноста градусов — так сказать, на боку с переходом в положение вверх колесами — и заскользила на крыло к земле. В этом тоже хорошего было мало: боковым зрением я видел, что земля уже гораздо ближе, чем хотелось бы. Но по крайней мере самолет снова слушался управления (а я жал на него, как нетрудно догадаться, изо всех сил).

Когда машина окончательно выровнялась, до земли оставалось едва несколько десятков метров. Первая сознательная мысль, пришедшая мне в голову, была: «Хорошо, что начал выпуск закрылков на двухстах метрах, а не на ста пятидесяти!..»

Посадку приходилось делать с убранными закрылками. При этом возникают свои сложности, но это уже мелочь по сравнению с только что благополучно окончившимся «взбрыком» самолета.

Перед самым приземлением у меня в наушниках неожиданно раздался невозмутимый голос Разумова:

— Марк Лазаревич, а зачем вы сейчас дали такой крен?

«В ы» дали! Я ответил на этот не очень своевременно заданный вопрос только взглядом, по-видимому, столь свирепым, что мой спутник немедленно снял проблему с дальнейшего обсуждения:

— Понимаю, понимаю! Потом.

Впрочем, в этот момент я уже мог бы ответить, кто, а главное — почему «дал такой крен»: было очевидно, что правый закрылок у нас вышел, а левый нет. Осмотр на земле подтвердил это: по какой-то непонятной причине в полете лопнула тяга закрылков.

Злополучная тяга была заменена на новую, и мы отправились в полет по следующему заданию. Но, как известно: первый раз — неведение, второй раз — уже недомыслие! Твердо памятуя эту испытательскую за-

повесть, я теперь, заходя на посадку, прицелился с прямой издалека и выпустил закрылки на высоте более трехсот метров («запас карман не тяготит...»). А главное, положив один палец на кнопку выпуска закрылков, другой палец той же руки пристроил к расположенной рядом кнопке их уборки.

И все эти мои хитрости не оказались напрасными. История повторилась: снова правый закрылок пошел на выпуск, а левый, сухо крякнув (опять проклятая тяга!), остался на месте. Машину снова резко повалило в левый крен. Опять плохо!

Но нет: старая рыба дважды на один и тот же крючок не попадается! Почти одновременно с рывком самолета набор я нажал кнопку уборки закрылков, и кренение прекратилось, едва успев начаться. Очередной «цирк» был пресечен, так сказать, на корню.

Повторилась та же история и в третий раз.

И только после того, как мы поломали три тяги в трех полетах, а я приспособился сажать машину с убранными закрылками так, будто оно иначе и не полагалось, самолет был подвергнут капитальному «лечению». Прав оказался наш ведущий инженер — в прошлом сам летчик-испытатель, немало полетавший на новых истребителях, — М. Л. Барановский. Он считал, что во время разбега по мокрому грунту — дело происходило в оттепель — под закрылки попадала вода. В полете она замерзала, и образовавшийся лед намертво схватывал злополучную тягу. Так и оказалось.

Раньше на этой машине в такую погоду — вода на земле и мороз наверху — не летали, а потому дефект (несовершенство слива влаги из полости крыла под закрылками) до поры до времени и не проявлял себя.

Просто? Конечно, просто! Все просто после того, как известен правильный ответ...

Я в данном случае немного отступил от принятого правила — по возможности избегать в своих записках вторжений в «чистую технику», — чтобы на конкретном примере показать, какие мелочи могут иной раз привести к сложному положению в воздухе и сколько нужно знаний, опыта, здравого смысла, чтобы в этих мелочах правильно разобраться.

Боюсь утверждать, что подобные номера сами по себе доставляли мне (как и любому другому летчику) особенное удовольствие. Но, благополучно окончившись, они неизменно оставляли после себя очень сильное — и столь же приятное — чувство внутреннего удовлетворения. Подходя в течение многих лет к самому себе как к «подопытному животному» для психофизиологических наблюдений, я обнаружил интересную закономерность: выкрутившись из очередного сложного положения благодаря собственному опыту, отработанной реакции, навыкам, знаниям, всегда испытываешь прилив оптимизма, уверенности в своих силах, активного желания тут же, немедленно лететь на строптивой машине снова. Зато самый что ни на есть благополучный исход опасной ситуации, исход, в котором ты обязан случая, слепому везению, счастливому стечению не зависящих от летчика обстоятельств, действует не очень приятно: сегодня, мол, повезло, но завтра может и не повезти! В естественном человеческом стремлении к собственному благополучию хотелось опираться не на случайность, а на закономерность...

Нет, квалификации во время своей «опалы» я, кажется, не терял. Более того: кое-чему удалось даже научиться.

Постепенно я начал немного понимать в авиационной электронике и тактике ее применения. Во всяком случае мои новые (сейчас, когда пишутся эти строки, — уже старые) друзья, особенно Г. М. Кунявский и Р. А. Разумов, приложили к этому немало усилий.

Но не одной только «чистой электронике» научили меня на новом месте работы. Именно здесь я впервые как следует оттренировался в полетах по приборам — «вслепую». Правда, и до этого я пребывал в счастливой уверенности, что владею слепым полетом, потому что мог уверенно пробиться после взлета сквозь облачность вверх — к небу, а выполнив задание, вернуться снова вниз — к земле. А тут, вскоре же после прихода на ЛИБ, мне пришлось как-то проходить в сплошной облачности без малого семь часов подряд. Да еще при изрядном обледенении. И не просто проходить — лишь бы, так сказать, не упасть, — а следовать точно заданными курсами, над строго определенными точками невидимой земной поверхности.

Мы со вторым летчиком П. В. Рязанкиным крутили штурвал по очереди: полчаса один, полчаса другой (хорошо, когда рядом сидит сильный, надежный пилот). Но и во время очередного «отдыха» глаза сами по себе продолжали привычно обшаривать приборы.

Так мы и прожили целый день — от завтрака до ужина, — не видя ничего, кроме клубящейся серой мглы за стеклами кабины и приборной доски с дрожащими у одних и тех же циферблатных делений стрелками.

В дальнейшем мне не раз приходилось летать вслепую по многу часов подряд, и это уже не вызывало никаких особых ощущений, да и не запомнились мне все подобные полеты. Остался в памяти только один — первый — из них. Опять, значит, удалось чему-то научиться.

\* \* \*

И все-таки день возвращения на «настоящую» испытательную работу хотелось обвести в календаре красным карандашом. Гризодубова — спасибо ей и за это! — не только не стала препятствовать осуществлению моих намерений, но после недолгого раздумья сказала:

— Жалко отпускать вас. Но мариновать здесь тоже, конечно, нельзя. — И тут же взялась за телефонную трубку, с ходу включившись в активное содействие моим планам.

Времена явно переменялись. Передо мной раскрылось сразу столько возможностей (где они были три года назад?!), что оставалось только выбирать.

Конструкторское бюро, в которое я теперь попал, было «молодое» — всего несколько лет существовало оно на белом свете, но в отечественном — да и мировом — самолетостроении уже занимало весьма видное место. Мой будущий «крестник» — самолет, о первом вылете которого рассказано в начале этой главы, — существовал еще только в чертежах. Но уже успешно летал его предшественник — ненамного меньший по размерам и тоннажу первенец в семье сверхтяжелых реактивных самолетов. Впервые его поднял на воздух один из старейших наших «воздушных волков», ныне Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР Федор Федорович Опадчий. Впервые об этом пилоте заговорили еще до войны, когда он умно и смело выполнил серию весьма нестандартных пикирующих полетов на тяжелом, по идее для пикирования совершенно не приспособленном бомбардировщике. Годы войны не прошли для Федора Федоровича бесследно: они принесли ему новый опыт, еще более высокую квалификацию и... до костей обожженные руки. Уже в конце сороковых годов у него произошел редчайший в истории авиации случай — в полете на опытном тяжелом самолете одновременно, как по команде, отказали... все четыре мотора! И Опадчий умудрился, ловко лавируя на грузной инертной машине между препятствиями, благополучно пристроиться в чистом поле — едва ли не единственном подходящем для посадки месте во всем районе.

Ко дню моего прихода в «фирму» он уже в основном заканчивал испытания своего многотонного реактивного корабля.

Но, как всегда, при этом незаметно отросло множество «хвостов» — чаще всего мелких, второстепенных недоделок, которые тем не менее надо обязательно ликвидировать.

И, как только я приступил к работе, начальник летно-экспериментальной станции — хорошо знакомый мне еще по испытаниям первых реактивных МиГов инженер и летчик-испытатель А. С. Розанов, — успешно преодолев ряд неожиданно возникших тактических и дипломатических тонкостей (приход нового человека почти всегда требует определенной «притирки» к «старожилам»), сразу же подключил меня к ликвидации этих «хвостов».

Первый порученный мне «хвост» назывался — ночные полеты.

Может показаться, что специально испытывать самолет в ночном полете ни к чему. В самом деле: машина ночью остается такой же, что и днем, воздух — тоже; не все ли равно, спрашивается, самолету — когда лететь: днем или ночью?

Самолету, конечно, все равно. Но далеко не все равно летчику. Все-таки из всех органов чувств человека самым главным, по которому он судит о своем положении в пространстве, остается зрение. Чтобы лететь, надо видеть, куда летишь. Даже в «слепом» полете по приборам самые ответственные этапы — взлет и особенно посадку — все равно и по сей день приходится выполнять «взрячую». А это, конечно, выглядит — именно выглядит! — ночью совсем иначе, чем днем, и к тому же на машинах разных типов по-разному.

Немало особенностей, совершенно незаметных при свете дня, выявляется, когда вы впервые занимаете пилотское кресло после захода солнца. Так хорошо отличавшиеся друг от друга тумблеры и ручки делаются в темноте все «на одно лицо» — как их тут не перепутать! В остеклении кабины взору летчика неожиданно предстает не столько внешний мир, сколько... приборная доска. Вернее, доски с сотнями многократно — от одного стекла к другому — отраженных, горящих зеленым фосфорическим светом приборных стрелок и цифр. В довершение всего лампочки плафонов, как на грех, не столько светят, сколько слепят глаза. Будто по ошибке не на свое обжитое, привычное рабочее место, а в чужую машину сел! Выясняется, что уже совсем, казалось бы, «готовую» кабину надо снова доводить. При этом многое в этой доводке решительно противоречит сделанному ранее в соответствии с требованиями дневных полетов. Приходится — как почти всегда при любой доводке — вытаскивать хвост так, чтобы при этом не увяз нос.

Да, немало получается с этим делом мороки.

Но зато трудно описать словами многообразие и красоту того, что видит человек в ночном полете! Почему-то едва ли не во всех рассказах о нем неизменно фигурирует «сплошная непроницаемая чернота». Слов нет, бывает и она. Но далеко не всегда.

Начать с того, что даже эта «сплошная чернота» — очень разная. В самую темную ночь вода — реки, озера, каналы — выделяется на фоне земли, как черный шелк на фоне черного же бархата.

А если ночь лунная? Не буду рассказывать о том, как выглядит сверху освещенная лунным светом земля — это сделано до меня десятками других авторов. Добавлю только одно, наверное чисто личное, субъективное, впечатление. В такую лунную ночь единственно живыми, теплыми, не замершими на всей земной поверхности с воздуха кажутся не естественные создания природы, а — сколь это ни странно — искусственные порождения человеческой цивилизации: огоньки населенных пунктов и особенно ползущие по земле острые конусы света от автомо-

бильных и поездных фар. Без них вообще недолго было бы впасть в сомнения относительно обитаемости лежащего под вами мира.

И совсем уж «марсианское» зрелище — ночной полет над освещенной лунным светом сплошной облачностью!

Впрочем, и в непроглядно темную и безлунную ночь заоблачное небо может преподнести неожиданный сюрприз — показать такое, что, даже увидав собственными глазами, не сразу поймешь: что же это перед вами?

Представьте себе — темной ночью вы летите в стратосфере. Небо и разбросанные по нему звезды гораздо ближе, реальнее, осязаемее, чем далекая, невидимая (существует ли она на самом деле?) Земля. Звезд непривычно много: гораздо больше, чем можно увидеть снизу сквозь толщу оставшейся сейчас под вами атмосферы. И там же, внизу, — мутная, матовая чернота толстой сплошной облачности.

И вдруг что-то в окружающем вас мире меняется. В первый момент трудно даже понять, что именно. Вы не столько видите, сколько чувствуете новое. Вроде все вокруг осталось по-прежнему и в то же время чем-то неуловимо изменилось!

Проходит еще несколько секунд — и это новое проявляется. Проявляется в виде таинственного красноватого свечения лежащих впереди по курсу облаков. С каждым мгновением свечение усиливается. И вот перед вами в мутной черноте ночи тускло горит огромный — в десятки километров диаметром — бордово-красный, как нагретая до вишневого свечения поковка, диск. Впечатление такое, будто сама земля приоткрыла в этом месте свои расплавленные недра.

Звезд уже не видно — таинственное свечение затмило их. В мире нет больше ничего, кроме абсолютной черноты кругом и горящих облаков под вами.

Это — ночная Москва.

Яркий свет ее огней пытается пробиться сквозь многокилометровую толщу плотных облаков к небу, но, обессилев, достигает их верхнего края только самой выносливой красной частью спектра.

Описать это зрелище невозможно.

Его надо видеть...

\* \* \*

После многократных «обсиживаний» кабины, рулежек и пробежек в темноте первый ночной вылет прошел без каких-либо затруднений. Оказалось, что огромный корабль в ночном полете если и отличался от любой иной машины, то только к лучшему: его мощные посадочные фары светили так ярко, что позволяли обходиться без наземных аэродромных прожекторов. Это заметно облегчало ночной взлет и особенно посадку: наземные прожекторы, как бы сильны они ни были, освещают лишь какой-то определенный участок полосы — район предполагаемого приземления, а свет собственных фар движется вместе с самолетом и освещает как раз то, что надо — место, над которым машина окажется в ближайшие секунды.

В одном из ночных полетов у нас случилось происшествие — сравнительно мелкое, только потому и запомнившееся, что оно было первым (хотя, к сожалению, далеко не последним), приключившимся со мной на самолетах этого типа.

Мы быстро поднимались в ночное небо и добрались уже до преддверья стратосферы, когда раздался резкий, сухой, как при прямом попадании зенитного снаряда, хлопок. И тут же вся кабина задрожала крупной, незатухающей дрожью.

Перевод двигателей на малые обороты, «дожатие» и без того убраных закрылков и шасси, переключение управления рулями на резервную гидросистему (все это мы с правым летчиком Н. А. Замятым, конечно, «провернули» в ближайšie же секунды) никакого эффекта не дали. Кабина буквально ходуном ходила. Казалось, еще немного — и она, вся целиком, отвалится от самолета.

Так, крихтя и трясясь, мы и поползли из черной стратосферы вниз.

Экипаж молчал. Старый, опытный, тщательно подобранный испытательский экипаж прекрасно знал, когда можно позволить себе поговорить, а когда надо, не занимая своей болтовней переговорную установку, смиренно сидеть на местах и ждать. Ждать прояснения ситуации и, возможно, команд — вплоть до таких малоприятных, как: «Экипажу покинуть самолет!»

Лишь бортовой инженер Григорий Андреевич Нефедов сдержанно заметил:

— Возможно, обтекатель...

И он оказался прав. Когда мы благополучно приземлились, подружились на стоянку и вылезли из самолета, причина тряски предстала перед нашими глазами с полной очевидностью. С висящей под брюхом нашей кабины — как раз под креслами пилотов — радиолокационной антенны сорвало обтекатель. Не мудрено, что мощный поток встречного воздуха, разбиваясь об угловатую, ершистую антенну, столь недвусмысленно выражал свое законное возмущение по этому поводу.

Трудно порой в полете отличить громко кричащую о себе, но по существу безобидную мелочь от настоящей реальной опасности. Впрочем, эта трудность существует, кажется, не только в полете...

\* \* \*

Не заставила долго ждать себя — такие вещи, к сожалению, всегда легки на помине! — и «настоящая» сложная ситуация, выбраться из которой оказалось довольно трудно. Вспоминать о ней до сих пор неприятно — наверное, потому, что винить в случившемся кого бы то ни было, кроме самого себя, я не могу.

Тут мне очень хотелось бы написать, что, пролетав два десятка лет, я — окруженный почтительными учениками, многоопытный, до мозга костей маститый — обрел наконец прочное место в царстве абсолютной непогрешимости. А на собственные промахи прошедших годов получил право взирать со снисходительной усмешкой «мэтра».

Увы, написать что-либо в подобном роде означало бы встать на путь бессовестной лакировки действительности.

До непогрешимости после двадцати лет испытательной работы почему-то оставалось почти так же далеко, как в дни давно прошедшей летной молодости...

Конечно, вылетать в тот день не следовало.

И мне и Ф. Ф. Опадчему, в паре с которым мы должны были работать на двух тяжелых реактивных кораблях, это было совершенно ясно. Смущала погода — не то чтобы безоговорочно нелетная (тогда решить этот почти гамлетовский вопрос — лететь или не лететь — было бы проще), а какая-то сильно сомнительная. Мартовская оттепель, учащающиеся снегопады, падающее давление... Взлететь — оно, конечно, всегда недолго, но перед тем, как взлететь, надо каждый раз подумать и о том, как сядешь, — особенно на наших машинах, для которых годится далеко не всякий аэродром. Поэтому мы с Федором Федоровичем решили с вылетом немного обождать. Пусть погода сначала хоть капельку приоткроет свои намерения.

И тут-то мы стали объектом воздействия «машины выпихнизма» — стройной системы мероприятий, целеустремленно направленных на то, чтобы во что бы то ни стало выпихнуть нас в воздух. Нет, я не очень обвиняю непосредственных исполнителей этой операции. В их положение тоже надо войти. Они, бедняги, в подобных случаях всегда оказываются между молотом и наковальней...

В кабинет начальника нашей летно-испытательной базы были вызваны метеорологи с синоптическими картами. Они доложили... впрочем, читатель, хотя бы изредка слушающий по радио прогнозы погоды, сам легко представит себе четкость и определенность того, что они доложили.

«Машина выпихнизма» заработала сильнее.

— Надо лететь! — гудел нестройный хор голосов «руководителей» и «представителей» различных рангов.

Мы с Опадчим продолжали стойко обороняться. Это была, скажем прямо, нелегкая оборона. Казалось бы, чего проще: заявить: «Не полетим!» — и вся недолга. Заставить летчика-испытателя лететь в подобных обстоятельствах не может никто. Но сказать так психологически очень трудно. Трудно прежде всего потому, что летчик-испытатель не подрядчик, «берущийся» или «не берущийся» за предложенную ему работу. Он член большого коллектива, где каждый уже выполнил свою часть дела и получил, таким образом, полное моральное право укоризненно ткнуть пальцем в единственного, который с этим мешкает. Далеко не все окружающие смогут в подобных обстоятельствах правильно истолковать «нерешительность» летчика.

В самый разгар дебатов за широкими, обращенными на аэродром окнами кабинета раздался могучий нарастающий гул, от которого задрожали стекла (а равно, как я подозреваю, и души отвечающих за наш вылет лиц). По длинной взлетной дорожке уверенно разбежался, чтобы уйти в воздух, гигантский красавец самолет — точно такой же, как те, на которых должны были лететь мы с Опадчим.

Эта капля переполнила чашу терпения «уговаривающих» и в то же время решительно усилила их позиции.

— Конечно, — иронически бросил кто-то. — Для всех летчиков есть погода. Только для наших нет.

И тут-то мы с Федором Федоровичем дрогнули!

Два старых, казалось бы, все зубы на своем деле проевших «волка» не удержались на позициях, в правильности которых — именно в этом главное их прегрешение! — не сомневались.

Трудно разложить по полочкам эмоции, толкнувшие нас на столь безрассудное решение. Ясно только, что это были именно эмоции, а никак не голос рассудка.

Не последнюю роль тут сыграло, по-видимому, и полуосознанное представление о том, как мы будем выглядеть, если летчик В. — командир только что взлетевшего корабля — свое задание успешно выполнит. Это ведь тоже не было исключено: все предсказания погоды суть категории сугубо вероятностные, а теория вероятностей, как известно, не в состоянии предсказать исход отдельного конкретного опыта.

Забавно, что внешне наше беспринципное решение выглядело очень красиво: отважные летчики, не считаясь с трудностями, собираются лететь на сложное задание в сомнительную погоду. А в действительности налицо было чистой воды капитулянтство. Не всегда, оказывается, можно судить о поступках человеческих по их внешнему обличку...

Опадчий взлетел первым.

Когда я вырулил на полосу и развернулся на курс взлета, его машина уже оторвалась от бетона и, дымя реактивными струями двигателей, уходила в серую дымку.

Погода явно продолжала ухудшаться с каждой минутой. Тут бы мне развернуться и зарулить себе потихоньку назад, на стоянку! Но я этого не сделал, потому что... впрочем, я уже, кажется, объяснил почему. Тем более теперь — когда мой напарник был уже в воздухе.

Взлетев, я не получил разрешения сразу пробиваться наверх: оказалось, что Опадчий еще не «освободил» облачность — ее верхняя кромка вспухала к небу не менее энергично, чем опускалась к земле нижняя. Мне была дана команда ожидать своей очереди на «коробочке» вокруг аэродрома.

И тут-то, сделав первый разворот, я увидел ее — глухую стенку сплошной, быстро наползавшей «муры»! Это была действительно стенка: густая дымка с обильным снегопадом, прочно, намертво соединявшим низко несущиеся облака с землей.

Попытка поспешно развернуться, чтобы успеть, опередив непогоду, зайти на посадку, не удалась. «Мура» опередила меня. Не видя на заходе ничего перед собой, я, конечно, на полосу не попал.

Прошу землю включить радиопривод и цветные огни на посадочной полосе и подходах к ней. Растерянный голос отвечает, что все нужное оборудование... обесточено: там идет какой-то ремонт. Не без труда удерживаюсь от развернутых комментариев по данному поводу: в кои веки раз понадобилась вся эта техника, так, конечно, именно сейчас ее нет! Как тут не поверить в установленный еще писателем Джеромом Джеромом «закон бутерброда», согласно которому выпавший у вас из рук бутерброд обязательно падает на брюки намазанной стороной. Повторять попытки заходить на посадку наугад — авось случайно выскочим прямо на полосу — явно бессмысленно. Это одна лишь напрасная трата горючего и собственных сил. Надо куда-то уходить. Но куда?

Запрашиваю об этом землю и в ответ слышу:

— А на сколько времени у вас горючего?

Отвечать вопросом на вопрос — трогательная манера персонажей столь любимых мной классических анекдотов. Но сейчас она меня почему-то не умиляет.

Горючего у нас, если полет будет продолжаться на той же крайне невыгодной для реактивного самолета малой высоте, на час с лишним. На всякий случай бортинженер говорит мне, что на час. А я — на тот же «всякий случай» — сообщаю земле, что, мол, минут на сорок пять.

Трудно придумать более дурацкое положение! Совершенно исправная машина, с ровно работающими двигателями, нормально действующей аппаратурой и здоровым экипажем на борту, а положение тем не менее крайне острое. Чудо современной техники — скоростной высотный самолет — становится совершенно беспомощным, когда приходит пора садиться, а под рукой (вернее, «под шасси») нет аэродрома. Причем не какого-нибудь, а имеющего многокилометровую бетонированную посадочную полосу, тем более длинную, чем выше летные данные садящегося самолета.

Если к моменту израсходования горючего ни одного подобного аэродрома в нашем распоряжении не окажется, соприкосновение с землей будет не из веселых. Чего они там думают на земле? Надо незамедлительно переадресовывать нас куда-то, где погода более или менее сносная. Ведь с каждой секундой полета на такой высоте тает наш и без того небольшой запас горючего.

Наконец с земли приходит команда (если это можно назвать командой):

— Ждите указаний. Выясняем...

Нет, видно, на «Землю» надежда небольшая! Пока они там будут выяснять, уточнять и согласовывать, мы останемся без горючего. И над



чем в этот момент окажемся, туда и ткнемся. Чтобы уклониться от столь малоприятной перспективы, надо следовать известному принципу: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Теперь главная надежда — на нашего бортрадиста:

— Лева, разведай по точкам, где какая погода!

Лев Николаевич Гусев до прихода на испытательную работу служил радистом в военно-транспортной авиации, облетал Европу и Азию вдоль и поперек и обладает, можно сказать, международным кругом знакомств. Правда, знакомств лишь в «радистском» смысле этого слова: главным образом по радиопочерку. Но большего сейчас и не требуется. Для начала прошу радиста связаться с ближайшим — находящимся в ста километрах от нас — испытательным аэродромом.

А пока мы продолжаем носиться, с трудом различая мелькающую под самым носом самолета землю сквозь пелену несущегося нам навстречу снега. Резкая болтанка заставляет непрерывно крутить штурвал. Дважды приходится энергично отворачивать тяжелый корабль от внезапно выплывающих из мглы препятствий — фабричной трубы и ажурной радиомачты. Задеть их равносильно катастрофе, но я упорно не набираю высоты: «держусь за землю». Держусь потому, что, поднявшись хотя бы на сотню метров, окажусь в сплошной облачности и тогда совсем уж ничего предпринять самостоятельно не смогу. А действовать надо — я интуитивно чувствую это — только самостоятельно: расчет на «дядю» ни к чему хорошему явно не приведет.

Погода на интересующем нас аэродроме оказалась далеко не блестящей, но все же более или менее сносной — приблизительно такой же, какая была час назад у нас. Но — и это весьма существенное «но»! — по своим размерам этот аэродром нам, строго говоря, не годился: длина полосы у него была короче, чем официально зафиксированная длина пробега нашего корабля. Не мудрено, что наш запрос вызвал на земле некоторое недоумение.

Выбирать, однако, не приходится. Ветер дует сильный. На посадке он будет нашим союзником. Ну, а если длины полосы все же не хватит, то в крайнем случае лучше уж выкатиться за пределы летного поля на сравнительно небольшой скорости в конце пробега, чем приземляться где попало, вне аэродрома.

— Проси у них, Лева, разрешение на подход и посадку!

— Уже готово. Запросил. Они разрешают, только спрашивают, помним ли мы, какая у них полоса?

— Передай, что помним. Идем к ним.

Ничто не заставляло работников этого аэродрома — и в первую очередь его начальника Матвея Тимофеевича Чуева — давать согласие на прием нашего корабля. Более того: по всем формальным законам им следовало от этого уклониться. Поступая вопреки законам, они добровольно брали на себя тяжкую ответственность. Стоило нам — что было весьма вероятно — не уложиться в пределы их куцей полосы, выскочить на пробеге за эти пределы и разбить стоящую много миллионов машину, как магнитофонная лента с записью наших радиопереговоров, вне всякого сомнения, легла бы на стол прокурора в неприятном качестве одного из вещественных доказательств. Люди на земле понимали, чем рискуют, но не сочли себя вправе уклониться от такого риска — прекрасный пример высокого гражданского мужества, которое порой дороже личного!..

Уже перед самым аэродромом мы выскочили, по выражению штурмана В. И. Милютин, «из очень плохой погоды в просто плохую». Быстро развернувшись, вышли в плоскость посадочной полосы, и только

тут, воочию увидев ее перед собой, я в полной мере осознал, до чего же она короткая! Но расстроиться по этому поводу не успел. Будто нарочно, с целью как-то разрядить напряженную атмосферу на корабле, один из членов экипажа жалобно прогудел:

— А может быть, попробуем вернуться домой?.. Вдруг попадем на полосу... А?

Я буквально оторопел. Образовавшуюся паузу заполнил голос бортинженера Г. А. Нефедова:

— С чего это ты вдруг захотел домой?

— У меня там сапоги остались. Я в унтах. А здесь сыро.

Тут оторопел и Григорий Андреевич. Лишь через несколько секунд выдал он свой ответ. Но зато ответ вполне развернутый. В популярной форме владельцу оставленных сапог был преподан решительный совет временно отложить какие бы то ни было заботы о сбережении любых частей организма — Григорий Андреевич поименно их перечислил, — на которые скорее всего может перекинуться простуда с промоченных ног...

Ураганный ветер дул поперек полосы почти под прямым углом. Он энергично стаскивал корабль в сторону и в то же время мало сокращал длину пробега. Коснувшись бетона в самом начале полосы, я сразу нажал кнопку тормозного парашюта — и еле удержал корабль от резкого разворота: это боковой ветер потащил наш парашют в сторону. Не помню уж, как мы шуровали рулем направления, передней тележкой шасси, тормозами. Так или иначе машина удержалась на полосе и, пробежав существенно меньше своего «законного» пробега, остановилась. Аэродрома хватило.

Ни один из имевшихся здесь трапов не доставал до кабины нашего корабля. Пришлось нам, неизящно болтая ногами, спускаться вниз, на действительно сырой, талый мартовский снег по аварийной веревке. Когда эта непривычная операция была выполнена, мы осмотрелись и... не увидели вокруг себя ничего. Ничего, кроме летящего косога снега, перемешанного с туманом и дождем. «Мура» догнала нас...

Опадчий тоже сел благополучно. Мы уже знали это из подслушанных радиопереговоров. Он сразу после взлета ушел на большую высоту, не потратил так много керосина, как мы, болтаясь у земли, и поэтому смог добраться на один из дальних запасных аэродромов — чуть ли не в Азию.

А судьба третьего (точнее, первого, взлетевшего раньше всех) корабля сложилась трагически: он потерпел катастрофу. Конечно, как показал последующий разбор, несчастья можно было бы избежать. Но такова странная логика вещей: одна ошибка влечет за собой следующие. Начав со взлета при погоде, которую следовало бы переждать, и командир корабля летчик В., и наземное руководство полетами сделали в дальнейшем еще не один промах. Такая цепь переходящих друг в друга ошибок гипнотизирует. Почувствовав, что скользишь по этой цепи, надо резко рвать ближайшее ее звено — круто ломать ход событий. Иначе получается то, что случилось с кораблем летчика В.

Но, стоя на снегу гостеприимно приютившего нас аэродрома, мы о судьбе разбившегося корабля еще ничего не знали. Товарищи по экипажу говорили разные добрые слова по поводу того, как мы выкрутились из всей этой довольно паршивой истории. Однако я был не очень восприимчив к комплиментам в тот момент: трудно было отрешиться от сознания, что и влипли-то мы в эту «историю» исключительно в результате моей же собственной не к месту проявленной уступчивости.

Из-за того, что у меня, если можно так выразиться, «не хватило смелости не проявить смелость».

\* \* \*

Это почти закономерность — наиболее каверзные ситуации возникают в воздухе чаще всего при выполнении самых что ни на есть ерундовых заданий.

В так называемых «серьезных» полетах — на предельные скорости, вибрации, перегрузки, штопор, — когда, казалось бы, как раз и следовало ожидать всяческих неприятностей, они случаются очень редко. Возможно, в этом обстоятельстве — «ожидании» — и заключено объяснение столь загадочной закономерности.

Так или иначе она в полной мере проявила себя в тот день, когда сверхтяжелые реактивные корабли нашего КБ — скажем прямо, явно не скупившиеся на эффектные сюрпризы — преподнесли мне едва ли не самый крепкий из них.

Мы отправлялись в очередной «мелководочный» полет. Разбег уже подходил к концу, когда буквально за несколько секунд до отрыва сквозь рев четырех могучих двигателей пробился какой-то легкий шелчок. Я не придавал ему особенного значения — мало ли что может шелкнуть в таком до отказа набитом всяческой техникой самолете, как наш! Да и все равно прекращать разбег было уже поздно.

Стоило, однако, нам оторваться от полосы, как тревожные новости посыпались, будто из рога изобилия, одна за другой.

Корабль потащило в сторону. Изю всех сил нажатая педаль руля направления ни малейшего влияния на положение дел не оказала — будто ее и не было. Дело ясное: управление отказало.

Что же делать?

Попробовать погасить разворот обратным креном? Но на высоте двух-трех метров, да еще на корабле, у которого размах более полусотни метров, с кренами особенно не побалуешься! Тут достаточно перехватить какой-нибудь один лишний градус, чтобы зацепить концом крыла за землю, а там поминай как звали и самолет, и всех, кто в нем находился!

Пришлось, не обращая пока внимания на разворот, — ох, как трудно не обращать внимания на такие вещи! — осторожно вытащить еще не набравшую нужную скорость машину метров на десять — двенадцать вверх и только после этого заложить наконец спасительный крен.

Разворот прекращен. Но радоваться рано. Со всех концов корабля поступают одно за другим далеко не радостные сообщения.

Едва успел сказать бортинженер А. А. Титов:

— Третий двигатель отказал! — как его перебил голос кормового наблюдателя С. А. Соколова:

— Из-под фюзеляжа бьет керосин. Сильно бьет — струя, как из фонтана!

И тут же новое сообщение бортинженера:

— В аварийной гидросистеме давление ноль...

Опять беда пришла не одна!

Дело осложнялось не только количеством одновременно свалившихся на нас неприятностей — и двигатель, и керосин, и гидравлика, и, главное, управление, — но и тем, что случилось это все на самом взлете, без спасительного запаса высоты и скорости, а также, конечно, тем, что в наших руках находился (точнее — увы! — из наших рук вырывался) корабль таких невиданных размеров и тоннажа.

Но — сложно ли, просто ли — приходилось действовать: обстоятельства мешкать не позволяли!

Прежде всего надо было как можно скорее уйти от земли. Набрать хотя бы те несколько сот метров высоты, на которых, имея в своем рас-

поряжении уже не секунды, а минуты времени, можно будет спокойно решить, что делать для спасения если не машины, то по крайней мере людей.

И мы, переваливаясь из крена в крен и оставляя за собой пышный шлейф распыленного керосина, полезли на трех двигателях вверх.

Если бы руль направления заклинило намертво, это было бы еще полбеды. Но он, злодей, не заклинился. а, вырвавшись из управления, болтался, как хотел, из стороны в сторону и в такт этим колебаниям размашисто таскал за собой всю машину. Нам со вторым летчиком Б. М. Степановым оставалось одно: энергичными кренами бороться с рысканием.

На высоте это более или менее удавалось, но как быть дальше — у земли, перед самым приземлением?

Стоило этой мысли прийти в голову, как я понял, что подсознательно уже принял решение — сажать машину. Не катапультироваться и не выжидать какого-то стихийного — «от бога» — прояснения обстановки (бог в подобных случаях помощник ненадежный), а сажать.

Сделав с грехом пополам разворот на сто восемьдесят градусов (если, конечно, позволительно описанную нами волнообразную кривую назвать разворотом), мы вышли курсом на свой аэродром и издали — километров с двадцати — прицелились носом на посадочную полосу.

Очень осторожно уменьшаю тягу трех работающих двигателей. Осторожность тут нужна потому, что при уменьшении оборотов двигателей вырывающаяся из их сопел горячая реактивная струя хотя ослабевает, но одновременно меняет и свои очертания. Попади она в по-прежнему тянущийся за нами злополучный керосиновый шлейф — и, как говорил Костя Лопухов, «привет»! Вспыхнет не только огромная машина, но и сам воздух далеко за ней, так что даже катапультироваться будет, можно сказать, некуда: с десятками тонн горячего на борту шутки плохи.

Но вот и этот тонкий момент позади.

Мы плавно снижаемся, с каждой секундой приближаясь к земле, хотя всего каких-нибудь четверть часа назад только и думали, как бы поскорее очутиться подальше от нее.

Чем ниже, тем заметнее, как здорово водит корабль. Противополодействовать этому можно одним-единственным способом — энергичными обратными кренами, на которые наш грузный корабль отвечает довольно вяло. Приходится не только мгновенно реагировать на его самопроизвольные движения, но стараться интуитивно как бы упреждать их.

И все-таки приземлились мы гораздо удачнее, чем можно было ожидать. По-видимому, воздушные порывы у земли были слабее, чем наверху, и поэтому машина повела себя немного спокойнее. Да и приспособились мы, наверное, к ней за эти минуты. Так или иначе наблюдатели с земли (а таковых сбежалось, как легко догадаться, достаточно) говорили потом, что внешне наша посадка ничем не отличалась от обычной.

Но мне, даже после благополучного касания земли, еще не до победных кликов и барабанного боя. Кричать «ура» рано. Надо немедленно решать очередную острую проблему — что делать с тремя исправными двигателями. Ведь угроза пожара не уменьшилась: керосин, о чем с философской невозмутимостью продолжал докладывать из кормы Соколов, продолжал хлестать, «как фонтан «Самсон» в Петергофе». Загорись он сейчас — и шансов на спасение экипажа останется еще меньше, чем при катапультировании сквозь пламя в полете.

Не мудрено, что едва мы коснулись бетона, как бортинженер решительно заявил: «Выключаю двигатели», на что я со всей возможной

быстротой и самым категорическим тоном, на какой только был способен, рявкнул:

— Ни в коем случае! Выключить второй и четвертый. Первый оставить! Ясно?

Столь резвая реакция с моей стороны была вполне обоснована. Корабль хотя и сел на землю, но еще не остановился. А сто с лишним тонн веса, несущихся по бетонной полосе со скоростью более двухсот километров в час, стоят того, чтобы подумать, как их остановить! И хорошо еще, что я не забыл про резервную гидросистему, отказ которой показался мне поначалу мелким довеском ко всем остальным, более существенным неприятностям. Сейчас этот «мелкий довесок» стремительно выскочил на первый план! Выключив все двигатели, мы оказались бы не только без аварийной, но и без основной гидросистемы и не смогли бы не только затормозить корабль, но даже отвернуть его в конце пробега с полосы, чтобы избежать лобового удара о препятствия. С таким трудом дотащенная до дому машина оказалась бы все-таки разбитой! Не поздоровилось бы, конечно, и всем нам, особенно сидящим в носовой кабине. Поэтому долгожданную команду: «Выключить первый двигатель», я дал, только погасив скорость и завернув — поближе к людям — на свою стоянку.

Команда: «Колодки под шасси! Быстро!» — была выполнена удивленно взиравшими на нас мотористами мгновенно, но тут я несколько просчитался!

Инерция нашего, даже еле ползущего со скоростью пешехода корабля была такова, что колодки, подсунутые под его массивные колеса, только хрустнули и превратились в лепешку, ни капельки не задержав нас. И мы поползли по уставленной самолетами площадке дальше! Во всем только что закончившемся нелегком полете я не чувствовал себя так скверно, как в эти секунды совершенной беспомощности! Мы ползли медленно, но неотвратно, пока не уткнулись крылом в стоявший на площадке старый фюзеляж.

Чуть-чуть помятый носок крыла — казалось бы, весьма недорогая цена избавления от всех случившихся у нас бед. Но — необъяснимы извивы человеческой психологии! — увидев эту небольшую вмятину, я неожиданно для самого себя страшно обозлился. Наверное, по мере того, как наше положение из катастрофического постепенно делалось все более обнадеживающим, во мне формировалась подсознательная ставка на то, чтобы справиться с аварийной машиной, так сказать, «на все сто» — без каких-либо дополнительных повреждений. И вот — на тебе! — все портит эта паршивая вмятина! К осмотру корабля я приступил в настроении довольно свирепом. Оно, однако, быстро испарилось, как только я увидел характер и масштабы того, что у нас стряслось.

Оказалось, что на взлете разорвался гидроаккумулятор аварийной гидросистемы — массивный металлический цилиндр, с огромной силой распираемый изнутри давлением специальной жидкости. От этого, естественно, вышла из строя аварийная гидросистема — вся жидкость из нее вытекла. Но добро бы только это! Осколки разлетевшегося цилиндра перебили тяги управления рулем поворотов (отсюда — полный отказ путевого управления), разрушили топливную магистраль третьего двигателя (от этого — и отказ двигателя, и фонтан бьющего керосина) и вылетели, наделав дырок в обшивке фюзеляжа, наружу. Причем вылетели так стремительно, что радист со старта, увидев это, растерянно бросил в эфир:

— Из них что-то выстрелило...

Я, правда, узнал об этой реплике уже на земле, когда все участники происшествия, и особенно зрители, наперебой, почти не слушая друг друга, возбужденно рассказывали, кто что видел, слышал и думал.

Теперь можно было позволить себе и это удовольствие...

\* \* \*

Комментируя историю с наделавшим столько бед гидроаккумулятором, один из моих друзей и коллег одобрительно заметил:

— Старый конь борозды не испортит!

Столь лестная оценка, казалось бы, должна была повергнуть меня в состояние безудержной гордыни, но, каюсь, во всей этой фразе мое внимание привлекли больше всего слова «старый конь».

Незаметно для себя я стал старым конем!

Действительно, со дня, когда я — мслодой аэроклубный летчик и выпускник Ленинградского политехнического института — появился в Отделе летных испытаний ЦАГИ, проскочило уже двадцать лет! Двадцать лет!

А воздушный бой с фашистским «Дорнье-215» в ночном небе над Москвой был, оказывается, целых пятнадцать лет назад!

И даже испытания первых отечественных реактивных самолетов происходили не вчера, как казалось их участникам, а на десять лет раньше. Я стал таким же «пожилым» человеком и старым летчиком, каким представлялся мне Козлов при нашем первом с ним знакомстве.

Незаметно прошло время, когда меня «подпирал» и страховал опыт старших товарищей (чего стоил хотя бы один совет Чернавского — подумать заранее, что я буду делать, если у меня, паче чаяния, начнется флаттер!). Теперь приходилось думать самому и о себе, и об уже вышедшем на арену следующем поколении испытателей — молодых людях, двадцать лет назад учившихся если не ходить, то в лучшем случае разбирать буквы.

Каково же оно, это новое поколение летчиков-испытателей?

Здесь, следуя давним житейским канонам, мне следовало бы с достойной сдержанностью посетовать на то, как сильно оно проигрывает при сравнении с предыдущим. Или, наоборот, следуя канонам более современной формации, блеснуть объективностью и признать за молодежью какие-то свои (разумеется, достаточно умеренные) достоинства.

Но последовать любой из этих проторенных дорог трудно: мешают реальные факты. Разными, очень разными были летчики-испытатели тридцатых годов. Не «унифицировались» они и в дальнейшем.

И если уж говорить о каких-то общих тенденциях развития профессии, то более или менее надежно проследить можно, пожалуй, лишь одну: новый класс технической и — одно без другого не бывает — общей культуры летчика-испытателя. Этого потребовали новые летательные аппараты — сложные, густо насыщенные всяческой электроникой и автоматикой, летающие во всех этажах атмосферы, где-то на стыке звукового и теплового барьеров. Создавать подобную технику, испытывать ее, наконец даже просто летать на ней должны были люди особой, «коллекционной» квалификации.

Правда, нельзя сказать, что во времена, когда я начинал свою летно-испытательную жизнь, среди моих уже действующих коллег не было испытателей подобного класса. Конечно, были, но не они «делали погоду». Человек типа Юрия Константиновича Станкевича — первого в нашем коллективе полноценного, настоящего летчика-испытателя и инже-

нера-исследователя одновременно — был не правилом, а блестящим исключением.

Гринчику, Седову, Адамовичу, Тарощину, Ефимову — всем нам приходилось в свое время с боями доказывать, что высшее образование не мешает (о том, что помогает, не было пока и речи!) успешной летно-испытательной работе...

Но эти времена давно прошли.

Облик нашей профессии незаметно, постепенно, но коренным образом изменился. Она по-прежнему требовала физического здоровья, выносливости, сильной воли и, конечно, того, что я твердо считаю первым и главным качеством летчика-испытателя — непреодолимого желания быть летчиком-испытателем! Все это осталось. Но одновременно потребовалась высокая техническая, инженерная подготовка.

И поняв это, молодые летчики-испытатели пятидесятых годов пошли в вечерние и заочные авиационные вузы. Они учились вечерами, после ежедневных полетов, особенно выматывающих в первые годы испытательной работы, пока человек, что называется, «входит в строй». А входили в строй эти ребята, надо сказать, очень неплохо. Несмотря — нет, теперь уж без стеснения скажем — б л а г о д а р я своей умной технической устремленности они быстро завоевали право на самые сложные и важные работы. Известные сейчас летчики-испытатели В. П. Васин, В. Н. Изгейм, В. А. Комаров, Г. К. Мосолов, В. А. Нефедов подошли к званиям летчиков-испытателей первого класса почти одновременно с получением инженерных дипломов.

А не менее известные В. С. Ильюшин и А. С. Липко сначала стали инженерами, а уж после этого летчиками-испытателями. Пути различные, но результат тот же.

Более того: потянулись к науке и многие старые, опытные, заслуженные летчики-испытатели, которым, казалось бы, и без этого вполне хватало и работы, и почестей, и жизненных благ всех видов. Герой Советского Союза полковник С. Ф. Машковский впервые заставил говорить о себе, когда совсем еще молодым летчиком отличился в боях во время японско-монгольского конфликта на реке Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной войны он умножил свою славу и как выдающийся мастер воздушного боя был направлен на летно-испытательную работу. И здесь он оказался далеко не из последних. Но, тонко почувствовав веяние времени, он — уже зрелым испытателем, да и в годах далеко не «жениховских» — поступил на вечернее отделение авиационного института. Жить на проценты с ранее заработанного капитала Степан Филиппович не захотел... Не мудрено, что вслед за такими асами потянулись к науке и остальные.

Инженер летчик-испытатель из «белой вороны», которой числился когда-то, превратился в центральную фигуру нашего дела. Сейчас это веяние времени даже узаконено формально: инженерный диплом является одним из обязательных условий для получения звания летчика-испытателя первого класса.

Я вспоминаю, как проходили первые послеполетные разборы, свидетелем и участником которых мне довелось быть. Едва отдышавшись после полета, переодевшись и помывшись в душе (а иногда и не помывшись, переодевшись и отдышавшись — это зависело от срочности дела и темперамента руководителей испытания), летчик садился за стол с инженерами и учеными и рассказывал им о выполнении задания. Ему задавали вопросы, он — в меру своей наблюдательности и понимания сути дела — отвечал на них. Разумеется, отношение всех собравшихся к вернувшемуся из полета человеку было самое уважительное. Его слушали очень внимательно, не перебивали, не упрекали, даже если что-то, с точ-

ки зрения инженеров, существенное оказывалось незамеченным. Словом, должный пиетет соблюдался полностью.

И все же незримая стена отделяла докладывающего от его слушателей. Пробыв на разборе три минуты, вы безошибочно определяли, кто здесь летчик, даже если по одежде и внешнему виду он не отличался от других участников совещания.

Вся обстановка такого разбора вызывала ассоциации с чем-то вроде доклада сержанта-разведчика генералам штаба соединения: один знает конкретные факты, а другие — место этих фактов в ходе разворачивающихся событий.

Другое дело сейчас. В наши дни послеполетный разбор — это прежде всего акт взаимного творческого общения в сех без исключения его участников. Факты, гипотезы, анализы записей приборов, прикидочные расчеты на доске, листках бумаги, папиросных коробках — как, наверное, в любой научной лаборатории: физической, биологической, химической. Все тут — на равных правах. Вы знаете, что один или несколько участников этого горячего разговора полчаса назад в воздухе добывали для него свежую пищу — экспериментальные факты. Но они — эти люди — не отличаются от остальных ни по уровню своих высказываний, ни по применяемой терминологии, ни по чему-либо иному. Даже внешностью — ибо пресловутый «бронзовый» авиационный загар в век герметических кабин, громоздких кислородных масок и летных шлемов с забралами-светофильтрами начинает постепенно забываться. А о том, что так называемые «типичные» летчики-испытатели с каменно волевыми лицами («Похож на летчика — непохож на летчика») встречаются на киноэкранах значительно чаще, чем в кабинах опытных самолетов, я уже писал. Да и не во внешности, конечно, главное.

Главное — в неуклонном процессе смыкания летно-испытательной корпорации с «мозговым трестом» нашего дела — группой людей, которые — можно без преувеличения сказать — создали существующую технику и методику испытаний летательных аппаратов в полете и превратили ее в отдельную важную отрасль современной авиационной науки. Некоторые из них — Всеволод Симонович Ведров, Макс Аркадьевич Тайц, Александр Васильевич Чесалов, — внося решающий вклад в зарождение этой отрасли, продолжают и по сей день плодотворно трудиться в ней. Едва ли не всю свою творческую жизнь проработали в области летных испытаний В. Л. Александров и Б. Н. Егоров. Немало ученых — В. Ф. Болотников, В. П. Ветчинкин, Б. Т. Горощенко, А. Н. Журавченко, И. В. Остославский, Ю. А. Победоносцев, В. С. Пышнов — принимали особенно активное участие на отдельных этапах развития летно-испытательной науки. А некоторые из них — Г. С. Калачев, В. Н. Матвеев, Н. С. Строев, В. В. Уткин — пришли в нее прочно, «насовсем», и составляют сейчас основной костяк «мозгового треста» — научной силы, без творческого труда которой летные испытания никогда не вышли бы за пределы того, что принято именовать «ползучим» (в данном случае уместнее было бы сказать — «летучим») эмпиризмом.

О деятельности этих и многих других ученых, о личном вкладе каждого из них в науку и практику летных испытаний можно рассказать немало интересного. Но это будет уже другая книга, вернее — другие книги. И, конечно, они будут написаны...

Где-то между «мозговым трестом» и уходящими в воздух летными экипажами (а точнее — в обеих указанных корпорациях одновременно) занимает свое место одна из центральных фигур любого летного эксперимента — ведущий инженер. Тысяча самых разнообразных обязанностей лежит на его многострадальных плечах: подготовка программы испытаний и составление задания на очередной полет, руководство установкой



самописцев и обработка их записей после посадки, центровка машины и перечни доработок... Среди всего этого даже личное участие ведущего инженера в испытательном полете зачастую воспринимается им самим в виде некоего малосущественного довеска.

Мне довелось в разные годы работать с такими блестящими ведущими инженерами и ведущими конструкторами, как Е. К. Стоман, М. И. Хейфец, В. Я. Молочаев, Д. И. Кантор, И. М. Пашковский, А. И. Карев, И. А. Эрлих, Р. А. Разумов, А. И. Никонов, И. Г. Царьков, и многими другими. Большая сила — надежный, настоящий, в полном смысле этого слова ведущий инженер!

Впрочем, повторяю еще раз, четкой границы между этими тремя категориями — летчиками-испытателями, ведущими инженерами и «мозговым трестом» — провести нельзя.

Сами ученые мужи означенного «треста» (особенно поначалу — пока возраст позволял, да и начальство не так придиралось) не раз, надев парашюты, усаживались в кабины самолетов и отправлялись в полет, чтобы собственными глазами взглянуть на какое-нибудь очередное, неожиданно всплывшее на свет божий непонятное явление.

Я не случайно упомянул о парашютах — порой они оказывались очень кстати! Все-таки лаборатория в воздухе имеет свои особенности, и неудача затеянного в ней научного эксперимента выражается порой в весьма неприятной и притом совершенно конкретной форме.

Так, едва спасая из разрушившегося в полете самолета доктор технических наук Г. С. Калачев. А заслуженный деятель науки и техники, профессор А. В. Чесалов обязан своей жизнью парашюту даже дважды: один раз ему пришлось прыгать из самолета, не выходящего из штопора, а в другой раз — из горящей машины. У него самого это вкуса к полетам не убавило — мне не раз приходилось видеть его наблюдателем у себя на борту, — но к летной деятельности своих сотрудников Александр Васильевич стал относиться с повышенной осторожностью.

Как-то раз на одной новой машине, проходившей у нас испытания, появились странные вибрации. Конструктор аппарата, недоверчиво пожав плечами, сказал, что «их вроде не должно бы быть» (я, правда, не встречал еще конструктора, который заявил бы, что обнаружившийся дефект «должен был быть» — так сказать, прямо входил в его расчеты). Тогда один из основоположников «мозгового треста». Макс Аркадьевич Тайц, руководивший этим испытанием, не долго думая залез в закапризничавшую машину и принял участие в очередном испытательном полете на ней.

«Застукан» он был уже после посадки, когда с парашютом на плече бодро следовал от самолетной стоянки к ангару. Чесалов, в то время возглавлявший наш институт, увидел нарушителя и, высунувшись из окна — так прямо с третьего этажа, — грозно спросил: на чем, для чего и с чьего разрешения Тайц уходил в воздух? На не вполне внятные (особенно по последнему пункту — «с чьего разрешения») ответы Макса Аркадьевича последовало категорическое и весьма громогласное распоряжение:

— Тайц! Я не разрешаю вам летать на всяком... дерьме.

Бурная реакция многочисленных восхищенных слушателей (приангарная площадка, как всегда, была полна народу) застала участников этого содержательного собеседования несколько врасплох. Но было поздно — оно уже вошло в золотой фонд нашего аэродромного фольклора и означенным участникам больше не принадлежало...

Нет, не из кабинетных ученых состоит наш «мозговой трест».

Во всяком случае не из одних только кабинетных...

\* \* \*

Чтобы полностью, до конца проникнуться пилотажным духом, научные работники нашего института — это было еще до войны — решили сами «взяться за штурвал». Или, точнее, за ручку, так как легкомоторный учебный самолет У-2, летать на котором они собрались, управлялся именно ручкой, а не штурвалом.

Сказано — сделано. И каждое утро, когда позволяла погода, наш испытательный аэродром стал превращаться в учебный. Несколько маленьких зеленых бипланов У-2 один за другим взлетали, делали классическую «коробочку» вокруг летного поля и вновь заходили на посадку. В роли инструкторов выступали — как сказали бы сейчас, «на общественных началах» — институтские летчики-испытатели.

Со смехом, шуткой, бесконечными взаимными «розыгрышами» дело двигалось вперед. И венцом популярности этого начинания было появление на аэродроме профессора В. П. Ветчинкина — ученика и соратника Н. Е. Жуковского, ученого с мировым именем. Немало сделал Ветчинкин, в частности, и в близкой нам области летных испытаний — основанная им в 1918 году «Летучая лаборатория» была едва ли не первой по-настоящему научной летно-исследовательской организацией в нашей стране. Явившись к нам, Владимир Петрович сообщил, что за двадцать с лишним лет до этого, в 1916 году, он успешно окончил курс обучения полетам на аэропланах «Фарман-4» и даже «Фарман-20». О «Фармане-20» профессор упомянул особо многозначительно: по-видимому, в те времена «двадцатка» котирировалась как машина достаточно серьезная и требовавшая искусной руки пилота.

Покончив с воспоминаниями, Владимир Петрович заявил, что собирается... восстановить былые навыки — вновь научиться летать, дабы лично проверить в воздухе некоторые возникшие у него новые мысли о динамике возмущенного движения самолета.

Не знаю, уверовало ли начальство ЦАГИ в перспективность подобных планов или просто не захотело обижать столь уважаемого человека отказом, но я получил команду: «Учить Ветчинкина летать».

Придя к самолету, я застал своего «курсанта» уже в кабине. Он явился на стоянку столь оперативно, что механика никто даже не успел предупредить об этом. И — увы! — дело началось с недоразумения. Лаконичное сообщение профессора, что он «пришел летать», механик истолковал в том смысле, что этот подвижной, энергичный мужчина с воинственно торчащей бородкой, конечно, не кто иной, как очередной представитель наших многочисленных городских и сельских подшефных, каковых полагалось время от времени катать на самолетах (насколько я помню, шефство в основном этим и ограничивалось; картошку в то время шефы не копали). Действуя в соответствии с этой гипотезой, механик помог Ветчинкину усéсться в кабине, плотно подогнал ему привязные ремни, а закончив эту процедуру, указал пальцем на рычаги и педали управления и с благожелательной наставительностью сказал:

— Видишь, дед, тут разных штуковин понатыкано. Так смотри, как полетишь, ничего не трогай! Держи руки на коленях и смотри себе по сторонам.

Вслушав механика, Владимир Петрович нахмурился и с профессорской обстоятельностью ответил:

— К сожалению, это невозможно. Я специально прибыл сюда с целью все трогать.

Мое появление на месте действия помогло восстановить взаимное понимание, и мы отправились в воздух.

— Управление в полете у меня сомнений не вызывает, — сообщил после посадки свои впечатления мой необычный «учлет». — Вот к взлету

и особенно посадке придется привыкать: очень уж посадочная скорость велика!

Учебный самолет У-2, на котором мы летали, садился при скорости около шестидесяти километров в час. Даже придирчивые инспекторы ОРУДа не считают эту скорость чрезмерной. Поэтому заявление Ветчинкина можно было истолковать только как шутку. Элементарная вежливость не позволяла реагировать на любую — пусть даже не очень, с моей точки зрения, удачную — шутку пожилого уважаемого человека ледяным молчанием. Поэтому я, симулируя смехок, невнятно хмыкнул. И, как тут же выяснилось, хмыкнул зря:

— Напрасно вы смеетесь, Марк Лазаревич. У «Фармана-двадцатого» посадочная скорость была тридцать километров в час, а у У-два — шестидесят. Принимая, что воздействие на психическую сферу пилота пропорционально квадрату скорости, получаем, что напряжение при посадке на У-2 в четыре раза больше, чем на «Фармане-20»!

Арифметика была точная. Возражать не приходилось...

К этому времени многие ученые и инженеры, обучавшиеся в нашей «летной школе» — М. А. Тайц, Н. С. Строев, Г. С. Калачев, В. А. Котельников и другие, — уже вылетели на У-2 самостоятельно, без инструктора на борту. Но Ветчинкин вряд ли всерьез собирался последовать их примеру. Да и выставленные им мотивы — «собственноручная» проверка каких-то научных идей в полете — выглядели, откровенно говоря, не очень убедительно. Скорее всего этого большого ученого и уже далеко не молодого человека попросту потянуло в воздух, всю притягательную силу которого он почувствовал еще в молодости.

Отнестись к этому без понимания, симпатии и уважения было невозможно.

\* \* \*

Летно-педагогический опыт, полученный мною в полетах с Владимиром Петровичем Ветчинкиным, возымел продолжение лишь через несколько лет. Конечно, и до и после этого мне не раз приходилось заниматься со своими коллегами по отдельным проблемам методики летных испытаний, а также «выпускать» профессионально летающих пилотов на новых для них типах летательных аппаратов. Но то было совсем другое дело: от «выпускающего» в подобных случаях только и требовалось, что несколько замечаний об основных особенностях машины и рекомендуемых режимах полета. Это не была инструкторская работа в полном смысле этого слова. Всерьез заняться ею мне пришлось только в школе.

Школы бывают разные.

Мы говорим — русская школа классического танца. Или — физическая школа академика такого-то. Существуют, конечно, летно-испытательские школы и в таком смысле этого слова. В конце концов каждый летчик-испытатель — сознательно или бессознательно — является последователем какой-то из них.

Но есть на свете и школа летчиков-испытателей в самом прямом, буквальном значении. Школа — как учебное заведение. Она была создана в нашей авиационной промышленности вскоре после окончания войны. Много труда, инициативы и энергии вложили в это новое дело первый начальник школы — старый летчик-испытатель и заслуженный авиационный военачальник генерал М. В. Котельников, его ближайшие помощники — начальник штаба школы Д. Т. Мазур, инструкторы-летчики Б. В. Мельников, В. Е. Бойко, П. П. Москаленко (ныне один из известнейших пилотов полярной авиации) — и, конечно же, сами летчики-испытатели, формально не числившиеся в штатах школы, но много потрудившиеся при подборе и обучении первых слушателей. Правда, ина-

че и не могло быть: кто лучше действующих летчиков-испытателей представлял себе, как должна выглядеть «продукция» этого уникального учебного заведения, а значит, чему и как надо учить в нем людей.

Из этих «общественников» больше всех поработал летчик-испытатель Леонид Иванович Тарошин — один из первых советских реактивных, летающий на многих десятках типов самолетов, дипломированный инженер, а кроме всего этого — веселый, «заводной» человек, быстро разбиравшийся в психологии слушателей и легко находивший ключик к каждому из них.

Мне было поручено вести в школе занятия по методике летных испытаний. Поначалу это было довольно нелегко. Все тут было уникально: и состав слушателей, и курс, который пришлось составлять для них заново, «на пустом месте», да и сам порядок занятий — я читал лекции в классе, а потом садился с каждым из своих подопечных поочередно в самолет (чаще всего двухместный истребитель), чтобы отработать в воздухе приемы, о которых только что рассказывал у доски. Не уверен, что все это получалось у меня вполне безукоризненно. Что ни говори, а опыта — и инструкторского, и вообще педагогического — мне явно не хватало. Но нужных для школы людей — опытных испытателей, педагогов и инструкторов одновременно — взять было негде. Подобное редкое сочетание мы получили лишь несколько лет спустя в лице выпускников школы, поработавших некоторое время после ее окончания испытателями, а затем вернувшихся в нее же инструкторами — таких, как В. А. Комаров, М. К. Агафонов, М. М. Котельников (сын первого начальника школы), Н. И. Нуждин, Г. С. Тегин, Л. В. Фоменко.

Но все несовершенства методики обучения, как и неопытность обучающихся, с лихвой компенсировались самими слушателями первого набора — их целеустремленной работоспособностью, жадностью к знаниям, активным желанием обязательно стать настоящими испытателями.

И это их желание — по крайней мере у подавляющего большинства выпускников — осуществилось. По-разному сложились впоследствии их судьбы — капризные, переменчивые, далеко не у всех долгие авиационные судьбы! Но трудно найти среди первых выпускников школы такого, о котором в летной среде не заговорили бы по тому или иному поводу в ближайšie же после выпуска годы.

Василий Архипович Комаров — я уже рассказывал о нем как одном из первых (если не первом) среди молодых испытателей, получивших без отрыва от летной работы квалификацию авиационного инженера, — особенно отличился, участвуя в испытаниях тяжелых, неманевренных пассажирских самолетов на сваливание в штопор. В это заведомо опасное, совершенно дикое для такого корабля положение его загоняли нарочно! Загоняли, чтобы найти способы выхода, если что-либо подобное случится самопроизвольно под действием мощных воздушных возмущений в струйных течениях стратосферы. Путь к безопасности лежит сквозь опасность — такова диалектика авиации.

Участие в подобных испытаниях вместе с опытными летчиками Анохиным, Ковалевым, Хаповым было для Комарова своего рода «аттестатом зрелости».

А Федору Ивановичу Бурцеву довелось показать, на что он способен, в других условиях: стартуя на крохотном реактивном самолетике «с подвески» — из-под крыла тяжелого самолета-носителя. Отработка такого старта — сама по себе проблема. Но этим дело не кончалось. Дальше маленькую верткую машину вел к цели автопилот. Не очень-то приятно лететь на малой высоте с огромной скоростью, не имея управления в руках! Это тот самый случай, когда «безделье» хуже самой тяжелой работы. Тем более что и автопилот-то работал поначалу не очень надежно:

для его доводки эти острые полеты приходилось по многу раз повторять. Правда, летчик в любой момент мог выключить автоматику и взять управление в свои руки. Для этого надо было всего только перебросить единственный тумблер — вон он, на самом видном месте приборной доски. Но когда делать это? Секунда промедления — и будет уже поздно: испытания проводились, повторяю, на очень малой высоте. Секунда «упреждения», когда что-то ненормальное в работе автоматики едва начинает проявляться, — и весь полет можно считать несостоявшимся: дефект не зафиксирован на лентах самописцев, не показал себя, не дал нужного для доводки материала... Узка была тропа между крутым обрывом в непоправимое и отвесной стеной непознанного. Проводившие испытания летчики — в том числе и совсем молодой в то время Бурцев — сумели по многу раз пройти этой не прощающей ошибок тропой...

Работа Юрия Тимофеевича Алашеева получила, пожалуй, наиболее широкую известность. Ему выпало на долю впервые поднять в воздух и полностью испытать в полете один из «этапных», знаменующих новую страницу в истории авиации, самолетов — пассажирский реактивный ТУ-104. Сейчас множество этих замечательных машин, каждая из которых несет в себе частицу творческого труда их испытателя, летает по воздушным дорогам Советского Союза и всего мира. И горько, что Юра Алашеев не может и никогда не сможет порадоваться этому вместе с нами...

Александр Иванович Казаков сразу после школы попал на крупный авиационный завод. Вскоре его назначили вторым пилотом на машину, проходившую контрольные испытания по расширенной программе. В одном из полетов по этой программе требовалось на большой высоте и при весьма солидной скорости — в непосредственном преддверье звукового барьера — выполнить энергичный маневр с заданной перегрузкой. Долго потом тянулись споры — выполнимо ли было это задание вообще. Но это уже было махание кулаками после драки. А в полете весящий десятки тонн корабль сорвался в неуправляемое, бессистемное падение, в котором было что-то и от штопора, и от волнового кризиса, и вообще черт его знает от чего!

Командир корабля летчик М. не смог восстановить управление и, оценив положение как безвыходное, торопливо скомандовал:

— Экипажу покидать самолет!.. Немедленно катапультироваться!..

И тут же выстрелился в воздух сам. Но катапульта не была рассчитана на использование в таком режиме. Ни командир корабля, ни члены экипажа, выполнившие его команду, не спаслись...

Рассказывая об этой трагедии, проще всего было бы уподобить действия летчика М. поведению капитана, первым удравшего с терпящего бедствие судна, и предать его безоговорочному осуждению. Но в действительности дело было сложнее: по всем существующим правилам, летчик покидает последним у п р а в л я е м ы й самолет. Если же управляемость машиной потеряна — он делает это о д н о в р е м е н н о со всем экипажем. М. явно считал, что положение именно таково — корабль неуправляем. В сущности, в тот момент так оно и было. Но, может быть, машину еще можно снова взять в руки? Этого командир корабля правильно оценить не сумел. И за свою ошибку поплатился жизнью. Трудно иногда бывает в авиации провести четкую грань между ошибкой и виной! Наверное, в данном случае было все-таки и то и другое.

А Казаков? Казаков не потерял хладнокровия. То ли он почувствовал, что весь этот ералаш как-то связан с волновым кризисом и в нижних, более плотных и теплых слоях атмосферы должен прекратиться сам собой. То ли просто решил, что запас ~~высоты~~ еще велик, и нет смысла ка-

тапультроваться на восьми километрах, когда это не поздно будет сделать и на трех.

Так или иначе он остался на месте, удержал — чуть ли не «за шкирку» — тех членов экипажа, которые еще не успели покинуть машину, и продолжал упорные, методичные попытки вывести ее в нормальное положение.

И — вот она, награда за хладнокровие и упорство! — самолет в конце концов послушался. Недаром говорят, что летчик, использовавший в трудном положении девяносто девять шансов из ста, не может считать, что сделал все. Есть еще сотый шанс!

Когда Казаков благополучно посадил машину на свой аэродром, его прежде всего спросили:

— Почему не катапультировался?

И тут-то летчик понял, что, едва выбравшись из одной сложной ситуации, сразу же попал в другую, ненамного менее острую, хотя и лежащую в совсем иной — чисто этической — плоскости. Ответить, что не покинул машину, так как считал это преждевременным, — означало бросить густую тень на действия командира, о гибели которого Казаков в тот момент еще не знал. Что же сказать? Не смог катапультироваться? Сразу спросят — почему? И Казаков невнятно промывчал что-то о том, что, мол... не сработала катапульта.

Однако — такова особенность большинства этических коллизий, — вытащив хвост, Казаков безнадежно увяз носом. Вести себя одинаково рыцарски по отношению ко всем оказалось практически невозможно. Версия с несработавшей катапультой как-то выручала первого летчика, но... сразу же ставила в положение обвиняемых других людей — в первую очередь техников, отвечающих за подготовку средств спасения. Как и следовало ожидать, означенные техники тут же бросились к креслу второго пилота и без малейшего труда обнаружили, что на нем девственно целы контрольные проволоки, которые перед катапультированным должны быть сорваны. Наспех сочиненный вариант «не прошел». Пришлось Казакову рассказывать все, как оно было в действительности. Тем более что к этому моменту он уже узнал и о трагической судьбе своего командира.

Можно, конечно, судить молодого летчика за все эти его не очень ловкие хитрости. Нехорошо, мол, говорить неправду. Да и действительно, наверное, нехорошо — эта истина известна нам с раннего детства.

Но я не удержался от того, чтобы так подробно рассказать всю эту историю потому, что вижу в поведении Казакова не одни только профессионально ценные черты: хладнокровие, упорство, методичность — но и большое человеческое благородство. Сравнительно легко найти людей, способных достойно повести себя в обстановке опасности. Гораздо меньше таких, для которых при этом далеко не самое важное, как оно будет выглядеть со стороны. Казаков показал себя именно таким человеком. Профессиональное в случаях, подобных рассказанному, неразрывно переплетается с этическим.

И когда Александр Иванович Казаков первым из выпускников школы получил звание Героя Советского Союза — это было большой радостью для всех его товарищей, коллег и учителей.

А Дмитрий Васильевич Зюзин пришел в школу уже героем: в годы войны имя этого истребителя было хорошо известно на Черноморье. С точки зрения так называемой «карьеры» он стоял, что называется, на вполне твердых рельсах. Но размеренное продвижение по чинам, должностям и званиям не привлекало Зюзина. Его потянуло на новое творческое дело — летные испытания. В школе он успевал отлично — и в ауди-

тории, и в воздухе. Помню, как я попробовал выпустить его — «закоренелого» истребителя — без провозных, с одного ознакомительного полета, на двухмоторном транспортном самолете. И этот эксперимент удался как нельзя лучше. Зюзин вылетел безукоризненно, еще раз подтвердив мое стародавнее убеждение, что нет «прирожденных» истребителей, бомбардировщиков или штурмовиков, а есть... хорошие и плохие летчики. В дальнейшем Зюзин хорошо поработал на испытаниях опытных самолетов в старейшем конструкторском бюро нашей авиационной промышленности. И, кроме всего прочего, именно он оказался едва ли не первым советским летчиком-испытателем, взявшимся за перо: его содержательные и интересно написанные записки «Испытание скоростью» получили признание читателей и быстро исчезли с полок книжных магазинов.

Бывший во время войны штурмовиком Леонид Иванович Миненко стал после окончания школы испытателем сверхзвуковых истребителей и «нашел себя» в этом амплуа настолько, что всего через несколько лет встал во главе сильного коллектива летчиков-испытателей одного из крупнейших авиационных заводов.

А бывший пикировщик Валентин Михайлович Волков — сейчас ведущий летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро универсального профиля: из его стен выходят и бомбардировщики, и истребители, и учебно-тренировочные самолеты. Так что драгоценное свойство испытателя — универсальность — оказалось нужным Волкову не для одной лишь «общей эрудиции», а для каждодневной, текущей работы...

Хороший, удачный был первый выпуск школы!

Впрочем, не слабее оказались и последующие.

Они дали нам таких выдающихся летчиков-испытателей, как А. П. Богородский, В. С. Ильюшин, А. С. Липко, Г. К. Мосолов, В. А. Нефедов, В. П. Смирнов и много других, в совершенстве знающих свое дело, талантливых, культурных, смелых испытателей.

Сейчас почти все они — летчики-испытатели первого класса, инженеры, многие — Герои Советского Союза, мировые рекордсмены, лауреаты.

Трудно было бы назвать лучшего из них!

Говорю это в условной форме — «бы», так как глубоко убежден, что даже ставить подобную задачу всерьез совершенно бессмысленно. Правда, в некоторых газетных статьях и очерках делались попытки навесить то на одного, то на другого представителя нашей профессии ярлык «Летчика № 1» или «Самого главного летчика».

Увы, на самом деле таковых в природе нет. Нет по той простой причине, что невозможно «пронумеровать» представителей любой сколь угодно творческой профессии. Нельзя определить, кто был «лучше»: актриса Савина или актриса Ермолова, юрист Плевако или юрист Карабчевский, полководец Толбухин или полководец Ватутин (я намеренно выбираю примеры среди замечательных людей, ныне уже не здравствующих, дабы избежать опасности вынужденно отвлечься в сторону обсуждения самих примеров...).

«Самый главный летчик» — если уж заниматься его поисками — фигура... синтетическая. Его можно создать, объединив технику пилотирования одного, осторожное мужество другого, техническую культуру третьего, железное здоровье четвертого...

Кстати, мне довелось как-то наблюдать реакцию одного из летчиков, которого не в меру восторженные поклонники в глаза титуловали пресловутым «первым номером».

Он поморщился.

\* \* \*

Бесконечна цепь воспоминаний. Одно тянет за собой второе, за вторым всплывает в памяти третье и так — без конца. По-видимому, человеческое мышление действительно ассоциативно.

Но всего пережитого за тридцать лет в авиации не вспомнишь и тем более — не расскажешь.

Надо где-то ставить точку.

Когда человек берется за перо, он всегда делает это с какой-либо определенной целью. Была такая цель, конечно, и у автора этих записок.

Мне хотелось удержать в памяти людей многие неповторимые в истории авиации события, свидетелем которых мне посчастливилось быть.

Хотелось показать, что же это в конце концов такое — профессия летчика-испытателя.

Еще больше мне хотелось рассказать о людях этой профессии — незаурядных, замечательных людях, многих из которых мне довелось близко знать и почти ежедневно видеть «в деле».

И еще один — особый — долг чувствовал я за собой: вспомнить тех наших товарищей, которые не пожалели своих жизней ради прогресса любимого дела (помните, как в воинской присяге нашей армии: «...ни самой жизни!»)...

Я написал о том, что видел.

Конечно, наивно было бы ожидать от меня бестрепетно объективистского рассказа о родных мне людях — летчиках, механиках, инженерах, ученых, — среди которых я прожил большую и, наверное, самую счастливую часть своей жизни.

И тем не менее, излагая факты, я нигде не отступал (по крайней мере намеренно) от истины. Я начал эти записки с того, что все, рассказанное в них, — правда.

Этими же словами мне хочется и закончить свою книгу.





## СТИХИ В БОЕВОМ СТРОЮ

*Есть горький, но славный обычай: в час большого торжества помянуть павших минутой молчания. В эту минуту мы, живые, не только вспоминаем о них, ушедших, но и как бы возвращаем их к жизни, в свой живой боевой строй, испытывая при этом особое, трудно выразимое словами чувство.*

*В майские дни, которые навсегда связаны для нас с памятью о великой победе над гитлеризмом, вновь встают перед нами образы павших за Родину. И среди них юноши, принявшие бой в самом начале своей жизни. Они пали, но живой голос их мы слышим и сегодня. Говорят поэты, только-только начинавшие свою песнь: Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Николай Отрада...*

МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ

### *Бессмертие*

*(Из незавершенной поэмы)*

Далекий друг! Года, и версты,  
И стены книг библиотек  
Нас разделяют. Шашкой Щорса  
Врубиться в твой далекий век  
Хочу. Чтоб, раскrojивши череп  
Врагу последнему и через  
Него перешагнув, рубя —  
Стать первым другом для тебя.

На двадцать лет я младше века,  
Но он увидит смерть мою,  
Захода горестные веки  
Смежив. И я о нем пою.  
И для тебя. Свищу пред боем,  
Ракет сигнальных видя свет,  
Военный в пиджаке поэт,  
Что мучим мог быть — лишь покоем.

Я мало спал, товарищ милый!  
Читал, бродяжил, голодал...  
Пусть: отоспишься ты в могиле,  
Багрицкий весело сказал...  
Одно мне страшно в этом мире:  
Что, в плащ окутавшись мглой,  
Я буду — только командиром,  
Не путеводно звездой.

Военный год стучится в двери  
 Моей страны. Он входит в дверь.  
 Какие беды и потери  
 Несет в зубах косматый зверь?  
 Какие люди возметнутся  
 Из поражений и побед?  
 Второй любовью Революции  
 Какой подымется поэт?

А туча виснет. Слава ей  
 Не будет синим ртом пропета.  
 Бывает даже у коней  
 В бою предчувствие победы...  
 Приходит бой с началом жатвы.  
 И гаснут молнии в цветах.  
 Но молнии — пружиной сжаты  
 В затворах, в тучах и в сердцах.

Наперевес с железом сизым  
 И я на проволоку пойду,  
 И коммунизм опять так близок,  
 Как в девятнадцатом году.  
 ...И пусть над степью, роясь в тряпках,  
 Сухой бессмертник зацветет  
 И соловей, нахохлясь зябко,  
 Вплетаясь в ветер, запоет.

8—9. XI. 39.

★

## НИКОЛАЙ ОТРАДА

### *Футбол*

И ты войдешь. И голос твой потонет  
 в толпе людей, кричащих вразнобой.  
 Ты сядешь. И как будто на ладони,  
 большое поле ляжет пред тобой.

И то мгновенье, верь, неуловимо,  
 когда замрет восторженный народ.  
 Удар в ворота! Мяч стрелой и... мимо.  
 Мяч пролетит стрелой мимо ворот.  
 И на трибунах крик души исторгнув,  
 вновь ход игры необычайно строг...

Я сам не раз бывал в таком восторге,  
 что у соседа пропадал восторг;  
 но на футбол меня влекло другое,  
 иные чувства были у меня:  
 футбол не миг, не зрелище благое,  
 футбол другое мне напоминал.

Он был похож на то, как ходят тени  
по стенам изб вечерней тишиной.  
На быстрое движение растений,  
сцепление дерев, переплетенье  
ветвей и листьев с беглою луной.

Я находил в нем маленькое сходство  
с тем в жизни человеческой, когда  
идет борьба прекрасного с уродством  
и мыслящего здраво —  
с сумасбродством.  
Борьба меня волнует, как всегда.

Она живет настойчиво и грубо  
в полете птиц, в журчании ручья,  
определенна,  
как игра на кубок,  
где никогда не может быть ничья.

★

### НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

\*.\*.\*

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —  
Лежать навтыжку и приоткрыв гробы, —  
Мы слышим гром предутренней пальбы,  
Призыв охрипшей полковой трубы  
С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.  
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.  
В могилах мы построились в отряд  
И ждем приказа нового. И пусть  
Не думают, что мертвые не слышат,  
Когда о них потомки говорят.



---

ЕВГЕНИЙ КОНДРАТЬЕВ

★

## НА КИТОБОЙЦЕ

(Из записок новичка)

1

**Г**арпунеру китобойного судна «Стойкий» Кабальникову в конце января выпала редкая удача: двумя выстрелами из пушки он загарпунил старого кашалота, в кишечнике которого была обнаружена амбра весом больше ста килограммов. Это та самая амбра, которая идет на изготовление духов.

Наше время всему находит замену, синтезирована и искусственная амбра, но китовая все еще дорого ценится и не перестала называться «плавучим золотом». Не каждый год китобои привозят с собой на родину хотя бы килограмм амбры. Сто килограммов разом — находка редчайшая.

Я тогда работал в боцманской команде китобазы и видел, как это произошло.

На палубе — пятнадцатиметровая туша кашалота, равная по весу десяти слонам. Черная, тугая: стучишь по ней, как по шине многотонного грузовика. С огромной, в треть туловища, голову кит выглядит морщинистым баллоном, сильно раздутым и лопнувшим в широкой его части на две очень неравные доли. Одна — тупое и мощное, как таран, рыло. Другая — узкая и подвижная, похожая на половинку расколотого бревна челюсть. Она желтеет большими, точно коровьи рога, зубами. У кашалота неестественно древний вид, его пасть поражает туповатохищной ухмылкой. Похоже, что он ухмылялся еще до того, как появился на земле человек, — с тех пор и сохранил это выражение, уже бессмысленное, ибо кончилось его владыческое веселье. Полчаса — и на китобазе останутся лишь фрагменты этого «владыки океанов».

Медленно, с тяжелым хрустом отделяется сало — негибкое, опасно ломкое для работающих возле кита людей. Тяжкие, тугие удары о палубу — и на ней раскидываются длинные пласты толщиной в ногу. Разделка этих кашалотов — великий труд: кашалот — самый неподатливый из всех китов для ножей, пил и механизмов. Когда кит развален, то не всегда есть силы, время, желание копать в его внутренностях. Бывают такие дни, когда из разделанных за одну смену китов можно было бы выложить караван длиной с километр! Образование амбры — следствие редкого заболевания кишечного тракта. Сколько китов пройдет за рейс — все могут оказаться здоровыми. У кого хватило бы терпенья пять промысловых месяцев искать амбру, если бы за находку ее не полагалась большая премия!

Обнаружил амбру старший матрос-резчик Санин. Я не был с ним близко знаком, но не раз обращал внимание на этого — косая сажень в плечах — детинушку с глазами-шелками, с широкой бородой на широком подбородке и неизменным фленшервым ножом под мышкой, когда он на ходу закуривает или точильным бруском правит лезвие. Работает он как будто медленно, раздумчиво, но точно. Оттого кажется, глядя на него, что ты бы тоже смог легко орудовать его секирой. Однако, встретив Санина после смены и пожав его руку, почувствуешь, с каким усилием он сжимает свои вялые от утомленья пальцы.

Ему посчастливилось найти амбру уже после того, как один из матросов что-то поковырял крючком внутри кашалота, а другой вспорол ножом желудок, выволок оттуда недопереваренного осьминога с желтыми щупальцами и засмотрелся на свою находку. Вокруг осьминога собрался народ, но через минуту все разом обернулись на приглушенный возглас за их спиной. Детинушка Санин, наклонившись и пораженный разведя руками, стоял над большим бурым валуном.

Валуны были округлые, бугристые, с красноватым оттенком. Отколовшийся от него тоже волнисто-бугристый ломоть валялся рядом. От валуна даже на расстоянии двух-трех шагов шел душноватый пресный запах.

— Это амбра! — крикнул кто-то.

— Нет, не амбра!

— Настоящая!

— Дайте посмотреть! Она!

Кто-то, перемазав руки, как в глине, отколол несколько пластинок; стали разглядывать. Я присмотрелся — из глинистой на вид глыбы торчали гладкие и острые клювы, очень похожие на птичьи. Я отколупнул один из них. Это был клюв головоногого моллюска. Маленький кусочек амбры, еще сыроватый, я спрятал в карман — на память о такой редкой находке. Прибежал начальник научной группы. Приволокли откуда-то тележку. Санин и еще один раздельщик осторожно погрузили на нее амбру и торжественно повезли под навес. Туда, пока там сколачивали большой ящик для находки, целый час продолжалось паломничество китобоев. Всем было любопытно: многие ни разу не видели, что это такое, — будет о чем рассказать дома. Интересно было посмотреть и на Санина: внезапно стал знаменитостью, теперь о нем начнут писать в газетах. Кое-кто шел позавидовать и погадать вместе с другими, какая будет Санину премия. Капитан-директор флотилии Свинцов за килограмм амбры выдавал раньше четырехста рублей (старыми деньгами). Слишком много будет для одного человека!

Замполит флотилии вопрос о премии посоветовал Свинцову решить так: на китобазе премировать всю смену, на китобойце — весь экипаж. Но капитан-директор что-то заартачился: экипажу китобойца достаточно нескольких премий. Выделить им двенадцать. Пусть сами распределяют. Так и было сделано.

Китобоец «Стойкий» — передовое судно флотилии. В ноябре, декабре и январе «Стойкий», соревнуясь с сильным своим соперником — китобойцем «Громкий», шел впереди всех промысловых кораблей по добыче китов.

В белые ночи моряки палубной команды «Стойкого» спали, не раздеваясь, даже во сне настороженные: не прозвучит ли сигнал «Кит на линии!». «Два звонка, три минуты» — прозвали этот сигнал: через три минуты тебе надо быть на полубаке или на главной палубе. Добывали до шестнадцати китов в сутки. Чтобы только ошвартовать такую добычу, требуется семь-восемь часов непрерывной работы. А время, ушед-

шее на поиски, погоню за китами, на промахи, неполадки, на зарядку пушки, укладку линя, на сдачу китов базе или передачу их буксировщику? Бочман, помощник гарпунера и марсовый матрос часами по очереди вели непрерывное дежурство в марсовой бочке с биноклем у глаз, отыскивая китов и потом следя за ними во время охоты. Удачный выстрел — и они спускаются на палубу, чтобы помочь товарищам в обработке кита. Им (и вместе с ними гарпунеру, почти не отходящему от пушки) случалось не спать по трое суток подряд — как на фронте. На выручку морякам палубы пришла машинная команда. Бочкарям отвели для сна «четыре святых часа» — в это время дежурство в бочке заменялось усиленным наблюдением с мостика. Когда на мостике, крытом небом, обнесенном ветром да еще деревянным барьером, собирались, кроме рулевого и штурмана, свободные от вахт добровольцы-дозорные, с биноклями в руках обшаривающие все четыре стороны света, мостик походил на башню маленькой крепости, готовой к круговой обороне. Если гарпунер Кабальников не выдерживал и спускался на час в свою каюту — капитан сам становился к пушке. Стрелял он хуже, но все же не безрезультатно. Когда кит оказывался загарпуненным — на мостике оставался только вахтенный штурман. Все шли на полубак или палубу — подносить гарпуны и гранаты, набирать сотни метров линия, выполнять любую работу, какая подвернется под руку. Если рук все равно не хватало — вместе с добровольцами шел капитан. Он нетороплив, движения его округлые, размеренные, успокаивающие. Какая бы ни была спешка — никто никогда не слышал от капитана оскорбительных замечаний или прозвищ. Зато гарпунер не скупился на них. Но щедрые душой ребята ему прощали. Прощали, пока не произошла эта история с премиями, за которую Кабальников получил от команды прозвище «Кашей».

На китобойце двенадцать премиальных паев за амбру были распределены так: гарпунеру, морякам палубной команды, капитану, его помощникам и радисту. Дозорных из машинной команды обошли — не выделили ни одного пая. Моряки палубы обиделись за них и обратились к капитану.

— Это несправедливо. Надо просить руководство флотилии учесть помощь наших товарищей и увеличить число премий.

Гарпунер, услышав такое предложение, затрясся весь от негодования.

— Чтобы я с кем делил? — кричал он. — Что мне, легко деньги даются? Я, может, один по-настоящему болею за план, больше других работаю! Вы все (насквозь вижу) только и думаете, как бы отлынить! А эти мотористы, механики — только путаются под ногами! Да пошли вы все!..

— Кашей! — решили матросы. — Из таких раньше мироеды хорошие выходили.

## 2

На китобоец «Стойкий» — под начало капитана Широкова и гарпунера Кабальникова — я попал в марте. Пять месяцев проплавав на китобазе и вдоволь насмотревшись на то, как «разделяют» китов, давно уже рвался на судно-охотник. Будь на моем месте опытный моряк, это легко было бы осуществить, но я плавал впервые, да и сноровки к тяжелому физическому труду у меня было недостаточно. Поэтому только к концу промысла, когда остались позади самые напряженные месяцы охоты, я смог перейти на китобойное судно.

Поставили меня рулевым на вахте Федора Кавуна — третьего помощника капитана.

— Он сделает из вас рулевого за три дня,— сказал Широков о Федоре.— Вы, кажется, бывший студент? Что ж, будет новая специальность! Заступите с восьми утра. Четыре часа вахты, четыре подвахты, отдых, еще четыре до полуночи, сон. Боцман, выдай ему ватные брюки, бурки, альпаковку.

Боцман Костя Мамлин, в каюте которого меня поселили,— рыжеусый моряк с белым, нежным лицом и нежным румянцем — ласковым голосом жаловался мне на свою жизнь:

— Люблю очень такелажную работу и ненавижу промысел. То ли дело плавать на грузовых судах! А здесь я думал, что если сойду с ума, так это от двойных звонков. Два часа просидишь просто так — тишина; только захочешь прилечь в одежде, подремать — трезвон! Живо на палубу! Я весь в мыле от этой работы. На промысловое судно больше ни ногой. Вернемся — меня сразу без разговоров возьмут в парходство. Это меня устраивает.

Почувствовав к нему неприязнь, я промолчал. Выключил лампочку. Устроился поудобней на койке. На ней, как сказал Мамлин, спал помощник гарпунера, который заболел и сейчас лечится в базовском стационаре. Итак, я на китобойце! Главное, по своей воле. Чувствую, что мне будет трудно, но пугаться надо было в начале, а не в конце «путешествия». Еще немного выдержки. Еще один месяцко. К черту Костю Мамлина, хнычущего китобоя с ласковым голосом!

На койке лежишь, как дитя в люльке. Качка убаюкивает неодолимо. И я заснул.

Поднялся я в семь и целых полчаса влезал в пропитанную солью, потрепанную и неудобную одежду, которая отыскалась на судне. Почему-то утомился даже от этого сравнительно несложного дела. Позавтракав, вдохнул на воле пахнувший льдинками воздух. Почувствовал, как щекоют лицо пылевидные снежинки. Поглядел на проносящиеся совсем рядом волны. Когда был на громадной махине китобазы — мечтал о близости к океану... Куда ближе! Вон там, если сесть на палубу и свесить под поручнями ноги, можно достать пятками до воды. На каком другом океанском судне так ошутительно глянешь в лицо стихии?

До мостика восемнадцать ступеней трапа. Невольно запомнил, потому что взобрался будто на утес и почувствовал одышку. Всего меня пронизала непонятная расслабленность под коленными чашечками. Что такое? Или просто не выспался? С этого ощущения вялости и скованности движений началась для меня вахта на китобойце «Стойкий».

Федор Кавун поручил ввести меня в курс дела Сережке Хитяеву — большеглазому жизнерадостному парню с чуть по-негритянски вывернутыми губами.

— Смотри,— говорит мне Сережка.— Все очень просто. Вот это репитер гирокомпаса. Ну, вместо обычного компаса. Вот рулевой указатель, чтобы следить за положением руля. Вот ручка на тумбе управления — для поворота руля. А это машинный телеграф: «полный вперед», «самый малый»...

Я слушаю, волнуюсь, как бы чего не забыть, не перепутать. Кажется, Сережка решил напитать меня всей премудростью судовождения, какая скопилась у него за годы, проведенные в среднем мореходном училище, которое он окончил в прошлом году. Федор Кавун отводит глаза от окуляров бинокля. Улыбчиво поглядывает на нас.

— Очень бегают картушка,— говорю я своему учителю, стараясь поворотом ручки остановить вращенье разбитого на градусы циферблата. Только совместил нуль с курсовой чертой, как он побежал в другую сторону.

— Нормально! — подбадривает меня Сережка. — Отклонение два, три и даже четыре градуса — для начала неплохо. Для промысловых целей.

На мостике появилась медвежья фигура капитана Широкова. Он посмотрел на мою работу и отослал Сережку в марсовую бочку — сменить засидевшегося там матроса Овсянкина. Сережка полез на фок-мачту по гибкой, сплетенной из металлического троса лестнице, помахал нам и скрылся в бочке. По переходной дорожке, перекинутой от мостика до полубака, простучал сапогами Кабальников. Скинув рукавицу, он считил снег с прицельной планки пушки. Постоял рядом, оглаживая ладонью ее ствол. От этого пушка мне показалась живым, соскучившимся по хозяину существом. А сам хозяин — крепким мужиком, ласкающим свою скотинку. Завязав под подбородком клапаны шапки, чтоб не надудо в уши, Кабальников еще некоторое время помедлил в угрюмом одиночестве. Впереди — равнина океана без признаков жизни. Матово смотрит солнце. В такой бы денек да хорошую охоту! Китобоец «Громкий» на пятки наступает — как бы не обскакал! Два-три удачных дня — и можно было бы оставить его далеко-о позади! В марте какой к дьяволу промысел! Скоро пойдут штормы за штормами, резко похолодает, начнутся обледенения.

Поднявшись к нам на мостик, гарпунер ни с кем не здоровается. Меня, нового человека, он вообще не считает нужным замечать. Кисло оттопырив губы, берет бинокль, вполголоса переговариваясь с капитаном.

— Давайте вон на ту льдинку, — говорит мне Широков. — Белая точка на горизонте, видите?

— Сорок пять градусов?

— Вот-вот.

Мне некогда глядеть на белую точку. Я весь поглощен борьбой с вертящейся картушкой и мучительно страшусь опозориться с первого раза.

Глянув поверх ветрового стекла, я вдруг радостно набираю воздуху в легкие. Лыдина совсем близко. И чуть левее курса. Мной овладевает желание пройти рядом с нею. Чтобы волной, взрезанной форштевнем, отбросить ее со своей дороги. Чтобы увидеть, как она закачается. Поворачиваю ручку влево. Лыдина заколыхалась, заковыляла в сторону. Как грузовик по проселочной дороге мимо сугробов, прошло мимо лыдины стальное шестидесятиметровое тело нашего дизель-электрохода.

Все чаще лыдины... Из дальней дымки проглянул небольшой айсберг. Двурогий: один рог тонкий и высокий, другой — куцый и толстый. Федор заметил, что рога перемещаются. Пока мы приближались, айсберг успел два раза обернуться вокруг себя — то ли от подводного течения, то ли от ударов волны. Вращался он против ветра.

— Не иначе, киты его крутят, — пошутил Широков, когда мы прошли мимо.

Я отвлекся на слова капитана — но тотчас беспризорная картушка помчалась против часовой стрелки. Китобоец стал разворачиваться вправо. Я даже прикусил губу от досады и поморщился от боли. Проклятая рассеянность, не доведет она меня до добра! Думай лучше о нападении Сережки Хитяева: гребной винт судна все время норовит своим вращением сбить тебя с курса.

— Так! Давайте еще, еще правее, — вдруг сказал капитан, будто прочел его мысленный приказ и оставалось только немножко меня подправить. — Вот к тому большому айсбергу прямоугольной формы. Начинайте с правого угла, потом влево, вдоль и вокруг. Могут быть киты.

Я напрягаю все свое внимание. Прищурившись от волнения, веду корабль прямо на угол. Айсберг словно идет навстречу. Видна каждая ледяная складка. Чернеет глубокая арка, под которой можно было бы



спрятать наш китобоец. Не арка — целый туннель, уходящий в глубь айсберга. Туда входят волны и там взбивают белые шапки. Возле входа они медленно взлетают и еще медленнее опадают, как будто с трудом отлипая от ледяной скалы. Капитан Широков делает нетерпеливый полуоборот в мою сторону, не отводя глаз от воды. Жду, что сейчас скажет: «Лево руля», но он молчит. Я понимаю: капитан хочет проверить меня. Если замешкаюсь — рядом со мной Федор Кавун. Я плавно разворачиваю судно влево. Удачный — не слишком рано и не опрометчиво поздно — поворот доставляет мне наслажденье. Никогда бы не подумал, что это так физически приятно. Все мои начальники, стоящие на мостике, молчат. Похоже, они позабыли, что я не настоящий рулевой. Значит, все правильно. Кто не знает, что у этих ледяных гор коварное подножье: айсберг может простирается подводным островом во все стороны от надводного выступа. Если налететь — погубишь судно. Я сейчас прохожу в пятидесяти метрах от подошвы айсберга. Днем — среди темно-серой воды — границы подводного острова отчетливо видны. Серая вода резко останавливается перед этой границей. Дальше вода синяя, густая. Она даже непохожа на воду. Говорят «цвет синьки», «кобальт синий» — но я нигде ни разу не видел такого удивительно красивого, неестественного цвета — ни в химии, ни в природе. Лиловые и голубые отливы. Все то же антарктическое впечатление безжизненности. По-видимому, этот цвет рождается отражением света от подножья.

О китах я первые минуты не думаю. Просто нет времени. Но когда мы минуем айсберг, от людей, молчащих рядом со мной, мне передается неудовольствие. Чувство такое, будто это я повинен в том, что нет китов. Можно было бы сразу почувствовать себя совсем другим человеком, очень нужным — открой я за поворотом вспышку фонтанов, — и во мне просыпается охотник. Но его крепко держит с утра налившая мои мышцы усталость. Как я буду работать на палубе? И что вообще я должен там делать? Лучше об этом не задумываться. Трудно работать, все время встречаясь с новым и обучаясь делу по ходу. Но еще мучительней, что люди без слов понимают тебя, и потому нет-нет да подставят плечо, чтобы тебе было легче. Радуетесь, гордитесь: я сам! Оглянешься — а сзади поддерживают.

Мы вошли в город айсбергов. Тихий-тихий город, как белая заснеженная Москва поздней январской ночью. Здесь свои площади, свои белые кварталы, улицы, переулки, тупики. Свои подъезды, ворота. Длинные плоские крыши. Новые дома. Руины. Стены голубоваты и серебристы. Изредка — желтые. Горизонт исчез. Кажется, здесь можно даже заплутаться, как в лабиринте.

— Айсбергов до чертиков, а толку мало, — не изменяя своему благодушному тону, проговорил наконец капитан Широков и вздохнул.

Китов все еще не было видно. Судно попетляло по ледяному городу и выбралось на простор...

На этом незаметно и окончилась моя утренняя вахта.

Все четыре часа подвахты прошли в ожидании начала охоты. Я был взвинчен, как перед экзаменом. Я сидел в каюте и торопливо писал дневник, прислушиваясь к шуму дизелей за переборками. Что это? Мы замедляем ход. Сейчас прозвучит выстрел... Нет, показалось. Скорей бы нашли китов! Нет, лучше пусть найдут, когда пройдет моя подвахта. Мне хватит на сегодня утренних треволнений...

...Первый выстрел раздался в момент окончания моей подвахты. Как наворожил! Судно вздрогнуло, будто налетело на препятствие. Эхо глухо отдалось в переборках каюты. Я запихал бумагу в сумку, вышел за дверь — одну, другую — и поднялся на мостик.

К этому времени убитый кит был уже ошвартован.

По радио передавали, что пилот вертолета, возвращаясь с задания, обнаружил еще два фонтана в квадрате таком-то. Судя по координатам, ближе всех к нему был наш китобоец — и вскоре мы увидели далеко в воздухе маленький черный крючок. Потом он увеличился, приобрел более ясные очертания, стал красным и начал потрескивать. Накренясь, как судно, он сделал несколько кругов над тем местом, где шли киты. Мы бросились туда на всех четырех дизелях, или — как здесь говорят — «четырех колесах». Усиленный микрофоном, над судном зазвучал мальчишески неровный и добрый голос Хитяева:

— Правее уходит! Левее! Прямо!

Почти под самой пушкой — так показалось с мостика — пролетел черно-бурый альбатрос, потом откуда-то появились два капских голубя, прилетела серенькая птичка — буревестник. Альбатрос быстро исчез, но голуби и буревестник упрямо закружились над фонтанами. Заметив, что я обратил на это внимание, капитан Широков улыбнулся мне и сказал вполголоса:

— Это не случайно. Даже еще до выстрела такая троица не редкость: кит, китобоец, птица... Птицы словно чувят охоту. Пока нет охоты — их нет. Потом они вылавливают из воды сгустки крови — и глотают...

Да, было похоже, что птицы знали, за чем идет китобоец. Птицы словно предсказывали и для себя уже решили судьбу китов, но сами киты (вероятно, самец и самка) на расстоянии выстрела гарпунной пушки все еще как будто беспечно рассекали волны, взметывали ружейными дымками фонтаны, заныривали, вновь показывали коричневато-серые спины с полумесяцем плавника — тешились, очевидно, последней в их жизни любовной игрой.

Наконец киты — это были финвалы — словно опомнились. Стали уходить, держась то рядом друг с другом, то поодаль. Мы все время шли за тем китом, что был покрупней.

Финвал казался в воде да еще на расстоянии не больше речного катера. Так же, как возле катера, пенилась вокруг его спины вода, взлетали брызги. Ни вид, ни повадки животного не казались занятными. Что-то довольно бесформенное крутилось в воде и, скрываясь, оставляло среди волн на месте воронок удивительно гладкие озерки — «блины», как говорят китобои. Множество таких финвалов я видел в разделке. Они не казались мне исполинами.

Однажды на базу подняли большого блювала. Иначе — голубого кита. Сто сорок человек, забравшись на его бок или став под ним, выстроились от головы до хвоста по приказу кинооператора из студии документальных фильмов. Когда об этом расскажешь — выходит внушительней, чем когда видишь глазами: из-за величины и толстокожести кита обычно теряется ощущение, что это животное. Просто колоссальный муляж из толстой резины. В этом, наверно, все дело. Современников огромных высотных зданий, океанских судов, космических ракет, реактивных пассажирских самолетов и мощных самосвалов — нас уже не поразишь стопятидесятитонной тушей с семью тоннами крови, текущей по жилам и перегоняемой сердцем весом в полтонны. Как меняются представления о расстояниях, точно так же меняются представления и о размерах.

— Выходит! Выходит! Бей! — упоенно кричит Сережка Хитяев.

Гарпунер быстрым и сильным движением плеч разворачивает ствол пушки — слева направо и книзу. Но кит уже успел уйти под воду, пренебрежительно отфыркнувшись.

Не оборачиваясь к нам, Кабальников показывает руками то влево, то вправо — и рулевой (задорного вида парень с «подковкой» на носу,

похожей на родимое пятно) перекладывает руль то влево, то вправо. Вот Кабальников придерживает руку возле ушанки, словно отдавая кому-то честь,— и рулевой ведет судно прямо вперед. Вот Кабальников нажимает что-то на пушке — на мостике звучат звонки: один, два, три,— и штурман передвигает ручку машинного телеграфа. Китобоец то забьется в крупной дрожи, то притихнет и закачается в крадущемся движении, то, тарахтя всеми своими внутренностями, пускается в погоню. Вот мы проскочили занырнувших китов. Крутой поворот! И судно бьет «озноб». Вот гарпунер нацелил пушку туда, где ожидается появление финвала, и судно самым малым ходом приближается к месту встречи.

— Бей! — кричат даже с мостика, негодуя на кажущуюся медлительность гарпунера.

Когда наконец пушка, сотрясая воздух и распугивая птиц, бухает, я вижу вслед за хлопком разрыва прыгающие, шлепающие по воде осколки гранаты. Гарпун, косо прошив кита, вышел из-под сала головкой и так застрял, раскинув железные лапы. Тотчас на мостике запахло порохом, как где-нибудь в лесу после выстрела охотника. Финвал пошел в сторону, стал чаще скрываться под водой — но Кабальников метко выбивает в него второй гарпун. Молнией, раскручиваясь в воздухе, хлестко выметывается линь и, натянувшись, тонет в волнах.

Стоп! Китобоец не движется. Все ждут. Океан волнуется вместе с нами в ожидании. Вырвавшись на поверхность, расплывается по воде большое красновато-желтое пятно. Попал!.. Но кит еще не угомонился — он ходко тянет линь за собой, оттягивая книзу стонущие на мачте блоки. Третий, без линя, добойный, гарпун делает кита спокойным. Сильно фыркая, раздувая дыхла, он медленно выходит из воды и так же медленно уходит под воду. Кажется, что ему ничем все эти три гарпуна, торчащие в его туше, он их не замечает. Только по непрерывной работе промысловой лебедки, выбирающей линь, видно, как слабеют силы животного. Вот финвал уже трется головой о форштевень китобойца. Шагая на полубак, чтобы помочь выбрать линь, я успеваю заметить, как из ран финвала бьют в воду красные родники, как, проткнув кита пикой, накачивают его воздухом, как он мается, перестает фыркать, переваливается с боку на бок. Родники закипают: оттуда, как из чайника, идет пар. Кит затихает. За кормой у нас летают птицы, садятся на воду, что-то ищут, находят, взлетают, снова садятся...

Второго кита чуть было не потеряли из виду — он все удалялся и удалялся от места гибели своего напарника.

— Ничего,— сказал капитан.— Догоним! Бывало, пятнадцать китов висит по левому и правому борту, а мы догоняем шестнадцатого! Вот тогда ход был, конечно, маленький.

Гонялись мы за финвалом долго. Занырнет рядом — а вынырнет где-нибудь так далеко, что еле виден его высокий фонтан. Исчезнет впереди судна — появится (все смотрят в разные стороны) где-нибудь позади. Кабальников стал нервничать и оборачиваться на рулевого. Выстрелив один раз, он промахнулся, гарпун ушел под воду. Промах и вслед за тем несколько неудачных подходов к финвалу совсем вывели Кабальникова из равновесия. Надо было на ком-то отвести душу — и он погнался рулевого:

— Уходи с мостика, пусть тебя заменят!

Преследование кита требует от рулевого быстрых и точных разворотов. Нужно вовремя сдерживать судно, чтобы оно не ушло по инерции в сторону. Нужно поспевать за нервной и противоречивой сменой команд гарпунера. Кит может выйти не там, где предполагает гарпунер или куда указывает марсовый матрос, у которого от напряженья зарябило в глазах. Выпустив фонтан и показав спину, кит быстро, хоть и плавно,

уходит под воду — надо вовремя оказаться возле него на расстоянии пятидесяти метров. Недаром предупредил меня Сережка Хитяев: «Во время охоты тебя будут подменять на руле. Мы и то не можем угодить гарпунеру».

Сейчас гарпунеру Кабальникову неугоден парень с «подковкой» на носу. Рулевой только сердито морщит нос. Теперь я вижу, что «подковка» у него — это зажившая рана (задело, наверно, при швартовке добычи). Он не уходит, чувствуя себя правым: гарпунер, а не он промахнулся! Тогда Кабальников отворачивается от пушки, приближается к фальшборту полубака и, опершись рукой на барьерчик, становится лицом к мостику. Он молчит, но всем своим видом говорит: отказываюсь стрелять! Бездельники и безрукие мешают работам!

— Ну-ка! — не выдерживает второй помощник капитана и, отстранив рулевого, берет за ручку на тумбе управления.— Дай-ка я.

Второй помощник — молодой, как почти все на судне, моряк. Судно в его руках стало еще послушней. Кажется, что сейчас финвалу уже не миновать гарпуна.

— Правее, правее! — кричит Сережка Хитяев.— Да правее же, Петрович! — надрыгается он, видя, что Кабальников остервенело машет рукой влево, не слушая Сережку.

Китобоец, послушный воле гарпунера, идет влево. Но зря. Финвал, весь в морской пене, появляется справа. Совсем потерявшись от досады и злости, Кабальников продолжает отбивать левой рукой влево, но правой — взмахивает вправо.

— Затанцевал! — неодобрительно смеются на мостике.— Одной рукой туда, другой — сюда! Вот человек.

— Слева по борту! — объявляет Сережка, и второй помощник разворачивает судно влево, хотя Кабальников делает отмах прямо.

Что?! Кабальников резко оборачивается. Это уже бунт молокососов! Этого Кабальников не потерпит. Уставившись издали на «бунтаря» и скрестив руки на груди, он стоит возле пушки.

— Иди сам стреляй! — взмахивает он рукой.— Ну?

За спиной Кабальникова раздается фыркание. Почти под самым носом китобойца — там, куда направляли его Сережка и второй помощник и куда глядел наклоненный ствол пушки, выходит кит. Он показывает оторопевшему Кабальникову медленно погружающуюся толстую спину. В сердцах Кабальников обеими руками бьет себя по коленям и топает ногой.

— Начинается! — говорит капитан Широков, но не вмешивается: во время охоты командовать положено одному гарпунеру.

— Продолжается,— возражает второй помощник.

— Совсем никудышными стали нервы у человека.— Широков качает головой.

— Давай встану я,— с неколебимым хладнокровием говорит капитан второму помощнику.— Надо его как-то успокоить. А то сейчас он начнет делать промах за промахом.

Капитан становится на руль. Но и теперь Кабальников не перестает досадливо оборачиваться. Капитан громко одергивает его:

— Ты не оглядывайся, а вперед смотри! Финвал там, а не на мостике. Понял?

...Финвал, вымотавший всем нервы за два часа погони, так и не был убит. Мы неожиданно вошли, как воткнулись в толщу тумана — и все кончилось.

Я по натуре далеко не зверобой. Но все же, когда упустили кита, я почувствовал сожаленье, как в первую свою вахту, и ощутил во всем теле усталость, о которой не помнил в часы погони.

Переходя на китобоец, я заранее мирился с тем, что, осваивая новое дело, буду медлительным и на меня будут, возможно, покрикивать. Имел я представление и о том, чего надо опасаться на судне-охотнике. Кит может рывком оборвать линь. Может лопнуть трос-хвостовик. Может ударить хвостовым плавником, когда мертвый кит вздымается волной возле борта. На взгляд плавник не опасен: вблизи он кажется гибким и даже мягким, но бьет, как свинцом. Опасна работа в трюме по укладке линя. Когда кит ранен, линь может, как петлей, захлестнуть человека. Да мало ли что грозит китобоею во время охоты и при обработке добычи! И все-таки трудно мне здесь совсем по другой причине.

Я уже давно, втайне чуточку гордясь этим, уверился в том, что мой организм не подвержен морской болезни. Впрочем, разве это качка — на китобазе?! Китобоец рядом с базой — детеныш! К тому же в поисках добычи или в погоне за ней он бродит то по волне, то против волны, то вдоль нее, то по касательной. Пока стоишь на мостике, пока напряжены только взгляд и внимание — это еще ничего. Но как только выйдешь на полубак, начнешь действовать мускулами — тогда точно тело от головы отрывается. Стыдно своих медленных, сонливых движений. Палуба живет под ногами. Особенно трудно устоять на ней там, где она не плоская, а покато идет вверх. Нагнешься за чем-нибудь — и падаешь на колени. Поглядишь на товарищей — им хоть бы что: даже бегают! Только ноги их — прямые, будто сведенные судорогой — говорят о том, как это им нелегко далось, пока не вошло в привычку. Вот и этому тоже надо учиться!..

Погоня. Выстрелы. Обработка кита. Снова погоня. Снова пушка окутывается дымом. По обоим бортам судна, пришвартованные мощными цепями, колышутся тяжким веером киты. Толстый линь — его еле обхватишь пальцами — бесконечной мокрой змеей проходит через твои руки. Товарищи мне сказали: подсчитано, что за рейс каждому доводится набрать по десять километров линя. Мне кажется, я уже перебрал больше километра. Работаю почти бессознательно. Сразу же забываю, что мною сделано и что еще надо сделать. Так в горячке раненый не чувствует даже своего раненья. Иногда я останавливаюсь и стою в нерешительности, оглушенно соображая: кому помочь? Где-то рядом слышу голос гарпунера, но до меня не доходит смысл его слов и кому он кричит.

— Не кричи, Петрович! — несется в ответ звонкий выкрик Сани Овсянкина. — А то у меня нервы не в порядке! Седалищный уже отказал, а если выше пойдет — чем это кончится?

Наконец Кабальников и меня заметил:

— А вы — побыстрее присматривайтесь! Не то я вас...

Оглядываюсь на гарпунера, и мне кажется, что он улыбается, но тотчас вижу, что ошибся — какая там улыбка! Чувствую, что поддаваться ему нельзя, отворачиваюсь и спрашиваю у Сережки Хитяева, что надо сделать.

Один раз объяснив мне премудрости судовождения, Сережка уже не перестает опекать меня как своего ученика. Ведь и он в начале рейса ходил в новичках у китобоев!

Снова выстрел за выстрелом. Глохнут перепонки, звенит в ушах. К потному телу прилипает одежда. Внизу, возле форштевня, умирающий кит ударяет плашмя хвостом по корпусу. Металл отвечает ему глухим звуком и вибрацией. Полубак содрогается. Неудачно брошенная рукой Хитяева пика попадает в грудной плавник. Гарпунер отталкивает Сережку, бросает сам. Мимо. Он слишком нервничает. Руками вытягивает за резиновый шланг полую внутри пику и, перевешиваясь через фальшборт,

кидает снова. Вдруг зло взглядывает на меня. Отвлеченный воткнувшейся в китовый бок пикой, я не так быстро, как хотелось бы Кабальникову, бросаюсь к вентилю компрессора, чтобы пустить через пику сжатый воздух. Воздух добивает кита, останавливает его сердце. Но главное, если не надуть затихшую тушу — она через несколько минут затонет.

— А ну, живей поворачивайтесь! Не то снова буду вас тренировать! — кричит Кабальников. — Когда научитесь соображать по-человечески?

Он и не думал тренировать меня. Видно, срывает на мне злость, что с китобазы не прислали настоящего помощника. Но я его понимаю. Конечно, некогда учить. Нянек здесь нет.

Закрывая по Сережкиному знаку вентиль и видя на лице Сережки подбадривающую меня улыбку, я тоже улыбаюсь и радуюсь, что не дал вскипеть своему петушину негодованию. Выглянув из-за спины Хитяева, гарпунер удивленно смотрит мне в лицо какую-то долю секунды. Потом отворачивается.

Это было вчера. Сегодня я опять вывожу его из терпенья. Идет время подвахты. Боцман зовет меня в трюм. От большой бухты нарезаем концы для хвостовиков. На палубу мы выходим, когда Сережка Хитяев, Саня Овсянкин и еще один матрос, ухватившись за металлический трос — ваер, приподнимают его полупетлю. Чтобы набросить на хвост кита? А дальше что? Надо посмотреть, для чего и как это делается, — и я останавливаюсь. Мощный плавник то приподнимается над фальшбортом, то налегает на него всей тяжестью, мешая завести ваер. Надо, наверно, им помочь? Но как, чем? Я оглядываюсь на боцмана. Он стоит и равнодушно смотрит. Сверху, с переходного мостика, доносится окрик и показывается голова гарпунера:

— Помогите им кто-нибудь! Что стоите?

Боцман с неохотой и опаской сдвигается с места.

— А вы что? — кричит он мне.

— Не лезы! — говорит, оборачиваясь ко мне, Хитяев.

Подняв голову, я кричу Кабальникову:

— Я не знаю, что надо делать!

— Не знаете?

— Не знаю! — отчаянно кричу я.

Мне еще ни разу не приходилось швартовать кита к борту. Работая на полубаке, я даже не видел, как это делается.

— Идите тогда к чертовой матери с палубы! — грозит кулаком Кабальников. — Чем скорее вообще уберетесь с судна — тем для меня лучше!

Махнув рукой, я ухожу, глядя, как все четверо товарищей отскакивают от фальшборта. Они это делают вовремя: плавник с силой ударяет по барьеру, брызги от накатившей волны взлетают над их головами. Хорошо, что я туда не полез!.. Ухожу в каюту и, мучаясь от стыда, думаю, не пойти ли к капитану и отпроситься назад на базу. Уверен, что он охотно меня отпустит. Если бы от меня была какая-нибудь польза — Кабальников бы так не бесился, а капитан бы не молчал. Я не знаю (об этом мне расскажут позже), что сейчас на мостике Широков говорит обо мне с гарпунером:

— Фрол Петрович, надо понимать, что человеку трудно.

— Значит, нечего ему было с базы пересаживаться!

— Не жалеете вы людей.

— Какого дьявола таких жалеть: поуродуется один — другого пришлют, порасторопней! Нам надо работать здесь, а не бёречься!

Вскоре за мной приходит боцман.

— Гарпунер тебя вызывает: подвахта еще не кончилась.

На лице Кости Мамлина светится ласково торжествующая улыбочка: мол, видишь? Не хочу тебя обижать, но все-таки — что я тебе говорил?!

Улыбочка боцмана заставляет меня перебороть себя. Перед людьми мужественными не так стыдно проявить слабость, как перед этим ласковым нытиком с нежно-голубыми глазами.

Я выхожу на палубу. Работы нет. Китобоец идет в пустом просторе. Серое небо, темно-серая с черными тенями вода. Ни одного фонтана. Гарпунер стоит на мостике и сверху молча поглядывает на меня. Что же это он? Во время подвахты, если нет охоты, я имею право не только сидеть в каюте, но даже спать, не раздеваясь. Или он испытывает мою податливость, тешит свое властолюбие?

Я спохватываюсь, что совсем забыл про обед, и ухожу с палубы в столовую команды; в маленьком буфетике нашариваю краюху белого хлеба и, посыпав ее солью, жую. Наш кухонный бог — повар Николай, заглянув в дверь и увидев меня, спрашивает:

— Ты не ел?

Я киваю головой.

— Наплюй на все, садись. Нечего брюхом бурчать!

Николай приносит мне тарелку теплого рассольника, гречневую кашу и две кружки компота. Я с благодарностью поглядываю на его несимметричное — одна бровь выше другой, один глаз больше другого — лицо, пока он расставляет на столе всю эту снедь. Не горюясь, положив шапку на стул и расстегнув альпаковку, принимаюсь за поздний обед.

Николай был прав, советуя мне не спешить. Уже допивая вторую кружку, слышу буханье и звонки. Вовремя уложился!

Кабальников с первого выстрела попал в кашалота. Но кит глубоко занырнул и долго не показывается. Медленно начинаем его вирать. Вот он выходит на поверхность. Потом происходит что-то мгновенное и непонятное. Блоки резко взвизгивают, что-то трещит, что-то белое проносится в воздухе, с силой хлещет надстройку. Кит, глотнув воздуха, так рванулся вперед, что оборвал капроновый линь. Счастливо обошлось: ничего не задело. Хорошо, что перед этим гарпунер всех прогнал с полубака и переходного мостика. Сам он оставался возле пушки.

Кашалот скрылся. Полчаса идем малым ходом, следя, не покажется ли фонтан. Кашалот не появляется — может быть, затонул. Все это время мы с Костей Мамлиным сидим в трюме. Отрезаем конец лопнувшего линя, приращиваем новый к толстому канату километровой длины. Любимая работа нашего боцмана. Мне тоже нравится делать петли, называемые бгонами, намертво (если порвется, так в другом месте) срращивать концы или, вот как сейчас, толстый линь соединять с еще более толстым канатом (огон в огонь). Пожалуй, из всего, что я усвоил и перенял от китобоев за несколько месяцев плавания, больше всего рад умению делать это нехитрое дело.

— А ты, оказывается, в курсе! — удивляется боцман.

Я доволен. В сущности, немного надо, чтобы повеселеть... если бы не Кабальников.

Пока я выбираю на полубак новехонький серебристый линь, гарпунер присматривается к моей работе, стоя на переходной дорожке. Мне кажется, что я делаю это достаточно быстро. Но Кабальников, почему-то косо оглянувшись на мостик, где виднеется голова капитана в мохнатой шапке, подходит ко мне и негромко, свинцовыми пулями отливая каждое слово, спрашивает:

— Вы что-нибудь в жизни умеете делать?

Этот редкой и отважной профессии человек вкладывает в свой вопрос такой жестокий смысл, что я теряюсь под прицелом суженных зрачков гарпунера. Но это длится только секунду.

— Кое-что вроде бы умею,— отвечаю я без нажима, но упрямо и тоже, как он, вполголоса.

— Ничего вы, наверно, не умеете делать! Даже поживей поворачиваться!

## 4

— Ты на гарпунера не обижайся,— советует мне Саня, «Мужичок-с-ноготок», как прозвали его ребята за маленький рост и рыжеватую на щеках щетину.— У всех нервы измотаны. У Петровича тоже. Я вот недавно поругался с ним, а к вечеру — опять мир. Такая работа. Но на тебя кричать не дадим. Пусть не думает!

За час до вахты и за полчаса до ужина я сижу в столовой команды возле молодых китобоев — Сани Овсянкина, Сережи Хитяева, повара Николая и моториста Мили, которые «заколачивают козла». Раскрыв прошлогодний номер спортивного журнала, я делаю вид, что решаю шахматную задачку, но пришел я сюда просто потому, что мне стало грустно и одиноко в боцманской каюте. Мамлин куда-то запропастился, да и не тянет меня к нему. Лучше вот так посидеть с почти незнакомыми парнями.

Видно, мой рассеянный взгляд выдает меня с головой, потому что моряки, не отрываясь от игры, все время со мной заговаривают.

— Сейчас разбрехаемся — через минуту смеемся, у нас так,— подтверждает Санины слова повар Николай.

— Точно, у нас склоки нету,— улыбается Сережка Хитяев.

Эти ребята нравятся мне с первого дня. Иногда бывает: помотришь на одного, другого, третьего — каждый в отдельности вроде бы хорош, с каждым хочется подружиться, но не приведи случай увидеть их вместе. Это не коллектив. Истинный коллектив тот, в котором человек становится лучше, чем он есть. Таков, видно, экипаж «Стойкого».

Саня Овсянкин, Мужичок-с-ноготок, хитроват, как говорят, он «себе на уме». Тем не менее все его любят. И не только друзья из палубной команды. Когда Овсянкин приходит на мостик, капитан Широков обнимает его (Саня капитану по плечо) и спрашивает:

— Ну что, Саша с Уралмаша? Ты нашел только двух китов со своей бочки, а я отсюда — пятерых!

— А кто начало нашел?! — горячо возражает Саня, подзадоренный вниманием капитана, его медвежьим объятием.— Ты только за ничтожку потянул!

Мужичок-с-ноготок с каждым на «ты», с капитаном тоже. Они смеются. Овсянкин встряхивает единственную сигаретку в пустой коробке из-под леденцов. Китобой курево в пачках не держат: размокает.

— Эх, одна сигаретка, нечем тебя угостить...

— Кури, кури сам!

С гарпунером у него тоже хорошие отношения, хотя иногда случается, что Мужичок-с-ноготок грозит Кабальникову: «Погоди, встретимся на берегу — покажу тебе Одессу!» — а тот в тон ему отвечает: «Встретимся — покажу тебе Владивосток! Подумаешь, одессит нашелся». Нашему гарпунеру не свойственно чувство дружеской привязанности к кому-либо, но Овсянкина он во всяком случае ценит. Если охота идет более менее спокойно — можно уверенно сказать, что это Саня сидит в бочке. Его глазам Кабальников доверяет почти как своим. Теперь Мужичок-с-ноготок у него за помощника. Единственный, к кому Саня питает неприязнь,— это Костя Мамлин.

— Таких лодырей ненавижу! Боцман, когда была самая горячка. не работал — с перевязанным пальцем ходил!

Боцману хвостом кашалота однажды прижало палец. Сначала с пере-



вязанным работал, но когда началось загноение — стало невмоготу. Сережка Хитяев напоминает об этом Овсянкину и тем начинает его злить.

— Не горячи меня! — вскрикивает Мужичок. — Он целый месяц проволынил на базе, нам оттуда улыбался. Теперь-то палец здоров, но этот Мамлин все старается побыть от китов подальше — что я, не вижу?

— Глаза снайперские! — добродушно подтрунивает Сережка. — Костя просто слабый человек для Антарктики. Вот ты бы у нас был настоящий боцман!

Сережка Хитяев из тех людей, у кого недаром, как в песне Лихача Кудрявича, «хмелем кудри вьются — ни с какой заботы они не секутся!». В избытке добрых сил он так щедр в работе, что ему не приходит в голову мерить, сколько сделал он, сколько другой. Он готов взяться за любое дело. Вот отчего у него такое безмятежное снисхождение к Косте Мамлину. И то сказать: Сережка только что вырвался из училища в широкую жизнь. Молодой, двадцать три года. Все у него впереди и все ему по плечу. Сане Овсянкину за тридцать. И жизнь у Сани была, наверно, тяжелее: учился только до восьмого класса. Ну, а Сережка — он и мореходку окончил, и в институт инженеров родного транспорта принят.

— Это чтобы иметь свободу выбора, — объясняет Сережка. — Но плавать я люблю и буду, пока будет здоровье!

...Скоро полночь, конец вахты. Судно лежит в дрейфе. Внизу палуба освещена белым огнем. Сзади на мостик падает красный свет двух фонарей. Половина Фединога лица, когда он поворачивается ко мне, красная. Кажется, что его худощавое с маленькой бородкой лицо пылает. Красны мои рукавицы, одежда, красны стекла приборов. Мы погружены в красный свет и черные тени. За бортом смутно белеют языки пены. Словно бумажные, белыми, округлыми пятнами подлетают к мачте и отлетают безголосые почему-то птицы. Судно качает. Что-то есть в этой ночи мертвое, хотя и волнующее. Не работают двигатели. Не дрожит судно. Теперь еще выключили палубное освещение. Кроме нас — ни одного человека. Тех, кто под нами в каютах, словно не существует. От этого одинокого покачивания, от красного света (хоть печатай снимки), от невидимого дыхания полюса сжимается сердце. Мы погрузились в такую толщу черноты, из которой нас, может быть, не вынести ни одному гребному винту на свете.

Вдали звучит то ли детский, то ли женский пронзительный крик и повторяется.

— Пингвины, — замечает Федор.

— Значит, льдины близко?

— Похоже...

На нос падает что-то пушистое и мокрое. Снежинка? Одна, другая — и вот уже густо идет снег. На фоне мачты его красновато-белые провода наклоняются то вправо, то влево. Внезапно они рвутся. Снежный «заяр», как говорят полярники.

— Спускаюсь в рубку, — прерывает молчанье Федор. — Погляжу радар, не сносит ли на айсберги.

Невеселы эти часы ночной вахты в дрейфе. Лучше, пожалуй, куда-нибудь двигаться. Но флотилия попала в район, откуда полярная осень еще не прогнала китов, и мы будем здесь дожидаться рассвета.

Я томлюсь в одиночестве на мостике, в безмолвии океана и чувствую облегчение, когда за моей спиной перестает вращаться широкая антенна радиолокатора.

— Все чисто, — звучно говорит Федор, открывая дверцу на мостик, входя и становясь рядом со мной. — Ну что? Ты по мне соскучился?

— Соскучился,— признаюсь я.

С первой совместной вахты между нами возникло ясное и молчаливое понимание, что мы не только штурман и рулевой, но чем-то очень близкие люди. Сейчас это чувство еще крепче. Федор не улыбнется «из вежливости». Не выспался, засидевшись над картой и судовым журналом до двух часов ночи в штурманской рубке, не в духе или чем-то озабочен — не пытайся тогда с ним разговаривать. А в хорошем настроении сам начнет вдруг рассказывать, как в их селе ребяташки постарше лазали всей сравой в чужие сады — и он с ними (ему было года три-четыре). Или атакывали бахчу, хоронясь и маскируясь венками от деда-сторожа. Какие кавуны, дыни! Кавуны по земле укатывали — ползком, как жуки, толкая перед собой. А дыни — те на месте уплетали. Что за дыни! Одни продолговатые, желтые, на разрезе налитые соком и золотистые. Другие — круглые, зеленые, невзрачные, все в серых трещинках, точно в паутинках, а разрежут — красные внутри, сладкие-пресладкие, медовки!.. Смотришь на Федю в эти минуты — и легко представляешь, каким был третий помощник капитана, когда бегал еще белобрысым хлопчиком с ярко-синими глазами и звался Хведяшкой.

— Глянь-ка на хронометр,— говорит Федя,— сколько нам осталось до конца вахты? Что-то стало сильнее качать. Придется пойти против волны малым ходом... Давай споем песню? Не люблю пьяно-грустные. Лучше вот: «Мне с жинкою — не водиться! А тютюн да люлька казаку в дороге — пригодится!» Это про нашу долю. «Китобойская!» Только что мне тютюн? Не курю. А жинка... Что-то сейчас моя делает? Наверно, баиньки легла. Дай-ка я подсчитаю, который теперь час у нас в доме... Ну что, дружище? Продрог маленько? Иди буди наших сменщиков. Задно погреешься в коридоре...

Как Мужичок-с-ноготок сказал, так и стало. Не знаю, что было сделано для этого, но Кабальников заметно ко мне переменялся. Прежде всего он проявил заботливость, когда, поскользнувшись, я упал на палубе возле пушки и стал хромать, морщась от боли в коленной чашечке.

— Кто вам такие бурки дал? — по-прежнему держа меня пренебрежительным «вы» на положенном мне от него расстоянии, спросил Фрол Петрович. — В них — будто корова! Посмотрите — никто не носит. Возьмите мою вторую пару сапог у электрика. Ему не надо.

Со сменой обуви мне действительно стало легче работать. Вялость, вызываемая качкой, от этого, конечно, не прошла, но зато у меня появилась большая уверенность в движениях. Теперь я с меньшей опаской лезу под пушку, чтобы уложить в гнездо пятьдесят метров линия. Пока возишься с укладкой троса, твои ноги в это время находятся за бортом: одна нога свисает свободно, другая продета в какую-то скобу. В сапогах это получается ловчее.

Заметив, что я принял его совет, Фрол Петрович даже подобрел, насколько это возможно для него.

— Во! — сказал он. — Мои сапоги? Лучше в них?

— Лучше.

— Правильно. Не то что в тех дерьмодавах! Могли упасть — и-и... —

Он кивнул на беспощадную зыбь, идущую по океану.

С неделю назад, когда я стоял на мостике, гарпунер схватил меня за руку, стал дергать то вправо, то влево:

— Фонтан! К фонтану!

Я не сразу увидел фонтан. Когда разглядел — картушка, выведенная из устойчивого состояния рывками Фрола Петровича, кинулась в бега, закружилась, за что незамедлительно мне был вынесен приговор:

— Заносит, заносит судно! Не чувствуете киля. Не выйдет из вас рулевого!

Капитан, услышав, тихо произнес:

— Он учится.

— Учится пусть в другое время — сейчас гонимся за китами!

Но вот теперь я просто повторяю то, что удалось мне в самую первую мою вахту — привожу китобоец точно к льдине, белевшей на краю океана.

— Правильно стали стоять на руле,— одобряет Кабальников и поворачивается к Феде: — Твоя школа.

Немногого стоит похвала Фрола Петровича! Он похож на картушку: не знаешь, в какую сторону повернет в следующую секунду. Меня больше радует одобрение товарищей.

Высовываясь из бочки, Мужичок-с-ноготок кричит мне:

— Здорово ты научился!

— Люкс! — подтверждает Федя.— Обернись назад.

Я оборачиваюсь.

— Видишь, какая ровная дорога за нами тянется от самого горизонта, вон от того айсберга? То, что надо!

Дорожка действительно хороша: ровный голубоватый большак среди серой степи. Но мне она далась ценой напряженного внимания, а Федя Кавун умеет делать ее, почти не глядя на репитер.

— Вот, Сережка, человек уже с первого раза прекрасно вел судно, а ты лишь к концу рейса научился,— говорит Федя своему другу Хитяеву и легонько хлопает его по спине.

Сережка не обижается. Он понимает что к чему. Педагогика!

«Если бы мне доверили вести судно во время охоты,— думаю я с усмешкой,— тогда б можно было считать себя рулевым. Но это исключено».

Один раз мне чуть не повезло. Гарпунер еще спал или завтракал, когда дозорный заметил над водой два дымка — два фонтана. Я повел судно им вдогонку, стараясь держать китобоец так, чтобы фок-мачта все время стояла между фонтанами.

— Сейвалы,— сказал капитан.— Гончие псы!

В разделке я запомнил, что у сейвала по сравнению с другими китами той же длины туловище менее жирное и кажется вытянутым, а голова — более суженной (и правда, как у гончей!). Матросы-резчики называют его «собакой» — за дурманящий, очень пряный запах дымящегося мяса; от него голова болит... Теперь я видел сейвалов живыми, одетыми в пену, часто выпускающими свои дымчатые ракеты — одна вспышка не успевала рассеяться, как возникла новая. Быстроходные сейвалы по очереди показывали фонтан, макушку, потом спину с загнутым назад плавником и неглубоко уходили под воду: над ними по волнам проходила рябь, дрожание и завихриванье. Мы шли следом на всех «четыре колеса».

Федя поднял голову к бочке и с наигранной серьезностью закричал:

— Сережка, спускайся к пушке! Гарпунер бастует.

Киты были уже близко, когда капитан передал штурману ручку машинного телеграфа:

— Дай-ка я стрельну! — И, выйдя с мостика, направился на полубак.

Когда капитан встал возле орудия, а Федя начал давать мне советы, я поверил в себя и ощутил в своих руках силу. Меня охватила радостная удадь, хорошо знакомая каждому человеку по тем минутам, когда он физически ощущает приближение удачи. Я уверен — это одно из тех

чувств, благодаря которым людям так любо жить на свете. Даже одно это чувство способно стать содержанием и целью жизни — такое в нем упоенье!.. Разве поверишь, глядя со стороны, что эти повороты, изменение скорости, ритм погони, крики в микрофон марсового матроса — все это может так сильно захватить человека, который почти ничего не делает: ведь у него в работе одна правая рука. И что это за работа — несколько легких движений!

— Клади руль на борт,— командует Федор.

Но я уже положил.

— Одерживай!

Но он опаздывает: я уже «одерживаю», чтобы судно не занесло в сторону.

Тросы, крепящие фок-мачту, я сделал для себя румбами компаса и теперь знаю, сколько градусов от мачты до середины лестницы, ведущей в бочку. «Одерживать» руль следует, когда цель заштрихуется лестницей. Еще точнее — когда крайняя ванта закроет моего сейвала.

Широков разворачивает пушку вправо и вниз — гарпун с прижатыми лапами и навинченной на его головку гранатой похож на ракету, готовую к прыжку. Только не ввысь, а в подводную глубину, откуда всплывает живой корабль.

— Выходит кит! Выходит! — поет в бочке Сережка Хитяев.

Мне кажется, что я уже вижу тяжелый полет гарпуна с молнией линия позади, и еще успеваю подумать: «Широков, как он непохож на Кабальникова! Внешне капитан почти незаметен на судне. Но почему это рядом с ним чувствуешь себя нужным на китобойце человеком? Он волнуется сейчас, наверно, как и я...»

Вслед за этим все обрывается. Я уступаю место Федору Кавуну. Чувствую, как дрожат пальцы и мускулы после пережитого возбуждения.

Ни я, ни Широков, ни Федор, ни Сережка в своем увлечении не заметили, как на полубаке появился Кабальников. Гарпунер притронулся к плечу капитана, пушка промолчала, а сейвал ушел под волны. Так я и не узнал, стал настоящим рулевым или нет.

— Трудно учиться на сейвалах,— говорит Федя, когда я уже безучастно становлюсь на машинный телеграф.— Учиться надо на тихходах. Не журись, старикан! Если очень хочется — пойдем с нами в следующий рейс,— шутит Федя.— Я добьюсь, чтобы тебя взяли.

## 5

Долго терпел флотилию осенний март — баловал остатками тепла, затишьем, удачной охотой. За это время экипаж «Стойкого» успел надежно закрепить за собой первое место. Трудились так, будто это было начало, а не конец промысла. Потом полярному гостеприимству разом пришел конец — Антарктика двинула против людей все свое воинство: ветры, волны и снежные тучи.

— Алло, китобойчики! — объявил по радио капитан-директор.— Мы уже почти выполнили все наши планы, здесь остается сделать один-два ударчика — сегодня, завтра. Подчистите — и подведем черту, а потом ударимся на восток мимо Петруши (остров Петра I), охотясь по пути при любом шторме. Так мы сможем завершить дело с перевыполнением задания. Для нас это дело чести! Я знаю, что люди устали, что китобой-молодцы поработали хорошо. Знаю, что погода ухудшается и улучшения не предвидится. Но чтобы не было никаких настроений «хочу домой» и «обмерзаем, штормит!» Надо разьяснить это личному составу, добровольцев потеплее одеть, и пусть выходят на мостик... Если китов не добудем — повернем назад и задержимся, сколько потребуется! Все!

— Как бы не так! Не повернет. Скоро здесь такое начнется — шею себе свернешь. Как прихватит где-нибудь возле Петра ураган, так сразу у нашего «бати» голос изменится: «Выбирайтесь, кто как может и как можно скорее!» — иронизирует Федя.

Корабль ныряет, входя в волну. От холодных водопадов спасают быстрые и резкие взлеты носа. Гарпунная пушка будто влетает в черное на горизонте небо. Брызги расколотой волны проходят по-над фальшбортами палубы. Они разметываются в пыль, ударившись о подножие мостика, а иногда залетают и к нам, на мостик. Остается только пригибаться поближе к ветрозащитному стеклу, порябевшему от застывших брызг. Хлестнув по щекам и залив глаза, вода стекает с подбородка, норовя забраться, где потеплей. Утрешься широкой рукавицей — и ладно: сам виноват, зазевался. Улыбка, наверно, получается жалкая: глаза щиплет и Федино лицо я вижу сквозь невольные слезы.

— Луковое горе? — смеется Федя.

— Ох, верно: злой лук, а не морская вода!

— Вот-вот, гляди на мир, дружище, каков он есть!

— На мостике ничего, подходяще, а вот каково на полубаке?..

Пушка и доски полубака покрыты пока еще только тонким, водянистым льдом. Но зато на возвышениях и мачте, куда реже доплескивает вода и где сильней сушит ветер, лед заматерел и стал матово-белым. Начало вахты, а ноги уже замерзли — и мы почти танцуем, дружно постукивая сапогами. Это на мостике. А каково сейчас в бочке? Мужичок-с-ноготок оттуда даже не показывается. Наверно, с головой укрылся брезентом.

— Разбудил боцмана? Хорошо. А я сейчас нашего Мужичка напугал: он время спрашивал, я сказал — через час тебя сменят.

— Что ж ты так его огорчил, звероящер? — Я пытаюсь шутить, хотя меня пробирает озноб при взгляде на вершину мачты. — Или чтобы потом порадовать?

— Именно, порадовать хоть этим!

— Скоро такие холода наступят, что китовые «блины» будут замерзать, плавать лепешками, — посмеивается Сережка Хитяев, появляясь на мостике вместе с поваром Николаем. — Привет! Мы пришли посмотреть погоду и как вы тут поживаете. Да-а, скоро так станет, что и двух часов в бочке не высидишь.

Как только похолодало, капитан распорядился, чтобы дозорные сменяли друг друга не через четыре часа, а через два. Сейчас у Сережки свободное время, но с отвычки он, кажется, не знает, куда его девать.

— Это что! Я один раз пять часов проторчал в бочке, помните? — хвалится Николай.

— Ты бы там больше просидел, все слезть боялся! — смеются Сережка и Федя.

Смеется Николай вместе с ними: видно, правда. Я вспоминаю февральские холодные штормы, гляжу на бочку, взнесенную почти на самую вершину мачты, представляю себя там и оттуда смотрю вниз: да! Каждого новичка, залезшего туда, возьмет страх, когда придется спускаться: мачта клонится то вправо, то влево, лестница прогибается и дрожит, сапоги скользят, а заочневшие пальцы никак не сгибаются, чтобы крепче обхватить трос.

— Саня, вылазь! — кричит Федя, когда появляется боцман. — Что такое? Не слышит. Замерз, бедняга, окончательно! Или заснул?

— Там не заснешь! — Боцман обреченно поднимает голубые глаза кверху. — Даже если пять суток не будешь спать!

— Дам-ка я ему гудок сирены... Э-ей, спускайся!

Мужичок-с-ноготок, толстый от ста одежек, ста застежек, взбодренный гудком, молча вылезает из своего вороньего гнезда. С перекладин восемнадцатиметровой лестницы, ведущей к бочке, слетают ледашки. Они то ссыпаются за борт, то острыми осколками летят к нам. Саня спускается осторожно, основательно ставя ногу на перекладину; все следят за движениями его ног и рук — на мостике становится тихо, тревожно. Но вот Саня прыгнул на переход и, не заглянув, пробежал мимо нашей открытой дверцы, застучал вниз по трапу.

— Протрусил рысцой, — засмеялся Федя.

— Промчал галопом, — возразил Сережка.

— Баста! — возвестил повар. — Если уж Мужичок стал таким задрипанным — конец промыслу! Идем до хат! Я в камбуз, чтоб откормить вас для жен! Зарубите на носу, что я предсказал!

«Предсказатель» исчез. Вместо него появился Кабальников.

Когда внезапно вместе с волной нос китобойца отбрасывает в сторону что-то черное и быстрое, Кабальников бросается к барьеру, оскаливает от напряженья зубы и, взглядевшись в удаляющееся пятно, возбужденно оглядывается на нас:

— Минке! Острорылый кит. Под самым форштевнем проскочил!

На минке не охотятся: он слишком мал и быстр. Но Кабальников неравнодушен ко всякой живности, и это нравится мне, какие бы я чувства ни испытывал к Фролу Петровичу. Забыв о своей неприязни, я изредка посматриваю на гарпунера с неприятным для меня уважением. Сдвинув шапку с костлявого лба на затылок, с силой обхватив рукавицами бинокль и упрямо выпятив нижнюю губу, он так наклоняется вперед, словно готов к прыжку прямо на полубак при первом появлении добычи. Он тоже, как мы, начинает притопывать сапогами. Но ведь в тех же самых сапогах сейчас готов стать к пушке и не отходить от нее, может быть, несколько часов подряд. Одежда у него промокнет и обледеет: Посинеет лицо, и глаза станут красными от ветра и соли. Но упрямства его, упорства не перебороть никакому шторму. Воистину жаркая охотничья кровь у этого человека, хотя он и прозван за свою жадность к деньгам Кашеем! Какими только ветрами и морозами не закалено его жилистое тело, солями каких морей не продублена его кожа! Его хмурую душу раззадоривает непогода. Что-то похожее на веселье испытывает он, глядя, как приуныли молодые китобои. Там, на полубаке, он, может быть, снова будет кричать на нас, почувствовав себя самым сильным человеком на судне, если не во всей Антарктике. Он весь переполнится презрением к каждому, кто не может с ним равняться или мог в феврале, да уже выдохся к концу марта... Наверно, у Сережки и Феди возникают те же, что у меня, мысли. Мы переглядываемся. Тогда они оба решительно берутся за бинокли. Сережка одет только в свитер и меховую безрукавку, но от Фединога совета идти отдыхать или хотя бы одеться потеплей отмахивается своею отчаянно кудрявой головой.

— Эй, Мамлин! — с поддельным негодованьем кричит тогда Федя дозорному. — Тебя зачем туда посадили? Где киты? Давай работай! Нашел себе теплое местечко!

Видно, как на верху мачты, хохлясь от холода, Мамлин досадливо морщится. Он уже собирается отвернуться. Но тут его лицо, обращенное к корме, вытягивается из воротника — и так замирает.

— Что там? — Все три бинокля поворачиваются к корме.

Ничего. Безостановочный бег ветра. Волны, скрученные, словно коряги, и обессиленная в этой толчее пена. Она пластается по волнам, стараясь хоть ползком добраться до тихого места. Но где сейчас на сотни и сотни миль тихое место?!

— Я видел фонтан! — уверяет Мамлин, надрывая свой слабый голос.

— Протри глаза! — кричит, оборачиваясь в его сторону, Кабальников.

Это звучит резонно: такого еще не бывало, чтобы Мамлин увидел фонтан раньше гарпунера. Сережка Хитяев или Саня Овсянкин — другое дело. Но Мамлин...

— И верно — фонтан! — В голосе Кабальникова сначала удивление, потом горячность. — Вон, уже по правому борту. А вот еще! Пара!

— Клади руль на борт, — командует Федя.

Задрожав, судно круто, волчком поворачивается к фонтанам.

— Это сейвалы, Петрович, стоит ли с ними валандаться? — подмигивая Феде, говорит Сережка. — Жира мало, возни много. Вон вы уже посинели от холода.

— Жаль, нет времени тебе нос вытереть! — злится гарпунер и, хлопнув дверцей мостика, идет к пушке.

За его спиной смыкаются два облака воляного взрыва и, вновь раздвоившись, открыв гарпунера, хлещут по мостику, палубам, шлюпкам. Торпеду за торпедой шлет Нептун, ополоумевший старец. Впервые у меня такое физически явственное ощущение взрывов. Не то мы против волны, не то волна против нас! Но если сейчас глухо и невыразительно бухнет пушка — все китобой разом выйдут к своим местам. И этому не станешь удивляться. На судах флотилии нет гарпунера и экипажа, которые не имели бы опыта охоты в штормовую погоду. Не только в семибалльный, как сегодня, но даже в одиннадцатibalльный шторм Кабальников добыл как-то раз в декабре двух китов, а палубная команда их ошвартовала. За рейс столько китов обработано руками горстки людей — четырех матросов, помощника гарпунера, боцмана, электрика, стоящего на лебедке!.. Что значит еще какая-то пара сейвалов? Но можно ли предсказать удачу теперь — в погоне за стремительными китами, когда судно вздрагивает и вибрирует от волновых таранов, а его дизели за полгода охотничьей лихорадки поизносились до предела?

Ведро кипятку из камбуза, наполовину расплесканное, пока добежал с ним до полубака, снова наполнилось до краев, когда я протянул его гарпунеру. Только, наверно, кипяток стал соленым и холодным от морской воды, температуру которой я измерил своей спиной. Попав за воротник, по спине бежали ледяные струйки. Ведро еще дымилось — гарпунер, не мешкая, окатил из него запаянный льдом казенник орудия.

Выстрел за выстрелом — и все мимо. Мудрено послать гарпун в цель, когда пушка взлетает на качелях! Во рту горчит от порохового запаха. Как из шланга, окатывает нас вода. Под ногами ледяное месиво. На полубаке — Федя Кавун, подвахтенный рулевой с «подковкой» на носу, Сережка Хитяев и я. Боцмана в награду за обнаружение фонтана Кабальников оставил в бочке. Значит, сегодня у нашего Мамлина маленький праздник. Он и сам, видно, рад своей удаче. Забыв про страх, рискуя свалиться, он до пояса высовывается из бочки, машет руками, тонким голосом вскрикивает:

— Выходит! Бей! Петрович!

Федя работает в паре со мной, а Сережка — с подвахтенным рулевым. У руля стал сам капитан Широков. Федя тянет линь. Плечи у Феде ходят, как шатун паровоза.

— Не отставай! — подзадоривает он меня. — Тебя «подковка» обгоняет.

А парень с «подковкой» на носу подзадоривает Сережку:

— Поживей, поживей, Серега!

Сережкина одежда почернела от воды. Промок, наверно, насквозь! Как он ползет в такой одежде на мачту? Об этом он не думает. Влаж-

ные его волосы блестят и, просоленные, спадают на глаза крутыми спиралями. Десятки метров линия словно сами идут к нему в руки. Он мог бы сейчас валяться в каюте на койке, дожидаясь своей очереди лезть в «кадушку». Но это он сделает завтра. Сегодня он вышел на «сражение» с Кабальниковым.

— Палите, Петрович, себе на здоровье — мы вас не задержим! — кричит Сережка. — Покажите нам, какой вы дальневосточник! А мы вам покажем, какие мы! Принимаете вызов?

Бухает выстрел. Кабальников, обернувшись, весело оскаливается: он принял вызов.

— Попал! — доносится с бочки голос Мамлина, донельзя довольного, словно он сам стрелял из пушки.

Фролу Петровичу весело. Он весел оттого, что его железное тело не чувствует непогоды, что сейчас удачным выстрелом (да еще с шестидесяти метров!) загарпунил сейвала и об этом наш радист сообщит на базу.

Удивительно сегодня на полубаке! Беснуется ветер, бешены волны. Грозят страшным подвохом обледеневшие доски под ногами. Не хватает дыхания на эти сотни метров линия. Но если кто из нас ругнется — тут же, словно спохватившись, улыбается.

— Эх, Петрович, здорово это у вас получилось, какой выстрел! — Восторженно подскакивает к Фролу Петровичу Сережка, поскользнувшись, он толкает его, но тотчас удерживает руками. — Фу, чуть вас не утопил! А надо бы!

— И тебя надо бы! — смеется Кабальников.

Можно позавидовать Сережке. Он еще прыгает! А у меня голова от напряжения пьяная. Похоже, что на второго кита у меня не останется сил.

— Это что! — наблюдательно глянув на меня, говорит Фрол Петрович. — Поработали бы у нас в декабре, январе — тогда бы мы сделали из вас одни мощи!..

К концу нашей вахты второй кит был убит, ошвартован и затем передан буксировщику. Первого кита, оставленного «на флаге», чтобы он не мешал погоне, разыскивали до ночи. На шесте с флагом, воткнутом в тушу сейвала, должен был светиться фонарь и работать радиобуй. Мы бросались на огонь далекого китобойца, принимали за свет лампочки поблескивание льдины, обшаривали черный горизонт биноклями. Капитан Широков не терял привычно благодушного выражения лица, но все же заметно нервничал: то появлялся на мостике, то уходил в радиорубку. Он даже стал упрекать Федю, что тот напутал в своих вычислениях.

— Это исключено, — твердо отвечал Федя. — Я его «привязал» именно к этому айсбергу с седловиной. Ищем правильно.

Во время охоты большие, медленно, как часовая стрелка, плывущие айсберги служат китобоям вместо тех засечек на деревьях, что оставляют промысловики где-нибудь в сибирской тайге. По ним легче разыскивать оставленную на время добычу. Карандаш вахтенного помощника не только делает вычисления, прокладывает курс корабля — он рисует на карте значки, в которых привычный глаз улавливает приметы кашалота, финвала, голубого кита или сейвала.

Наш капитан очень дорожит этими заметками. У него собраны данные за несколько рейсов. Многое он держит в цепкой памяти. Когда флотилия приходит в район промысла, каждый капитан по-своему ведет поиски китов. Один бросает судно подальше от других китобойцев — в надежде на случайную удачу. Другой идет туда, где добыча уже найдена, но зато и китобойцев может быть больше, чем китов. Опытные капитаны, такие, как Широков, решают задачи промысла на основе сложных



расчетов. Вот здесь, по данным радиста, охотится «Громкий» и уже добыл двух китов. Неподалеку — другой китобоец: взял одного, преследует второго. Левее — еще судно, тоже промышляет. В декабре можно было бы смело идти туда же: всем хватит добычи, киты в это время держатся большими табунами. Но в феврале и в марте киты разбиваются на малые группки. И значит, надо искать другое место. Вот здесь в прошлом году даже в этих числах нам здорово повезло. Но это — сто миль от базы! Пока туда дойдем, пока будем охотиться и возвращаться, другие за это время столько же добудут, не удаляясь от флагмана. Вот еще район, где года два подряд мы встречали пасущихся китов. Немного их было, но зато ближе. И там еще нет ни одного китобойца. А может, здесь остаться, поискать? Здесь мы еще ни разу не охотились. Но сюда надвигается туман, снежные заряды — надо отсюда выбираться... Так принимается решение.

Кита обнаружил буксировщик, которому были сообщены координаты. Судно почти натолкнулось на сейвала и чуть не ударило его форштевнем. Кит оказался перевернутым волной. Флаг с фонарем и радиопередатчиком скрывался под водой. Вот почему «Стойкий» чуть было не потерял кита.

Как только пришло с буксировщика это сообщение, грузная фигура капитана появилась на мостике.

— Нашелся! — торопясь расшевелить хмурившегося помощника, сказал Широков. И тихо, чтобы я не расслышал, добавил: — Зря я тебя, Федя, поругал. Ну, да не без этого...

Когда Широков ушел, Федя покачал головой.

— Деликатный. Даже неловко становится. Вот после такого и соображай: что мы за человеки? Тот для нас чересчур деспотичен, этот капризен. А возьми Широкова? Совестно видеть его мягкость: правильно ли это по отношению к нам? Он не распоряжается, а подсказывает. Чаще всего. Не исчезло еще из нас дикое. Насилия, окрика не терпим, но еще не привык никто жить без давления чужой воли. Хитрое дело, брат!.. Ну, ладно, молчим?

— Молчим.

На мостике снова тихо, как и положено по судовому уставу. До чего же неуютно осенней южнополярной ночью! Ноги в шерстяных носках и сапогах коченеют. Надо перейти в бурки. Хорошо еще, что волны поутихли, брызги не долетают. и можно покрепче закутаться в сухую альпаковку. Неплохо придумана эта штука из плотной ткани альпака, ваты и шинельного сукна — сравнительно легкая и теплая. Но она вся пропитана солью и вбирает воду, как промокашка. Давно-давно пора дать китобоям и рыбакам одежду из синтетиков — легчайшую, теплую, непромокаемую! Как убедительно чувствую я это своей кожей!

Ночь холодная и какая-то странная. В ней, как в льдине, размыслись матовые проталины. Жирный блеск лег на волны. В ночи что-то дрогнуло и сдвинулось. Впереди — там, куда шел китобоец, в какой-нибудь миле от нас — полузатонули в воде две тяжелые клубящиеся тучи, похожие на дубовые роши. Мерещатся даже отдельные деревья. Меж рощами светлеет поляна. Мы идем к ближайшей «роше», она отступает, редет.

— Сейчас приду, — приглушенно говорит Федя и спускается в рубку к радару.

Наверно, его тоже не обошла тревога, разлитая в ночи, в неверном блеске волн, в сонном и лунном — без луны — свечении воздуха.

Но вот небо расчистилось — замелькали звезды. Ночь стала тонкой-тонкой и внезапно разорвалась. Из-за темного окоема вырвались и ударили вверх зеленоватые лучи — как от прожекторов. Вслед за ними по

всему небу дымами разрывов вразной замерцали белые всполохи. Этот светящийся дым тек, очертания его менялись. Я впервые видел южнополярное сияние, но мне было не до того, чтоб любоваться им. Судно грозит и ныряющая льдина, и чуть выглядывающий из воды осколок айсберга, а я на мостике один, и те, кто сейчас спит или стоит у двигателей, не сомневаются в зоркости моих до боли напряженных глаз.

## 6

Охота прекратилась безо всякого на то решения капитана-директора. Остров Петра I остался позади. Киты исчезли («Пустыня стала, не за кем охотиться», — сказал Широков). Да и невозможно стало высидеть на мачте хотя бы час. Последний раз из марсовой бочки спустился Саня Овсянкин.

— Привет доблестному «марсианину»! — приветствовали мы его.

Промерзший Саня даже не улыбнулся посиневшими губами.

— Ну как, есть ли жизнь на Марсе?

— Полежайте туда — увидите!

...Утро. Наш корабль обледеневаает. Ветер воев в снастях то музыкально, то с надрывом, как выль бы он, влетая в большую трубу. Ванты и лини, побелев от льда, стали в ногу толщиной. Дымовая труба тоже покрыта с боков ледяной корой. Да все, чего касаются брызги (они не долетают покуда лишь до марсовой бочки), начинает льдисто поблескивать. Один китобоец сообщает, что у них идут снежные заряды. Этого добра у нас пока еще нет, но и без снега воды хватает! Чтобы помощник повара — молоденький черноглазый матрос — прошел по переходному мостику на полубак, оттуда спустился на главную палубу и в кладовую за мешком картошки, Федя ставит «стоп». Гребной винт останавливается. Потом снова вперед. Ту-ду! — звучит двойной удар волны о форштевень и днище. Взлетают брызги и слева полудугой заворачивают к нам: ш-ш-ш! По альпаковке, по капюшону барабанит дробь. Каплет с капюшона, течет с рукавов.

— Ложись! — придумал команду Федя.

Он прижимается к наклонному ветрозащитному стеклу, а я налегаю грудью на стекло репитера, наклоняю голову.

Снова «стоп»: матрос идет с мешком, держась за обледеневший поручень и качаясь. Чтобы за эти поручни держаться по-настоящему, надо брать их под сгиб руки — такие они сделались толстые.

Ветер усиливается, и начинается настоящая канонада. Если пройти сейчас по коридору — там бухает, будто не волны ударяют, а бьет гарпунная пушка: а-ах! Намокшие и обледеневшие бурки скользят по линолеуму, как по льду; когда китобоец вздымается, можно, как с горки, скатиться к своей каюте. В каюте своя музыка: при сильном крене волна полощет задраенный и закрытый изнутри броневой крышкой иллюминатор. Звук такой, словно бьют по стеклу лепешками мокрого снега...

Валы идут наискось к кораблю. Китобоец дыбится, ухает вниз, рвется стальным телом вправо-влево, дрожит, словно живой, — и вслед за тем рождается шумное белое облако. Оно устремляется к мостику, хлещет длинной плетью. Вслед за этим такой же сильной волной охватывает нас порыв пахнувшего морозцем ветра. С нас не перестают бежать ручейки. Под ногами, под деревянными решетками, плещется вода.

Судно заваливается то на один, то на другой бок. Иногда я теряюсь, не зная, куда положить руль. Оказывается, еще не всему научился в этом как будто нехитром деле рулевого матроса. Но Федя — терпеливый учитель.

Выровняв судно, я облегченно перевожу дыхание и вытираю сначала залитое водой стекло репитера, потом лицо.

— Ого! — мельком взглянув на меня и улыбнувшись, говорит Федя. — У тебя голова обледенела, сосульки с капюшона свисают!

Совсем замерзли, задеревенели пальцы, и стынет плечо там, где альпаковка потерта. Я сбрасываю брезентовые рукавицы и шерстяные перчатки, набухшие и черные от воды. Наклоняю рукавицу — из нее, как из кружки, льется вода. Вот когда начнешь перебирать всех чертей по косточкам и к ним в придачу тех, от кого зависит добротность и практичность одежды! Передав Феде управление рулем, я выкручиваю перчатки, хмуро думая: «Надо будет вывернуть рукава альпаковки и повесить ее в сушилке, но успеет ли высохнуть к ночной вахте? Вот когда будет холодно, брр!»

До этого я еще бодрился, даже подшучивал:

— Еще чего захотели — чтобы домой да легко добираться было?!

Но под конец вахты разболелись стынущие в мокрых перчатках пальцы и в довершение всего замутило от качки. «Что это? Неужели упаду в обморок?» — испугался я. Новая волна брызг привела меня в чувство.

Пришло время будить смену — цепко хватаясь за обледеневшие перила трапа, я спускаюсь в ходовую рубку. Через нее пробираюсь вниз, в коридор, ведущий к каютам. На мостик и с мостика теперь есть один путь — через рубку. Это приказ капитана. Другие пути, проходящие на открытом воздухе, опасны: может смыть за борт. «Вот так и живем...» — пробую напевать я, чтобы пересилить слабость в ногах.

— Ну как? — спрашивает встретившийся возле столовой Мужичок-с-ноготок. — Ничего, с завтрашнего дня рулевые будут стоять меньше — мы с Сережкой и с Мамлиным идем вам на подмогу. Ты сейчас обсушись, отдохни, — советует он. — Через четыре часа аврал будет, лед будем обкалывать. Не перевернуться чтоб вверх брюхом. Вода минусовая, лед новый на старый быстрее ложится, не шутки! В прошлом рейсе мы каждые два часа выходили на такое дело. Иначе капут.

## 7

Как же я вчера закоченел! На аврал вышел в недостаточно просохшей одежде. Ветер грохотал и хлопал над океаном, как брезентовое полотно. Он рвал из рук лопату, которой я сбрасывал за борт отбитый лед. Он швырялся скамьями и ледяными осколками. Налетевшая пурга закрыла дали и понесла свои белые полосатые полчища над водяными холмами. Воды горячей не было. Пресная ограничена, а соленой растапливать лед нельзя: соль забьет трубы и механизмы. Все пришлось делать руками. Весь аврал мы с Федей работали молча. Только раз Федя преврал молчание:

— Есть еще порох в пороховнице?

— Есть, батько! На час, не больше.

— Ну, через час мы кончим.

— Тогда добре.

Ночью почти не спал. Судно швыряло так, что можно было вывалиться из койки. Лежал, будто на шатуне. Временами закрадывалась мысль: «Вдруг сейчас перевернемся?» Тут же вспоминал, сколько на судне людей, — и это почему-то успокаивало. К тому же я знал, что у китобойца хорошие мореходные качества, не зря его прозвали «ванькой-встанькой». Заглушая тревогу, я все время о чем-нибудь думал, и мысли мешали уснуть. Да и улежать на качающемся ложе стоило больших усилий. Лежа на спине, расставлял локти и ноги — все равно переворачивало на бок; ложился на живот, как Мамлин, — заболела шея; приходилось лежать на боку, прижав к коленям подбородок, — так было устойчивей.

Я бы не поверил, что на какое-то время все же засыпал, если б не запомнил целую серию снов. Наверно, я их успевал просмотреть в промежутках между выравниванием корабля и новым заваливанием, будь оно неладно!

Утром я встал с чувством разбитости во всем теле. Как ни бодрись — есть же какой-то предел выносливости. Федя и тот сегодня пасмурный. Пасмурный, но, как всегда, деловитый. Заступив на вахту, он прошел на шлюпочную палубу, проверил крепление шлюпок и покачал головой: правый бот ненадежен. Затем Федя вышел на полубак и стал подвязывать линь, чтобы тот не размотался. Пока Федя был там, а потом возвращался по переходу, я весь напрягся от страха, что судно может не послушаться меня, завалиться и выбросить Федю за борт. Низкие поручни переходного мостика, сваренные из железных труб, обросли и скрылись под мощными оплывшими сосульями. Он настолько обледенел, что стал напоминать проходы в снежных сугробах, какие делают на полярных станциях. Но если бы только мостик! — весь корабль превратился в ледяную гору. На пушке, фальшбортах, шпиле и лебедке, на шлюпбалках, перилах и снастях выросли косматые белые бороды. Обледенели и мачты. Особенно тяжела передняя, на которой лед поднялся до самой бочки. Ванты стали толщиной с молодую березку. Вчерашней работы — как не бывало! Хоть бы скорей объявили аврал, чтобы сбросить эту тяжесть.

— Будем сегодня обкалывать лед? — спрашиваю я Федю.

— Кэп говорил, что будем. — Федя любит называть капитана «кэпом». — Но считает, что еще можно подождать. Послушай. — Федя прислушивается к трескучему радио. — На «Громком» начали обкалывание с шести утра, нам бы тоже следовало... Но сперва надо взяться за шлюпку, закрепить найтовы, а то как прибавим ходу — выбьет ее, унесет к лешему.

— Тогда половина экипажа останется без шлюпки?

— Ну нет! Все, если надо, поместятся в одной. Она так рассчитана. Вторая у нас запасная. Без этого нельзя в море. Ты погляди, какая водяная пыль в воздухе! Значит, жесткий шторм — одиннадцать баллов. Тебе везет: много повидал за один рейс, теперь полюбуйся на отчаянную штормягу...

Федя подошел к переговорной трубе, крикнул в нее сидевшему в своей каюте капитану, что надо спасать шлюпку, а потом послал меня разбудить боцмана.

— Будь проклята эта жизнь! — вознегодовал Мамлин, когда я его растолкал. — Ладно, встаю.

Поднявшись вверх, я не сразу смог подойти к своему месту — меня отбросило к магнитному компасу, установленному возле задней стенки мостика, и я обнял тумбу, на которой прибор крепится. Потом меня стукнуло о деревянный барьер, охватывающий мостик с четырех сторон. Только после этого я подался вперед, ухватился за Федю и принял от него управление, став сбоку от репитера и крепче расставив ноги. При такой качке нельзя держаться руками за прибор — можно оторвать его вместе с кронштейном.

— Я сейчас приду, а ты, как появится боцман, ставь машину на «самый малый» и руль кладь влево. Ясно? — спрашивает Федя.

Ясно. Тех, кто будет крепить шлюпку, может смыть волной за борт. Потому — самый малый ход. Но чтобы нас при таком черепашьем движении не поставило левым бортом к ветру, к фронту зыби — руль надо влево. Все это так, но мне сразу стало не по себе: справится ли тогда

китобоец с волной? Может, лучше сначала развернуться кормой к ветру, а потом только сбавить ход? Я чуть не крикнул Феде: «Постой!»

Федя ушел на шлюпочную палубу — отдать распоряжения. Мамлин где-то еще копался и не спешил подняться наверх. Феде пришлось заметить Мамлина.

Кто-то закричал в переговорную трубу:

— У!

Я не мог послушать: судно еще не вышло из крена, и мои пальцы судорожно сжимали рукоятку. Крик «у!» повторился. У меня такое чувство, что, если я отойду от репитера, с судном что-то случится: китобоец несколько раз рвануло вправо-влево, как раненого кита. «Если он сейчас такой норовистый, что же будет, когда скорость уменьшим? Скорей бы появился Федя!» Меня злость взяла: что он там закопался и кто там не вовремя «разу́кался?»

— Да? — крикнул я в трубу.

— Какой ход? — услышал я резкий голос капитана, раздосадованного молчаньем мостика.

— Средний!

— Самый малый давайте!

Я хотел возразить, но некогда: взглянул на репитер, увидел, как побежала катушка. Что же делать? Шлюпку уже крепят. Значит, все-таки надо давать «самый малый». Некогда дожидаться Федино возвраще- ния. И я рывком перевел ручку машинного телеграфа.

Видно, тот, кто стоит на руле, лучше всех ощущает судно и сживается с ним. Во всяком случае в эту минуту я сразу почувствовал беспомощность китобойца на малых оборотах. Мелькнула даже мысль — послушаться капитана и вернуть прежнюю скорость. Но я сдержался, не веря своему предчувствию. Переложил руль влево. Китобоец тотчас стал медленно заваливаться на правый борт. Руль для него теперь словно не существовал. Тонны льда, намерзшие по правому борту, сделали его непослушным человеческой воле. Я не успел растеряться только потому, что услышал взволнованный голос штурмана. Как же я обрадовался, когда увидел Федю рядом с собой: сейчас он все выправит! Скороговоркой выпалив, в чем дело, я быстро уступил ему свое место и уже собрался облегченно вздохнуть, как вдруг судно в Фединых руках еще больше накренилось.

— Сходи к капитану, — крикнул Федя, — скажи, что надо аврал! Нужно обкалывать лед — большой крен!

Я сделал только один шаг к левой дверце мостика. Второй не смог: я стал падать назад, на Федю. Ухватившись за какую-то трубу, я повис на ней и оглянулся. Китобоец лежал на правом борту, касаясь обледенелым фальшбортом воды и до жути близко наклонив к волнам свою тяжелую от льда мачту с пустой марсовой бочкой. Сверху это казалось особенно страшно. Нас уже успело развернуть левым бортом к ветру — лучшего момента, чтобы перевернуть судно «вверх брюхом», и не придумаешь! И грохот ветра над зыбью, и взбитая густая пена, и мощь воды стали такими явственными, будто мы уже туда падали — в эту равномерно седую от шторма яростную быстрину. Лежа на борту, китобоец продолжал обреченно разворачиваться вправо.

«Федя, нельзя ли что сделать?» — чуть не вскрикнул я, но, глянув в Федино побелевшее, подобно океану, лицо, сдержался. Третий помощник капитана, чудом удерживаясь на ногах между приборами, уже успел передвинуть ручку телеграфа на «полный вперед». Но судно продолжало лежать.

В холодном ожесточении я разом перестал жалеть и себя, и всех, кто мог бы обо мне пожалеть, — все куда-то отодвинулось. Осталось изум-

ленье и горечь, что жизнь может вот так — вдруг — обмануть. Так просто, страшно и обидно! Уцепившись руками за край барьера, я добрался до дверцы. Она распахнулась и повисла в петлях. Я влез в ее проем, как в окно, потом пробрался в штурманскую рубку и, отталкиваясь от переборок, стал спускаться к капитану.

Здесь, в помещении, в коридорах, крен уже не казался таким жутким, как с высоты мостика, но все же кто-то (я не запомнил кто) быстро и нервно спросил меня:

— Что за крен?

Широков, к моему удивлению, все еще был в каюте и удерживался рукой за край стола. Значит, не так много прошло времени, как мне показалось!

— Алексей Алексеевич! — неожиданно заговорил я тоном приказа. — Надо обкалывать! Судно положило на борт! Прикажете аврал!

Не отвечая и ничего не спрашивая, капитан вышел, а точнее — вылез впереди меня. Звонки, звонки, звонки, частые и громкие, разнеслись по всему судну. «Аврал!» — прохрипело радио во всех каютах. Капитан поднялся на мостик. Крен уже уменьшился до 45 градусов. Сколько же было, когда мы чуть не перевернулись, — 55, 60?! Китобоец на полном ходу медленно разворачивал носом на ветер свое грузное, обледеневшее тело. Капитан стал на руль. Его лицо утеряло обычное выражение благодушия. Оно стало сосредоточенно жестким. Первую минуту он молчал, а мне думалось, что сейчас надо что-то обязательно говорить, кричать, приказывать. И как можно быстрее. Широкая медвежья фигура капитана показалась мне чересчур неповоротливой; взгляд синих Фединых глаз — чересчур рассеянным, даже мечтательным. Как будто нам больше ничто не угрожало и мы не могли снова лечь на борт! Зато мое сердце куда-то страшно торопилось и все не могло поспеть.

— Вы идите обкалывать, — наконец приказал нам Широков.

Капитан остался на мостике один и простоял там семь часов. Помощников, приходивших заменить его, он отсылал оббивать лед вместе с матросами.

Все эти семь часов мы шли по ветру. Ветер дул от пролива Дрейка — и значит, мы шли назад. Иначе нельзя было работать на открытых палубах при жестоком шторме. «Быстрее, быстрее освободиться от льда, чтобы снова не лечь на борт! Скорей повернуть вперед, к Дрейку!» — эти мысли торопили меня, но лед плохо поддавался.

— Я допустил оплошку, — сказал мне Федя. — Чтобы уменьшить крен, приказал перекачать топливо из одной цистерны в другую, пустую, а номер перепутал. Вот и перекачали в правую. Мало было льда — еще добавили тяжесть!

Третий помощник перепутал номер, капитан, может быть жалея людей, решил не спешить с авралом, боцман замешкался где-то внизу и тем самым задержал штурмана возле шлюпки, а рулевой матрос, оставшись один на мостике, не принял самостоятельного решения (пусть бы даже оно пошло вразрез с приказом капитана, сидящего в каюте и не подозревающего всей трудности обстановки)... Сколько же ошибок и случайностей! Потом в голове начинают стучать молоточки пульса. Все мне становится безразличным. Лишь из стыда перед товарищами я продолжаю взмахивать своим топориком, сорванным с пожарного щита.

Федя орудует рядом каким-то богатырским ключом. Выпросил, видно, у механика. Став на колени в проходе мостика и ухватив ключ обеими руками, он с остервенением сокрушает им ледяные наросты. Я тоже стою на коленях, чтобы не свалиться в воду: низкие поручни перехода, как и весь корабль, все еще наклонены. Когда судно качает вправо — Федя командует не шутя:

— Ложись! — Потом он вдруг вытаскивает из кармана моток электрического шнура и просит: — Примотай к моей руке этот ключ... Ну вот, теперь у меня рука железная, как у робота!

— Эгей! Береги головы! — кричит нам сверху Сережка.

Над нами пролетают куски льда и без брызг пропадают в пузырящейся внизу пене.

— Смотри, перевернешь корабль, — угрожающе машет ему своим ключом Федя. — Жирным там не место.

Сережка все выше и выше поднимается по лестнице, ведущей к бочке, стараясь дотянуться то до одной, то до другой снасти. В руке у него ломик, от его ударов лед раскалывается и летит вниз или кусками сползает по оголенному тросу. Лестница наклонилась над океаном — и потому Сережка взбирается по внутренней ее стороне. Кажется, что он сейчас уцепится за низко ползущую тучу. Это выглядит так эффектно, что гарпунер Кабальников выскакивает с фотоаппаратом и нацеливается на Хитяева.

— Не смейся, Петрович, — доносится сверху Сережкин голос. — А то упаду в море.

Под переходным мостиком на главной палубе тоже крошат ледяные наросты. Там повар Николай, боцман Мамлин, Мужичок-с-ноготок и еще несколько человек. Повар вышел с широким, как гопор, ножом-мясорубкой. Мамлин действует шлангом с горячей водой, Мужичок вооружился багром, кто-то появился с кувалдой. Мужичку сегодня уже досталось. Когда крепили правую шлюпку, он залез на нее, чтобы оббить лед, но корабль накренился, и Саня, не уцепившись ногой за трос, съехал бы за борт. Вот и сейчас его чуть не утянула за собой нахлынувшая на палубу и быстро откатившаяся вода. Саня стоял возле правого борта. Как он там удержался — я не видел. Заметил только, как Мамлин уронил со страху шланг и бросился от волны за укрытие.

— Ай-яй, Котя! — закричал Саня, с которого стекали ручейки. Подхватив брошенный шланг, он съезвил: — Беги в каюту, сердечный, а то еще накатит!

К вечеру крен выправили, но мы все еще продолжали крушить, скалывать, сбрасывать лед и со шлюпочной, и с главной палубы, и с полубака, и с мачт, и с переходного мостика, у которого еще оставались «бороды» с нижней стороны. Для того чтобы сбить их, Феде пришлось лечь и по груди свеситься вниз. Когда повар принес нам буханку хлеба, поджаренную колбасу и чай в термосе, мы тут же, спустив ноги с перехода, принялись за поздний обед. С мачты к нам слез Сережка. Втроем поели и опять взялись за дело.

Снова стою на руле, напевая «Веди нас, дорожка». Чувство такое, будто родился заново. А шторм усиливается. На мостик поднимаемся только через рубку. Ветер дует в спину, дым из трубы ест глаза, но зато от него тепло. Выглянуло солнце, и судно начало понемногу оттаивать. Но к ночи опять подморозило.

Ночью на мостике появляется капитан и, как всегда бесстрастным тоном, объявляет:

— Удача, что ветер теперь к Дрейку. Попутный ветерок. Только очень неприятный: больше двенадцати баллов. Ураган, товарищи!

Ураган?! Я недоверчиво гляжу в благодушное лицо капитана (глаза у него, однако, встревоженные). Потом с удивлением оглядываюсь вокруг. Вчера вечером океан казался страшней. Сегодня судно прекрасно слушается руля. Качка ослабла. Пустые цистерны заполнены водой — это сделало корабль устойчивей, и он уже не пытается завалиться на правый или на левый борт. Перед нами вздымается не волна, а высокая

(выше марсовой бочки) наклонная стена. За нами — такая же стена. Вправо и влево видно, что мы находимся во впадине. Водяные крутояры защищают нас от ветра. Ветер проносится, задевая лишь верхушки мачт, — мы как на дне оврага, над которым бушует непогода. Низкие ночные тучи уходят над нашими головами вперед, как черные снаряды, летящие к луне. Когда луна исчезает, в океане видна только пена, обгоняющая наш китобоец и клубящаяся у подножия валов.

— Этот ураган мы бы по-настоящему почувствовали, — усмехнулся капитан, — когда б шли навстречу волне. Так ухаешь вниз, что дыханье захватывает, а подходишь к новому валу — думаешь, что прямо врежешься в его подножие! Думаешь: войдешь — и сверху прихлопнет!.. Федя, — добавил он, — не будем идти на одном дизеле, пусть два, а то еще нас развернет лагом к волне. Хлопнет этакая сила — и все к дьяволу с палуб, трубу оторвет и надстройку вместе с мостиком. На руле надо стоять очень внимательно, пусть с тобою стоит по два рулевых. Один из них по очереди будет впередсмотрящим. И, конечно, через каждый час проверяй шлюпки.

Широков оставил меня на руле, хотя во время урагана стоило, наверно, заменить такого малоопытного матроса, как я. В эту ночь капитан не спал: работал в штурманской рубке или бодрствовал с радистом, старпомом и старшим механиком, слушая, как переговариваются суда флотилии. Тот же разговор был слышен и у нас на мостике.

У одного китобойца осталось мало горючего. Свинцов ругал капитана за нерасчетливость, капитан оправдывался и повторял:

— Дойду, дойду, но придется все время идти на одном дизеле...

С другого судна передали:

— Повредило шлюпку и погнуло ее гребной винт. Сорвало и унесло два чехла.

С третьего:

— Боцману сломало ногу... Моторист во время качки рассек бровь, рваная рана.

Под конец разговора прозвучал хриплый и даже на расстоянии нервозный голос капитана-директора флотилии:

— Выбирайтесь, кто как может!.. И как можно быстрее!

«Выберемся. Теперь выберемся! Вот если б вчера такой ураган, если б вчера...»

— Ты чему улыбаешься? — спросил Федя. — Не урагану ли?

— И урагану, и твоему предсказанию.

— А! Ну, конечно. Исход этой битвы, дружище, теперь зависит только от нас. — И Федя запел: — «Через весь океан, сквозь любой ураган возвратятся домой моряки...»





В. ИСТЛЕЙК

★

## ПРОЩАЙ, КРОКОДИЛ

*Рассказ*

**П**ринц появился в индейской резервации в 34-м или 35-м году. Он не унаследовал свой титул от именитых предков, не был он и плодом досужей фантазии продавца фактории при резервации. Так звали его все, и это имя принадлежало ему по праву, потому что не было в мире человека, который мог сравниться с ним. Принц играл на трубе. Играл так, как не умел играть никто. Враг заполонил Юг — его королевство. Но побежденные не были побеждены. Они покинули Новый Орлеан, да и весь Юг, когда мир их был разрушен и бездумные, трескучие ритмы разнеслись повсюду, как зараза. Они покинули свою страну, но всегда помнили о ней и не сдавались, пока смерть не настигала их в какой-нибудь лачуге. Они не покорились, не отдали своего поруганного жезла, не расстались с золотыми трубами, которые и в изгнании иногда пели.

Так и Принц забрел однажды в индейскую резервацию, а потом умер там в заброшенной хижине. Когда Принц жил в ней, его сосед, индеец по имени Ткач, слушал, как над тихой землей гордо плывут светлые, нежные звуки, то смеясь, то тоскуя.

Ткач думал, что Принц зашел к ним по дороге из Альбакверка в Денвер, но он ошибался: музыкант бродил по стране, не зная, куда идти, — один из поверженных, отвергнутых, странствующих по немой земле...

— Он был из тех, кто мечтает и молчит. Он бы не продался. Ведь он был музыкант, — сказал продавец фактории.

— Ну да, конечно, — ответил человек, приехавший в резервацию из далекого большого города. — Но мне вся эта философия ни к чему. Мне платят за факты. Он умер от голода?

— А что?

— Мы готовим телевизионный спектакль о его жизни.

— Может быть, и от голода.

— Может быть, — повторил человек, приехавший в такую даль и одетый по-городскому. — Может быть... На что редактору ваши «может быть»? Я должен привезти ему факты. Я хорошо плачу.

— Очень может быть.

— Отлично, — сказал приезжий. — Могу заплатить, сколько запросите.

— Может быть. Предположим, он умер от голода. Сколько это, по-вашему, стоит?

— О, я рассчитаюсь с вами сполна, — сказал приезжий. Его лицо с мелкими, как у ребенка, чертами было озабочено, модная шляпа с узкими полями низко надвинута на лоб. — Слышите: сполна.

Городской человек с детским лицом обвел взглядом магазин фактории, товары на полках, индейцев на лавке у стены.

— Мы заплатим сколько нужно, если он, например, умер от голода. Расскажите нам об этом — мы вышлем вам чек, сколько бы это ни стоило.

— Ничего это не стоит,— ответил продавец.

— Хорошо, хорошо,— сказал приезжий.— Сторгуюсь. Но дело это я должен провернуть.

Продавец был одет, как индеец,—джинсы, широкополая шляпа, сдвинутая назад над узким длинным лицом. Облокотившись о длинный прилавок, он ждал, что еще скажет приезжий, и думал о чем-то своем.

— Я должен провернуть это дельце,— повторил приезжий.— Больше мне ничего не надо. Должен провернуть. На деньги вы не клюнули, поэтому говорю вам начистоту: я хочу добиться успеха.

— Поздравляю,— сказал продавец и снова стал раздумывать, как это касса работает, когда все внутри испорчено.

— Но у меня ничего не выходит!

— Все равно поздравляю,— сказал продавец.

— Послушайте, я думал обмануть вас. Ведь это мое первое задание, а я пытался сработать, как старый газетчик, пустить вам пыль в глаза, подкинуть деньжонок, ну и прочее. Вы обиделись?

Продавец отрицательно покачал головой.

— Эх, вернуться бы сейчас в Альбакверк, позвонить жене и сказать: «Хочешь верь, хочешь нет, а дело я сделал!»

Продавец молчал, поглощенный своей кассой.

— Я прилетел сюда через весь континент на шикарном лайнере, остановился в лучшей гостинице, взял напрокат машину. Компания не жалует денег и не спрашивает отчета. И вот на тебе— все лопнуло... Вы правда не обиделись?

Продавец покачал головой.

— Можно мне поговорить с индейцами?

— Закон не запрещает разговаривать с индейцами.

— А они говорят по-английски?

— Говорят понемногу на всех языках. И по-английски тоже. Только не говорите им: «Мне нужно провернуть это дельце».

— Спасибо,— сказал приезжий.

— Поговорите с индейцем, который сидит с краю. Видите, вон тот, с бирюзовым кольцом. Он был другом Принца.

— Ты знал Принца? — напрямик спросил приезжий индейца.

— Да,— ответил тот.

— Он умер от голода?

— Может быть.

— Моя фамилия Рассел,— сказал приезжий.

— Поздравляю,— ответил индеец.

— Я забрался на край света,— продолжал приезжий в модной шляпе,— чтобы раскопать что-нибудь интересное о Принце. А получаю одни только «может быть». Редактор меня за них не похвалит.

— Сочувствую,— отозвался индеец.

— Принц стал теперь знаменитостью. Его музыка вошла в моду, люди хотят знать о нем. Я черт знает откуда приехал, лишь бы что-нибудь разузнать. Можно считать, я говорю здесь от имени сотен миллионов.— Приезжий помолчал, наблюдая, какое впечатление произвели его слова.— Да, можно считать...

— Ну что ж, считайте,— сказал индеец.

Приезжий встал и вернулся к продавцу.

— Ничего не выходит. Я погиб,— сказал он.— Но ответьте мне по

крайней мере: правда, что Принц пришел к вам в резервацию, а потом умер здесь от голода? Понимаете, это уже что-то.

— Поговорите еще раз с тем индейцем. Его зовут Ткач. Он художник. Принц и Ткач были друзьями. Ведь оба они художники.

— Так-то это так, да только с такими фактами далеко не уедешь,— сказал приезжий.— Принц, должно быть, приходил в вашу лавку.

— Приходил.

— Интересно, было у него что-нибудь для продажи?

— Нет, ничего.

— А что продают вам индейцы?

— После стрижки овец — шерсть, но обычно свои украшения из бивузы. Я и держу их у себя, пока индейцы не придут их выкупать.

— У Принца была труба. Почему же он не заложил ее?

— Потому что я бы ее не взял.

— Почему?

— Потому что для индейца бирюза — это его богатство, его гордость. А труба...

— Понимаю, для Принца она была дороже жизни.

— Может быть.

— Но вы давали ему деньги без всякого залога?

— Немного.

— Послушайте, у меня начинает что-то получаться.

— У вас да не получится.

— Нет, серьезно, это уже кое-что,— сказал Рассел.— Значит, он в конце концов умер от голода, да?

— Может быть.

— Э, нет, так не пойдет.

— Он пришел к нам, по-моему, в тридцать четвертом или в тридцать пятом году.

— Это мы знаем.

— В ту ночь шел дождь. Как он попал в наши края, я не знаю. Может быть, его завез сюда какой-нибудь торговец по дороге из Альбакверка. Принц бродил тут весь день у фактории, пока она не закрылась. Я не мог смотреть, как он стоит один на грязной дороге, а машины ни одной. Тогда была не дорога, а сплошная грязь.

— Она и сейчас такая.

— Да нет, сейчас ее покрыли гравием.

— Не заметил.

— Я отвел его в хижину. Высокий, сгорбленный старик, глаза небольшие, зоркие, волосы с проседью. На нем была широкополая шляпа, как у проповедника, а в руке чемоданчик. Там лежали кое-какие вещи: носки, рубашка на смену. Старик был чистюля. В другой руке у него был инструмент. В черном футляре. Я сразу понял, что это такое, потому что не успел я отойти от хижины и на пятьдесят ярдов, как он заиграл.

— Заиграл?

— Ну да, на той штуке, что была у него в футляре. Я стоял минут пятнадцать под дождем и слушал. Не заметил, как промок до нитки. Потом увидел, что вокруг меня стоят индейцы и тоже слушают.

— Значит, он тогда же и умер от голода?

— Нет, не тогда. Индейцы полюбили Принца. Во всяком случае его музыку. Они кормили его много месяцев. Может быть, первый раз за много лет у него была крыша над головой. Жил он в хижине. А потом однажды индейцы сожгли эту хижину.

— Значит, он умер не от голода. Его...?

— Нет,— сказал продавец.

— Но зачем же им было жечь его дом? Ага, понимаю,— сказал приезжий.— Все ясно.

— Что вам ясно?

— Да ведь он же был негр!

— Нет, не то,— улынулся продавец.— Индейцы об этом ничего не знали, да если бы и знали, им было бы все равно. Они думали, наверное, что Принц какой-то особенный белый. Ведь они раньше никогда не видели негров и считали, что Принц просто какой-то особенный белый, человек из племени чернокожих белых.

— Вы так и не сказали им?

— А что было говорить?

— Ясно,— сказал приезжий.— Согласен. Но от чего же он все-таки умер? Вы сказали, что он не сгорел вместе с хижиной.

— Нет, не сгорел. Он помог индейцам завести огонь, а потом играл на этой штуке, пока хижина горела. После этого они построили ему новую.

— Чем же им не нравилась старая?

— В ней умер индеец из племени навахо, и там поселились злые духи. Она и пустовала, пока Принц ее не занял. Вот почему индейцы сожгли ее.

— Понимаю. Значит, он в ней не сгорел?

— Нет,— сказал продавец.— Индейцы полюбили Принца. Он играл на всех праздниках. Он был для них совсем особенным белым, каких они еще никогда не встречали. Они знали, что он белый,— он все делал, как белый, и одевался, и говорил, только кожа у него была черная.

— Да еще он так здорово играл на трубе.

— Да,— сказал продавец.

— Он был гениален. Теперь мы это поняли. Только поздно.

— Поздно.

— Но индейцы это понимали, потому что до них, тоже примитивных людей, доходила ясная, простая, искренняя мелодия...

— Вот вы и разобрались,— сказал продавец.

— Может, и не разобрался, но в редакции додумают. Что же случилось потом? Когда он умер от голода?

— Кто сказал, что он умер от голода? — Продавец прошелся вдоль прилавка.

— Вы этого не отрицали,— сказал приезжий, следуя за ним.

— Но и не утверждал.

— А что, если мне еще раз поговорить с этим индейцем, как вы думаете?

— Попробуйте.

Когда приезжий уселся на скамью у стены, индеец по имени Ткач встал и отошел к окну. Его круглое темное лицо было бесстрастно.

«Дело ясное,— подумал приезжий,— ничего у меня тут не выгорит. К индейцу так просто не подойдешь. Да, не так-то просто подойти к индейцу, или к королю, или к гению. От них ничего не добьешься. У них все не как у других. И надо же так случиться, чтобы именно меня послали к этим проклятым дикарям с таким делом! Полный провал. Ничего у меня не получится. Но как же Принц с ними подружился? Может, они хотели у него что-то купить? На деньги они не падки, это я установил. Что же было у Принца? В самом деле, что им было от него нужно? Искусство? Слово громкое, да что оно значит — сам черт не разберет. Пожалуй, им была нужна его музыка, потому что она преодолела различия языков, культур, нравов, обычаев. Так, у Принца была музыка. А я, что есть у меня? Ничего. Плохи мои дела. Видно, мне с ними не поладить. Вот ведь не везет человеку!»

И приезжий снова вспомнил о деньгах, которые затретила компания, послав его сюда, на край света.

«Нет, что-то во мне все-таки есть,— решил он.— Жена говорит, что есть. Компания недаром считает, что я чего-то стою. Конечно, я не бог весть какой умник или красавец. Тогда что же? Воля. Ага, воля! Если господь бог всем тебя обделил, вырабатывай волю. А коли есть воля, поглядывай только по сторонам, чтобы нос не расквасили, да вкалывай возсю. Это я умею!.. Эх, ничего-то я не умею...»

Приезжий повернулся к сидевшему рядом индейцу:

— Знаешь, приятель, чему я научился? Терпению.

— Поздравляю,— ответил индеец.

Ткач, который отошел к окну, чтобы быть подальше от приехавшего из города человека, смотрел вдаль и думал: «Ну как расскажешь такому? Как расскажешь о человеке, который знал, что он музыкант? Как расскажешь ему о Принце? Ведь только другой музыкант поймет, как тоскует грубач в одиночестве, когда он не может прийти к людям, потому что для него есть только один путь к ним — тот, который он выбрал сам. Поймут ли это люди? Поймут ли, что Принцу пришлось жить на краю света потому, что только на краю света его поняли? Теперь — теперь пришло другое время, говорит приезжий, теперь весь мир узнал о Принце. И даже хотят снять о нем картину. А тогда, давно? Тогда никому не было до него дела. Да, вот и приходится иногда человеку уходить на край света, потому что больше ему нигде нет места. Но почему? Почему Принц не хотел стать другим? Почему не делал то, что нравилось в тех местах? Нет, видно, на земле что-то не так устроено. Когда все будет так, как должно быть, Принцы не будут уходить на край земли. Как он говорил? «Я должен выстрадать все до конца». Да, вот как он говорил. Принцы, наверное, не должны страдать, но он говорил именно так. И еще он говорил: «Песни должны быть чистыми, Джексон. Они должны петь правду. Братъ за душу, Джексон. Они должны быть настоящими, или их вовсе не нужно... Дай мне руку, индеец». Приезжий из города этого не поймет, но ему обязательно нужно, чтобы Принц умер от голода. Да, Принц и вправду умер от голода, но как может умереть от голода человек, у которого есть хлеб, этого приезжему не понять. Он хочет фактов, а что толку в фактах, если ничего не чувствуешь?»

— Послушайте,— сказал репортер,— у меня есть деловое предложение.

Он нахлобучил поглубже свою шляпу с узкими полями и подошел к стоящему у окна индейцу. Индеец заметил, что за лентой шляпы торчит красно-зеленое перо никогда не существовавшей птицы.

— Вот что я вам предлагаю.

Приезжий сунул руку в зеленый кожаный портфель и вытянул оттуда несколько ниток ярких бус. Он разложил их по прилавку, свесил вниз несколько ниток, и они засверкали во всем своем великолепии. Приезжий отступил назад, как бы любуясь ими. Он словно завидовал тем, кому достанется все это богатство, словно никак не мог с ним расстаться, даже нахмурился — подумать только, пожертвовать таким сокровищем! Исчерпав весь запас своих мимических возможностей, приезжий сказал:

— Все это я отдаю вам в обмен на факты из жизни Принца.

Продавец перевел слова приезжего тем индейцам, которые не поняли жителя города. Индейцы долго шептались между собой.

— Я жду,— сказал наконец приезжий.— Ну как, по рукам?

Индейцы продолжали тихо переговариваться, будто не слышали его.

— Ну что, решили наконец? — опять спросил приезжий.

Совещание индейцев закончилось.

— Так как же? — спросил приезжий.

— Они хотят знать, как все это попало к вам.

— До меня всем этим богатством владел человек по имени Вулворт<sup>1</sup>. От него оно мне и досталось.

Индейцы снова начали совещаться. Наконец продавец факторин объявил их решение:

— Они говорят, чтобы вы плюнули на этого человека — Вулворта. Он продал вам кучу стекляшек.

— Ну, не знаю, — сказал приезжий. — Я читал, что на бусы индейцы променяют что угодно.

— Променяют Манхэттен. Может быть, и весь Нью-Йорк, но не то, что им дорого.

— Ладно, сдаюсь. Ваша взяла. Тогда я сделаю вот что. Я останусь здесь! Я чертовски терпелив. Если надо, буду жить здесь хоть целый год и изведу вас вконец. Это моя водородная бомба. Надеюсь, вы не заставите меня сбросить ее на вас.

Индейцы молчали.

Приезжий снял шляпу, оглядел ее, пошелкал по перу никогда не существовавшей птицы, снова надел шляпу и несколько минут молча наблюдал за индейцами. Потом он встал, подошел к прилавку, взял свой зеленый кожаный портфель и вынул книгу, на которой было написано: «*Notes et Problèmes du Jazz*»<sup>2</sup>.

— Есть еще один вариант, — сказал он. — Ты понимаешь, что здесь написано? — Он протянул Ткачу книгу. — Понимаешь, про что она?

— Да. — Индеец кивнул, мельком взглянув на книгу из-под нахмуренных бровей.

— Вот как, не ожидал. Я хотел перевести тебе, что пишет этот человек о музыке Принца, если ты расскажешь мне о самом Принце.

— Я знаю немного по-французски. Выучился в интернате.

— Ну, этого, наверное, довольно, чтобы поправить мой перевод. В таком случае у меня есть еще одно предложение. — Приезжий снял шляпу и принялся барабанить по ней пальцами, потом ласково погладил блестящее перо никогда не существовавшей птицы. — А что, если я смогу воскресить Принца, вернуть ему жизнь? Тогда ты сообщишь мне свои факты?

— Да, — ответил Ткач, зная, что ничем не рискует. — Я его хоронил.

— А я воскрешу его, — сказал приезжий.

Молчаливые и невозмутимые индейцы, до сих пор неподвижно смотревшие куда-то в пространство, словно ничего не видели и не слышали, при этих словах заулыбались. Они начали тихонько постукивать по полу ногами, глаза их оживились, а все индианки, сидевшие на корточках у наружной стенки прилавка, принялись качать головами, перемигиваться и подталкивать друг друга. Индейцы поглядывали на приезжего и отводили глаза в явном замешательстве.

— Он воскреснет, — повторил приезжий.

— Когда? — спросил Ткач.

— Сейчас, — сказал приезжий. — Идите за мной!

И все индейцы пошли гуськом за человеком с пером на шляпе. Они дошли до его машины, откуда он извлек чемодан красного цвета. Теперь в руках у него был красный чемодан и зеленый портфель, а на шляпе — красно-зеленое перо.

— Где жил Принц? — спросил он.

Ткач показал хижину на оранжевом склоне синего холма. И индейцы

<sup>1</sup> Владелец универсагов стандартных цен в США. (Прим. перев.)

<sup>2</sup> «Люди и проблемы джаза» (франц.).

пошли через заросли выжженного солнцем шалфея и кактусов за ярким пером на шляпе человека, приехавшего к ним из далекого города.

Индейцы остановились на краю каньона, отделявшего их от хижины.  
— Здесь перейти нельзя,— сказал Ткач.— Придется сделать крюк миль в пять.

— Тогда будет поздно. Может не получиться.

— Что не получиться?

— Индейцы! — воскликнул человек из города.— За мной!

Он прижал портфель и чемодан к груди, сел на землю, съехал вниз по склону на самое дно, потом встал и побежал. Он попытался с разбегу взобраться на другой край ущелья, но упал, тогда он стал карабкаться по склону, цепляясь за камни и корни, пока наконец не перебросил красный чемодан и зеленый портфель за край каньона. Потом он с трудом подтянулся на руках и выбрался наверх.

— Вот видите! — крикнул он индейцам, стоящим на другой стороне.— Что же вы стоите? За мной!

Но индейцы спокойно стояли на другой стороне каньона — видно, решили подождать, посмотреть, что будет. Если он действительно вернет им Принца, они увидят его и отсюда.

— Ну, как хотите,— сказал человек из большого города, повернулся и пошел к хижине. Он вошел в нее и скоро появился снова уже без чемодана и портфеля, но и без Принца.

— Готово,— объявил человек из города и стукнул каблуком об угол хижины.

И тогда появился Принц — не живой Принц, но тот, кого они все помнили, кого узнал теперь весь мир.

Индейцы бросились толпою вниз и легко взбежали вверх на другую сторону каньона по невысказанно крутому склону. Они окружили человека из города и слушали, еле переводя дыхание. Человек из города снял шляпу и забарабанил по ней пальцами, потом слегка оправил перо.

— Это проигрыватель,— сказал Ткач.

— И все-таки это он, Принц.— Человек из города надел шляпу.— Он вернулся.

Индеец по имени Ткач слышал, как над огромной равниной страны индейцев плывут мягкие и печальные звуки одинокой трубы.

— Да,— сказал Ткач,— это Принц.

Звук затрепетал и полетел вверх, ясный и чистый.

— Это он, Принц,— повторил Ткач.

— Вот это и есть человек,— сказал приезжий,— то, что он делает в своей жизни. Это и есть Принц. Принц умел ждать.

— Да, да,— отозвался Ткач.

Труба Принца пела спокойно и величаво, потом мелодия затихла, прервалась и рассыпалась, сверкая, как тысячи разноцветных осколков в лучах солнца.

— Сейчас люди не умирают,— говорил человек, приехавший из большого города.— Да, есть такие, которые не умирают. Они всегда могут вернуться к нам, когда люди поймут их, когда придет справедливость. Нужно только уметь ждать.

В таинственное и неуклонное биение ритма нежно вплелась мелодия трубы и зазвучала гордо и радостно.

— Да, есть люди, которые никогда не умрут.— Человек из города достал пачку сигарет и протянул индейцам, но они слушали Принца.— Если человек благороден и умеет ждать, он может вернуться к людям. Он может жить всегда.

— Да, да,— сказал Ткач.— Слушайте же.

— Ну что, я выиграл? — спросил человек из города.

— Да. Человек сильнее смерти. Я расскажу вам все. А сейчас слушайте Принца.

— Спасибо.

Поздно ночью, когда они вернулись в фабрику, человек, приехавший из далекого большого города, дал индейцу по имени Ткач большой альбом пластинок, на которых было написано «Принц».

— Возьми,— сказал он,— и проигрыватель тоже. Теперь ты сможешь воскресить его, когда захочешь.

— Я не знал, что есть его пластинки.

— О них давно забыли, но сейчас разыскали старые записи, собрали все вместе и выпустили миллионным тиражом.

— Неужели?

— Два миллиона пластинок.

— Как хорошо,— сказал Ткач.— Как хорошо. Спасибо.

— Ну так как же, он все-таки умер от голода?

— Да,— ответил Ткач.— В тот год была долгая, тяжелая зима. Что может сделать человек, да еще если он индеец, когда вокруг такая долгая, холодная, тяжелая зима? А вот Принц играл, и зима отступала — по крайней мере нам так казалось. Но он не мог вынести другого. Как ни голодал его народ, Принц до тех пор не знал, что значит для индейца такая долгая, холодная, суровая зима. Он продал свою трубу в фабрике племени ацтеков, купил там еды и накормил всех нас. Он продал ее не нашему продавцу. Нашему и самому нечего было есть. Вот Принц и купил еды в чужой фабрике и накормил всех нас. А потом умер от голода. Теперь вы понимаете, как человек может умереть от голода, хотя у него есть еда?

— Кажется, понимаю.

— Потому что у него не было трубы. Ведь он был музыкант.

— Да.

— Вы довольны?

— Думаю, с этими фактами мы сможем что-нибудь сделать.

— Вы сделаете это честно?

— Попробуем сделать честно.

Человек, приехавший из далекого большого города, встал, надел шляпу и протянул индейцу по имени Ткач руку. Индеец посмотрел на нее и перевел взгляд на потолок. Человек из города надвинул поглубже шляпу и снова протянул ему руку:

— Дай мне руку, индеец.

Ткач медленно взял руку приезжего. Все-таки взял. Они взглянули друг другу в глаза и крепко пожали друг другу руки.

— Да, нужно уметь ждать. А теперь мне пора,— сказал человек из далекого города и пошел к выходу. У двери он обернулся: — Ну, прощай, аллигатор полосатый!

Ткач вернулся в магазин фабрики, где по стенам были развешены овечьи шкуры, а вдоль стен сидели индейцы с продавцом и слушали Принца. В руках у Ткача был целый альбом пластинок. Бережно неся свое сокровище, он подошел к окну, поднес альбом к губам и поцеловал Принца. Потом долго смотрел, как удаляется по склону холма машина человека из далекого большого города. Когда она превратилась в еле различимую точку, он улыбнулся и сказал:

— Прощай, крокодил!

*Перевели с английского Ю. Жукова, Б. Рубальский.*





---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. РАТМАНОВА-КОЛЬЦОВА

★

## СУДЬБА КНИГИ

### 1. Костер на площади Оперы

**Н**а площадь Оперы можно прийти по центральной улице Берлина Унтер ден Линден, обсаженной деревьями. Потом надо идти осторожно вдоль канатов, туго натянутых, похожих цепкими своими переплетениями на паутину. Канатами окружена вся площадь, и все выходы на примыкающие к ней улицы и переулки — в этой паутине. Майская светло-зеленая листва больших лип на центральной улице пахнет по-весеннему нежно.

Вечер 10 мая 1933 года на городской площади — это не обычный вечер в истории Берлина. Здесь, на площади, в полночь сжигаются на костре книги, объявленные фашистами «крамольной литературой». Костры аутодафе, заживавшиеся в средние века с благословения главы Ватикана инквизиторами и орденом иезуитов, опять запылали в истории человечества, зажженные фашистами в тридцатые годы XX века.

По всей Германии тогда запылали костры. Первый костер в Берлине был зажжен гитлеровцами в центре столицы, на площади Государственной оперы. Радио оповестило всех о «торжественном часе» аутодафе. Еще задолго до этого часа в двери домов не только Берлина, но и других городов и селений стучали люди со свастикой и с черепом на нарукавных повязках. Перед домами на дорогах повсюду гудели автомобили, нагруженные книгами, не угодными нацистам.

В течение трех недель в библиотеках Берлина, общественных и школьных, во всех магазинах, богатейших коллекциях букинистов и в маленьких книжных ларьках — везде и повсюду отбирались нацистами книги по спискам, скрепленным подписью министра просвещения Геббельса. Люди со свастикой рыскали по книжным сокровищницам, хватали книги, опустошали частные библиотеки.

И возле площадей больших и маленьких городов Германии уже выстраивались грузовики с книгами — трудами великих ученых и политиков, писателей и поэтов, зовущими человеческое общество к истине, к свободе и прогрессу, к борьбе против войны и волчьих законов. Уже повсеместно были собраны многочисленные тома сочинений и крохотные брошюры, философские произведения и детские книжки, комплекты журналов и сборники газетных статей, альбомы рисунков, фотоснимков и гравюр.

Двадцать тысяч книг приготовлены к сожжению на костре в полночь на площади Оперы 10 мая 1933 года. Огню будут преданы собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, книги Бебеля, Либкнехта,

Меринга, Розы Люксембург. В списке авторов «крамольной литературы» — философы, историки, поэты, драматурги, писатели и художники современности и прошлых столетий.

В «черные списки» занесены Гейне, Петефи, Мицкевич, Беранже, Максим Горький, Ромен Роллан, Барбюс, Тагор, Уэллс, Бернард Шоу, Джон Рид, Фостер, Эптон Синклер, Андерсен Нексе, Жан-Ришар Блок, Ремарк, Томас и Генрих Манн, Фейхтвангер, Келлерман, Стефан Цвейг, Бехер, Брехт, Анна Зегерс, Бредель, Вайнерт, Людвиг Ренн, Ганс Мархвица, Эгон Эрвин Киш, Чапек, Ярослав Гашек, Маяковский, Серафимович, Шолохов, Федин, Михаил Кольцов, Фурманов, Гладков, Эренбург, Джон Хартфильд, Кэте Кольвиц и другие авторы.

В сумрачном свете темнеют каменные громады оперы, банка, собора и университета. Сюда, на площадь, где будет аутодафе, съезжаются люди на поездах метрополитена, на лимузинах, на мотоциклах и велосипедах. На площади очень много людей, и только спустя некоторое время, медленно продвигаясь в толпе, я очутилась возле каната, недалеко от трибуны, откуда лучше всего видно, что здесь происходит.

С центральной улицы Унтер ден Линден собираются семьями берлинцы. Торчат цветные перышки на мужских фетровых шляпах, багровеют жирные бритые затылки, блестят новые ремни с кобурой, перехвачившие толстые животы штурмовиков. Женщины поднимают воздушные хвосты вечерних платьев, пробираясь поближе к центру площади, огороженному канатом. Сверкают бриллианты на груди, свисают с голых плеч меховые пелерины. Чтобы не уступить свое место, люди цепляются за канат, который уже дрожит под напором всей этой сплотившейся толпы.

Посреди площади густо насыпан буро-желтый песок. На песке сложены восемь большими колодцами метровые обструганные бревна. Возле расставленных в линейном порядке колодцев возвышаются аккуратные пирамиды новых блестящих топоров, длинные пожарные шесты и какие-то маленькие круглые баки. А поближе к натянутому канату и предусмотрительно подальше от бревенчатых колодцев блистает новенькая деревянная треноподобная трибуна с наклонной столешницей.

Темнеет...

Отряды вооруженных штурмовиков все еще стягиваются к площади Оперы, заполняя улицы и переулки ближайших кварталов. Охранная полиция бесшумно, тревожно следит за пешеходами. Духовой оркестр играет фашистский гимн. Опять наступает тишина ожидания, и слышится, как собравшиеся возле каната разворачивают бумажные объемистые пакеты и принимаются жевать бутерброды. Опять играет оркестр, грохочут литавры, гремит барабанная дробь.

В пространстве, огороженном канатами, возле трибуны появляются все новые и новые представители фашистской знати. Они одеты в коричневую или черную форму нацистов или в темные костюмы со знаком свастики, на бритых затылках — фуражки, котелки, цилиндры. Толпа встречает их истошными криками: «Хайль... хайль, хайль...», и правые руки всех рывком вытягиваются вверх. Патер в черном одеянии и в плоской черной шляпе сначала возносит над головой правую руку, а потом поднимает нагрудный серебряный крест. На трибуне еще никого нет... Вдруг возбужденные, зычно кричащие люди вдоль канатного забора замолкают.

На площадь Оперы неожиданно начинает падать дождь, сначала мелкий и частый, потом тяжелыми резкими каплями. Неподвластный организаторам аутодафе, он ударяет по бревнам и размывает песок, подкашивая аккуратные пирамиды из топоров.

Прожекторы с крыш каменных громад освещают стены бревенчатых сооружений, и хорошо видно, как возле бревен суетятся штурмовики.

Длинный, как змея, затянутый чешуей кожаных ремней, «церемониал-костерщик» рукавом коричневой рубашки пытается вытирать бревно колодца, ближайшего к трибуне. Он грозит, отплеываясь, небесам. За притихшей толпой слышен топот штурмовиков, бегущих в угол площади, откуда раздались сильные взрывы смеха. Полицейские угодят арестованных, гудит машина, рокочет ее мотор, затихая в переулке.

Дождь продолжается... Вот уже час, как вытираются бревна какой-то темной ветошью. Церемониал-костерщик вместе со своими помощниками в коричневой холщовой форме, движения которых похожи на прыжки мокрых взбесившихся волков, расставляет возле бревен большие металлические баки. Музыканты, тоже в коричневой форме, играют с оглушительной резвостью, будто и нет никакого дождя. Дождь бьет по медным оркестровым трубам, из них стекает наземь вода. Собравшиеся на площади застыли в немом ожидании вдоль каната, подзорные их трубы, театральные и полевые бинокли спрятаны в карманы и футляры, защитными плащами прикрыты собольи пелерны и бриллиантовые свастики, затемнели зонтики. Но никто не двигается с места. Что же будет дальше?..

Наконец спустя еще час на мокрую от дождя площадь Оперы всгупает первая колонна факельного шествия национал-социалистов студентов. Факелы отсырели, и густой дым застилает площадь. Проходя военным маршем вокруг колодцев, студенты бросают в зияющие их огверстия свои факелы. Из колодцев круто рвется черный дым. Церемониал-костерщик вместе с помощниками акробатически быстро кидается к большому металлическому баку. Бревна щедро поливают керосином. Пламя охватывает бревенчатые стены колодцев.

Огороженное пространство постепенно под звуки оркестра и крики «хайль...» заполняется колоннами национал-социалистических студенческих корпораций берлинского университета. Студенты одеты в старинные костюмы. На идущих в первой колонне участниках факельного шествия — бархатные зеленые береты с длинными страусовыми перьями, высокие цветные сапоги, серые лосины, темно-зеленые, золотом тисненные курточки, длинные шпаги. Факельщики «гусиным» шагом обходят вокруг горящих бревен и потом выстраиваются тесными рядами напротив трибуны.

Освещенный пламенем, по мокрым каменным плитам в сопровождении свиты штурмовиков вышагивает белесый долговязый принц Август Вильгельм в военной форме. Представитель Гогенцоллернов заигрывающе-милоливо отвечает на фашистское приветствие толпы, его длинная рука с вытянутыми плоскими пальцами почти все время поднята вверх.

Возвещающе-торжественно гудят автомобильные сирены. Духовой оркестр играет фашистский гимн. На площадь Оперы въезжают пять громадных, защитного цвета грузовиков с книгами.

Маскарадно одетые национал-социалисты — студенты Берлинского университета выстраиваются теперь в линейку — от грузовиков с книгами к залитым керосином горящим бревнам. В руках у них вместо факелов книги — конвейер налажен: они мигом передают книги друг другу. Книжки бросаются в огонь непрерывно, и пламя костра пылает над площадью. Ветер подхватывает книжные страницы, из костра летят бумажные листки. Толпа осатанело воеет. Пламя костра освещает озверелые лица. Вой обезумевшей толпы прерывается голосом Геббельса.

Взобравшись на возвышение перед микрофоном, представитель инквизиторов XX века озирается, освещаемый пламенем костра. Очень щуплый и низкого роста, с очень длинной шеей человек, одетый в дождевой плащ песочного цвета, поворачивает на крики «хайль...» во все стороны свое худое желтое лицо с вытянутым и сплюснутым с висков лбом, с воспаленными черными глазами. Насытившись приветствиями, министр

просвещения и пропаганды Третьей империи смотрит яростно на пылающий костер и, схватившись за столешницу, начинает свою речь.

— Студенты, я призываю вас в этом пламени видеть символ новой эры германского народа. Старое лежит в пламени, новое вырастет из пламени наших собственных сердец... — кричит в микрофон Геббельс.

Во время его речи не прекращали бросать в костер книги, и опустошенный грузовик скоро сменяется другим, загруженным открытыми деревянными ящиками. Уже несут и бросают в огонь целиком ящики с книгами. Пылают теперь и остальные костры на площади Оперы, и огни пламени полыхают над столицей Германии.

Возле костров носятся в судорожной пляске участники аутодафе, теряя фуражки и цветные береты. Они с маху их подбирают. И на голове одного из женоподобных молодчиков с багровым лицом, одетого в старинный, расшитый золотом небесно-голубой костюм, привычно надета теперь фуражка штурмовика. Он надвигает фуражку по самые брови, прикрываясь от огня, когда подсакивает близко к костру с книгой, на колотой на шпагу.

Вдруг оглушительный гул раздается на площади Оперы. Штурмовики несут большой портрет Карла Маркса и бросают его в костер. Нацист в черном, засучив рукава, схватывает топор и неистово рубит пылающую деревянную раму. Он проводит рукой с топором по воздуху, вырисовывая громадную свастику — фашистский черный крест. Принц Август Вильгельм вместе с прочей фашистской знатью во главе с Геббельсом придвигается от трибуны еще ближе к пылающему костру.

На площадь Оперы въезжают новые конные охранные отряды. Вооруженные автоматами, черные всадники виднеются повсюду, возвышаясь среди толпы, и вдоль зданий, и возле входов и выходов площади. Кони шумно храпят, пугаясь криков озверелых людей.

Вокруг костров усиливается судорожная пляска тех, кто бросает книги в огонь. Вооруженные топорами и длинными пожарными шестами, коричневорубашечники и национал-социалисты студенты в старинных костюмах прыгают и носятся хороводом возле пламени. Они похожи на персонажей праздника Вальпургиевой ночи на Брокене.

Оркестр играет фашистский гимн. В огонь бросают книги в красных переплетах классиков марксизма-ленинизма.

Возле меня качается, повторяя движения церемониал-костерщика посреди площади, потная рыжеволосая женщина в сдвинутой набок шляпке, с налившимся кровью от напряжения лицом. Она судорожно хватается за плечо своего мужа в коричневой рубашке и восторженно кричит, глядя на пылающее пламя костра: «О, либе цайт! О, либе цайт!..» Ее муж, упершись животом в канат и задрав вверх правую руку, почтительно и блаженно смотрит, как принц Август Вильгельм, склонившись, приветствует министра просвещения и пропаганды Геббельса.

Осторожно проходя по площади, я выбралась к центральной улице Унтер ден Линден. Воздух над столицей Третьей империи был пропитан запахом жженой бумаги и керосина. Дышать было тяжело. Светло-зеленые деревья были той же черноты, которой окрашена свастика. И небо было тоже черным.

Мне пришлось пойти пешком по многолюдной, необычайно шумной тогда, в то ночное время, улице Унтер ден Линден. В кармане моего пальто лежали бумажные листки, тайно подобранные мною после фашистского аутодафе на площади Оперы. Я шла осмотрительно среди толпы, оберегая их ладонью, и они казались мне горячими...

Потом, вернувшись из Берлина домой в Москву, я показала Кольцову эти листки обгорелой бумаги с набранными четким шрифтом строч-

ками на немецком языке, поднятые на площади Оперы во время зловещей ночи 10 мая 1933 года. Кольцов сразу их передал Алексею Максимовичу Горькому.

Это были страницы книги «Мать».

## 2. Книга в бою

Весной 10 мая 1934 года в Париже открылась «Немецкая свободная библиотека». Ее создали немецкие литераторы и художники, покинувшие гитлеровскую Германию, произведения которых фашистами были занесены в «черные списки».

Читатели ее называли «Библиотекой сожженных книг».

Люди разной национальности, возраста и профессии собирали книги и рукописи, рисунки и фотоснимки, направляя свои посылки в адрес библиотеки. Студент присылал книжку любимого автора, и сюда поступали вместительные ящики с книгами из личной библиотеки известного писателя и ученого.

Сюда могла поступить книга, написанная на любом из языков мира, произведение, немецкое или иное издание которого было сожжено фашистами на аутодафе в Германии. Открытие в Париже «Немецкой свободной библиотеки» и общественный сбор ее книжного фонда были выражением борьбы, которую вели писатели и читатели, защищая мировую культуру от фашизма.

Книги этой библиотеки спустя два года пересекли горную, извилистую границу на тревожном юге Франции. Они перекочевали с полки в брезентовые мешки, походные фургоны, чемоданы, полевые рюкзаки и в госпитальные палаты. Они были на фронтах народной республиканской армии. в Мадриде и на подступах к Теруэлю, на берегах Эбро и Харамы, везде и повсюду — в Кастилии, Леванте, Астурии, Каталонии, Андалузии...

Страницы этих книг читали при свете солнца или карманного фонарика, луны или крохотной лампы, сложенной из консервной банки. Иной читатель, испанский рабочий или крестьянин, обучился грамоте только лишь в школе пятого полка, оборонявшего Мадрид. И это были первые в жизни им самим прочитанные страницы. А когда книгу, случалось, читали вслух, никто не удивлялся тому, что строчки авторского текста звучат одновременно на разных языках, переводимые бойцами интернациональной бригады.

Среди книг, особо близких читателю в Испании во время национально-революционной войны 1936—1939 годов, были произведения Максима Горького. Как часто читали тогда Горького, можно было бы легко убедиться, если довелось бы в те дни просмотреть кому-либо картотеки всех республиканских библиотек и читален, перелистать читательские формуляры.

Читальни открывались тогда в Испании повсеместно и неожиданно. Под крышей жилища кастильского крестьянина и в казарме воинской интернациональной части в Альбасете, в госпиталях, в бомбоубежищах городов и в оливковой роще вокруг человека, в доброжелательных руках которого оказывалась книга, собирались неизменно слушатели. У читателей был свой закон: книга являлась общественной собственностью, ее передавали из рук в руки.

В этих раскиданных под небом Испании читальнях — объемлющих многие тысячи очень разных по национальности, профессии, возрасту, образованию людей — не было библиотечной кафедры. Зачастую только человеческая память была единственным хранилищем имен авторов

этих книг, возмещая собой отсутствие библиотечных каталогов, картотеки или журнала читательских заявок. Иногда соседствовали самые разнообразные по содержанию книги — букварь с цветными картинками и философский трактат.

Случалось, что испанский боец просил своего политкомиссара переправить с попутной оказией в селение или городок прочитанную им книгу, чтобы родные тоже смогли бы перелистать ее страницы, и товарищи бойца не удивлялись этой просьбе.

Память помогает путешествовать в прожитые годы, у нее свои законы и подорожные, которые помогают реально воссоздать далекое прошлое. Есть события, эпизоды, факты, которые особо зримо, очень ясно и четко возникают, потому что время не может их вытеснить из памяти сердца.

Особо ясно вспоминается одно необычное «издание» повести «Мать». Оно распространялось из рук в руки среди читателей в Испании. Серию из девяти брошюр, на которые была разделена повесть, переплел, художественно оформил тоже ее читатель, испанский пехотинец, которого все называли Педро.

Рассказывали, что он уроженец Вальядолида — старинного города, который славен тем, что в нем проживал в начале семнадцатого века Сервантес. Сведущие люди говорили, что в этом городе, где есть не только старинные церкви, но и университет, можно найти многих умелых переплетчиков. Среди них хорошо был известен отец юного Педро своим благородным искусством красиво и прочно одевать книги. Никто не мог достоверно сказать, как попала в руки Педро книга Горького: достали в мадридском магазине или привез с собой в столицу Испании из родительского дома, была ли подарена боевым другом или получил он повесть в передвижной библиотеке пятого полка.

Все имущество переплетной мастерской Педро умещалось в походном рюкзаке. В работе юноше помогали боевые его товарищи, тоже испанские пехотинцы, молодые и старые, которым он объяснял, как надо переплетать книги. Все они старались, разделяя книгу Горького на девять отдельных выпусков, добросовестно следить, чтобы текст при этом не обрывался посреди фразы.

Повесть «Мать» впервые на испанском языке вышла отдельным изданием в 1908 году в Барселоне и в последующие годы неоднократно издавалась в испанском переводе. Какого именно года издание книги Горького было использовано Педро и его товарищами для специальной фронтовой серии из девяти брошюр, никто из рассказчиков сказать точно не мог.

В феврале 1937 года я впервые увидела один из выпусков этой серии. Книжку читал вслух в палате госпиталя в Мурсии испанский пехотный стрелок бригады Листеры, раненный в бою с фашистами на Хараме.

Книжка была небольшого размера, приблизительно 14×20 сантиметром. Номер выпуска серии проставлен в верхнем углу. Бумага плотная, выгоревшая на солнце, а в правом нижнем углу каждой страницы очень стертая и потемневшая от частых прикосновений пальцев. Ни одной страницы не было порвано. Шрифт четкий, светлый и прямой. На титульном листе было написано от руки красивым почерком имя автора и название произведения:

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  
МАТЬ

Каждая латинская буква, старательно выведенная красным карандашом, была обрамлена по контуру тонкой чернильной линией. Внизу на этом же листе значилось:

МАДРИД. 1936 — 1937 гг.

Защитного цвета переплет был сделан из материала плащ-палатки, плотного и прочного. Закладкой являлся самодельный плетеный кожаный шнурок, прикрепленный к обложке, которым читатель мог, свернув брошюру, обвязать ее для большей сохранности.

Страницы выпуска № 8, который был в руках испанского читателя в госпитале в Мурсии, кончались сценой суда и речью Павла Власова.

Очень четко помнится разговор двух фронтовых друзей. Вблизи Тортосы в тенистой роще апельсиновых деревьев была расположена стоянка танкового батальона. Молодой водитель танка, уроженец Бильбао, спрашивал своего сверстника — волжанина:

— Где живет теперь в России после Октябрьской революции «мадре»? На каком заводе работает ее сын? Красива ли у него жена? Есть ли у «мадре» внуки? И почему Павел Власов не приехал вместе с другими добровольцами в Испанию?

В ответ командир танка рассказал испанцу историю написания Горьким повести «Мать». Он рассказал ему о рабочей семье Заломовых, матери и сыне, которые были прообразами главных героев повести. Подробно, как только позволяло знание испанского языка, рассказчик говорил о жителях Приволжья, с которыми встречался Горький и в жизни которых было очень много общего с биографией героев книги. Причем, рассказывая о далеком прошлом своих земляков, командир танка произносил испанские и русские слова, очень сильно по-волжски окая, что вовсе не мешало слушателю понимать его рассказ, потому что за время совместной фронтовой жизни они привыкли взаимно объясняться.

Выслушав сверстника, Антонио принял старательно вычислять вместе с ним, сколько лет бы исполнилось ко времени гражданской войны в Испании главным героям книги Горького. А потом Антонио заявил командиру танка, что они оба — внуки Ниловны.

На другой день я увидела опять в руках молодого испанца повесть «Мать». Во время своего военного досуга Антонио читал книгу Горького.

Никогда не должно и не может забыться, как смотрели участники боев под Бельчите на книгу, которую однажды мне пришлось положить на защитную броню танка. Книга была раскрыта, некоторые страницы ее склеились, и ветер с трудом их переворачивал. На них растеклась кровь. Ветер и солнце сушили страницы, обогранные кровью тяжело раненного в бою с фашистами молодого бойца интернациональной бригады. Это была повесть «Мать» на немецком языке.

Книга Горького была привезена в Испанию еще в декабре 1936 года из фонда «Немецкой свободной библиотеки».

Из рук в руки передавали книгу ее читатели, бойцы интернациональных бригад, участники первой схватки с фашизмом в Европе в 1936—1939 годах.

\* \* \*

Книги имеют свою биографию, свои нравственные черты. Есть книги, которым не страшны никакие угрозы, злобная клевета. И пламя костра не властно над жизнью книги, страницы которой бессмертны. Она всегда поддерживает тех, кто борется за свободу и счастье людей, и объединяет надежно в этой борьбе своих читателей, невзирая на их разные профессии, цвет кожи и возраст. Такова судьба повести «Мать».



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

## ПРИГОВОР ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ...

**И**тоги второй мировой войны до сих пор не дают покоя нашим врагам. Никак они не могут примириться с тем, что Советская Армия оказалась непобедимой!

Передо мной книга — толстая, превосходно оформленная, изданная во Франкфурте-на-Майне. В переводе с немецкого ее название звучит так: «Решающие сражения второй мировой войны». Авторы ее — генералы и высшие офицеры гитлеровского вермахта и американской армии. Предисловие — главнокомандующего сухопутными силами НАТО в Центральной Европе генерала Ганса Шпейделя.

Какие же сражения авторы книги называют решающими? Таких они насчитали двенадцать. Из этих двенадцати сражений на советско-германском фронте только три: под Москвой (1941), на Волге (1942) и в Белоруссии (1944). Зато к рангу «решающих» причислены и высадка на Крите, и воздушные бои над Англией, и морское сражение за крохотный остров Лейте, и битва за остров Мидуэй... Шпейдель ни за что не хочет признать, что его побил Советская Армия, — все расшаркивается перед западными державами...

С поистине судорожной активностью оставшиеся в живых генералы вермахта занимаются фальсификацией истории второй мировой войны и роли Советского Союза в ней. Реваншизм — явление многоликое, и его лидеры считают, что перед тем, как приступить к реваншу на полях сражений, им следует совершить реванш на страницах книг. К тому же это и безопаснее...

Восемнадцать лет, миновавших после великой Победы, — мирные годы. Но на полях идеологических битв до сих пор с неослабевающей силой продолжается столкновение сил прогресса и реакции. Коварный замысел нынешних атлантических апологетов агрессии состоит в том, чтобы задним числом отнять у человечества его великую Победу и попытаться пересмотреть приговор, вынесенный нацизму на полях мировой войны. Подобные попытки предпринимаются не в первый раз.

### МЕСЯЦ МАЙ

Май 1945 года — разве его можно забыть? Он вошел в память каждого советского человека. Особенно в память тех, кто встречал великий День Победы далеко от родной земли, в Германии. Своими глазами мы наблюдали, как завершался разгром гитлеровского рейха. На том месте, где 30 января 1933 года Гитлер впервые принимал парад ликовавших штурмовиков и эсэсовцев, откуда он двенадцать лет правил своим рейхом, высились мрачные руины имперской канцелярии. Гитлеровской Германии уже не было. Но она на каждом шагу напоминала о своем существовании.

Берлин был тогда странным городом: каким-то необычным соединением обычных ВАДов (для позабывших и незнающих: ВАД — военно-автомобильная дорога) с городским пейзажем большой европейской столицы и с нагромождением чудовишных руин. Эти три элемента существовали параллельно, не совмещаясь. По ВАДу мчались «видлисы» и «эмки»; лихие регулировщицы взмахивали флажками; водители без труда



ориентировались в путанице улиц, благо что все указатели были на родном языке; го и дело на пути встречались привычные, милые сердцу советского воина лозунги и призывы. Дорога катилась вперед — как это было в Гомеле, Бобруйске, Варшаве, Кутно, Кюстрине...

А где-то рядом стоял немецкий город Берлин. Пустынный, мрачный, с ровными пятиэтажными рядами домов, широкими улицами, аккуратными указателями на углах: «Герман-Герингштрассе», «Роберт-Лейпштрассе», «Адольф-Гитлерплац»... Надписи на заборах и стенах возвещали: «Берлин останется немецким, Вена снова станет немецкой!» Или: «Фюрер остался в Берлине!» Или: «Пусть все колеса вертятся во имя войны!»

Но колеса уже остановились. Было что-то пугающее в пустоте этого гигантского города, по которому его собственные жители передвигались украдкой. Ибо рядом с полуживым, но населенным городом стоял чудовишный город мертвых. Это был третий Берлин — разбомбленный, разнесенный в клочки город. Город, в котором были районы, где на протяжении сотен метров нельзя было встретить ни одного уцелевшего здания.

Ранним утром 13 мая 1945 года наша штабная машина отправилась в очередной маршрут по Берлину. Маршрут был такой: берлинский пригород Венденшлосс, где в те дни размещался штаб 1-го Белорусского фронта, — аэродром Темпельхоф. Мы ехали, чтобы встретить на аэродроме представителя верховного главнокомандования вооруженных сил капитулировавшей Германии.

Наш небольшой кортеж быстро двигался к цели, так как уличное движение в те дни в Берлине было не ахти каким оживленным. Мы не заезжали в разрушенный центр и избрали более короткий путь по южным районам. О секторах в городе тогда никто и не помышлял: ни американцев, ни англичан в Берлине не было тогда и в помине.

Капитуляция уже была подписана. Но ее еще надо было осуществлять, тем более что вдали от Берлина, на чехословацкой земле, войска осатаневшего «кровавого Фердинанда» — генерал-фельдмаршала Шернера — продолжали вести бои. Наша группа, которую возглавлял заместитель начальника штаба фронта генерал И. И. Бойков, должна была встретить представителя немецкой ставки — ОКВ. Согласно условиям капитуляции он был обязан привести из Фленсбурга карты, отчеты, справки — одним словом, всю необходимую документацию. Капитуляцию надо было закончить так же точно и неумолимо, как кончилась война.

На пустынном аэродроме Темпельхоф нам не пришлось ждать долго. Где-то в середине огромного бетонного поля сел небольшой самолет. Из кабины вылез человек в кожаном пальто и торопливой походкой пошел к ангару. Когда он приблизился, можно было разглядеть погоны подполковника вермахта. Точным, раз и навсегда заученным шагом он подошел к нашей группе, шелкнул каблуками, отдал честь и отпортовал:

— Подполковник генштаба де Мезьер прибыл по полномочию верховного главнокомандования вооруженных сил...

Генерал Бойков мрачно глянул на него, на приветствие не ответил, попросил предъявить полномочия и достаточно недружелюбно показал на машину, пригласив подполковника следовать в штаб фронта. Тот снова шелкнул каблуками, и наш автокортеж двинулся в обратный путь.

Снова перед нами прошли картины трех Берлинов. Трудно заниматься психоанализом, да еще анализом психики офицеров гитлеровского генштаба. Но представьте себе ситуацию: не в первый раз в своей жизни, наверное, подполковник генштаба Ульрих де Мезьер ехал по улицам Берлина. Наверное, не раз ему приходилось вылезать из специального самолета в Темпельхофе. У самолета ждала машина, ординарец захлопывал дверцу, и машина мчалась либо на Бендлерштрассе — в генштаб сухопутных войск, либо в Цоссен — в полевую квартиру ОКВ, либо на Вильгельмштрассе — в имперскую канцелярию. Шофер тормозил у подъезда, караульный в стальном шлеме с трехцветной эмблемой салютовал знакомому офицеру, и тот, стряхивая пыль с сапог, взбегал по ступеням: «Господин генерал, разрешите доложить...»

Человеку, проделавшему подобный путь по Берлину не один, а сотни раз, его нынешняя поездка могла казаться фантазмагорией. Почему на машине не свастика, а пятиконечная звезда? Почему по улицам немецкие солдаты идут не в строгом строю, а бредут под охраной конвоя? Почему машина не сворачивает к Бендлерштрассе, а мчится к Франкфуртераллее, где установлена огромная арка с красной звездой и красными знаменами?

Все эти вопросы вполне могли занимать Ульриха де Мезьера, отпрыска старинного гугенотского рода, кадрового военного, любимца фельдмаршала Вильгельма Кейтеля и генерала Альфреда Йодля. С каким бы удовольствием он, ушипнув себя за любое место, проснулся бы в старой, привычной Германии, в старом Берлине, столице «тысячелетней империи»! Но нет: капитуляция была не сном, а реальностью.

Так могли рассуждать все мы, участники поездки Венденшлосс — Темпельхоф — Венденшлосс. Но начальство подполковника де Мезьера еще пыталось вести такую игру, которая показывала, что оно явно не считает капитуляцию реальностью.

Когда подполковник де Мезьер вручил привезенные им из Фленсбурга документы, оказалось, что из них мало что было можно понять. Иными словами, ОКВ хотело ввести советское командование в заблуждение. В то же время де Мезьер претендовал на роль «советника»: он начал высказывать рекомендации, весьма похожие на требования. Например: объединить разрозненные по Германии части ОКВ во Фленсбурге, предоставить «преимущества» офицерам и солдатам группировки генералов Гильперта и Ферча, капитулировавшей в Прибалтике. Разумеется, никто не стал слушать таких советов. 16 мая де Мезьера отправили обратно во Фленсбург.

Надо сказать, что в нашем штабе тогда не придали особого значения этой «мелкой пакости» ОКВ. Размах событий был так огромен, крах вермахта совершался с такой необратимостью, что канцелярские козни бывших офицеров бывшего ОКВ не могли ничего изменить. Не только де Мезьер со своими бумагами, но даже фельдмаршал Фердинанд Шернер, продолжавший вести бои на чехословацкой земле, не мог отменить того приговора гитлеровской Германии, который был вынесен самой историей и советскими солдатами.

Сейчас, восемнадцать лет спустя, на историю с де Мезьером можно взглянуть немного иначе. Тогда, в радостной суматохе победы, еще не были известны некоторые события, которые происходили вдалеке от Берлина, там, откуда прилетал де Мезьер. А прилетал он из северогерманского города Фленсбург, где под опекой английских оккупационных войск располагалась ставка «преемника» Гитлера, гросс-адмирала Карла Деница и штаб бывшего верховного главнокомандования во главе с Кейтелем и Йодлем.

### В БУНКЕРЕ ИМПЕРСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

В современной историографии часто применяется термин: «фленсбургский эпизод». Действительно, то, что происходило в мае 1945 года во Фленсбурге, осталось лишь эпизодом в истории Германии. Но это был эпизод существенный и символический, поскольку он был теснейшим образом связан с гитлеровской эпохой и попытками продлить ее существование.

Как родилось лжеправительство гросс-адмирала Карла Деница? Кто его создал? Ответ на этот вопрос очень важен, ибо сейчас на Западе вокруг Деница и его компании создается немало легенд. Престарелого гросс-адмирала изображают в роли чуть ли не «спасителя отечества» и героя немецкого народа...

Ответ на поставленный нами вопрос предельно прост: Деница назначил Адольф Гитлер. Это случилось при следующих обстоятельствах.

Последние дни апреля 1945 года застали верхушку «тысячелетней империи» в стадии разложения и распада. Практически уже не существовало единого руководства, поскольку:

ОКВ и генштаб выехали из Берлина и с 23 апреля потеряли личный контакт с имперской канцелярией;

Гиммлер перебрался в Хоэнлихен (севернее Берлина), где со своими советниками принялся за разработку планов, которые должны были сделать его будущим хозяином Германии;

Геринг уехал в Баварские Альпы и там выжидал удобного момента, чтобы провозгласить себя преемником фюрера.

Что же оставалось в Берлине? Развалины имперской канцелярии и под ними, в бункере, — развалины Гитлера. Рядом — неразлучный Мартин Борман, Иозеф Геббельс, десяток наиболее верных слуг — генералы СС, охрана. Вся эта компания влчила полупризрачное существование. Она даже не поднималась на свет дневной, поскольку центр Берлина уже находился под постоянным обстрелом советской артиллерии.

Легенды, которые усердно распространялись в те дни в Германии, изображали бункер имперской канцелярии как таинственное, недосыгаемое убежище, расположенное на глубине десятков метров под землей. На деле все выглядело гораздо прозаичнее. В сущности, бункер даже не был завершен. Одна его часть была совсем неглубокой — она тянулась вдоль фасада имперской канцелярии, выходящего на Фоссштрассе. Здесь помещались радиостудия, откуда вещал колченогий д-р Геббельс, помещения охраны, склады и различные хозяйственные службы. Этот этаж в апрельские дни пришлось превратить в госпиталь для эсэсовской охраны. Оттуда через подземный гараж шли подземные ходы в главный бункер.

Как ни странно, более просторную и высокую часть главного бункера занимал не фюрер. В ней были комнаты для Кейтеля, Иодля, Кребса, а также для Геббельса с его многочисленным семейством.

Из этого помещения несколько ступенек вело в собственные покои «фюрера великой Германской империи». Они делились небольшим коридором на две части. Справа — телефонный узел, комната врачей и охраны. Слева — спальня, конференц-зал и «процедурная комната» Гитлера (без впрыскиваний он обходиться уже не мог). Низкие потолки, серые, мрачные стены, маленькие двери, темная мебель. Так кончал свою бесславную карьеру человек, возмнивший себя властелином мира.

Всего несколько лет назад, сидя в кабинете имперской канцелярии, Гитлер предавался мечтам о том, как будет выглядеть столица будущей Всемирной нацистской империи. Берлин он хотел переименовать в город Германия. Город предполагалось превратить в некое собрание монументов и зданий колоссальных размеров. Такие же города должны были быть сооружены по всему миру, в частности в оккупированной России.

«Немецкие учреждения должны иметь роскошные здания, — ораторствовал в ноябре 1941 года фюрер в кругу свитских генералов. — За их стенами — другой мир, в котором мы предоставим жить русским. При одном условии: мы будем властвовать над ними... Раз в год группу киргизов надо будет привозить на экскурсию в имперскую столицу, чтобы они прониклись ощущением силы и величия наших памятников!»

Теперь, сидя в темном бункере, Гитлер мог получать по счету сполна. Русские и украинцы, белорусы и армяне, казахи и киргизы сами пришли в имперскую столицу. И не на экскурсию, а с оружием в руках. Они явно не пожелали проникнуться «ощущением силы и величия» Третьей империи!

В западной печати после войны появилось немало различных материалов, рисующих обстановку в бункере в апрельские дни 1945 года. Причем часто на обстоятельства свадьбы Гитлера и Евы Браун внимания обращалось больше, чем на политический смысл последних дней Гитлера.

Конечно, Гитлер в то время был безумным и в его бункере царил обстановка сумасшедшего дома. Но недаром говорят, что в некоторых видах сумасшествия есть своя система. Чем теснее сжималось кольцо осады, чем безвыходнее становилась обстановка — тем лихорадочнее работала мысль Гитлера и его приспешников над планами сохранения фашистского режима. Зловещие герои третьего рейха не хотели уходить из мира.

Сейчас известен документ, который Гитлер разработал в последнюю неделю апреля 1945 года в качестве «политического завещания» своим преемникам. Сам документ был путанным и бессвязным. Сущность его состояла в том, что Гитлер призывал

своих наследников обеспечить «возрождение национал-социалистского движения». Все остальное представляло собой отчаянные попытки оправдаться.

Гораздо важнее самого документа был тот факт, что на протяжении последних дней апреля Гитлер беспрерывно совещался с Геббельсом и Борманом, разрабатывая меры, необходимые для воплощения в жизнь целей «политического завешания». Многого коричневая тройка придумать не могла, но для нее было ясно одно — необходимо обеспечить преемственность фашистского руководства. Так возник «организационный план» Гитлера. Ядром этого плана стало создание «нового правительства», возглавляемого преемником фюрера. Этим человеком и был избран гросс-адмирал Карл Дениц, командующий подводным, а затем всем военно-морским флотом гитлеровского рейха.

Сейчас историки рассуждают: почему выбор пал на Деница, личность политическую столь бесцветную? Высказывается справедливое предположение, что здесь определенную роль сыграли родственные связи гросс-адмирала: он приходился родней немецко-американскому промышленному магнату Гуго Стиннесу. Но определяющей была, как ни странно, сама бесцветность Деница. Она позволяла, с одной стороны, изображать его «непричастным» к гитлеровской политике, с другой же стороны — позволяла под личиной «непричастности» обеспечить проведение необходимого гитлеровцам курса.

Залогом этого и должен был служить следующий состав германского правительства, определенный Гитлером в «политическом завешании» от 29 апреля 1945 года: рейхсканцлер — Йозеф Геббельс (покончил жизнь самоубийством 1 мая 1945 года); министр по делам партии — Мартин Борман (судьба Бормана до сих пор неизвестна);

министр иностранных дел — Артур Зейсс-Инкварт (повешен в Нюрнберге);

министр внутренних дел — Пауль Гислер (покончил жизнь самоубийством 2 мая 1945 года);

главнокомандующий сухопутными силами — Фердинанд Шернер (сейчас живет в Западной Германии);

главнокомандующий военно-воздушными силами — Риттер фон Грейм (покончил жизнь самоубийством 2 мая 1945 года);

министр по делам культов — Густав Шеель (живет сейчас в Западной Германии);

министр финансов — граф Шверин фон Крозиг (живет сейчас в Западной Германии);

министр пропаганды — Вернер Науман (после войны обосновался в Западной Германии. пытался организовать подпольный нацистский центр, который был раскрыт английскими оккупационными властями; Науман, однако, был вскоре выпущен, никакого суда не состоялось; живет сейчас в ФРГ, получает пенсию);

рейхсфюрер СС и начальник полиции — Карл Ханке (в июне 1945 года был случайно убит);

министр экономики — Вальтер Функ (осужден в Нюрнберге);

министр сельского хозяйства — Герберт Бакке (покончил жизнь самоубийством в Нюрнберге 6 апреля 1947 года);

министр вооружения — Карл Заур (живет сейчас в Западной Германии);

министр юстиции — Отто Тирак (покончил жизнь самоубийством в 1946 году);

министр труда — Тео Хупфауэр (его судьба автору неизвестна);

руководитель немецкого трудового фронта — Роберт Лей (покончил жизнь самоубийством 25 октября 1945 года в Нюрнберге).

Вот кого прочил Гитлер в министры Деницу. Нетрудно заметить, что это были все те же заправилы третьего рейха. Среди шестнадцати членов «правительства» семь были просто «заимствованы» из гитлеровского кабинета, семь занимали высшие посты в нацистской иерархии. Лишь двое были сравнительно мало известны, но они также принадлежали к числу кадровых слуг Гитлера. Вот какую компанию записных нацистов Гитлер, Геббельс и Борман хотели напоследок навязать немецкому народу под видом «правительства Деница»!

В дальнейшем события разворачивались так. Днем 30 апреля в саду имперской канцелярии шофер Кемпка вылил несколько канистр бензина на труп величайшего преступника всех времен и народов. Геббельс и Борман принялись за работу: во

Фленсбург, где находился Дениц, полетела шифрованная радиogramма о назначении его рейхспрезидентом. Одновременно из Берлина были посланы фельдъегери с задачей: прорваться сквозь кольцо советских войск и доставить пакеты с «завещанием» тем нацистским лидерам, которые находились вне Берлина, в частности Шернеру.

Последний замысел Геббельса и Бормана был, видимо, таков: оттянуть время, попытаться начать с союзниками переговоры и заставить победителей хотя бы де-факто иметь дело с новым «правительством». Именно такая попытка была практически принята в ночь на 1 мая, когда перед частями 8-й гвардейской армии (это был 102-й гвардейский стрелковый полк 35-й дивизии) появились немецкие парламентарии. На одном из них были генеральские погоны — это был последний начальник генерального штаба сухопутных сил генерал пехоты Ганс Кребс.

Кребс был препровожден к командующему армией генерал-полковнику В. И. Чуйкову и вручил ему три документа: свои полномочия, письмо Бормана и Геббельса к Верховному командованию Советской Армии и список новых министров. Документ был напечатан на знаменитой пишущей машинке, предназначенной для Гитлера, — огромными буквами (раз в три больше нормальных), так как фюрер был близорук, но очков носить не хотел, считая это непристойным для полководца...

Кребс явно стремился оттянуть капитуляцию рейха. Когда Василий Иванович Чуйков заявил, что речь может идти только о капитуляции Берлинского гарнизона, и только об этом, — Кребс начал распространяться о том, что у генштаба нет «санкций» Деница и он может согласиться лишь на «временное прекращение» военных действий. А затем-де, мол, надо будет «начать переговоры» между правительствами Германии и Советского Союза<sup>1</sup>.

Надо ли говорить, что подобные притязания были отвергнуты. Тут же, во время опроса Кребса, генерал-полковник Чуйков связался по телефону с штабом фронта, а штаб фронта — с Москвой. Вскоре на командный пункт Чуйкова прибыл заместитель командующего фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Он снова подтвердил Кребсу: немедленная капитуляция, никаких гарантий о переговорах, причем переговоры могут вестись только со всеми тремя союзными державами!

Миссия Кребса провалилась. Он отправился восвояси, а в 18 часов 1 мая прибыл новый парламентар с новым пакетом: Кребс и Борман заявляли, что «не принимают» (!) советских условий и возобновляют военные действия. Дальнейшее известно: Кребс и Геббельс пустили себе пулю в лоб, Борман бежал, а в 0 часов 40 минут 2 мая 1945 года комендант Берлина генерал Вейдлинг запросил по радио: могут ли советские войска принять парламентариев? В 12 часов 50 минут парламентарии явились и предложили капитуляцию.

Так было в Берлине. Здесь Советская Армия не только разгромила врага, но также нанесла сокрушительный удар по последним интригам гитлеровской клики. Верный своему союзническому долгу, Советский Союз не принял руки, которую настойчиво протягивали ему из имперской канцелярии.

Теперь посмотрим, что происходило во Фленсбурге, где находился новоявленный «рейхспрезидент».

### ФЛЕНСБУРГСКОЕ ГНЕЗДО

В то время, когда в Берлине под грохот советской артиллерии завершалась великая битва, в ставке гросс-адмирала Деница царило сравнительное спокойствие. Днем 30 апреля была расшифрована радиogramма Бормана о назначении Деница. Адмирал ни на минуту не задумался, принять ли пост из рук мертвеца или нет. Разумеется, принять! Да и какие сомнения могли быть у человека, который лишь две недели назад — 11 апреля — заявил: «Самое позднее через год, а может быть, еще в нынешнем году Европа поймет, что Адольф Гитлер — это единственный государственный деятель большого масштаба».

В Берлин полетела шифровка, адресованная мертвому Гитлеру: «Мой фюрер, моя

<sup>1</sup> Здесь был явный расчет на то, чтобы поссорить союзников и пробудить в США и Англии подозрения по поводу «сепаратных переговоров».

верность вам остается непродолимой... Я закончу войну так, как этого требует неповторимая героическая война германского народа». Напыщенные фразы подтверждали, что Гитлер не ошибся в выборе.

В ставке закипела бурная деятельность, благо здесь же находилось ОКВ во главе с Кейтелем и Йодлем. На 2 мая Дениц назначил совещание высших командиров вермахта. На нем было решено принять все меры, чтобы сдаваться в плен не советским частям, а войскам Монтгомери и Эйзенхауэра. Одновременно было приказано: любой ценой продолжать вести бои двум основным группам армий, еще остававшихся в руках ОКВ, — группе «Центр» в Чехословакии под командованием Шернера и группе «Курляндия», окруженной в Прибалтике.

В отличие от Бормана и Геббельса Дениц и Йодль в куда более спокойной обстановке занимались своим делом. Они расположились недалеко от Фленсбурга в бывшей морской школе Мюрвик. Йодль занялся военными делами, Дениц — государственными. В частности, он стал собирать остатки своего «правительства». Некоторые министры, назначенные Гитлером, находились во Фленсбурге; других Дениц назначил сам. Так, на пост министра иностранных дел он назначил графа Шверина фон Крозига, транспорт он отдал д-ру Дорпюллеру; министерство экономики передал Шпееру. Лишь Гимmlеру он не пообещал ничего — видимо, не хотел себя компрометировать.

Английское командование выделило Фленсбург в некий экстерриториальный район — точнее, сохранило в нем полную власть ОКВ. Вскоре во Фленсбург прибыла специальная англо-американская «миссия связи», которая установила контакт с Деницем. Миссию возглавили американский генерал Рукс и английский бригадир Форд.

О том, что происходило во Фленсбурге, есть не только свидетельства немецких мемуаристов. Здесь побывали и советские офицеры, с которыми впоследствии мне не раз приходилось беседовать. Дело в том, что Советское правительство, узнав о странных делах «лжепрезидента» и ОКВ, немедленно потребовало от союзников прекращения фленсбургского фарса. Во Фленсбург была направлена специальная советская военная миссия во главе с заместителем начальника штаба 1-го Белорусского фронта генерал-майором Н. М. Трусовым. В отличие от своих английских и американских коллег генерал Трусов имел задачу не «поддерживать связь» с Деницем, Кейтелем и Йодлем, а арестовать их.

Перед глазами советских офицеров предстала удивительная картина. Как только они миновали на пути из Берлина Кильский канал — следов союзных войск как не бывало! И следов капитуляции вермахта нельзя было обнаружить. Всюду немецкие части. Офицеры в погонах, с орденами, с оружием. Немецкие войска вели себя, как будто на дворе стоял не май 1945 года, а, скажем, май года 1943...

Да, за Кильским каналом вермахт жил как ни в чем не бывало. Например, 18 мая население Фленсбурга, не веря глазам своим, наблюдало торжественные похороны кавалера рыцарского креста Люта. Перед гробом несли все гитлеровские ордена, по обе стороны стояли шпалеры вооруженных немецких солдат. Во Фленсбурге немецкие штабы охранялись вооруженными постами. Как выяснилось, происходило даже производство в очередные чины...

Когда состоялось первое заседание трех военных миссий, советские представители сразу поставили вопрос о немедленном прекращении деятельности и аресте Деница и ОКВ. Рукс и Форд в принципе не возражали, хотя сразу нашли отговорки: а не окажут ли сопротивление курсанты двух немецких училищ; а не подождать ли прибытия дополнительных английских частей?

За отговорками стояли определенные политические расчеты, о которых не говорили, но которые проводились в жизнь. Например, сейчас стало известно следующее: 14 мая Черчилль направил Идену письмо, в котором писал, что необходимо создать «какой-то авторитетный немецкий орган» и если Дениц «даже военный преступник», он все-таки представляет собой авторитет, достаточный, «чтобы отдавать немцам приказы». Американцы также почтительнейшим образом обращались с Деницем: с гросс-адмиралом беседовал политический советник Эйзенхауэра Роберт Мэрфи.

Разумеется, когда 23 мая союзные миссии провели арест псевдоправительства Деница и штаба Йодля, эта операция оказалась несложной. Английские солдаты придумали

малю очень простой метод предотвратить бегство генералов и рейхсминистров: они срезали им пуговицы на брюках и отобрали подтяжки. Господа из Фленсбурга заняли то место, которое им полагалось — в тюрьме для военных преступников. «Фленбургский эпизод» можно было считать оконченным. Благодаря бдительности Советского Союза «организационный план» Гитлера — Геббельса — Бормана был сорван.

Но во Фленсбурге осуществлялся не только «организационный план». Был и план политический.

### ДЕНИЦ, ИОДЛЬ И ДРУГИЕ

Когда гросс-адмирал Карл Дениц собрался произносить речь перед членами своего «правительства» и штаба Иодля, он решил высказаться вполне определенно: «Политическая линия, которой мы должны придерживаться, очень проста. Ясно, что мы должны идти с западными державами...»

Откуда это стало так «ясно» недалекому гросс-адмиралу, который никогда не занимался большой политикой? Конечно, примитивный антикоммунизм был привит ему и прусской военной школой, и нацизмом. Но для политической программы этого было маловато.

Дело в том, что Дениц лишь повторял те идеи, которые как бы носились во всей атмосфере «фленбургского гнезда». В первую очередь эти идеи вынашивались в военной части — в бывшем ОКВ, и еще точнее — генерал-полковником Альфредом Иодлем, начальником штаба оперативного руководства ОКВ, гитлеровским любимчиком, которого американский генерал Рукс назначил «преемником» Кейтеля.

Каков же был политический план Альфреда Иодля, при помощи которого он рассчитывал спасти германскую военную машину от ликвидации и обеспечить для нее будущее? Сейчас мы можем не только догадываться, но анализировать исторические документы. В 1961 году на западногерманском книжном рынке появилось два толстых тома «Дневников военных действий штаба оперативного руководства при верховном главнокомандовании вооруженных сил» за 1944—1945 годы. В этой публикации содержится раздел, носящий несколько необычное название: «Высказывания генерал-полковника Иодля во время оперативных совещаний (с 12 по 20 мая), записанные майором генерального штаба И. Шульц-Науманом».

Происхождение этих записей таково. Каждое утро по строгому порядку, заведенному уже при фюрере, в штабе генерала Иодля происходило оперативное совещание. На столах раскладывались карты, из папок извлекались справки и докладные записки, адъютанты застывали у дверей. Правда, обсуждать-то было нечего. Вермахт уж не вел операций. «Кровавый Фердинанд» сложил оружие. Но Альфред Иодль использовал традиционные совещания для иных целей. Он обсуждал со своими коллегами военно-политические планы на будущее. Вот какие идеи Иодля заносил в свой дневник аккуратный майор Шульц-Науман:

«12.5. Генерал-полковник Иодль: союзническую делегацию<sup>1</sup> надо засыпать немецкими военными уставами и меморандумами... Союзникам надо показать, что они сломают себе зубы при решении больших организационных задач...»

13.5. Иодль: союзническая делегация не имеет никакого представления о наших немецких проблемах и о Европе... Необходимо относиться к союзникам так, как это вытекает из создавшегося вынужденного положения. Мы подписали безоговорочную капитуляцию, ибо вели войну до последнего момента и со всеми вытекающими отсюда последствиями, а другого выхода у нас не было. Надо забыть о 1918 году. Собственными силами мы помочь себе не сможем, нужна помощь других. Это означает, что центр тяжести наших действий должен лежать в политическом секторе. Еще до конца не разыграна роль Германии как народа в центре Европы. Без нас проблем не решить. Все время надо иметь перед глазами эту далекую цель... Я чувствую в себе призвание решать самые большие задачи...

14.5. Перспектива на будущее: грядущие возможности ориентации, базирующиеся на противоречии между Востоком и Западом...

<sup>1</sup> Речь идет об английской и американской миссиях.

15.5. Придет момент, когда мы сравним русских и англо-американцев. К сожалению, неизвестно — чего хотят русские. Вероятнее всего, для управления немецкими территориями им не понадобится ОКВ... Важно: не сердить англичан. Стремиться к тому, чтобы убедить контрольную комиссию в корректности наших действий. Постепенно завоевать доверие. Затем, когда будет подготовлена почва, гросс-адмирал собирается отправиться к Эйзенхауэру<sup>1</sup>, чтобы обсудить с ним проблемы будущего...

Первый акт возрождения Германии должен состоять в сверхлояльном выполнении всех задач, поставленных союзниками.

17.5. Каждому, кто нас будет спрашивать о будущем, отвечать только одно: выжить! Еще раз лозунг: ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация.

19.5. Важно незаметным образом подсовывать союзникам данные о русских. Общие директивы: было бы ошибочным продать без ответной платы. Наша национальная суть и наше положение народа в центре делают нас фактором, с которым должны считаться. Не торопиться с решением. Принимать его лишь в стадии крайней необходимости. В любом случае перейти на сторону тех, кто победит наверняка.

Таковы наиболее важные мысли Иодля, записанные Шульц-Науманом в период с 12 по 19 мая 1945 года. Надо иметь в виду, что это не стенограмма, а лишь живая запись. Очевидно, в каждом случае Иодль подробно развивал свои мысли. Затем происходил обмен мнениями.

Теперь попытаемся разобраться, в чем же состоял политический смысл директив Иодля. Расчет состоял в следующем (и он довольно четко обрисован в записях Шульц-Наумана): сначала прикинуться покорными, войти в доверие Англии и США, затем сыграть на «противоречии между Востоком и Западом». После этого от «первого акта возрождения Германии» двинуться к тому, чтобы стать «фактором, с которым должны считаться».

Был ли это план одного Иодля? Конечно, нет. Например, совсем недавно в архивах Деница, захваченных во Фленсбурге, был обнаружен документ некоего д-ра Гельмута Штелльрехта. 20 мая 1945 года сей доктор составил обширный меморандум на тему «К вопросу о восточной или западной ориентации Германии». В нем он подробнейшим образом взвешивал все обстоятельства: кому должна «продать» себя послевоенная Германия? И отвечал: Западу, Соединенным Штатам, которые будут «заинтересованы в мощи побежденной Германии, чтобы использовать ее в борьбе против России».

Советский военный историк В. И. Дашичев, который разыскал этот любопытнейший документ, как-то позвонил мне по телефону, чтобы поделиться новостью о своей находке. Имя Штелльрехта нам обоим ничего не говорило. Случилось так, что через несколько дней я очутился в Берлине. Вопрос о Штелльрехте я задал одному большому специалисту по архивным поискам. Это был Дитрих Зборальский, сотрудник Немецкого института современной истории — учреждения, располагающего лучшей в Германии справочной картойкой. Но в картуку заглядывать не пришлось.

— Штелльрехт? А не тот ли это Штелльрехт, который был в «Гитлерюгенд»?

Зборальский подбежал к полке, стал перебирать справочники и книги. Потом он задумался, повернулся к другой полке и вытащил небольшую брошюру со свастикой на обложке. Это был какой-то «учебный материал» нацистской партии. И только он открыл первую страницу, как закричал:

— Вот мы его и поймали, вашего Штелльрехта!

Действительно, под предисловием к книге стояла фамилия «Штелльрехт» и, что еще важнее, указывалась его должность. Она гласила: «Начальник штаба при полномочном фюрера по всему духовному и идеологическому воспитанию» национал-социалистской партии. Иными словами, д-р Штелльрехт был ближайшим помощником небезызвестного Альфреда Розенберга, главного нацистского идеолога. Таким образом, идею сговора послевоенной Германии с империалистическим Западом выдвигал не только «военный специалист» Иодль, но и такой нацистский деятель, как д-р Штелльрехт.

<sup>1</sup> Эта встреча не состоялась. Как явствует из мемуаров Деница, он собирался упрекать Эйзенхауэра за то, что тот не захватил Берлина «раньше русских».



Но и на нем не завершается список тех, кто видел в сговоре с Америкой и Англией спасение германского милитаризма. В этом списке:

одна из самых зловещих личностей третьего рейха — Генрих Гиммлер, который уже с 1943 года вел секретные переговоры с Алленом Даллесом и другими эмиссарами управления стратегической службы США;

глава не менее зловещей «службы безопасности» обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер, который, прячась от своего эсэсовского шефа, сам связался с Алленом Даллесом;

руководитель эсэсовской разведки Вальтер Шелленберг, сновавший между Берлином, Римом, Стокгольмом, Мадридом и Лиссабоном;

начальник ОКВ Кейтель, в январе 1945 года направивший секретный меморандум Эйзенхауэру с предложением соответствующей сделки;

рейхсмаршал Герман Геринг, адресовавший американцам послание, в котором предлагал: «Мы заключаем перемирие с западными державами, поворачиваем весь западный фронт и выкидываем русских».

Ну, а Гитлер? До последних лет считалось, что кто-кто, а Гитлер был настолько одержим идеями мирового господства Германии, что даже в период крушения третьего рейха не считал возможным вести переговоры с американцами и англичанами. Сейчас в это представление внесены существенные коррективы. Во-первых, обнаружены документы и свидетельства, согласно которым Гитлер санкционировал американские зондажи Кальтенбруннера и эсэсовского генерала Вольфа в Италии зимой — весной 1945 года. Во-вторых, недавно были опубликованы записи Кейтеля, сделанные им в камере Нюрнбергской тюрьмы. Кейтель вспоминает: в последний раз он видел Гитлера 23 апреля 1945 года. Это было в бункере имперской канцелярии, куда Кейтель приехал со своего командного пункта, находившегося в Крампнице. Настроение у фельдмаршала было достаточно мрачное, и он удивился, что хозяин бункера «очень спокоен». Разговор был долгим: сначала Кейтель докладывал о безнадежном положении на фронте. Затем он просил Гитлера покинуть Берлин. Тот отказывался, уверяя, что его присутствие в городе — «залог победы». Не убедив своего фюрера, фельдмаршал шелкнул каблуками и ушел.

Через несколько минут он снова вернулся к Гитлеру и спросил: «Я хочу знать: начаты ли переговоры с противником и кто их ведет?» На это Гитлер ответил, что с капитуляцией не надо торопиться, а переговоры следует начать «после какой-либо победы», например, в Берлине. Кейтель вопреки своей обычной сдержанности решил добиваться более определенного ответа. Он повторил свой вопрос. Тогда Гитлер заявил: «Я уже давно распорядился о том, чтобы через Италию велись переговоры с Англией. Сегодня же Риббентроп получит дальнейшие указания...»

Итак, Гитлер был в курсе всех — или по крайней мере многих — закулисных интриг. Теперь становится понятным, почему Альфред Иодль и Вильгельм Кейтель, оставшись душеприказчиками фюрера во Фленсбурге, разрабатывали план «продажи» Германии западным державам, дабы этой ценой обеспечить сохранение «великогерманского» военного потенциала.

Сегодня, излагая смысл последнего гитлеровского плана, невольно ловишь себя на мысли: постойте, ведь это то же самое, что делает Аденгауэр; это то же самое, чего хочет НАТО и чего добивается Бонн; то самое, что проводят в жизнь Хойзингер и Шпейдель. Но подождем говорить о сегодняшнем дне.

## ДОПРОС В БАД-МОНДОРФЕ

Здание главного штаба американских оккупационных войск в Германии, расположенное недалеко от центра Франкфурта-на-Майне, было притчей во языцех не только в городе, но во всей стране. Оно было построено в тридцатых годах знаменитым химическим трестом «И. Г. Фарбениндустри», и здесь размещались все руководящие органы треста. Отсюда шли нити к трем гигантским военным комбинатам, находившимся в Хехсте, Лeverкузене и Фридрихсхафене; к филиалам «И. Г. Фарбен» в гитлеровских ла-

герях смерти, ко всем органам управления военной промышленности третьего рейха. Наконец отсюда тянулись нити к американским и английским партнерам «И. Г. Фарбен» — к тресту «Империэл кемикл индастрис», к Дюпонам, к Морганам.

Дирекцию «И. Г. Фарбен» в годы войны называли «советом богов». Члены этого совета были в гитлеровской Германии действительно на положении небожителей: они заседали в сотнях наблюдательных советов банков и промышленных компаний, в штабах вермахта, в эсэсовских резидентурах — буквально всюду. Тем больше было удивление франкфуртцев, когда они наблюдали поистине невероятную картину: весь город был превращен англо-американской авиацией в развалины, а огромное здание «И. Г. Фарбен», представлявшее собой идеальную цель для бомбежки, стояло невредимым. Уже тогда, в 1945 году, в городе говорили: «Ого, американские связи пригодились директорам «И. Г. Фарбен»!»

Именно это здание генерал Эйзенхауэр избрал для своей штаб-квартиры, и это был неплохой выбор. Здание — огромное, удобное, просторное. Кругом огромный парк. Спокойствие, тишина, свежий воздух...

Пятнадцатого июня 1945 года группа советских офицеров, в числе которых был и автор этих строк, имела возможность убедиться в качествах франкфуртского здания. Но мы меньше всего обращали внимание на его архитектурные достоинства. Нам гораздо больше интересовал исход спора, происходившего за закрытой дверью — в кабинете, в который вошли двое из нашей группы.

Спор был вот о чем. В день капитуляции гитлеровской Германии между представителями командования советских и американских войск имела место договоренность, что советские офицеры получают возможность допросить тех главных военных преступников, которые окажутся в руках американцев. Шло время, и действительно подавляющее большинство главарей третьего рейха оказалось у американцев. В начале июня советское командование решило, что пришло время напомнить союзникам об их обещании. С этой целью и выехала из Берлина во Франкфурт-на-Майне наша небольшая группа.

Однако оказалось, что все не так просто. Генерала Эйзенхауэра не было на месте; нам пришлось иметь дело с начальником его штаба генералом Бедделлом Смитом и начальником разведывательного управления генералом Стронгом. Отношение обоих генералов к прибывшим советским офицерам было по меньшей мере странным. Они пустили в ход самые разнообразные аргументы, дабы доказать, что мы не имеем права допрашивать немецких военных преступников. Спор длился долго, пока мы не заявили, что немедленно возвращаемся в Берлин и доложим о позиции обоих генералов советскому командованию и в Москву.

Признаться, мы тогда не догадывались, что перед нами сидит один из самых злейших недругов Советского Союза. Генерал Бедделл Смит в послевоенный период снискал себе именно эту репутацию — сначала на посту американского посла в Москве, затем в качестве шефа Центрального разведывательного управления США. Да и в 1945 году среди американских генералов он был одним из самых реакционных; в частности, именно он весной (еще до 9 мая) вел переговоры с тем же Альфредом Иодлем на предмет «частичной капитуляции» и беседовал с ним о «большевистской опасности». Кто знает, может быть, он чинил нам препятствия, опасаясь излишней откровенности Иодля...

Однако генералам Смит и Стронгу пришлось скрепя сердце все же дать согласие на допрос. Очевидно, они боялись скандала, ибо им было бы трудно обосновать свой отказ. Генералы пошли иным путем — они ограничили число допрашиваемых (исключили из них Риббентропа и Кальтенбруннера), поставили жесткий двухдневный срок и создали другие ограничения. Лишь тогда мы смогли отправиться в дальнейший путь в сопровождении начальника отдела по делам военнопленных, настороженного, но корректного майора Маккласки.

Конечным пунктом нашего путешествия был маленький курорт Бад-Мондорф близ Люксембурга. Здесь находился американский лагерь для главных военных преступников, начальником которого был полковник Эндрюс — тот самый, который впоследствии стал начальником Нюрнбергской тюрьмы.

Лагерь выглядел очень мирно: в чудесном парке среди аккуратных аллей распо-

лагалось четырехэтажное здание отеля, в котором размещались пленные генералы, рейхслейтеры и рейхсминистры. Полковник Эндрюс гордо именовал здание «тюрьмой»; однако с тюрьмой сходство было весьма небольшое. Конечно, парк был обнесен колючей проволокой, а окна «камер» забраны легкой решеткой. На этом все строгости кончались — если не считать того, что незадолго до нашего приезда полковник Эндрюс распорядился заменить мягкие матрацы в «камерах» на жесткие тюфяки...

Сам отель едва изменил свой облик: красные ковры, альбомы в кадках, картины в богатых рамах. В уютных холлах по вечерам собирались не подагрические больные, а высшие чины гитлеровской Германии. Тюремное начальство не считало нужным лишить своих подопечных этого небольшого удовольствия.

В отличие от Смита и Стронга полковник Эндрюс принял нас очень любезно и поделовому. В частности, он не пытался настаивать, чтобы ему предоставлялись копии протоколов. В качестве «эрзаца» нам предложили, чтобы во время допроса присутствовал американский офицер или сержант. Мы согласились: нам совершенно нечего было скрывать от наших союзников.

Когда утром 17 июня наша маленькая группа подошла к «тюрьме», из-за решеток окон второго и третьего этажа на нас смотрело немало глаз. Можно предположить, какие мысли рождались в голове главарей разгромленной фашистской империи при виде советских офицеров — трех полковников, капитана и старшего лейтенанта. А вдруг повезут в Москву? Как позже выяснилось, именно такие опасения бродили в головах немецких генералов и рейхслейтеров.

Как выглядели главари третьего рейха? Самое безобразное впечатление производил Герман Геринг — рейхсмаршал, второе лицо в государстве<sup>1</sup>, кавалер всех возможных орденов Германии и ее сателлитов. За несколько недель плена он изрядно исхудал, и светло-голубой китель с рейхсмаршальскими петлицами висел на нем, как на вешалке. Геринг нервничал, руки у него дрожали, он даже слегка заикался, а зубы стучали о стакан, когда он судорожным движением глотал воду.

Но так было первые пятнадцать—двадцать минут допроса. Когда Геринг понял, что его не собираются увозить из Бад-Мондорфа, он приободрился, и вскоре его поведение резко изменилось. Перед нами оказался провинциальный остряк, развязный и нахальный. Страсть к вранью давно была отличительной чертой Геринга. Во время допроса он полностью оправдал свою репутацию. Достаточно сказать, что Геринг не моргнув глазом уверял нас, что узнал о подготовке к нападению на СССР лишь за один-полтора месяца до 22 июня; что ничего общего не имел с поджогом рейхстага; что был «кресовителем» Тельмана и «защитником» евреев, попавших в концлагеря...

Под конец допроса Геринг совсем разошелся. Правда, свои остроты он обращал в основном к толстому американскому сержанту, сидевшему в углу комнаты. Когда полковник А. И. Поташев поинтересовался, не были ли у главарей третьего рейха приготовлены «двойники» на случай краха, Геринг хлопнул себя по колену жирной рукой и закричал: «Не так-то просто найти мне двойника; пожалуй, пригодился бы этот сержант!» И тут же, не переводя дыхания, он заявил, что готов предложить Советскому Союзу свои услуги в качестве... командующего советской авиацией...

Полную противоположность Герингу представлял генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. От фельдмаршальского величия у него осталась лишь прусская выправка. Кейтель вошел в комнату, отрапортовал о прибытии, подождал приглашения сесть и, заискивающе глядя на советских офицеров, стал подробно отвечать на вопросы. Он отвечал обстоятельно, неоднократно извиняясь за ту или иную неточность, мучительно что-то вспоминая и каждые пять—десять минут повторяя: «Но я ведь только исполнял приказания... Фюрер решал все сам... У меня не было никакой власти...»

«Третий человек» в Бад-Мондорфе — генерал-полковник Иодль — и здесь показал, что именно он был настоящим начальником штаба у Гитлера. По сравнению с тупым и ограниченным Кейтелем Иодль производил впечатление человека, который, разбудив его ночью, может наизусть доложить данные о количестве и номерах армий, корпусов

<sup>1</sup> Гитлер лишил его этого положения лишь 23 апреля 1945 года, заподозрив Геринга в желании захватить власть.

и дивизий. Иодль говорил охотно: не очень откровенно, но откровеннее своих коллег. Иодль не сваливал все на Гитлера, а хотел подчеркнуть, что по всем вопросам имел и имеет свои «суждения». Память у него была действительно великолепная — эдакое запоминающее устройство в генеральских погонах! Остальные обитатели Бад-Мондорфа производили не менее угнетающее впечатление.

Допросы, проведенные нами за два дня в Бад-Мондорфе, не претендовали на полноту освещения всех проблем нацистской диктатуры и второй мировой войны. Да и смешно было об этом думать: мы допрашивали два дня, а в Нюрнберге на это потребовался почти год. Но, листая страницы допросов, сегодня видишь в них немало любопытного.

### КЕЙТЕЛЬ И ЛОГИКА ИСТОРИИ

Откинувшись на спинку стула и боясь пошевелить головой (фурункул на шее сильно донимал Кейтеля), фельдмаршал, отвечая на вопрос полковника А. М. Смылова, говорил: «Вы понимаете, что начальник штаба верховного главнокомандования страны, которая продолжает вести войну, не может придерживаться мнения, что война будет проиграна. Он может только предполагать, что война не может быть выиграна. С лета 1944 года я понял, что военные уже сказали свое слово и не могут оказать решающего действия — дело оставалось за политиками...»

Иодль на эту же тему: «Мне стало ясным, что одними военными средствами мы войны выиграть не можем...»

Что же касается Геринга, он в ходе допроса несколько раз (каждый раз адресуясь к американскому сержанту) говорил о том, что Гитлер поручил ему достигнуть «компромисса»<sup>1</sup>, и о том, что он, Геринг, считал, что надо «вступить в переговоры с одной из стран, так как полагал, что победить военными средствами уже нельзя».

Итак, все та же навязчивая идея: «победить политическими средствами, ибо военными средствами победить нельзя». Что она означала? Это был тот самый «политический план» — план сговора с наиболее реакционными и близкими Гитлеру по духу группировками в США и Англии, чтобы соединенными усилиями повернуть войну против Советского Союза.

Нет нужды доказывать, насколько реакционной и враждебной прогрессу человечества была и остается эта идея. Она вынашивалась международными монополиями с самого момента Октябрьской революции, пропагандировалась перед второй мировой войной и стала в наши дни основой для НАТО. Но в бад-мондорфских «откровениях» есть еще одна сторона, которая требует особого рассмотрения, ибо очень важна для сегодняшнего дня. Речь идет о закономерности победы той или иной стороны в мировой войне и о возможности «повернуть» ее ход военными или политическими средствами.

Одним из важнейших уроков, которые человечество вынесло из испытаний второй мировой войны, должно быть понимание закономерности победы антигитлеровской коалиции, возглавлявшейся Советским Союзом, и понимание закономерности поражения Гитлера, вознамерившегося уничтожить первое в мире социалистическое государство. Многие буржуазные историки склонны замазывать подобные закономерности: они готовы признать факт поражения вермахта, однако считают, что поражения могло бы и не быть. Выдвигаются десятки версий, среди которых главная — «профессиональный дилетантизм» Гитлера, который-де, мол, не слушал советов генерального штаба и совершил грубейшие просчеты. Недаром один западногерманский историк так и назвал свою книгу о Гитлере: «Человек, который проиграл вторую мировую войну».

Когда фашистская клика, приведенная к власти Тиссенем, Круппом, Фликом и другими тузами германского капитала, стала планировать новую войну, ее лидеры ни на минуту не сомневались в успехе. От года к году эта уверенность росла, тем более что многие западные политики — во Франции, Англии, Польше — подталкивали Гитлера.

<sup>1</sup> Геринг на этот раз не вран: свидетелем подобного разговора был стенограф Гитлера Гергезель.

Они подсказывали: «Скорее, скорее на Советский Союз, один мощный удар — и он развалится!..»

Гитлер испробовал эту рекомендацию своеобразным путем: он проверил мощь ударов вермахта на ряде буржуазных государств — начал с Польши, продолжил во Франции и уже собирался приступить к Англии. Все эти страны оказались не в состоянии противодействовать ударам танковых колонн вермахта. Из этих событий Гитлер сделал неожиданный и незакономерный вывод: он решил, что социалистическое государство падет так же быстро, как это было с Польшей, Францией, Норвегией и другими странами Западной Европы.

Германский империализм никогда не отличался трезвостью расчетов. Если бы чиновники с Вильгельмштрассе и генералы из ОКВ имели мужество трезво взглянуть на Советский Союз, на его потенциал, на силы его общественного строя, то они закаялись бы составлять план «Барбаросса». Но этот план был составлен, и в скорую победу вермахта верили не только в Берлине, но в Лондоне и в Вашингтоне. Например, Рузвельту докладывали, что СССР сможет сопротивляться лишь один-два месяца, а Черчилль, встретившись в августе 1941 года с Рузвельтом, сказал ему: «Русские? Конечно, они оказались гораздо сильнее, чем мы когда-либо смели надеяться. Но кто знает, сколько еще... Когда сопротивление русских в конце концов прекратится...»

«Сопротивление» не только не прекратилось, но оно переросло в победу. Это было закономерно. Даже в самые тяжелые дни войны, в горькие часы поражений советские люди верили в свою победу. Это не была пассивная вера, это была та самая идея, которая, овладев массами, становится материальной силой. Сквозь цепь случайностей пробивалась закономерность. Из горечи поражений росла воля к победе. Человек мирного социалистического труда научился быть воином и закончил свой поход в Берлине.

А Гитлер? Он не хотел, да и не мог этого понять. Ему, как и его генералам и дипломатам, казалось, что все происходящее на Восточном фронте в 1942—1945 годах — лишь «досадное недоразумение». Например, фельдмаршал Манштейн в своих мемуарах пишет, что он никак не мог понять, откуда у Советской Армии берутся силы. Он приводит свой разговор с начальником генштаба Цейтцлером, который на вопрос Манштейна о перспективах войны в отчаянии воскликнул: «У этих русских когда-нибудь должны ведь иссякнуть силы!»

Силы не только не иссякли, но прибывали с каждым днем, с каждой неделей. А в бункере имперской канцелярии с тоской ждали: а вдруг что-нибудь случится и войну удастся выиграть? Такова была примитивная подоплека расчетов Иодля, Кейтеля, Геринга, да и самого Гитлера на «выигрыш политическими средствами». Трезвому государственному и военному деятелю должно было давно стать ясным: никакими средствами войны не выиграть, ее продолжение лишь принесет миру новые несчастья, а немецкому народу — бессмысленные жертвы.

Этого в бункере имперской канцелярии и в ОКВ не поняли и не хотели понять. Расплата была неумолимой. Третий рейх прекратил свое существование — он прожил не тысячу, а двенадцать лет. Казалось бы, какой суровый урок любому агрессору! Можно понять усердие нынешних идеологов империализма, которые всячески стремятся исказить смысл исторических событий, пытаются замазать неизбежность поражения Гитлера. В этом усердии едины многие западногерманские, английские и американские историки. Но сколько бы ни предлагалось новейших версий, историческая правда одна: нет и не будет на свете такой силы, которая могла бы повернуть назад колесо истории. Социализм непобедим, и это должны зарубить себе на носу все, кто хочет повторить авантюру Гитлера.

## ГЕНЕРАЛЫ ПРОИГРАННОЙ ВОЙНЫ

В Бад-Мондорфе Герингу, Кейтелю и Иодлю был поставлен такой вопрос: когда руководство гитлеровской Германии поняло, что проиграло войну?

Ответ Германа Геринга был самым несерьезным и, как в прочих случаях, был адресован американскому представителю на допросе. Он сказал: «Сомнения в исходе войны возникли у меня после вторжения союзных армий на Западе...»

Кейтель ответил так: «Оценивая обстановку самым грубым образом, я могу сказать, что этот факт стал ясным для меня к лету 1944 года. Однако понимание этого факта пришло не сразу, а через ряд фаз соответственно положению на фронтах...»

Эти «фазы» Кейтель описывал следующим образом. После зимы 1941 года он считал, что возник «момент известного равновесия» сил; после битвы на Волге ОКВ поняло, что «война скоро не могла быть увенчана военной победой»; а после Курска стало ясным, что «нельзя было больше вести наступательных операций большого масштаба».

Иодль оказался более откровенным. Он сначала упомянул о своем письме Гитлеру, которое было написано в феврале 1944 года и в котором он говорил о неминуемом поражении. Затем по поводу итогов 1943 года он сказал: «Бои 1943 года показали, что инициатива полностью перешла к русским...»

Объективное положение вещей уже выяснено советской военной наукой. После московской битвы, нанесшей немецкой армии мощный удар, вермахт смог оправиться, но битва на Волге обозначила великий перелом. В глубине души даже Гитлер понимал это. Как вспоминал Иодль, уже в начале 1942 года фюрер делился с ним своими заботами по поводу того, что «победу одержать будет нельзя». На рубеже 1943 года он снова сказал Иодлю: «Бог войны отвернулся от нас».

В стенографических записях ежедневных оперативных совещаний у Гитлера содержится отчет о совещании 1 февраля 1943 года, происходившем в пресловутом «Волчьем логове» — полевой ставке близ Растенбурга. На нем, кроме Гитлера, были только тогдашний начальник генштаба генерал Цейтцлер и военный адъютант Гитлера майор Энгель. Шла речь о последствиях поражения на Волге, об угрозе отхода из Донбасса, об охватывающих операциях советских войск. Цейтцлер докладывал обо всем этом. «Я еще должен подумать», — сказал Гитлер. — Но могу сказать: у нас уже не будет возможности закончить войну на Востоке наступательным образом. Это должно быть нам ясно». Итак, роковое слово было произнесено. В ходе 1943 года не произошло ничего, что могло бы заставить Гитлера изменить эту оценку.

Правда, 8 мая 1943 года он сказал своему верному слуге Иозефу Геббельсу: «Я уверен, что рейх когда-либо овладеет всей Европой. Нам надо будет перенести еще много боев, но они, безусловно, принесут нам великолепные успехи. Тогда будет практически открыт путь к мировому господству». Однако Курская битва могла дать заравшемуся фюреру понять, куда для него открыт путь: к мировому господству или в могилу?

Может возникнуть вопрос: стоит ли разбираться в том, когда именно гитлеровская ставка перестала верить в победу? Мы знаем, что война против Советского Союза была безнадежной для агрессора с самого 22 июня 1941 года. Веря или не веря в победу, нацистские главари несли горе и смерть народам Европы.

Но важно и другое. Для немецкого милитаризма — впрочем, не только для немецкого — издавна было характерным глубокое презрение к своему собственному народу. Как Вильгельм II, так и Гитлер, следуя умонастроениям рурских баронов, был преисполнен ненависти к немецкому народу. Такой же ненавистью Николай II ненавидел русских, Тьер — французов, Муссолини — итальянцев, Маккарти — американцев. Для нацистской клики немецкий народ был пушечным мясом, орудием борьбы за мировое господство. Именно поэтому Гитлер и его генералы продолжали войну даже тогда, когда знали, что война проиграна. Война, которая и раньше была преступлением гитлеровской клики по отношению к немецкому народу, становилась преступлением в квадрате, в кубе...

В конце проигранной войны Гитлер не смущался открыто говорить о своей ненависти к немцам. «Если немецкий народ оказался таким трусливым и слабым, то он не заслуживает ничего иного, как позорной гибели», — так изрек он весной 1945 года. Или еще: «Если война проиграна, то и народ гибнет. Эту судьбу отворотить нельзя. Нет необходимости в том, чтобы обращать внимание на сохранение элементарных основ жизни народа. Наоборот, лучше эти основы уничтожить... Кто останется в живых, тот уже тем самым становится малоценным. Лучшие погибли!»

Знаменитое изречение «После меня — хоть потоп» Гитлер интерпретировал по-своему: он сям организовал кровавый потоп для своего народа! И именно в этом состоит прямая переключка гитлеровской политики с тем курсом, который взяли после войны стратеги из Пентагона и Бонна.

Сейчас не 1945 год. Но проблематика «проигранной войны» сейчас отнюдь не стала менее актуальной. Те, кто отрицает закономерность поражения Гитлера, с маниакальной уверенностью идут к тому, чтобы очутиться в положении Гитлера. Ведь, как ни раскладывая карты в западном пасьянсе, как ни выдумывая новые орудия уничтожения — нельзя отменить законов развития человечества. После 1945 года они с неумолимой последовательностью привели к созданию великого социалистического содружества. Там, где перед Гитлером стоял лишь один Советский Союз, там стоит сейчас мощная оборонительная организация Варшавского договора, располагающая самым современным и самым совершенным оружием. Не видеть это могут только политические слепцы. Но они сидят в Вашингтоне и Бонне.

Разумеется, в положении Гитлера и Макнамары, в положении Иодля и Хойзингера есть различия, но они едва ли в пользу Макнамары и Хойзингера. Фанатик Гитлер хотя бы верил в то, что победит весь мир. Сейчас все американские генералы хором объявляют, что в ядерной войне не будет победителя. Кейтель считал вермахт непобедимым, а советник президента Кеннеди Киссинджер признает, что Соединенные Штаты «более не всемогущи и не неуязвимы». И уж, конечно, все генералы бундесвера не раз слышали грозное предупреждение, что агрессия с территории ФРГ приведет к мгновенной гибели Западной Германии. В этих реальных условиях подготовка ядерной войны со стороны генералов Пентагона и Бонна уже с самого начала становится преступлением против своих народов, преступлением в любой мыслимой степени.

### СУДЬБА ПЛАНА ИОДЛЯ

За восемнадцать лет на сцене западной политики сменилась историческая декорация. Ушли Гитлер, Иодль, Кейтель. Теперь военными планами, направленными против социализма, занимаются другие люди. Мы читаем на страницах газет фамилии Норстеда, Тэйлора, фон Хасселя, Лемницёра. Попадаются и знакомые имена: Хойзингер и Шпейдель сменили погоны генералов вермахта на погоны бундесвера и свои посты в ОКВ — на посты в НАТО. Генерал Фридрих Ферч стал генеральным инспектором бундесвера. И даже Ульрих де Мезьер уже не подполковник вермахта, а генерал бундесвера...

Но дело не только в именах. Через восемнадцать лет после окончания войны под ней еще не подведена черта. Нет еще мирного договора, нет прочного и надежного мира в центре Европы. И в этом вина тех политических деятелей буржуазного мира, которые, пренебрегая уроками истории, держатся за старые, обреченные на провал планы.

Когда мы анализировали смысл «фленсбургского плана», то уже в тогдaшнем виде он выглядел как упрощенное изложение программы Аденауэра — Хойзингера — Штрауса. «Продаться западным державам», заручиться их помощью, натравить их на Советский Союз, восстановить силы — трудно сказать, где здесь Иодль, где Аденауэр...

Не случайно на западе Германии из политического небытия сейчас возникают деятели давно ушедшего мира, полагающие, что пришел их час. Кто вспоминал о Карле Денице, отбывшем свой срок в Шпандау и доживающем на свою адмиральскую пенсию в Западной Германии? Но «законный преемник» фюрера сам решил напомнить о себе. В начале февраля 1963 года Карл Дениц выступил в необычной для себя роли: он изволил прочитать лекцию в гимназии маленького городка Геестакт. Тема лекции: «30 января 1933 года и его последствия»<sup>1</sup>. Лекция состояла лишь в том, что гросс-адмирал пел дифирамбы своему мертвому фюреру. Заодно Дениц оправдывал свое поведение во Флессбурге, когда он призывал немецкий народ продолжать бессмысленное кровопролитие.

<sup>1</sup> 30 января 1933 года — день прихода Гитлера к власти.

Недаром говорят, что времена меняются. В 1956 году, когда отставной капитан Ценкер выступил с попыткой реабилитации Деница, это вызвало скандал и возмущенные запросы в западногерманском бундестаге. Теперь дело обстоит иначе: Ценкера назначили главнокомандующим западногерманским флотом, а Дениц смело выступает в качестве учителя истории. Теперь уже не Деница реабилитируют, а сам Дениц реабилитирует Гитлера.

В появлении Деница нет ничего удивительного. Если сейчас Пентагон формирует «многосторонние ядерные силы» НАТО на базе подводных лодок с ракетами «Поларис», то как не подать голос такому мастеру подводной войны, как Дениц? Причем Дениц не одинок. Он читает лекции в школе, но его коллеги и единомышленники командуют бундесвером, сидят в боннских министерствах. Списки бывших нацистов, занимающих высокие посты, все время растут. Хотя Бонн с деланым возмущением отмечает все аналогии с третьим рейхом, факты говорят куда красноречивее, чем опровержения. Недаром генеральный прокурор земли Гессен д-р Бауэр недавно откровенно признался: «Если бы Гитлер вернулся в Западную Германию, то он бы многих устроил». Он, конечно, думал не о человеке Гитлере, а об историческом феномене гитлеровской политики, к рецептам которой с поразительным автоматизмом возвращаются в Бонне.

Автоматизм действий международного империализма действительно поразителен. Но он объясним: в арсенале милитаризма нет и не может быть новых идей. Кризис старого мира распространяется и на его стратегические концепции. Вместе с поэтом мы можем говорить, что «знаем мелодию, знаем слова, мы авторов знаем отлично». Агрессоры вращаются в заколдованном кругу, ибо не хотят отказываться от своей основной идеи — антикоммунизма. Это определяет смысл политики канцлера Аденауэра и его военных советников.

Но, принимая эстафету от германского империализма гитлеровской эпохи, западногерманский империализм боннской эпохи не учитывает одного важнейшего и решающего обстоятельства. В Бонне позабыли, что мертвые не только хватают живых, но что они могут издеваться над живыми. Иодль мог предложить план действий, однако нюрнбергская виселица избавила его от необходимости давать свои комментарии к событиям, последовавшим после 1945 года. Адольф Гитлер за несколько часов до самоубийства злобно сказал одному дипломату, призывавшему его «делать политику»: «Политику? С меня довольно! Мне все опротивело. Когда меня не будет в живых, вам еще долго придется делать политику!» Гитлер избавил себя от подобной необходимости. Иодлю и Кейтелю помогли в этом деле в Нюрнбергской тюрьме. Дениц отправился в тюрьму для главных военных преступников в Шпандау. А план остался...

Если бы у лидеров западногерманского империализма было бы хоть на гран политической прозорливости, они поняли бы, на какой рискованный путь вступают. Они могли бы предвидеть, что в послевоенном мире уже не будет действовать «категорический императив» политики силы Запада. В послевоенном мире стать на путь заведомой вражды с социалистическим миром — значило стать на путь подготовки заранее проигранной войны.

Аденауэр и его генералы приступили к осуществлению плана Иодля и сейчас считают, что почти выполнили его. Боннская печать, захлебываясь, воспекает небывалое в истории возрождение государства, только восемнадцать лет назад лежавшего в прахе обломков. Однако есть некоторые реальные обстоятельства, которых не видят или не хотят видеть в Бонне. С присутствием прусской традиции автоматизмом Бонн решил разыграть в послевоенных условиях старую карту антикоммунизма. А условия-то изменились!

Расчет был на то, что, став на сторону Запада, германский милитаризм будет на стороне «сильнейших батальонов». А батальоны социализма оказались сильнее!

Расчет был на то, что удастся быстро расправиться с социализмом на немецкой земле — если не в 1953 году, то уж по меньшей мере в 1961 году! Этот план оказался неисполненным и неисполнимым.

Расчет был на то, что в послевоенной Европе не удержатся границы второй мировой войны. Но они стали прочнее, чем были в 1945 году.



Расчет был, наконец, на то, что ценой безоговорочной вражды к социалистическому лагерю Западная Германия купит себе на Западе «прощение всех грехов». Сейчас стоит бросить лишь беглый взгляд на раздоры в НАТО, на конфликты между Бонном и Лондоном, между Бонном и Вашингтоном, чтобы убедиться в беспочвенности подобных надежд.

Так боннский курс становится самому себе опаснейшим врагом. Рецепты Иодля оказались подобными медленно действующему яду, проникающему в недра западной политики. Но в Бонне, Париже, Лондоне и Вашингтоне делают вид, что ничего не замечают. Такова сила инерции антикоммунистического мышления, которому чуждо понимание смысла приговора истории.

## ГОДЫ И ГОДОВЩИНЫ

Если надо было предоставить миру еще одно свидетельство того, каким острым жалом поражает нынешних духовных наследников вермахта любое напоминание об уроках истории, то это свидетельство было получено в дни славного двадцатилетия великой битвы на Волге.

Пословица гласит: скажи, кто твой друг — и я скажу, кто ты. Можно предложить такой парафраз: скажи, какие праздники ты празднуешь — и я скажу, кто ты. 1 февраля 1963 года в честь победы на Волге на центральной площади Волгограда зажегся неугасимый огонь. Маршалы и солдаты, инженеры и рабочие, старики и молодые смотрели неотрывным взором на пламя, колеблющееся на февральском морозе. Каждый видел в нем самое дорогое, самое светлое, незабвенное.

К этому празднику готовились долго. Готовились в Волгограде, где искру для вечного огня решили принести с Волжской ГЭС, носящей имя XXII съезда КПСС. Готовились в Берлине, где у антифашистского «защитного вала» молодые солдаты Национальной народной армии зорко следят за тем, чтобы немецкий народ не стал бы жертвой новой авантюры. Готовились в Париже, откуда известный телевизионный комментатор выехал в Москву, чтобы проинтервьюировать двух участников великого сражения — Никиту Сергеевича Хрущева и Родиона Яковлевича Малиновского. Готовились даже в Гамбурге, где руководство Северогерманского радио решило передать телеспектакль о гибели армии фельдмаршала Паулюса.

Годовщина миновала — и в чистую мелодию реквиема героям вмешались две резкие фальшивые ноты. Передача Северогерманского радио была подвергнута «разгрому» в специальном распоряжении генерального инспектора бундесвера Фридриха Ферча. А телевизионная передача интервью советских государственных деятелей в Париже была просто-напросто запрещена.

Оба этих события исключительно показательны для той духовной ситуации, которая складывается сейчас в двух основных европейских странах НАТО. В мышлении правителей этих двух стран есть общая линия на пренебрежение уроками истории. И те и другие хотят вычеркнуть из памяти своих народов события второй мировой войны — делая это из прямо противоположных соображений. Боннские политики хотят заставить немецкий народ забыть, что они были с Гитлером. Парижские политики хотят заставить свой народ забыть, что они были против Гитлера. Для Бонна это была плохая война, ибо она проиграна. Для Парижа война стала плохой, ибо она была выиграна. Для Бонна линия НАТО становится линией ревизии своих поражений. Для Парижа линия НАТО лишает Францию ее победы. Противоположности? Да, но такие, которые сходятся.

Для генерала Ферча и западногерманского бундесвера уроки всей войны и в особенности уроки битвы на Волге представляют собой нечто гораздо большее, чем неприятное воспоминание. Фридрих Ферч не из тех, кто хочет чему-либо учиться. В отличие от генералов из 6-й армии Паулюса, он не был на Волге. Сидя в прекрасно оборудованном блиндаже, он руководил варварским обстрелом Ленинграда. Когда он давал указания о разрушении Новгорода, Пскова и Острова, он не мерз в снежных степях. Даже когда он очутился в «курляндском котле» — и здесь он не расставался с комфор-

том. Прекрасно усвоив нацистскую идеологию, он спасал свою жизнь ценой жизни тысяч немецких солдат. Бояться он мог только одного — что эти солдаты поймут преступный смысл войны, преступный смысл пресловутого нацистско-прусского принципа: сражаться во что бы то ни стало, пусть это будет бессмысленным и бесперспективным. Любое напоминание о волжской битве для Ферча — удар по его «философии войны».

Двадцать лет спустя Ферч испугался того же самого. В специальной инструкции всем командирам частей бундесвера по поводу телевизионной передачи о волжской битве он ополчился на нее лишь по одной причине: она-де, мол, ставит под вопрос принцип безусловного повиновения и продолжения боя в безнадежной ситуации. А эти принципы, утверждает Ферч, суть непреходящие основы военного ремесла!

Истина всегда конкретна. Так и в данном случае: рассуждать о повиновении можно много. Но камуфляж «общечеловечности» быстро спадает с рассуждений Ферча, когда выясняется, что для него повиновение Гитлеру и его преступному приказу есть конкретная форма повиновения, о которой он мечтает. Именно это быстро гообразила почти вся западногерманская пресса, которая без обиняков поставила генералу вопрос: итак, вы одобряете безоговорочное повиновение Гитлеру?

Конечно, Ферчу есть о чем беспокоиться. Вместе с руководителями боннского государства он не может не видеть, что граждане Федеративной Республики не воодушевлены идеей умереть в термоядерной войне. Простые немцы в ФРГ понимают, что если американский военный министр Макнамара обещает для первых недель ядерной войны восемьдесят миллионов жертв, то добрый десяток миллионов выпадает на долю Западной Германии. Кто в Мюнхене или Дюссельдорфе не понимает, какой страшный ответный удар ожидает ФРГ, если бундесвер спровоцирует атомный конфликт...

Ну, а Париж, почему он оказался в одной компании с Бонном в февральские дни 1963 года? 22 января в Елисейском дворце был подписан документ, который надолго войдет в коллекцию самых черных сделок XX века. Это был договор о военном сотрудничестве ФРГ и Франции. Он предусматривает далеко идущие меры по координации военной политики обеих стран, а также меры координации в области пропаганды, радио, телевидения, преподавания истории и так далее. Как же можно было после этого напомнить об уроках волжской битвы, столь неприятной генералу Ферчу? 2 февраля официальный Париж просто заплатил первый взнос по счету 22 января — причем заплатил не деньгами, а здравым смыслом.

• • •

Двадцать первого июня 1961 года, в канун двадцатилетия начала Великой Отечественной войны, Никита Сергеевич Хрущев говорил: «Мы вновь и вновь обращаемся к событиям второй мировой войны потому, что как сама война, так и период, предшествовавший этой войне, позволяют народам извлечь весьма поучительные уроки...»

Уроки войны записаны в книге истории. В эту книгу занесен тот приговор, который народы вынесли германскому нацизму и всем силам агрессии. Об этом мы вспоминаем, когда празднуем годовщину Победы. Это не только дань памяти. Это сознание мощи, которое дает нам возможность бдительно следить за отчаянными попытками сил старого мира пересмотреть итоги войны, пренебречь ее уроками. Но мы знаем: этим силам вынесен окончательный приговор — и обжалованию он не подлежит.



Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

## СОВХОЗНЫЕ БУДНИ

### БОРЬБА ЗА ВЛАГУ

**Н**ад Европой и Америкой в этом году свирепствовали холода и метели, а в наших суровых целинных краях стояла на редкость мягкая погода...

Мокрый снег то и дело переходит в дождь. Скользко. Шофер нашего «газика» машину ведет осторожно, избегая резких поворотов. Временами проглядывает солнышко. К вечеру, может, и прояснится. А на ночь, глядишь, и заморозок. Такая вот погода стоит всю зиму: то тихо и безоблачно, то вьюжно, то обжигает морозцем, то ростепель...

Хороша или плоха «неуравновешенная» зима для накопления влаги? Начальник производственного управления Владимир Семенович Назаров, с которым мы беседовали в Красноармейске, настроен в общем оптимистически:

— Сухой снег легче уносит с полей, а такой все же понемножку налипает к земле...

Похвастать, правда, особенно нечем пока: снежный покров на полях совхозов Красноармейского управления, через которые проезжаем, не так-то глубок, как хотелось бы. Сейчас он тает, понемногу оседает. На бугорках проступают темные проплешины. И все же прав начальник управления: нынче положение значительно лучше, нежели в прошлом году, зябь не черная.

Смотришь по сторонам на бескрайние, прикрытые плотным сырым снежком поля и невольно возвращаешься мыслью к прошлому — очень поучительному — году. Почему результаты оказались пестрыми, почему у многих, как это говорится, «не получилось»?

Осень шестьдесят первого года была сухой, зима солнечной и ветреной. Небольшие осадки выпали, но там, где их не сумели закрепить и целую зиму поля простояли голым-голенькими, земля потрескалась, вымерзла. А весна прошлый год выдалась исключительно ранняя. Уже в апреле нешадно палило солнце. По вееновспашке и поздней зяби сеяли, что говорится, пыль столбом — в совершенно иссушенную землю. В некоторых хозяйствах обоснованно тревожились: «Получим ли всходы?» Очень подбодрил июнь — принес он теплые и щедрые осадки. Распаханная степь радовала: всходы густые, темно-зеленые, ровные. Многие уже ликовали. «Еще один дождичек — и зерна будет навалом». Приехал я, помнится, в конце июня в совхоз «Урумкайский» Щучинского района. Тамошние молодые агрономы меня твердо заверяли:

— Теперь все в порядке! Хлеб будет!

Судя по многим годам, так оно могло бы и быть.

Но нет! В Целинном крае, особенно в зонах чисто степных, наиболее ценные, эффективные осадки — это осенние и зимние. Накопишь их, сохранишь весной — выиграешь; упустишь их — и последнюю грунтовую влагу высосут сорняки. Без запасов почвенной влаги не спасла и июньская ливневая, легко испаряющаяся «верховодка». Жестокая июльская засуха резко приостановила развитие растений, перепутала все расчеты. Где ожидали получить по двадцать центнеров с гектара — собрали по десять, по семь, где рассчитывали на урожайность в двенадцать — пятнадцать центнеров — там намолотили по пять, а были и такие, что едва наскребли «сам-сам», то есть семена...

Владимир Семенович Назаров пользуется большим авторитетом. И это естественно: он один из первопроходцев земли целинной, был организатором и до последнего времени бессменным руководителем хорошего совхоза «Ялтинский». Местное земледелие знает основательно.

Когда мы рассуждали с ним об особенностях здешнего климата, он заметил, что ни один год не походит здесь на другой. Все разные. Лишь одна черта — очень важная — обычно, к сожалению, повторяется: засушливость. Поэтому главную задачу производственного управления он видит в том, чтобы пробуждать личную творческую заинтересованность в деле у самих работников совхозов и колхозов, воспитывать в них внимательное отношение ко всем даже малейшим проявлениям местных особенностей, учитывать их, уметь пользоваться ими.

Борьба за зимнюю влагу имеет здесь особенно большое значение. Снег — это и тепло, и вода, и в конечном счете урожай. А как мы его задерживаем? Работа эта в условиях степного земледелия нелегкая. Но в ней, к сожалению, еще много от шаблона, от механического подхода к делу.

Помогают и кулисы, и лесные полосы, и безотвальная обработка почвы, но основным средством борьбы за снег все же была и пока еще остается работа снегопахами. Слов нет, снегопахи, особенно риджерного типа, орудия полезнейшие. Но во всех ли случаях и условиях?

В степи пока еще ветер хозяин. Сколько раз приходилось наблюдать, когда бездумная перепашка рыхлого снега в морозную погоду приводила (если не сразу, то в последующие дни) к его выдуванию. И получалось не снегозадержание, а снегоразбазаривание! А иногда бывает и так: дана команда начать — паша да паша, а там, глядишь, попал в сводку передовиков по накоплению зимней влаги. Сколько сделал перепашек, из сводки известно, а какой фактический снежный покров и какой прок от перепашки — этого оперативная статистика не предусматривает.

Обо всем этом мы обстоятельно и долго толковали с Назаровым. Он давно уже задумывается над тем, как сохранить зимнюю влагу.

— Сам-то прием вздыбливания снега в валки или гребни хорош где-нибудь под Москвой или Тулой, а для нас далеко не всегда возможен и правилен. Не приподнимать снег, не пушить его, а уплотнять, приклеивать его к пашне — в этом задача... Ведь не всегда бывает что перепашивать. Чтобы работать снегопахами, нужен по меньшей мере десяти-пятнадцатисантиметровый слой снега. А вот прижать к земле можно и малый снежок, не допуская, чтобы его унесли с полей свирепые степные ветры.

В совхозах Красноармейского управления уже начали отступать от привычного шаблона. Проезжая через поля совхоза «Победа», можно увидеть, как заснеженную равнину полосуется специально приспособленные «агрегаты» катков. В зимнюю ростепель и вообще в мягкую погоду это особенно эффективно. Укатанные до блеска снеговые полосы уплотнятся на морозе, заледенеют, а весной не поддадутся преждевременному таянию. Любопытное совпадение в поисках: у соседей-омичей — в совхозе с таким же названием «Победа» Русско-Полянского производственного управления — работают нынче не снегопахи, а тяжелые многополосковые сани...

Поучительно и следующее: в прошлом году именно совхоз «Победа» получил наивысший урожай по Красноармейскому управлению и единственный среди всех хозяйств в резко засушливый год перевыполнил план хлебозаготовок. Не последнюю роль сыграло здесь и то, что в прошлую зиму под руководством главного агронома-практика В. В. Кухаренко накапливали снег с умом, по-новому.

Целине нужен разнообразный набор широкогабаритных снегозадерживающих и уплотняющих орудий.

Быстро исчезают весной снега с наших полей. Драгоценные весенние воды испаряются, сбегая ручейками в многочисленные балочки, скапливаются в солонцеватых «блюдечках». Но задержание талых вод — пока еще только призыв, обязательная строка для резолюций о подготовке к весне. А практически кто этим занимается? Положа руку на сердце ответим: пока никто!

Правда, на Кокчетавской опытной станции нынешней осенью впервые применили такой способ: по выровненной зяби специальным «агрегатом» катков в шахматном

порядке сделали лунки. Способ общедоступный, но это лишь первая попытка задержать влагу в условиях осени. А где же проверенные рекомендации о лучших способах весеннего задержания?

Может, это мудреное дело? Совсем нет! Назову лишь один способ, который широко применяют хлеборобы левобережья Среднего и Нижнего Поволжья — это то же «каткование» весной. Для весны у них, так же как и в Целинном крае, характерны дневные оттепели и ночные заморозки. С наступлением тепла волжане снежный покров опять же приминают катками, чтобы за ночь он покрылся коркой. И просто, и очень верно!

### НА ТРАССЕ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ

На степных дорогах распутица. Но по ним с шипением, грохоча на выбоинах, проносятся могучие ЯАЗы и МАЗы с тяжелыми прицепами. На каждом уложено по пяти длиннющих водопроводных труб.

— Тридцатиметровые, а диаметр полметра! — отмечает почтительно наш водитель Виктор, человек вполне осведомленный, как я убедился, во всем, что касается местных дел.

Из разговора выясняется, что этот рослый здоровяк — из семьи местных старожилов, сын заслуженной учительницы Казахской республики Степаниды Елисеевны Отрощенко. Он очень начитан и даже в рейс прихватывает с собой учебник, чтобы на стоянке не терять даром времени. Он заочник Горьковского автодорожного техникума. Притом подчеркивает:

— Мы с женой оба заочники.

Агроном со средним образованием, жена Виктора работает в совхозе и одновременно учится в Омском сельскохозяйственном институте...

Трубы, трубы... Это будущий Булаевский водопровод. Он принесет ишимскую питьевую воду во многие хозяйства двух смежных областей — Северо-Казахстанской и Кокчетавской. На Кокчетавщине воду получают особенно бедные пресными источниками северо-восточные хозяйства и поселки: совхозы имени Кирова, «Кантемировец», «Тихоокеанский», «Ленинградский», «Кзылтуский» и многие другие. Строители водопровода (строит «Главгаз СССР») работают горячо, перевыполняют календарные планы. Во всяком случае на участке совхоза имени Кирова, куда мы держим путь, все звенья водопровода уже на месте. Трубы не только выложены в единую нить, но и сварены.

И какое же гигантское сооружение — этот степной водопровод! Ведь тут и Сергиевское водохранилище, и водонапорные башни, насосные станции и подстанции, сотни, если не тысячи, колонок! Одна Булаевская «нитка» протянется на 1754 километра. Но, кроме нее, в кольцо входит Ишимская линия — еще большей протяженности. Такого водопровода еще не знает мир! Признаюсь, даже меня, местного жителя, масштабы строительства (общая длина линий 3530 километров!), когда я увидел его воочию, просто ошеломили. О таком сооружении в довоенные годы писалось бы, наверное, не меньше, чем о Каракумском канале. А сейчас даже в местной печати одна-две репортерские заметки — и все. Не буду оправдывать ни себя, ни других местных журналистов: мы в большом долгу перед этим гигантским строительством и его людьми. Правда, в сопоставлении с масштабами Братской ГЭС, сооружениями Темир-Тау или Рудного и даже со всем размахом теперешнего строительства на поднятой целине Ишимско-Булаевский водопровод — только крупная деталь. Очень существенная, но все же деталь.

Таков разбег нашей могучей и богатой страны по пути к коммунизму!

### СТАРЕЙШИЙ

Когда приезжаешь в совхоз старый, то, естественно, ищешь и соответствующие его возрасту признаки: лучшую отгороженность, обжитость, солидность. Совхоз имени Кирова не то что старый — старейший. Он относится к небольшому числу зерносовхозов-пионеров, организованных на основе постановления июльского Пленума ЦК ВКП(б)

1928 года. Первая посевная здесь проводилась еще в 1930 году. Одним словом, это почти ровесник знаменитого «Гиганта», что в Сальских степях. А возраст, естественно, обязывает.

Но скажем прямо: и в старом совхозе еще много несовершенств и недобстроенности, не полностью еще ликвидирована и нужда в жилье.

Ворошить всю пеструю историю хозяйства вряд ли требуется, хотя она поучительна. Необходимо только заметить, что и в годы коренного поворота к сельскому хозяйству, в период массового освоения новых земель, когда добровольцы приезжали эшелонами и «прививались к колышку»,— основное внимание, конечно, уделялось не достройке старых, а созданию новых целинных совхозов: «Старое хозяйство? Подождете, пока не до вас!» Кой в чем (в том числе и по строительству) отдельные молодые хозяйства, которым ведь тоже по девять-десять лет, даже обогнали старейший совхоз. Но во многом коллектив совхоза-ветерана, как это и должно быть, продвинулся дальше. Кстати говоря, это последнее обстоятельство меня сюда и привело.

Без маленькой статистической справки не обойдешься. 1961 год хозяйство закончило с прибылью. Урожайность была выше плановой, а по количеству проданного государству зерна — около полутора миллионов пудов — совхоз занял второе место в области, по выполнению же своих обязательств — первое. Продвинулось вперед и животноводство. Да и то сказать, средний урожай зеленой массы кукурузы достиг тогда трехсот центнеров с гектара, что по условиям Целинного края считается хорошим показателем. Тяжелый для растениеводства минувший год; несмотря на недобор зерна, также закончен с активом, притом значительным — сто семьдесят тысяч рублей прибыли. Пшеницы собрали по девять центнеров с гектара. Немного. Но в резко засушливом году это оказалось вторым местом по урожайности по управлению после совхоза «Победа». Ближайший сосед кировцев — колхоз с таким же названием «имени Кирова» не собрал и по пяти центнеров. Осечка получилась с рентабельностью животноводства и строительства. Правда, в первом случае планы в основном выполнены, во втором — резко перевыполнены, но себестоимость намного выше плановой. В дни, когда я находился в совхозе, там как раз работала комиссия специалистов производственного управления: и для ревизии, и для ревнивого, комплексного анализа состояния экономики. Был обстоятельный разбор и большой «нагоняй». И поделом: много еще бесхозяйственности. Что есть, то есть. Но ближайшие перспективы совхоза обнадеживают: всюду такой задел, который не оставляет сомнений в том, что хозяйство уже в нынешнем году обязательно поднимется на более высокую ступень.

Возьмем хотя бы строительство. За последние два года в совхозе возведено столько жилья, производственных зданий и животноводческих помещений, сколько не было построено за все предыдущие двадцать лет. Вот когда дошла очередь до достройки старейшего совхоза!

У совхоза-ветерана и директор ветеран. Инженеру по специальности Павлу Федоровичу Дьяченко за пятьдесят. Еще в 1940 году работал он здесь главным инженером. Затем директорствовал в соседнем хозяйстве, а с 1950 года и до сих пор — то есть в течение тринадцати лет! — бессменный руководитель совхоза. Член обкома партии. Пробыл я в этом хозяйстве не один и не два дня, но ни разу не слышал каких-либо жалоб на директора. «Доброжелательный, душевный с подчиненными, каждого внимательно выслушает, в любом деле разберется по справедливости», — говорят о нем люди. Да и всем своим облик он как бы дополняет эту характеристику: лицо простое, умное, манера держаться — располагающая.

И хоть есть за что критиковать Дьяченко, но ведь и работа директора хозяйства, где одной только пашни сорок тысяч гектаров, — дело нелегкое!

Сегодня директор удручен: получил выговор за слабый контроль над работой отделений, где допущены перерасходы, а пброй и приписки. Он не обижен взысканием, честно признает свои промахи и свою ответственность за них.

Но за отдельными нашими трудностями, ошибками и недостатками нельзя не замечать и то новое, что укрепляется за последнее время и чего раньше не было. А такое новое есть в совхозе имени Кирова, в чем немалая заслуга и его директора. Пожилой Дьяченко работает не без промашек, но молодо, перспективно.

Под руководством директора и частично по его чертежам коллектив совхоза приступил к созданию первого в Целинной области аграрно-промышленного комбината по переработке продуктов сельского хозяйства. Но о нем после. А пока приглядимся к совхозному поселку.

Что в нем изменилось за последнее время? Четко вырисовываются на фоне степей и маленьких особнячков два больших двухэтажных кирпичных здания. Одно — средняя школа с интернатом, другое — общежитие для «холостежи» (в нем же и гостиница для приезжих). В центре селения высится чистенькое, веселое, светло-желтое здание столовой, возведенное в прошлом году. Дальше — приземистое прямоугольное строение с огромными задымленными окнами; подсказывать не надо — это механическая мастерская. Замечаешь здания с табличками: «Больница», «Детский сад», «Сортоиспытательный участок». Но главное — сама территория центральной усадьбы увеличилась в последние годы почти вдвое: протянулось несколько новых улиц из двухквартирных домиков, улица Первого мая, улица Механизаторов, Набережная и другие. А вот с клубом все еще худо.

Молодежь, в том числе и специалисты — в большинстве из недавних студентов, — жаловалась мне:

— Днем работы по горло — скучать некогда, а вот по вечерам плохо.

Молсдое население старого совхоза завидует ближайшему соседу — целинному совхозу «Кантемировец»:

— У них настоящий клуб, а у нас какая-то развалюха.

Впрочем, уже перед самым отъездом узнал я, что в нынешнем году выделяются средства и на строительство совхозного Дома культуры. Молодежь приняла горячее участие в выборе проекта здания. Шли споры, который лучше: «Моспроект» или «Ленпроект». Выбрали «Ленпроект» с залом на четыреста «посадочных мест»...

На окраине поселка — животноводческий городок первого отделения. Чтобы представить себе масштабы его, заметим, что, например, дойных коров в совхозе больше тысячи, к концу нынешнего года их будет уже тысяча семьсот, а в 1967 году — пять тысяч.

Как раз через этот городок и проходит теперь трасса Булаевского водопровода. Какое это принесет облегчение работникам совхоза! Достаточно сказать, что зимой питьевую воду приходилось иногда доставлять автоцистернами.

Рядом — энергетический узел: недавно построена и четко работает межсовхозная дизельная электростанция (тысяча шестьсот лошадиных сил), заканчивается подстанция от промышленной электролинии Петропавловской ТЭЦ. Значит, в скором времени и вода будет с избытком, и электричество в достатке.

Между тем до ближайшей станции железной дороги пятьдесят пять километров, до убойного пункта (Петропавловск — сто пятьдесят). Какой же расчет перегонять скот на дальнейшее расстояние, отправлять в цистернах молоко, вывозить на пристанционные элеваторы неочищенное зерно и т. д.? Экономически гораздо выгодней переработать продукцию на месте, а зерновые отходы или обрат использовать в своем же животноводстве.

«Постепенно в меру экономической целесообразности сложатся аграрно-промышленные объединения, в которых сельское хозяйство органически сочетается с промышленной переработкой его продукции...» — говорится в новой Программе Коммунистической партии Советского Союза. В совхозе имени Кирова уже закладываются основы такого аграрно-промышленного объединения. Работают комбикормовый завод, механизированный ток-элеватор с крупными зернохранилищами для сортового зерна, маслозавод, строятся убойный цех с холодильником и колбасным производством; запланировано строительство птицефабрики с ежегодным выращиванием и переработкой на месте до полутора миллионов штук птицы (мороженые утки в целлофановой упаковке и др.), парниково-тепличное хозяйство, цех по переработке фруктов и прочее.

А животноводство механизруется. Правда, пока еще механизацию нельзя назвать комплексной: современное оборудование зачастую уживается с ведром, лопатой и другой «прабабкиной техникой». В этом, кстати, одна из причин нерентабельности животноводства.

Весной вступят в строй еще две «карусели» в комплексе с хорошо оборудованным маслозаводом. Комплексная механизация животноводства и тем более строительство аграрно-промышленных комбинатов — дело сравнительно новое. Возникает уйма вопросов. Вот лишь некоторые из них.

Общезвестно, что признан эффективным и принят на вооружение совхозов и колхозов тип карусельных доильных установок. Удалась в основном «карусель» и в совхозе имени Кирова — она действует уже почти год. Пока за два-три часа на ней выдаивается по двести пятьдесят коров, а скоро будет по пятьсот—шестьсот. Познакомиться с этой по сути дела экспериментальной установкой и учесть ее опыт ездят теперь сюда строители и животноводы не только кокчетавские. Строилась она по чертежам Дьяченко, а непосредственным руководителем и исполнителем был местный механик-самоучка И. Б. Линевич. Все создавалось кустарно. Можно представить себе, сколько сил и упорства отдали эти люди, соорудив такую доильную установку. Сколько раз пришлось им выступать в незавидных ролях просителей и добытчиков.

Опыт накапливается. Пришло время отобрать наилучшие проекты механизации животноводства и создавать для них фабричное производство стандартных узлов и деталей. Пусть будет так же, как для трактора и комбайна: износилась деталь — выписал замену. Говорят, что массовое производство оборудования для «каруселей» уже организуется, но на местах его еще нет. На этот раз круги для двух новых «каруселей» совхоз имени Кирова не без труда заказал на местном Тайнчинском ремонтном заводе. Массовое, поточное изготовление обошлось бы по меньшей мере в полтора-два раза дешевле.

Встает в порядок дня и вопрос о типовых проектах и стандартном производстве оборудования, а может быть, и целых предприятий и цехов для начинающих возникать аграрно-промышленных комбинатов.

Совершенно необходимо уже теперь иметь четкие перспективные планы. Иначе что же получится? Совхоз имени Кирова построил завод по изготовлению комбинированных кормов. Вернее, не завод, а заводик, он рассчитан на животноводство одного совхоза. Но имеют зерновые отходы и нуждаются в таких же кормах и соседние совхозы «Кантемировец» и имени Ильича, до которых рукой подать. Совершенно очевидно, что экономически выгодней предприятие межсовхозное.

Явная несообразность получается с хранением и первичной обработкой зерна. Несмотря на то, что в совхозе имени Кирова есть элеватор, «Хлебопродукт» построил свой глубинный хлебоприемный пункт для обслуживания этого хозяйства и соседнего «Кантемировца». В «глубинке» содержится изрядный штат, которому из-за сезонности работы большую часть года нечего делать. «Там одних канцелярских работников полтора десятка», — возмущаются директора совхозов. Зачем эта лишняя, дорогостоящая хранение и обработка зерна до отправки на пристанционные элеваторы вполне могут взять на себя совхозы...

Создание предприятий по промышленной переработке продуктов сельского хозяйства в Целинном крае — очень важное и прогрессивное дело. Оно экономически выгодно во многих отношениях и, в частности, потому, что даст возможность высокопроизводительно использовать рабочую силу в течение круглого года. Тем более что рабочих рук для важнейших сезонных работ будет требоваться все меньше и меньше.

Спрашиваю Дьяченко:

— Сколько в прошлом году на посевной было занято рабочих?

— Примерно четыреста человек... — отвечает.

А всех-то рабочих и служащих в совхозе тысяча сто двадцать человек. Стоит задуматься.

— А сколько нынче потребуется? — спрашиваю.

— Человек на пятьдесят—семьдесят меньше.

Почему? Ведь посевные площади те же, а количество более трудоемких бобовых и пропашных культур увеличивается; дополнительных затрат требует и повышение культуры земледелия.

Ответ несложный и вдохновляющий: день ото дня увеличивается и совершенствуется техническое вооружение, улучшается организация труда, повышается квалификация



кадров. Все это, вместе взятое, создает условия для непрерывного расширения производства и настоящего взлета производительности труда.

А как обстоит с продолжительностью важнейших сезонных работ? Раньше по причинам организационно-техническим посевная в совхозе имени Кирова нередко затягивалась на месяц и даже полтора.

— Теперь, — заявляют специалисты, — мы легко провели бы ее за шесть-семь дней. А если растягиваем дольше, то исключительно по соображениям агротехническим.

А как много значит высокая квалификация работников при добросовестном отношении к делу! Старожилы совхоза мне приводили такой пример: однажды на жатве пять высококвалифицированных комбайнеров на пяти машинах убрали за сезон больше хлеба, чем двадцать четыре малоопытных на таких же комбайнах. У одних слаженная, бесперебойная жатва, у других — аварии да простои.

В техническом всеобуче, который начат в Целинном крае, еще очень много трудностей и недостатков (особенно в качестве обучения), но недалеко время, когда не останется ни одного целинного хозяйства, которое бы и в самое напряженное время, то есть на уборке, пользовалось услугами дорогостоящих приезжих сезонников. Сравнительно «справным» хозяйствам вроде совхоза имени Кирова они уже не нужны.

Но надо смотреть и дальше. Квалифицированным кадрам, количество которых растет, требуются и надлежащие бытовые условия, и высокопроизводительное использование в течение всего года. Без этого трудно избежать текучести.

### ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АГРОНОМА

В прошлом году на большой и многолюдной планерке Жанааульского совхоза Кызылтуского управления Кокчетавской области обсуждались важнейшие вопросы весеннего сева. Под конец длинных, но не очень-то острых дебатов главного агронома хозяйства Т. С. Маслова спросили:

— Вот вы говорили, что кукурузоводов нынче учили. А есть гарантия, что будут квадраты?

Пожилой, внушительный агроном со стажем даже изумился:

— То есть как гарантия? Может быть, вы хотели сказать «надежда»? Надежда есть, а гарантию кто же вам даст!..

Ответ агронома озадачил. Ведь вопрос о квадратах — элементарнейший, давно освоенный социалистическим сельским хозяйством. Почему же законодатель полей не берет на себя ответственность за важнейшую пропашную культуру, а отделяется разговорами о проведенных мероприятиях?

А вот в беседе на ту же тему с кукурузоводами соседнего Ельтайского совхоза со звеньевым А. П. Абрамовым и главным инженером хозяйства С. И. Кантором (недавно он назначен директором этого хозяйства), когда я спросил: «Есть ли гарантия, что на плантациях будут четкие квадраты?» — мои собеседники изумились:

— А как же иначе! Раз взялись — значит, сделаем!

Изумлялись, как видим, и в первом и во втором случае, но изумлялись по-разному.

Выяснилось, что ельтайские кукурузоводы отнюдь не надеются на хваленые кустовые семинары «с практическим показом». И они правы, если обучение они проводят не для «галочки». Ведь бывает нередко — возьмем для примера кустовые семинары кукурузоводов в Чистополье и Володаровке, на которых мне доводилось бывать, — соберется сто — двести новичков. Во время показа — сеялка всего одна — смотрят через плечо, наступая друг другу на пятки. В такой обстановке научить чему-то каждого просто невозможно.

В Ельтайском совхозе введена поэтому обязательная предварительная тренировка каждого на специально отведенной учебной площадке и именно на своей, закрепленной за звеньевым, машине. Пока нет гарантии правильного сева — на поле никого не пустят.

И вот итоги. У Абрамова и других кукурузоводов Ельтайского совхоза даже и в засушливом году получили приличный урожай. А в Жанааульском совхозе, где на квадраты лишь надеялись, но они так и не получились, собрали — стыдно сказать —

по 12,2 центнера зеленой массы кукурузы с каждого гектара, то есть меньше, чем во многих хозяйствах зерна пшеницы.

Вот два подхода к простому делу: в одном — пустословие и формализм, в другом — деловая хватка и добросовестность.

К сожалению, людей формальных, равнодушных, таких, которые крутятся на ходулом ходу, у нас еще хватает! А лучше, чтоб было наоборот, чтоб они были ЧП, чтоб люди деятельные, добросовестные, «результативные» начисто вытеснили их повсюду со всех постов и должностей.

С Николаем Ивановичем Голиком, главным агрономом совхоза имени Кирова, мне потому и хотелось познакомиться, что у него репутация специалиста «результативного» и человека «ершистого», с самостоятельными суждениями.

Для бесед обстоятельных в совхозах самое лучшее время — зима. А оказалось, что и в эту пору главному агроному никак дня не хватает. Вечером только разговорились, а он уже поглядывает на часы:

— В восемь ноль-ноль семинар по политэкономии. Опаздывать не могу — руководитель.

Утром следующего дня встретились на улице. Быстрый, рослый, худощавый, горопится он в красный уголок общежития. Там очередное занятие на кустовых курсах подготовки управляющих совхозными отделениями.

— А вечером как?

— Тоже беседа. С начальниками механизированных отрядов. Заходите.

В чем же успел проявить свою «результативность» молодой специалист — недавний отличник учебы и комсомольский вожак факультета в Тимирязевке?

— Вы только не вздумайте меня хвалить, — сказал Голик, освободившись от педагогических дел. — Еще зазнаюсь чего доброго! На меня и так уже местные скептики шипят: «Больно много задору. Жизнь пообломает крылышки». А недостатков у нас еще хватает. Вот когда будем получать по двадцать центнеров пшеницы с гектара (а будем!), тогда и хвалить...

Перехваливать, конечно, не надо, да и хвалить, быть может, еще рановато. Но как не отметить, что за три года этот совхоз из отстающих по семеноводству встал в ряды лучших семеноводческих хозяйств края! Как не присмотреться к первым шагам и к поискам молодого пытливого агронома, глянувшего на целинную практику свежим взглядом!

Николай Голик — уроженец Дальнего Востока, свою вузовскую практику проходил в Сибири, а затем у нас, в Целинном крае.

— Понагляделся всего. Такое местами видел бескультурье, — рассказывает он. — До смерти ожесточился я против сорняков и неразберихи в семеноводстве. И еще очень ощердился на некоторых агрономов. Вы понимаете, иные по пять — десять лет работают в одном и том же хозяйстве и... не имеют сортовых семян. Так на что же тогда агроном?! Такого специалиста — я это серьезно предлагаю — надо лишать диплома, взыскивать с него деньги, затраченные на обучение... Грамотное семеноводство — вот наша палочка-выручалочка!..

Надо заметить, что с прошлого года во всем Целинном крае наконец-то намечился отрадный перелом в семеноводстве. Например, в Кокчетавской области из семян, приготовленных к десятому целинному севу, около девяноста процентов уже сортовые. Стало быть, и качественный уровень всего земледелия теперь уже другой. Но и сорт сорту рознь: мало еще семян наиболее перспективных в местных условиях сортов, мало элиты, первых репродукций.

А в совхозе имени Кирова теперь уже все семена только самые добротные — из лучших пока пшениц-волжанок: «саратовской-29», и «безенчукской-98», и «народной» харьковской селекции. С 1963 года они будут здесь господствовать безраздельно; «саратовская-29», к примеру, займет четыре пятых всего пшеничного клина. Благородный труд селекционеров, в том числе работников Всесоюзного (Шортандинского) научно-исследовательского института зернового хозяйства, несомненно, внесет со временем полезные поправки в подбор сортов, но пока что в местном производстве других, более эффективных пшениц еще нет.

Как же достиг этого совхоз имени Кирова? Объективный свидетель, авторитетный научный работник, заведующий Красноармейским соргонспытательным участком С. И. Велитченко, говоря о вкладе коллектива совхоза в сортовое семеноводство, восхищается целенаправленной энергией Николая Ивановича Голика и его научным подходом к делу.

В первый же год своей работы молодой агроном с ног сбился, но достал на семена несколько центнеров пшениц высокого класса.

— Он буквально вцепился в эти центнеры, — рассказывал тот же Велитченко. — Чтобы поскорей размножить, высевал через сошник, получая возможность междурядной обработки...

И вот результаты: в прошлом году уроженка засушливого Поволжья заняла в совхозе уже три тысячи шестьсот гектаров и дала урожайность при посеве по лучшим предшественникам, чуть ли не втрое превышающую сборы с рядовых участков.

### ЗНАТНЫЕ «ВОЛЖАНКИ» НА ЦЕЛИНЕ

Чтобы оценить значение семеноводческих успехов совхоза, приведу такие, на мой взгляд, выразительные цифры. Всего «саратовской-29» для посевов нынешнего года в Кокчетавской области заготовлено четырнадцать тысяч тонн. А из них почти половину, свыше шести тысяч тонн, вырастили кировцы. Себя полностью обеспечили и поделились семенами с совхозами Кзылтуского и Красноармейского производственных управлений.

Четырнадцать тысяч тонн семян — это не так уж мало. Ими будет засеяно нынче примерно сто тысяч гектаров. Значит, еще один год правильного возделывания — и «саратовская-29» сможет занять уже миллион гектаров, свыше третьей части пшеничного клина всей области. Тем самым будет решен вопрос большого хозяйственного значения.

Заметим, кстати, что, к удивлению местных семеноводов, у самих саратовцев она пока размножена слабо. К сеvu нынешнего года, как это известно из центральных газет, ее заготовлено по Саратовской области всего на шесть тысяч гектаров, что в восемь раз меньше, чем произвел один совхоз имени Кирова.

Однако мало иметь семена лучших сортов, нужно, размножая, сохранить их в лучшей форме, переводить в высший класс. Легче всего испортить сортовое зерно, превратить его в рядовое, то есть случайную механическую смесь. Посей его хотя бы один раз на участке, где в предыдущем году была зерновая падалица или потери на жатве, — и прочай чистосортность! А на току, на складе разве не происходит то же самое? С. И. Велитченко рассказывал, как много врагов у элиты, и один из них — кто бы вы думали? — воробей. Эта малая, но вороватая и нахальная птаха стайками пробирается на склад, неутомно суетясь, перелетает из одного отсека в другой, а в клювах, на перышках переносит зернышки...

Хотя сортовое семеноводство в совхозе имени Кирова создано, но ведь требуется еще постынное сортообновление, нужна элита. А когда-то ее дадут специальные институты? И сколько дадут?

Николай Голик и его тоже молодой друг и помощник агроном-экономист Николай Сафронов решили получать семена, близкие к элитным, сами, притом ежегодно.

Еще в 1961 году во время жатвы выбрали они на плантациях самые урожайные и чистые полоски. Отыскали на складах древние лобогрейки. Навязали свыше пяти тысяч снопов. Просушили, сложили в отдельном помещении: «Зимой без спешки и суеты разберемся».

Сортировку колосков производили со всей тщательностью: мощные и типичные для сорта — направо, «чужие» или хилые — налево.

Весной 1962 года на хорошо обработанных, чистых участках посеяли десять гектаров отборной «саратовки» и восемь гектаров «безенчукской». Вот и семена, близкие к элитным! Нынче на зиму опять заготовлены снопы, сортоулучшение продолжается...

Громоздко? Кропотливо? Дорого? По словам Николая Голика и его тезки Николая

Сафронова. оказывается, не очень-то. Дополнительные затраты в десятки, если не в сотни раз, меньше, чем та высокая надбавка, которую выплачивает государство за сортовые семена высоких классов. А что касается кропотливости, то в селекционной работе (даже и в простейшей селекции) без ручного труда пока еще и в институтах не обходятся...

Прежде чем возвращаться к беседе с Николаем Голиком — еще несколько слов об эффективности полюбившихся на целине сортов-победителей. В местных газетах теперь то и дело читаешь: «саратовская-29» дала вдвое и втрое большую урожайность, чем другие сорта. Верно ли это? При определенных условиях верно. Почти втрое большую урожайность получали при размножении семян и в совхозе имени Кирова. И все же нельзя принимать это как результат, который будет постоянно повторяться в дальнейшем на рядовых, не семеноводческих участках.

На основе однолетнего или двухлетнего опыта без достаточного количества сопоставлений точно не определишь, сколько и за счет каких элементов культуры земледелия получено больше зерна от новых сортов по сравнению со старыми. Семеноводы Кокчетавской опытной станции считают, что за счет классности семян «волжанок» они в условиях засухи дополнительно получили примерно по четыре центнера с гектара. Близки к этому выводу и наблюдения сортоиспытательных участков. Пусть будет так. Пусть будет даже только два-три центнера прибавки. Но ведь и это приплюсует по двенадцать — восемнадцать пудов зерна к урожаю с каждого гектара. А такая прибавка, если ее умножить на весь пшеничный клин Целинного края, означала бы двести — триста миллионов пудов добавочного товарного зерна. И только за счет высокого класса семян. Есть за что бороться!

Итак, по семеноводству совхоз имени Кирова вырвался вперед, уже сегодня вышел на те элементарно правильные позиции, которые многие другие целинные совхозы смогут занять лишь завтра.

Теперь коллектив совхоза решил ввести специализацию.

— Нынче четыре наших отделения, — поясняет Голик, — переходят на сплошные посевы «саратовской-29». Лишь одно отделение будет сеять два сорта: «безенчукскую-98» и твердую «народную»... Сначала — порядок. Вот он. А потом, может быть, будем применять и научно целесообразные смеси сортов.

Значит, прощай случайная многосортица, прощайте сорта-засорители! Помимо всего прочего, такой порядок очень упрощает и работу на токах, и хлебосдачу, и складирование...

— Хотим сами разобраться, что и как лучше в наших условиях. Нам нужны и свои опыты. Мы их проводим. Завели книгу агрономического учета.

Да, проверять, проверять! Весьма возможно, что по сортам пшеницы выгодна и целесообразна именно узкая специализация. И не только отделений, но и многих хозяйств в целом.

Разумеется, первейшая задача теперь в том, чтобы дать возможность агроному и другим специалистам полностью использовать свои права, способности и энергию, всячески пробуждать в них творческое отношение к делу. Но одновременно надо повышать и личную ответственность каждого из них в борьбе за новые рубежи. А как у нас иногда оценивается личный вклад того или иного работника сельского хозяйства, в том числе и руководящего, в подьеме сельского хозяйства? Спрашивают: «Работу провалил?» — «Провалил», — отвечают. А доходит дело до характеристики, то в ней нередко добавляют: «Но работал добросовестно, в меру своих сил». А разве, например, «не в меру сил» каждого агронома — первейшего ответчика за семена — вести семеноводство с любовью и грамотно?!

А все ли у нас правильно и в самом порядке назначений специалистов? Не слишком ли все это «зацентрализовано»? Не ущемляются ли тут права руководителя совхоза? Николай Иванович Голик приводит характерные примеры:

— Сию я однажды в кабинете, — рассказывает он. — Вдруг звонок из областного управления: «Пришлите в Кокчетав машину». Спрашиваю: «Зачем?» — «Да тут для вас сидят три агронома. Заберите». Нам нужны люди для определенного дела, а не для заполнения штатного расписания. Или возьмем хотя бы мое назначение. Когда меня

направили в совхоз, директор был в отпуске. Наконец он приехал. Захожу в кабинет и рекомендую: «Здравствуйте. Я ваш главный агроном»...

Это не отдельные факты, а довольно таки распространенное явление. Директор совхоза должен хорошо знать, кого он принимает на работу. И не только по анкете и диплому. В свою очередь и агроном, зоотехник или инженер должны яснее и конкретнее представлять, какие задачи им придется решать в хозяйстве.

### СОВХОЗНАЯ НОВЬ

Еще зимой прошлого года довелось мне слышать такие рассуждения старого «зерновика», работника с большим целинным стажем, директора совхоза «Раздольный» Кокчетавского производственного управления А. В. Карелина (недавно он назначен директором еще более перспективного совхоза имени газеты «Правда»).

— Вы понимаете,— говорил он,— чем больше у нас промежуточных звеньев, тем больше хаоса в работе...

— Много промежуточных звеньев? А сами создали четыре отделения,— поддел я его.

— Да, в условиях нашего хозяйства отделения необходимы и целесообразны. Хозяйство крупное—это раз. Многоотраслевое—два. Разбросанное—есть участки и фермы, до которых шестьдесят километров,—это три. Наконец, кроме центральной усадьбы, у нас немало и старых поселков, где живет большая часть совхозного населения. А вот нужны ли еще и десять бригад в этих отделениях? И в каждой наряду с бригадиром освобожденные заместитель и учетчик. Тридцать с лишним «портфельщиков» в одних бригадах! Не лишку ли нам надавали административно-управленческих единиц?..

За рассуждениями о штатных излишествах последовали практические дела, поиски. Решено было третье отделение, центр которого в селении Линеевка и которое возглавляет старейший механизатор-новатор Н. М. Биркеншток, сделать безбригадным. Прямое управление: отделение—механизированные и кормодобывающие отряды или звенья, фермы. Руководители отделения пусть управляют непосредственно—тогда сократятся административные расходы, агрономы станут ближе к земле, механики к технике.

Я бывал прошлым летом на полях Линеевского отделения. Всюду на хорошо обработанных и четко оформленных «клетках» поднимались густые, ровные рядки пшеницы. Не было на полях каких-либо досадных непопашек или просевов, не было темно-зеленой каймы сорняков на межах и обочинах дорог.

А недавно обсуждались и итоги минувшего года. Конечно, сказочными прошлогодние хлеба никак не назовешь. Но что замечательно—в третьем отделении, где вместо двух бригад были созданы пять механизированных отрядов, урожайность с гектара оказалась на 1,8 центнера больше, чем в первом отделении, и на 2,5 центнера выше, нежели во втором. Еще выразительней показатели себестоимости: зерно безбригадного отделения обошлось почти вдвое дешевле.

— Так как же, Алексей Васильевич,—спросил я недавно директора,—оправдало себя новшество?

— Безусловно! Лишний аппарат кормили...

Нынче в «Раздольном» на всех отделениях отказались от тракторно-полеводческих бригад. Начальники отрядов за руководство получают надбавку в размере десяти процентов от среднего заработка члена отряда.

Итак, руководитель доволен. А что думают сами механизаторы: лучше стало или хуже?

— Хуже!—сказал тракторист А. Фанкбайнер, когда я задал этот вопрос группе механизаторов.—Кричать на нас стало некому...

Понимая, что он шутит, в тон ему продолжаю:

— А разве начальники отрядов не умеют кричать?

— Им некогда, сами работают...

Не будем обижать бывших бригадиров и их помощников: как правило, эти долж-

ности на отделении занимали старательные и квалифицированные люди. Один из них — М. Э. Масс — работает теперь механиком отделения, другие — начальниками отрядов. Но толкуешь с механизаторами — и мнение о новом порядке таково: «И без бригадиров все идет своим чередом». Вот как обобщил свои наблюдения механик:

— Без няnek люди стали серьезней и внимательней относиться к машинам. К тому же и бракоделам житья не стало...

Началось с комплектования отрядов. Они подбирались не по приказу сверху, а добровольно. Восьмерых механизаторов, за которыми водились грешки, не принимал ни один отряд. Пришлось им изрядно поклоняться да клятвенно обещать, что будут работать по-настоящему. И все же самых заядлых бракоделов так и не взяли...

И опять же очень интересное совпадение в поисках: в передовом втором отделении совхоза имени Кирова точно так же в прошлом году начисто отказались от бригад. Опыт себя оправдал. Теперь все растениеводство совхоза, как и в «Раздольном», перешло к безбригадной форме организации труда.

Познакомиться летом с работой второго отделения кировцев мне не удалось, и вот теперь беседую с одним из лучших его работников — начальником механизированного отряда Евгением Михайловичем Беднаруком.

Евгений Михайлович — партгруппорг. Несмотря на то, что урожай нынче собрали, по его словам, хоть и выше других, но не такой, как намечали и как хотелось бы, настроен очень оптимистически.

— Без бригадиров, — рассказывает, — в нашем коллективе дело шло хорошо, словно бы даже лучше. Работали без поломок и брака. Был, правда, весной случай мелкой пахоты... Заметили. Заставили перепахать. Притом бесплатно... Одним словом — коллективная ответственность.

По словам Беднарука, механизаторам очень нравилось — и это подтягивало их, — что на каждой клетке была установлена дощечка с надписью вроде такой: «Пшеница, сорт «саратовская-29», механизированный отряд № 4, начальник отряда Беднарук». По его же словам, для технического ухода вставали затемно, а закончив уборку, в исправности сдавали свои машины под расписку, по номерам. И так, кончилась опостылевшая обезличка земли и машин.

Получилось так, как предлагал Н. С. Хрущев в своем письме к участникам краевого слета молодых целинников: «Тогда видно будет, кто работает хорошо, а кто плохо», дела каждого целинника теперь на глазах у всех. И больше всего, оказывается, боялись в отряде, чтобы не прислали на помощь «чужих».

Изучив опыт своего Линеевского отделения, раздольненцы установили, что при новой форме организации труда сокращается и потребность в механизаторских кадрах, притом основательно — на целых двадцать пять процентов! Во втором отделении совхоза имени Кирова, когда в горячее время на полях не хватало подсобников, на помощь выходила вся родня работников отрядов.

Вот что дали механизированные отряды — и качество работы выше, и рабочих рук требуется меньше!

Такова наша совхозная новь!

А то ведь как у нас получалось? Всей стране известно, что механизаторы — покорители целины — народ сознательный, отважный, героический. Но когда мы оцениваем их работу только по отдельным операциям, а не по урожаю в целом, то вольно или невольно приучаем к работе по принципу «лишь бы засчиталось», к автоматизму.

Однако плохая практика любое хорошее начинание может исказить и даже скомпрометировать. Поэтому и переход к новым формам организации труда требует вдумчивого отношения, предварительной подготовки и меньше всего кампанейской шумихи и пустословия. Не следует обманывать себя. Если, скажем, в совхозах «Раздольный» и имени Кирова введение механизированных отрядов позволило получить прибавку урожая и притом даже отказаться от бригад, то разве везде так? В целом по Кокчетавской области в прошлом году к апрелю создали тысячу восемьсот отрядов, за ними было закреплено два миллиона гектаров земли. А много ли из них осталось в живых до конца года? Возьмем, к примеру, крупнейшее Кызылтуское производственное управление. В самый канун сева «скоростными методами» там было создано триста тридцать

семь отрядов, а к концу года остался... только один, но замечательный отряд инициатора этого движения Э. Миля. Отряд этот существует уже третий год и даже в условиях прошлогодней засухи собрал по 12,3 центнера с гектара. Сохранился только один отряд, а сколько было парадной шумихи и бумажной возни. Невольно припоминается казахская поговорка: «Гонит одну козу, а свистит на всю степь».

Оказалось, как это недавно признал на совещании главный агроном Е. Тяжелов из совхоза «Степной» Кзылтуского управления, что отряды создавались «лишь для того, чтобы побыстрее отчитаться перед районными и областными организациями». В таком формальном и безответственном подходе к жизненно важному делу, компрометирующем замечательное движение, повинны и руководители управления.

Еще во время прошлогоднего весеннего сева я был свидетелем очень характерного конфликта между бывшим директором Ельтайского совхоза Д. Масалкиным и старым целинником бригадиром десятой бригады С. Хайруллиным. Директор требует: «Работайте отрядами». Бригадир же доказывает, что отряды, которые созданы без участия самих механизаторов, в канцелярии, сковывают маневренность.

— Вам что нужно,— в упор спросил он,— хороший сев или отряды как таковые?

Разобрались — и оказалось, что бригадир прав. Землю отрядам нарезали непродуманно, прямоугольником, в порядке механической последовательности. Так же бездумно «расписали» и технику: без учета планов работы каждого отряда, технологической карты полей. Почвы в бригаде поспели неравномерно — не протравить же технику? К тому же в одном отряде оказалась только зябь, в другом — преобладает весною-вспаха.

— Так что же,— горячился бригадир,— одним работать, а другим загорать?

Семена и горючее удобно доставлять в одно определенное место, а земли отряду нарезали мелкими участками — сколько же требуется развозок! В конце концов директор согласился.

Безбригадная, отрядная система организации труда в совхозах, о которых идет речь, оправдала себя прежде всего потому, что были правильно подобраны начальники отрядов, а также обеспечено оперативное техническое обслуживание. В Линеевке самой популярной машиной на жатве был автофургон 28-27 механика отделения Масса — «техническая помощь». Побывали мы осенью с ним на этой «техничке» во всех отрядах. И везде-то он самый нужный человек: у одного на ходу исправил неполадку или дал полезный совет, для другого прихватил с собой необходимую деталь к машине, а третьего и просто дружески похлопал по плечу за отличную жатву. Кстати, хорошо бы давать в помощь механику отделения умелого мастера-наладчика, а то и вовсе переходить к новому методу технического обслуживания — передать его специальным звеньям мастеров-наладчиков, как это следано в Омской области.

Разумеется, огромную роль в подъеме производительности труда целинных механизаторов играет материальная заинтересованность. Разве правилен такой порядок, когда и плохо посеял, и хорошо посеял, а оплата одна? Получил по сто пудов пшеницы с гектара и еле собрал семена, а заработки опять же одинаковые? А ведь практически до сих пор везде, где земля обезличена, существует именно такой порядок. Отрядная система как раз и помогает оценивать работу по конечным результатам труда, по урожаю.

В безбригадных отделениях совхозов имени Кирова и «Раздольный» в прошлом году применялся обычный порядок оплаты труда, но с дополнительными вознаграждениями за более высокий урожай по итогам года. На севе выдавались авансы в размере восьмидесяти процентов к заработанному, с выплатой остальной части после приемки полей комиссией, то есть по всходам. Премияльные доплаты — прогрессивно возрастающие: чем выше урожай в сравнении с планом, тем больше и надбавка. Такой же порядок сохранился в совхозе имени Кирова и после перехода всего хозяйства на отрядную систему организации труда. По окончании жатвы членам отряда выдается дополнительное вознаграждение за сверхплановый урожай. В «Раздольном» же полностью переходят ныне на аккордно-премиальную систему оплаты по итогам труда.

Рассказ о новшествах, которые применили два совхоза,— переход к безбригадной системе организации труда и изменения системы оплаты труда — нельзя, конечно, рас-

смагивать как рекомендацию «всем, всем, всем!». Хозяйства на целинных землях, как говорится, не на одно лицо, еще не всюду устойчивы кадры, различна и степень организованности. Кой-где, может быть, как раз наоборот: целесообразней пока что укреплять и укреплять полеводческие бригады (с механизированными отрядами и звеньями в них). Сам принцип оплаты труда по конечным его итогам, бесспорно, правилен, но детали еще требуют проверки жизнью, практикой. При всех условиях удавшийся поиск двух совхозов — это, безусловно, предмет и для делового обсуждения, и для подражания, где для этого есть условия.

### «МЕЛОЧИ»

То, что в окружающей нас жизни зачастую кажется нам мелочами, как правило, совсем не мелочи. За одними проглядывают ростки будущего, за другими скрываются пути старого, отживающего.

Расскажу о некоторых, может быть, и не самых показательных, но все же характерных «мелочах», которые заметил я в совхозе имени Кирова.

Зашли в совхозную столовую. А она лучшая в Красноармейском управлении. Вместительная, светлая, полы выложены красной и желтой плиткой, столики из голубой пластмассы, стандартная раздаточная линия, кухня полностью механизирована, и главное — меню сравнительно разнообразное, а цены недорогие.

Уже многие рабочие, специалисты, служащие питаются здесь всей семьей. Значительная часть строителей водопровода работает уже вблизи совхозов имени Ильича и «Тайнчинский», но питаются все они врываются в столовую совхоза имени Кирова: «Тут лучше».

Столуются здесь школьники из интерната. И вообще много ребят. По их словам, трехразовое питание обходится им по пятьдесят пять — шестьдесят копеек в день.

За мой столик усаживается малец лет восьми.

— А дома мамка разве не кормит?

— Кормит.

— А почему же сюда пришел?

— Вкусней, — отвечает мальчуган, уплетая за обе щеки свой гуляш с макаронами и запивая компотом из совхозных яблок (пятнадцать копеек стоит его обед).

Замечу, кстати, что мальчуган не очень взыскателен — гарниры подают чуть тепленькими, а то и вовсе холодными. Но это уже от недостатка сердечного отношения к потребителю, а на кухне для подогрева есть все — и электроплитка, и две запасные газовые.

В левом углу прихожей — деревянная двухсторонняя вешалка, явно перегруженная — пальто на пальто. Но... без гардеробщика и без номеров. Признаться, я даже немного удивился: зал большой, переполненный; совхоз на бойком месте — заходит много совершенно посторонних людей, проезжих, а так запросто с одеждой.

— Вы не смущайтесь, раздевайтесь, дяденька, — заметив мою нерешительность, говорит какой-то подросток. — У нас этого не бывает... Все будет в порядке.

Предвижу иронические ухмылки читателей. Причем одни заподозрят автора в пристрастии к сахарному сиропу, другие ехидно скажут: «Вот нашел диво-дивное! Его пальто во время обеда в столовой никто не охранял! Ведь это элементарная норма».

Но спросим самих целинников: несколько лет назад возможно было у них такое? В том числе и в старом совхозе имени Кирова? Хозяйки рассказывают: еще не так давно даже белье для сушки было опасно вывешивать на улице. Кому не известно, что на целину, особенно в первые годы ее освоения, вместе с основной массой героев-энтузиастов, настоящих романтиков проникали и сорняки, шлак? Встречались и такие субъекты, которые уже побывали на «северных курортах» но и там не научились трудиться и жить по-честному. Помните, в 1956 году бывший директор совхоза «Жаркульский», сам в прошлом украинский механизатор, Я. Ф. Брек показывал мне целую коллекцию ножичков самых разнообразных калибров и конструкций, отобранных, как он выражался, «у всякой предпоследней сволочи». Он сам тогда вместе с секретарем



партийной организации возглавил дружину по охране общественного порядка, беспощадно выдергивал сорняки. Где теперь этот «шлак»? Иные отселились, сбежали, а большинство перевоспиталось в коллективах — их подняла целина.

Почти неделю пробыл я в совхозе, но ни разу не видел ни одного пьяного — ни на улицах, ни в общественных местах. «Ой ли, — опять же усомнятся иные, — наверное, получки не было». Может, и так. Но вот и другие примеры. Остановивался в совхозной гостинице. Она, как уже упоминалось, в большом общежитии для одиночек и мало-семейных, в котором около сорока комнат. Подгулявших не было заметно, а комнаты, как правило, не запирались ни днем, ни ночью.

Но, может быть, такая «домашность» и обжитость характерна лишь для коллектива старого хозяйства? Не только.

В той же гостинице встретились и разговорились с участковым уполномоченным милиции К. Баймурзиным, который обслуживает два совхоза, в том числе соседний «Кантемировец».

— Пить стали меньше, — подтвердил он. — Правонарушения резко сократились. За последние полгода в обоих совхозах не было ни одного.

Это, несомненно, результат и значительного улучшения бытовых условий, и роста благосостояния людей, и, конечно же, движения за коммунистический труд. Коллективы целинников все больше и больше сплавиваются в труде; сплавляются любовью к общему делу. В тех же механизированных отрядах контролеры со стороны уже не требуются: крепнет в людях чувство хозяина, устанавливаются взаимный контроль и доверие. А в этих условиях легче идти в поход за более глубокую перестройку сознания, за увеличение вклада каждого в общее государственное дело, за честь целинника.

В совхозной гостинице мы жили вместе с членами комиссии производственного управления, обследовавшей совхоз, и каждый вечер допоздна толковали о кировцах:

— Ведь хороший же совхоз. И в прошлом трудном году не должно было быть у них убытков. Но почему же тогда, по каким причинам пассив примерно в полтора-два тысячи рублей?

А причин много: и кустарщина в строительстве, которое ведется отсталым хозяйственным способом, и слабость кормовой базы, особенно резко сказавшаяся в засушливом году, и плохая подготовка и механический подбор кадров в отделениях, и главное — бесконтрольность: отделения были отданы как бы на откуп управляющим. Но особенно нетерпимо то, что перерасходы фонда заработной платы составили почти половину убытков. Как это случилось? Оказывается, что даже механизация животноводства в первом отделении пока еще не дала снижения себестоимости, потому что крайне затянулся так называемый пусковой период. Хорошая доильная установка «карусель» при полной ее нагрузке почти в четыре раза сокращает количество доярок и на 1 р. 33 к. снижает себестоимость центнера молока. Но до сих пор работает в пол-мощности: недостроены коровники, а оплата дояркам (теперь уже операторам) в течение полугодия производилась по нормам... ручной дойки. Добавим к этому расходы на содержание моториста, отопление здания и другие — какое уж тут удешевление молока!

А вот пример из полеводства. В том же отделении трактористу, работающему с навесным плугом, не требующим, как известно, прицепа, зарплата начислялась двойная — и за тракториста и за прицепщика. В обоих случаях технические новшества хитрили обернуть против доходности хозяйства.

Низок еще и уровень экономических знаний некоторых руководящих работников. За беспорядком в нормах и расценках, за экономической неграмотностью — бессмысленное расходование, а часто и просто разбазаривание государственных средств, народного добра.

Так вот, об уважении к народному добру. Краж и многих других аморальных проступков в коллективе совхоза почти нет. Но в том же коллективе работал, например, некий Нальгиев. Он в январе прошлого года якобы заработал на строительстве за месяц 1131 рубль, а в марте и того больше — 1438 рублей. Может быть, это чудесный рационализатор, применивший новые методы и усовершенствования? Ничего похожего. Просто наглая приписка. Когда разоблачили — удрал. Но наряды подписывались,

утверждались. Есть еще в коллективе люди, для которых земли целинные — это рубли целинные. И у них есть немало пособников!

Бытует в совхозах и такое. В одном только Ведыновском совхозе Щучинского района, например, свыше трехсот личных мотоциклов. Ездят все, а кто покупает бензин? Иной и купил бы, да негде — на месте продажи нет. Государственный бензин «берут» из совхозной цистерны или «достают» его же у шоферов. Аналогичное положение и в совхозе имени Кирова. Правда, людям, которые используют личный транспорт для служебных разъездов, разрешается пользоваться совхозным горючим. А остальные владельцы мотоциклов или личных автомашин?

И выходит, что у нас не только разбазаривают драгоценный бензин, но и не прививают уважения к народному добру, неправильно воспитывают людей. Родилась новая потребность, связанная с нашим ростом, а она организационно не учтена. О том, чтобы создать заправочные колонки, давно уже просят те владельцы личного транспорта, которым стыдно «доставать» или «брать».

— У нас в механизированных отрядах, — рассказывал мне Беднарук, — приписок никогда не бывает: мы люди гордые — незаработанное не принимаем...

Золотые слова! Настоящий строитель коммунизма в приписках и подачках не нуждается, принимает только заслуженное.

Я повторил его слова в Красноармейске, когда перед отъездом вновь беседовали с Назаровым и только что выбранным секретарем парткома управления Е. Д. Крюковым. Выразил им опасение: а не останется ли работа комиссии, проверявшей кировцев, лишь кабинетным «мероприятием», с «нагоняями» верхушке по административной линии? Совершенно очевидно, что никому, в том числе и всеми уважаемому директору совхоза имени Кирова, после ноябрьского Пленума ЦК КПСС нельзя работать по старинке. Но главное — то в том, чтобы активизировать весь коллектив. Пусть люди честные и совестливые, которых подавляющее большинство, сами расследуют неправильно израсходованные рубли, пусть выступают и против тех, кто создает беспорядки, и против тех, у кого душонка нечестная, а все устремления не от себя, а только к себе.

И начальник управления, и секретарь парткома уверяют, что такой контроль будет создан, что большой разговор в коллективах совхоза имени Кирова состоится обязательно.

Вскоре я узнал, что собрания уже проходят, и притом бурно. Намечаются новые рубежи и обсуждаются итоги проверки.

### ЦЕЛИННОЕ ЯБЛОЧКО

Осенью прошлого года в целинном совхозе «Тихоокеанский» Ленинградского производственного управления довелось мне наблюдать такую картину: механизаторского вида парень несет в совхозное почтовое отделение решетчатый ящик — посылку с яблоками. Подчеркиваю: не с почты, как обычно у нас еще бывает с фруктовыми посылками, а на почту.

— Куда же это, посылка-то?

— Бачите адрес: на Полтавшину, родичам...

Отвечает, а сам торжествующе улыбается.

Никто не подумает, будто утопающие в вишневых и яблоневых садах колхозные села Полтавщины нуждаются в целинных яблоках, хоть они и вкусные. Дело просто в том, что один из первоначальников целинного хозяйства, бывший украинский комсомолец, решил отчитаться перед родителями и односельчанами: вот, мол, мы какие! Не только хлеб даем, но и сады успели вырастить — отведите целинное яблочко...

О том — привьются или нет сады среди степного однообразия — теперь не спорят. Давно привились. Больше того, уже многие из них хорошо плодоносят. Правда, не всегда посаженные прутики быстро превращались в ветвистые деревья — это зависело прежде всего от ухода, — и не везде еще — по молодости насаждений — плоды от них поступают на стол целинника. Но поступать будут — и во все возрастающем количестве! И здесь нельзя не помянуть добрым словом тех заглядывавших вперед организаторов

новых хозяйств, которые если не с первой бороздой, то уж осенью или во вторую целинную весну обязательно начинали одевать в зеленый наряд свои новые поселки и одновременно сажали первые яблони, вишни, ягодники.

Во всяком случае степных садов (больших или маленьких — это уже другой вопрос) у нас теперь почти столько же, сколько и самих совхозов. Рачительные бригадиры вроде Василия Дубового из совхоза «Кузбасс» даже и на полевых станах вырастили не только «парковую зелень», но и фруктовые деревья.

Все это очень хорошо. Но задумаемся о перспективе целинного садоводства. Что оно — только деталь, крайне необходимая для полноты быта целинников, для процветания новых земель, занятие любительское, не имеющее существенного экономического значения? Нет, экономический фактор — верный барометр в любом производстве, в том числе и в молодом целинном садоводстве.

И встал передо мной вопрос: могу ли, рассказывая о буднях совхоза имени Кирова, умолчать о его саде? Кстати говоря, хороший сад — верная примета любого из немногочисленных старых совхозов Северного Казахстана. А это лишь подтверждает, что за целинным садоводством большое будущее.

Сад совхоза имени Кирова ежегодно дает прибыль, притом нешуточную. В истекшем 1962 году все затраты по саду, включая сюда и уход за растениями, и сбор плодов, и даже новые посадки, были перекрыты ни мало, ни много в шесть раз! Одних только яблок было собрано осенью около семи с половиной тысяч пудов. Чистая прибыль составила свыше тридцати пяти тысяч рублей. Нужно еще заметить, что если на сторону яблоки продавались по сорок копеек, то в свою столовую и детские учреждения, как это и должно быть, они сдавались по более дешевой цене, точнее — по пятнадцать копеек за килограмм.

...По окраине центральной усадьбы, где расположен совхозный сад, ни пройти, ни проехать. Там теперь такие снежные сугробы, что словно бы и не степь да степь кругом, а настоящая таежная Сибирь — вот что значит заслон сорокагектарного сада. Но мне нельзя упустить случай побеседовать с главным садоводом И. Г. Гофманом, стандартный совхозный домик которого на заметенной снегом улице как бы входит на самую территорию сада.

В разговоре участвовала вся семья: и жена садовода, и даже пятилетний Павлик, который, как утверждают родители, «в саду и родился».

Иван Готфридович прежде всего решительно отвел определение своей должности как главного садовода:

— И никакой не садовод, а просто сторож...

Да, так записано и в книге распоряжений по совхозу. Но с кем ни поговоришь из жителей поселка, успехи сада неизменно связывают не с именем какого-либо агронома и даже не с именем директора, который, по общему признанию, очень внимателен к саду, а именно с ним, со сторожем: на нем сад держится. Вот и посудите сами: официально сторож, а для населения — главный садовод. Существо дела убедительнее титула, сильнее бумажки.

Правда, недавно садоводство и овощеводство выделено было в специальное шестое отделение совхоза. Назначен туда и агроном А. И. Минкина. Сравнительно молодой специалист, она горит желанием расширить сорокагектарный сад до ста гектаров, подтянуть отставшее овощеводство, организовать хорошее парниково-тепличное хозяйство для выращивания ранних овощей.

Но вернемся все же к сторожу-садоводу. В саду он один постоянный работник: сам себе и начальник, сам себе и подчиненный. Родом Гофман из Кизляра, что на Кавказе, потомственный садовод, по основной же специальности — тракторист. Закреплен за ним трактор «Беларусь». Он и сад ревностно оберегает, и обрабатывает на тракторе землю.

— Хуже всего, когда приходится посылать на обработку сада случайных трактористов. Им гектары нужны. На деревья наедут, веток наломают. А Гофман человек понимающий и ответственный за сад, — говорила мне позднее агроном Минкина.

Когда я разговаривал с ней, невольно подумал: почему, скажем, в одних целинных совхозах сады процветают («Прогресс», «Западный», «Горьковский»), а в других, что

говорится, ни в какую? Почему у нас еще не слышно о столь нужных целиннику образцовых парниковых хозяйствах? Даже без теплиц, просто в закрытом грунте жители совхозных поселков вполне могли бы получать, например, свежие клинские или нежинские огурцы уже к 10—15 мая, красные помидоры от ранней рассады уже в июне. Но ведь этого еще нет в Целинном крае!

Характерна история сада в совхозе имени Кирова. Совхоз старый. А сад? Он в основном молодой. И в минувшем году плодоносила только часть деревьев и кустарников. Мало дал молодой вишеник (сто килограммов), всего восемьдесят килограммов получено черной смородины, ничего еще не получали от недавно высаженных сливовых деревьев, от земляники. Только в последние два года приобретены первые десятки ульев. Между тем основа сада заложена еще в тридцатых годах. За это время в таком хозяйстве, как у кировцев, в пору было создать и питомники. Пока же лишь впервые высеяны первые гектары тополя, татарского клена и ясеня для лесонасаждений. А за саженцами плодовых деревьев совхозы со всей большой округи продолжают ездить в омский «Исиль Куль».

«Долго жить — богату быть» — говорит старинная поговорка. Почему же такая недостроенность в садовом хозяйстве совхоза имени Кирова? Потому что у сада неведомая история. Не раз он погибал и вновь возрождался. И здесь мы вновь сталкиваемся с нравственной стороной труда. Мы видим труд формальный, «для отбытия очереди». и труд любовный, на совесть.

Иван Готфридович нынешние успехи сада относит не к себе, а к своему учителю Денису Яковлевичу Гафнеру, умершему в 1959 году.

— Это он спас и возродил сад, это его труды, — говорит Гофман.

Вот какой, оказывается, был в совхозе чудесный старик! Бывший крымчанин, Денис Яковлевич застал в сороковых годах в саду полнейший развал: бродило по нему стадо, скотина переломала яблони, начисто уничтожила вишеник. Но стал в нем работать человек не только знающий, но человек с душой, с любовным отношением к порученному делу — и сад воскрес.

— Он дневал и ночевал в саду, — рассказывает Гофман. — И меня тому же учил. Вообще и вам скажу: садоводство такое дело — попадись туда нехороший человек, и, поверьте мне, сад пропадет...

Мысль верная. Растения нужно не только знать, но и любить. Людям ленивым, разболтанным, нечестным, работающим только для личного интереса, нет места ни в садоводстве, ни в парниковом хозяйстве, ни в пчеловодстве. Кто, например, работал в парниковом хозяйстве, тот знает, что здесь при формальном отношении к делу за один день, впрочем, куда там, за один час, можно все разрушить. Близко к тому бывает и с садом. Яблони сохнут от равнодушия.

Итак, пока что в Целинном крае наиболее рентабельны яблони. Их в саду у кировцев тридцать два сорта. Главным образом различные средние и мелкоплодные, величиной от куриного яйца и мельче. В обиходе их частенько объединяют общим названием «ранетки». Особенно буйно плодоносили нынче «золотая китайка» и сорт «октябрьский». С отдельных деревьев собирали по сто пятьдесят — сто семьдесят килограммов плодов. А вот стелющиеся яблони, или «стланцы», как их называют в совхозе, — плоды у них чудесные, напоминают «антоновку» — пока что плодоносили скуповато. Садоводы объясняют это опять таки равнодушным отношением к делу: неправильно были посажены, не укрывали снегом верхушки, верхние почки зимой примерзали.

При разработке перспективных планов люди, занимающиеся этим делом, задумываются: целесообразно ли заводить сады всем без исключения совхозам только для того, чтобы никого, так сказать, не обидеть? Не лучше ли, говорят они, на территории каждого управления, в наиболее благоприятных для этого местах, создать по одному крупному, специализированному?

Разумеется, мелкие сады, рассчитанные на тяпку, экономически мало выгодны. Основной курс — на крупные сады, с широкой механизацией обработки — бесспорно, правилен. Нельзя же ориентироваться на привозные фрукты. Соседи Целинного края — челябинцы, курганцы, омичи — уже приступают к закладке садов площадью от вось-

мисот до полутора тысяч гектаров каждый. На целине есть все условия для промышленного садоводства. Оно и будет создано!

Но главное направление — на крупное механизированное садоводство — отнюдь не противоречит ни садоводству среднему, ни садоводству любительскому, групповому или индивидуальному. Разве плохо, например, если в палисадниках у совхозных домов и собственных домиков — повсеместно, где есть к тому условия, — вырастут фруктовые деревья? А крупное садоводство с плодопитомниками этому обязательно поможет. Практика же совхоза имени Кирова показывает, что и сравнительно небольшой совхозный сад в условиях Целинного края вполне может быть высокодоходным. Каждый гектар продуктивной площади сада дал в прошлом году свыше сорока пяти центнеров плодов и ягод.

Крупные, промышленного значения сады создаваться будут. Но ни один коллектив совхоза или колхоза не захочет оставаться без своего сада. И это тоже правильно. Ведь всесторонне «достраивая» и обживая целину, нужно все более и более капитально поправлять и ее географию. С садами, парками, цветами жизнь полнее, работа веселее и продуктивнее!

\* \* \*

«В пятом году семилетки, — подчеркнул Н. С. Хрушев в своем письме к участникам краевого слета молодых целинников, — край должен дать государству 800 миллионов пудов зерна, 300 тысяч тонн мяса, 810 тысяч тонн молока и много других сельскохозяйственных продуктов».

Ответственность велика! И надо прямо сказать, что никогда еще на новых землях не было таких хороших условий для получения высокого урожая, как в нынешнем году. В достатке техника, семена в основном сортовые, зябь поднята полностью, готовятся тысячи новых механизаторов из местных людей..

Нынешняя весна — весна больших надежд и больших задач!

Кокчетав. Февраль 1963.



---

---

# ОТКЛЫКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных журналов*

## ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ

### В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ?

«Мы переживаем скромный литературный бум. Это не ренессанс, предшествующая эпоха отнюдь не принадлежала к темному литературному средневековью... Нет и гениев... но есть надежды и хорошая проза... Литература никогда и не была парадом гениев. И они не возникали, как одинокие Посейдоны из бесформенного моря. Нет, и они часть движущегося, стрежневого потока литературы, который питается и должен питаться и притоками. Чтобы рождались великие писатели, необходимы и средние...» — пишет «Тайм» в статье «Стрежневой поток». В ней рекомендуются читателям книги десяти американских писателей, недавно опубликовавших свои первые произведения.

«Тайм» — не специально литературное издание; это политический журнал, активно обслуживающий холодную войну. Он издается той же фирмой, что и более «шикарный» «Лайф».

Литературная программа и «Лайф» и «Тайм» прямо диктуется программой политической: ведь именно глава фирмы Генри Люс провозгласил наступление «американского века». К литературе эти журналы обращаются нечасто и почти исключительно в целях рекламы.

В статье «Требуется: великий американский роман», опубликованной еще в 1955 году, выражалось явное недовольство американскими писателями-реалистами, особенно их критической направленностью. Литераторов призывали к тому, чтобы славить США, славить бизнесмена и создавать об американцах «должное» впечатление за границей.

Этот призыв Люса, разумеется, не повлиял на развитие истинного искусства. Да и сработан он был чрезвычайно грубо. Политикан и бизнесмен просто пытался командовать литературой.

Нынешняя статья «Тайм» тоньше, хитрее. В ней упоминаются и хорошие писатели, рассматриваются и хорошие книги. Однако после приведенных в начале оптимистических высказываний автор статьи под конец утверждает:

«Новые романисты не создали ничего похожего на особую американскую школу. В Америке писательство всегда было делом одиночек, каждый идет своим путем. Но два вывода напрашиваются. Во-первых, эти писатели представляют образцы высокого мастерства; они иногда пишут плохие книги, но никогда не пишут их плохо... Новые американские романисты не только читают и почитают Джойса, Пруста, Фрейда и Хемингуэя. Они «переболели» их опытом. Многие из них переболели и олкниером. Они пишут по-своему.

Во-вторых, большинство даже лучших романов этих писателей весьма ограниченно по своему содержанию. Речь идет о широте, а не о глубине. «Над пропастью во ржи» Сэллинджера — образец современных романов такого типа — блестящее и тонкое наблюдение над очень маленькой частью действительности. Никто еще не преуспел в том, чтобы показать, что же это такое — жить в пятидесятые и шестидесятые годы. Почти никто и не предпринял такой попытки».

## США

«Тайм» («Время») — еженедельный иллюстрированный журнал новостей и обзрения. Февраль — март 1963 года. Год издания 40-й. Издатель концерн Люса «Тайм инк». Нью-Йорк. Главный редактор Отто Фербрингер.

★

Как видим, в этой статье все выражено гораздо тоньше, но призыв к созданию «эпопей», всеохватывающего произведения есть и здесь.

Среди упомянутых в ней писателей — Апдайк, Хеллер, Эллисон, Хьюмс и другие. Назван и Филип Рот, чья книга «До свиданья, Колумб!» получила Национальную премию. Последний роман Филипа Рота «Попустительство» рецензировался в газете «Нью-Йорк таймс» так: «Предположите, что вы легкомысленно приняли приглашение на уик-энд от молодоженов, с которыми вы не очень хорошо знакомы и которые вам не очень нравятся. Вы прибыли, а вечеринка уже в разгаре, все уже навеселе. Хозяин и хозяйка в гневе бьют посуду и бьются в истерике. Некоторые гости безобразничают в предоставленных им комнатах и при этом не закрывают дверей и не гасят свет. Здесь же присутствуют дети, они плачут, кричат и явно травмированы уже на всю жизнь. Горести всех присутствующих отвратительны, никто ни на что не способен, ощущение моральной вины и бессилия кажется даже нормой. А вы все равно не можете уехать до понедельника. Если вы все это вообразите, то получите довольно верное представление о романе Филипа Рота «Попустительство».

Это злая, но справедливая характеристика. Можно добавить, что такое впечатление создается не только при чтении романа Рота.

Вот «Биг Сур» — новый роман Джека Керуака, человека с шумной славой вожака битников. (В статье «Тайм» специально оговорено, что Керуак, так же как и Сэлинджер, Трумен Кэпот, и другие не названы только потому, что их первые книги появились уже давно.)

«Вся моя работа, — говорит о себе Керуак, — это одна большая книга, как у Пруста, с той лишь разницей, что мои воспоминания пишутся на бегу, а немного времени спустя — больным в постели». Да, и в этом романе персонажи книги Керуака часто перемещаются в пространстве. Главный герой — сам Керуак — пытается не только переезжать, но и изменить свою жизнь. Он удаляется в хижину своего друга в безлюдное местечко Биг Сур на берегу океана. Готовит себе еду, смотрит на мир, слагает стихи. Вспоминает другого знаменитого американского отшельника — Генри Торо. Однако уже по тому, с какой радостью герой меняет океан на хижину своего друга, ясно, что ему не очень хочется по-другому жить — ему хочется скорее начать вспомнить о том, как он по-другому жил. А на четвертый день ему становится попросту скучно.

В классическом романе герой бежал от цивилизации, бежал к природе, чтобы найти себя самого. Джек Керуак тоже хочет вернуться к себе, но для него это означает вернуться в Сан-Франциско, к собственной своей вчерашней жизни. И он бежит от отшельничества, от одиночества.

И здесь начинается — нет, пожалуй, продолжается то, о чем было написано и в прежних романах Керуака. От кабака к кабаку, от женщины к женщине, от наркотика к новому наркотику. Смешаются границы между сном и бодрствованием, между явью и бредом. В обрывки разговоров и споров вплетаются буддийские термины («карма»), названия книг, имена восточных мудрецов. Но это лишь реквизит, никак не одухотворенный, никак не связанный с внутренней жизнью героя.

И странное дело — чем больше пьют герои, чем больше и изощреннее они развращаются, то и дело обмениваясь женщинами, тем скучнее становится читателю. Этот разврат — такой механический, такой, в сущности, однообразный — входит в ритм заурядного, мещанского быта.

В Биг Сур Керуак снова отправляется со своей любовницей Билли (она одновременно и любовница его лучшего друга), с ее четырехлетним сыном и еще с одной парой. Это последнее путешествие — совсем уж какой-то страшный эротический бред. И все на глазах у мальчика, который непрерывно задает вопросы. Сгущается символика ужасов: перед отъездом герои выкапывают яму для мусора. И — совершенно непонятно почему — все они считают, что это не просто мусорная яма, а могила маленького Элиота.

И вдруг в это царство кутежей, секса, бессмыслицы врывается иная — пронзительная, горькая — нота. Не тогда, когда герой вдруг (во сне? наяву?) видит крест (и не просто крест, а «Тот», с большой буквы). И не тогда, когда книга как же неожиданно,

как и началась, заканчивается блаженством, растворением, примирением. А тогда, когда Керуак — не скажу сознает, но когда его как бы осеняет, что жизнь дана человеку в серьез. И у него, у Джека Керуака, есть к тому же в руках необыкновенное, особое оружие — слово. «...ты сидел здесь, и записывал так называемые звуки волн, и не понимал, как смертельно серьезны и наша жизнь, и наша обреченность, ты дурак, ты счастливое дитя с карандашом в руках...»

И в этих — увы, очень редких — случаях совсем по-иному звучит книга. И тут с горечью ощущаешь, что большой талант растрчивает себя зря. И беда, конечно, совсем не в том, «узкий» или «широкий» кусок жизни отражен в его книгах. Беда в самой авторской позиции.

«Тайм» вовсе не называет имени молодого, действительно молодого — ему двадцать пять лет — писателя Рейнольдса Прайса. А между тем его первая книга «Долгая и счастливая жизнь» заслуживает серьезного внимания.

...Двое мчатся на мотоцикле. Пронесется лес, поле, телеграфные столбы, дома поселка. Девушке страшно, она обхватила юношу, ее «белая кофта развевалась сзади нее как флаг поражения». Так начинается роман. И весь он написан так, чтобы читатель сам, непосредственно ощущал все происходящее, чтобы он, читатель, задышался с первой же фразы — не только потому, что долго нет гочки, но и потому, что мимо него несутся сосны, и он мчится на мотоцикле, ощущает запах нагретой хвои. И когда девушка в поисках своего уехавшего возлюбленного ходит по лесу — чтобы читатель чувствовал, что это у него самого болят ноги, что это он сам опускает их в прохладную воду ручья и что все рассказанное в книге происходит с ним самим.

Рейнольдс Прайс рассказывает очень обыкновенную историю: она его любит, он к ней попросту равнодушен. Она — Розакко Мастриан, телефонистка. Он — Весли Биверс, отслужил три года во флоте, а теперь вернулся на родину, в маленький южный городок, и собирается торговать мотоциклами в другом, соседнем городе Норфолке.

Она безответно любит шесть лет, они случайно сближаются, Весли уезжает, а Розакко снова ждет. Теперь она ждет не только возлюбленного, но и ребенка. Когда Весли узнает, что Розакко беременна, он предлагает жениться. Она хочет отказаться, ведь он же не любит, но чувствует, что у нее не хватит сил на отказ. Будет ли у них «долгая и счастливая жизнь»?

Нет, автор не просто рассказывает эту историю, он заставляет читателя ее пережить.

В противоположность большинству книг, перечисленных в «Тайме», роман Прайса — роман о любви. Именно о любви, а не о сексе. О девичьей любви, неразделенной, тоскующей, о том, как девушка ждет, как хранит себя, как укоряет себя за то, что хранит, как больно ранит Весли ее самолюбие (сам того не подозревая).

История Розакко и Весли происходит не только в глубинах человеческих сердец — она происходит и в определенном окружении. Перед нами — реальный быт южного городка, родственники, друзья, соученики; многие события окружающей жизни — роды, смерть, похороны, болезни, праздник. И родные, главное, родные, которые своими вопросами, своим сочувствием причиняют ей гораздо больше боли, чем чужие люди.

Но конкретные приметы быта не давят, хотя они плотны, а вся атмосфера произведения прозрачна, почти невесома. И по-своему романтична. Романтична первая встреча Весли и Розакко, романтично и их случайное свидание, когда девушка идет по лесу, слушает птичьих голоса — и вдруг совсем неожиданно слышит песенку, которую наигрывает на гармонике Весли (Розакко думала, что он уехал...).

Казалось бы, книга сверхсовременна — мотоциклы, автомобили, прекрасные дороги, даже самолет, на котором прилетает Весли. Мир в стремительном движении. Но вместе с тем это книга о вечной — от сотворения мира — девичьей любви, девичьем горе.

«Долгая и счастливая жизнь» — это и заглавие и лейтмотив романа. Слова эти звучат то горько-иронически (на похоронах Мильдред, негритянки, подруги Розакко, она умерла при родах), то с надеждой (Розакко желает «долгой и счастливой жизни» маленькому сыну соседей), то со шмякающей грустью (когда Розакко сама думает о своем будущем, о возможной совместной жизни с Весли).



«Долгая и счастливая жизнь» — разве не об этом мечтал и мечтает каждый человек на земле?

По-прежнему среди имен, наиболее часто упоминаемых в самых жарких литературных спорах, — Джером Сэлинджер. В прогрессивном еженедельнике «Пиплз уорлд» было сказано: «Холден Колфилд, герой романа «Над пропастью во ржи», — alter ego молодой Америки. Тысячи смятенных и серьезных молодых американцев в их шатком, смятенном и часто очень неразумном мире приняли Холдена как своего героя. И он властвует уже над тремя поколениями». Теперь Сэлинджер публикует рассказы и повести, составляющие своеобразный цикл, посвященный семье Гласс. Цикл начался рассказом «Лучший день банановой рыбы»<sup>1</sup>. В 1961 году изданы повести «Френни и Зуи», в 1963 — «Строители небесного свода». И та и другая книга — бестселлеры.

Братья и сестры Гласс наделены повышенной чувствительностью, они поистине из стекла<sup>2</sup>, нервы у них обнажены, и все несовершенства, уродства окружающего общества и прежде всего фальшь, лицемерие они ощущают раньше и сильнее, чем другие.

В рассказах Сэлинджера, так же как и в романе «Над пропастью во ржи», — злые, горькие характеристики современной американской псевдокультуры. Перед читателем возникают все новые и новые грани мертвого, механизированного общества — сценаристы, в которых давно уже нет творческой искры и которые изготавливают стандартные сценарии на потребу низкопробным вкусам, режиссеры и актеры, разучившиеся произносить живые слова, преподаватели и студенты, замученные и засушенные зубрежкой...

Повести Сэлинджера — повести о кризисе индивидуализма. У всех Глассов — обостренное ощущение одиночества, «избранности», отдаленности от других людей. Даже особый семейный жаргон отделяет их от остальных. И одиночество тяготит их настолько, что бросает в объятия ложного религиозного братства.

Так замыкается круг: роман «Над пропастью во ржи» был порожден кризисом веры в установленный буржуазный порядок, в его правомерность, в его справедливость. Но последовательно развивающийся скепсис начинает отрицать самого себя, и появляется страстное стремление к вере, к положительному идеалу, к человеческому сообществу.

«Редко в истории литературы несколько рассказов возбуждали столько дискуссий, противоречивых оценок, отрицаний, мистификаций, пояснений», — пишет о его последней книге «Нью-Йорк таймс». И впрямь о Сэлинджере спорят постоянно и много. Недавно в США вышел специальный сборник «Сэлинджер и его критики», состоящий из двадцати пяти весьма противоречивых статей.

Изображена ли в книгах писателя современная Америка, рассказал ли он о том, «что означает жить в шестидесятые годы»?

«Зеркало кризиса» — так заголовком своей статьи отвечает на этот вопрос Стивенсон. Но в противоположность этому большинство буржуазных критиков обвиняет Сэлинджера в «отсутствии цели», в том, что он наблюдает общество со стороны, в том, что обличения его поверхностны. К этим критикам присоединяется и рецензент реакционного «Тайм», оценивающий последнюю книгу писателя весьма иронически: «За пределами студенческой аудитории появляются признаки, что ворчливый век начинает терять терпение, слушая критику, раздающуюся из сэлинджеровского детского сада».

В сборнике, как и вообще в буржуазной и особенно в крайне реакционной печати США, господствует — за редкими исключениями — тон проработки Сэлинджера и поразительная глухота к его книгам. Резким диссонансом звучит здесь восторженная, наивная статья девятнадцатилетнего Кристофера Паркера с вызывающим заголовком «А почему бы и не разбить все стекла?». Паркер пишет: «Конечно, истинная трагедия Колфилда, как и многих ибсеновских героев, в том, что у него нет собственных идеалов, которыми можно было бы заменить липовые идеалы общества... я не хочу сказать, что Холден прав, а общество виновато, но я думаю, что Колфилд как личность гораздо более прав и гораздо более человек, чем те люди, которых заботит, приспособится

<sup>1</sup> Русский перевод его опубликован в «Неделе», № 8, 1961. В русском переводе опубликованы также рассказы Дж. Сэлинджера «Посвящается Эсме» («Новый мир», № 3, 1961), «В ялике» и «Человек, Который Смеется» («Новый мир», № 4, 1962).

<sup>2</sup> Glass — по-английски стекло.

он или нет... Именно потому, что он искренно ищет чего-то чистого, и ищет не в самом себе, а вовне,— потому я и восхищаюсь им...»

В журнале «Сатердей ревью» появилась интересная статья профессора Гарольда Тейлора «Портрет молодого поколения». «Совершенно ясно,— пишет автор,— что в Америке существует новое поколение молодых серьезных людей. Это не поколение господина Кеннеди... Они отбрасывают статус-кво, они одержимы страстями, моральными проблемами, у них есть воля верить. Они не менее дисциплинированы, чем их предшественники, но они больше склонны к риску, к проверке самих себя». Тейлор связывает появление этой молодежи с такими крупными событиями в современной истории, как борьба против маккартизма, как решения Верховного суда в 1954 году об отмене сегрегации, как запуск первого спутника.

Представители нового молодого поколения с презрением относятся к конформизму, к той политической апатии, которая была характерна для настроений американской молодежи в пятидесятые годы. Тейлор сообщает о многих фактах возросшей политической активности студенчества — участии в движении «сидячих забастовок протеста», в «рейдах свободы», в демонстрациях против испытаний ядерного оружия. «Они приняли ответственность за мир, в котором они живут... и который они хотят изменить...»

Те, кто правит Америкой, хотят, однако, использовать общественную активность американской молодежи по-своему. Министр юстиции США Роберт Кеннеди, укоряя своих коллег из пропагандистского аппарата за недостаточную «наступательность» по сравнению с коммунистами, призывал широко использовать студенчество для прославления «американизма», особенно в слаборазвитых странах. Но в действительности, как справедливо утверждает Тейлор, мечты и чаяния нового поколения пришли в вопиющее противоречие с педагогической системой и социальной философией, которая господствует в США. «Под поверхностью американского общества, под поверхностью огромного аппарата просвещения с его четырьмя миллионами студентов движутся сильные потоки, появились огромные резервуары энергии, которые ждут новых путей, новых идеалов. Настало время для старшего поколения присоединиться к молодым в их поисках нового общества. Если они этого не сделают, молодые пойдут своим путем: одни — путем Миссисипи (имеются в виду негритянские погромы в Оксфорде в связи с поступлением негра Джеймса Мередита в университет штата Миссисипи.— *Р. О.*), ничему не научившись, другие — либеральным путем, со стремлением изменить существующее».

Огромный, сложный и противоречивый мир этой части американской молодежи еще ждет своего отражения в литературе. И не в утверждении империалистической Америки, а именно здесь и надо искать ответ на вопрос, заданный редакцией журнала «Тайм»: «Что означает жить в Америке в пятидесятые — шестидесятые годы?»

**Р. ОРЛОВА.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

## В. И. ЛЕНИН И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

**В**опрос о работе наших литературно-художественных журналов является в настоящее время особо существенным. Партия призывает привести в боевой порядок все виды идейного оружия. Это относится и к деятельности наших литературных журналов.

Напомнить сейчас о взглядах В. И. Ленина на содержание, роль и задачи литературных журналов представляется нам делом безусловно своевременным и важным. Мудрые идеи Ленина и сегодня определяют характер и пути развития советской литературы и журналистики.

### 1

Как известно, В. И. Ленин очень высоко ценил такие периодические издания, как «Колокол» и «Полярная звезда», некрасовский «Современник», «Искра» Курочкина, «Отечественные записки» семидесятых годов. «Полярная Звезда» подняла традицию декабристов. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено»,— писал В. И. Ленин о вольной печати Герцена. Еще последовательней и решительней, чем Герцен, выступали руководители журнала «Современник» Чернышевский и Добролюбов. В. И. Ленин отмечал, что они умели проводить идеи революции сквозь рогатки и препоны цензуры и воспитывать подцензурными статьями настоящих революционеров, умели в «Современнике» говорить правду о крестьянской реформе 1861 года то молча, то высмеиванием.

Революционно-демократическая журналистика в России была предшественницей марксистской печати. В. И. Ленин придавал партийной печати огромное значение и много сил отдавал организации, редактированию, укреплению, распространению таких нелегальных и легальных партийных органов, как политические газеты «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Звезда», «Правда» и другие. При этом, по мере развития партийной печати, Ленин все больше и больше уделяет внимания привлечению писателей к участию в политических газетах и журналах, публикации в них художественных произведений, освещению вопросов литературы. Это было тем более естественно, что в России еще в предреволюционные годы возникает художественная литература, связанная с борьбой пролетариата. Во главе этой литературы стоял великий художник Горький.

На произведения Горького и других близких ему писателей, печатавшихся в легальных журналах, Ленин обратил внимание еще в конце девяностых годов прошлого века. В письме к А. Потресову в конце апреля 1899 года он так отозвался об издаваемом В. Поссе журнале «Жизнь»: «Недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!» Известно, что в «Жизни» с января по апрель 1899 года был напечатан ряд произведений Горького (первые пять глав «Фомы Гордеева», «Кирилка», «О чорте», «Еще о чорте», «Открытое письмо к А. С. Суворину»), В. Вересаева («Конец Андрея Ивановича»), К. Баранцевича («Запи-

ски»), Е. Чирикова («Чужестранцы»). Позднее — в декабрьской книжке этого журнала за 1899 год — была опубликована статья Ленина «Ответ г. П. Нежданову» и рассказ Горького «Двадцать шесть и одна».

Весьма положительно относился Ленин к горьковским сборникам товарищества «Знание». Он характеризовал их как «сборники, стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы». Наконец в 1905 году начинается непосредственное литературное сотрудничество Горького в редактируемой Лениным легальной партийной газете «Новая жизнь». Значение этого факта в истории нашей печати и литературы очень велико. Ленин видел принципиальный смысл в этом приходе крупного художника в политическую газету и высоко оценил напечатанные в «Новой жизни» «Заметки о мешанстве» Горького.

Вопросы о связи художественной литературы с борьбой пролетариата и общим литературным делом партии, о сущности и задачах новой литературы, о свободе творчества и партийности литературы становятся темами важнейших выступлений Ленина. 13 ноября 1905 года в «Новой жизни» была напечатана знаменитая статья Ленина «Партийная организация и партийная литература». Ленин обосновал в ней принцип партийности печати и литературы. Лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе он противопоставил действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом и его партией литературу. В своей статье В. И. Ленин подчеркнул, что литература должна стать составной частью общепролетарского дела.

Основные положения статьи «Партийная организация и партийная литература» Ленин неоднократно развивал и позднее. Особое значение имеют в этом отношении письма Ленина к А. М. Горькому 1908—1913 годов. В этих письмах с исключительной глубиной и всесторонностью выражены взгляды Ленина на журналистику, ее задачи, направление и содержание, на роль художественных произведений, литературной критики и публицистики в пролетарской печати, на обязанности и права писателей, сотрудничающих в журналах и газетах. Понятно, что мысли Ленина по этому поводу имеют самое прямое отношение и к современной советской журналистике.

С этой точки зрения необходимо остановиться на трех эпизодах, о которых идет речь в письмах Ленина Горькому.

Первый относится к началу 1908 года и связан с проектом беллетристического отдела в центральном органе партии — политической газете «Пролетарий». Такой проект был предложен Ленину Луначарским. Ленин отнесся к нему более чем положительно. «Ваш проект беллетристического отдела в «Пролетарии» и поручения его А. М.—чу превосходен и меня необычно радует. Я именно мечтал о том, чтобы литературно-критический отдел сделать в «Пролетарии» постоянным и поручить его А. М.—чу», — писал он Луначарскому 13 февраля 1908 года. Но еще до проекта Луначарского и независимо от него Ленин сам предлагал Горькому принять активное участие в «Пролетарии» по части литературной критики и публицистики. «...Почему бы не продолжить, не ввести в обычай тот жанр, который Вы начали «Заметками о мешанстве» в «Новой Жизни» и начали, по-моему, хорошо?» — убеждал Ленин Горького в письме от 7 февраля 1908 года. И дальше Ленин развивает в этом письме очень важную и принципиальную аргументацию. «Во сколько раз выиграла бы и партийная работа через газету, не столь одностороннюю, как прежде, — и литературская работа, теснее связанная с партийной, с систематическим, непрерывным воздействием на партию!.. Ох, несть добра в особых, длинных литературно-критических статьях — рассыпающихся по разным полупартийным и внепартийным журналам! Лучше бы нам попробовать сделать шаг дальше от этой интеллигентской старой, барской замашки, сиречь связать и литературную критику теснее с партийной работой, с руководством партией».

Как известно, сотрудничество Горького в «Пролетарии» не осуществилось. В то время он находился под влиянием богостроительства и прислал в газету статью «Разрушение личности», в известной мере связанную с богдановской философией. Ленин (что опять таки показательно для его понимания принципов партийной печати) отказался напечатать ее. Несколько позднее Горький послал в «Пролетарий» статью о Л. Толстом и «сказку» «Огонек», но они пропали при обыске.

Второй эпизод относится к концу 1910 года и связан с участием Горького в журнале

«Современник». По этому поводу Ленин снова обратился в своих письмах Горькому к проблемам печати, журналистики, связи литературы и политики. Главный вопрос, который поставлен в этих письмах,— это вопрос о значении направления для журнала. Согласно Горького стать сотрудником ежемесячного литературно-политического журнала «Современник», редактируемого небезызвестным А. Амфитеатовым и объединявшего вокруг себя публицистов и литераторов самого различного толка — эсеров, меньшевиков-ликвидаторов, либералов, было для Ленина неожиданностью. Когда Ленин из объявления в газете узнал о сотрудничестве Горького в этом журнале, он очень огорчился и возмущился. Тем более что он знал о намерении Горького издавать свой журнал и поддерживал эти планы писателя<sup>1</sup>.

Горькому Ленин писал по этому поводу 22 ноября 1910 года: «...Журнал либо должен иметь вполне определенное, серьезное, выдержанное направление, либо он будет неизбежно срамиться и срамить своих участников. Есть направление у «Вестника Европы» — плохое, жидкое, бездарное, но направление, служащее определенному элементу, известным слоям буржуазии, объединяющее тоже определенные круги профессорской, чиновничьей и так называемой интеллигенции из «приличных» (желающих быть приличными, вернее) либералов. Есть направление у «Русской Мысли» — поганое, но направление, служащее очень хорошую службу контрреволюционной либеральной буржуазии. Есть направление у «Русского Богатства» — народническое, народнически-кадетское, но направление, десятки лет держащее свою линию, обслуживающее известные слои населения. Есть направление и у «Современного Мира» — зачастую меньшевистски-кадетское (теперь с уклоном в сторону партийного меньшевизма), но направление. Журнал без направления — вещь нелепая, несуразная, скандальная и вредная. А какое же направление может быть при «исключительном участии»

Амфитеатрова? ведь не Г. Лопатин способен дать направление, а если верны разговоры (говорят, попавшие и в газеты) об участии Качоровского, то это — «направление», но направление из тупоумных, эсеровское».

Горький, по-видимому, пытался оправдаться перед Лениным и как-то объяснить свое сотрудничество в «Современнике». Об этом можно судить по следующему письму Ленина Горькому (от 3 января 1911 года). В нем вопрос о сущности направления журнала «Современник» разъясняется до конца. Ленин писал: «Насчет «Современника». Читаю сегодня в «Речи» содержание 1-ой книжки и ругаюсь, ругаюсь. Водовозов о Муромцеве... Колосов о Михайловском, Лопатин «Не наши» и т. д. Как тут не ругаться? А Вы еще точно дразните: «реализм, демократия, активность».

Вы думаете, это — хорошие слова? Слова скверные, всеми буржуазными ловкачами на свете используемые, от кадетов и эсеров у нас до Бриана или Мильерана здесь, Ллойда Джорджа в Англии и т. д. И слова скверные, надутые, и содержание обещает эсеровско-кадетское. Нехорошо».

На Горького критика Ленина, несомненно, подействовала. Сначала он заявил протест против объявления о постоянном сотрудничестве в «Современнике», а несколько позднее порвал с журналом Амфитеатрова<sup>1</sup>. Одновременно под влиянием Ленина началось активное сотрудничество Горького в «Звезде» и «Правде», а затем и редактирование им литературно-художественного отдела в большевистском журнале «Просвещение». Но на последнем обстоятельстве нужно остановиться особо, так как здесь выявились важные черты ленинского понимания задач журналистики.

<sup>1</sup> Ленин и в дальнейшем не раз выступал против сотрудничества Горького в журналах сомнительного направления. В 1912 году он так характеризовал журнал «Запросы жизни», в котором Горький напечатал цикл своих статей «Издалека»: «Странный, между прочим, журнал,— ликвидаторски-трудовическо-вехистский. Впрочем, именно «бессловная реформистская» партия...» Горький и на этот раз прислушался к мнению Ленина и отказался от сотрудничества в «Запросах жизни». Свой отказ он мотивировал тем, что «беспартийность» «Запросов жизни» становится постепенно своеобразной партийностью без программы — худшим видом партийности» («Летопись жизни и творчества А. М. Горького». Вып. 2. Изд. АН СССР. 1958, стр. 291).

<sup>1</sup> В. И. Ленин и сам получил приглашение принять участие в «Современнике». Он ответил решительным отказом: «Не разделяя в основном изложенной Вами программы Вашего журнала, я должен отказаться от сотрудничества» («Ленинский сборник» XIII стр. 232).

Письма к Горькому свидетельствуют, что в замыслы Ленина входила организация легального общественно-политического и литературно-художественного толстого ежемесячника. Но поставить в России издание такого журнала было крайне трудно: не было материальных средств, исключительно тяжелыми были цензурные условия. Вот почему Ленин очень заинтересовался, когда в начале 1913 года получил письмо от Горького, в котором тот заявлял: «Нам пора иметь свой журнал».

Ленин тотчас же откликнулся на это заявление Горького. Высказанные им в связи с этим соображения настолько существенны, что их следует привести полностью:

«Вы пишете: «Нам пора иметь свой журнал, но мы не имеем для этого достаточного количества хорошо спевшихся людей».

Второй части этой фразы я не принимаю. Журнал заставил бы спеться достаточное количество людей, будь журнал, будь ядро.

Ядро есть, а журнала (толстого) нет по причинам внешним: денег нет. Будь деньги, я уверен, мы бы осилили и теперь толстый журнал, ибо к ядру сотрудников за плату привлечь можно много, раздав темы и распределив места.

Пока нет денег, надо, по-моему, не только мечтать, но и строить из наличного, сиречь из «Просвещения». Маленькая это рыбешка, конечно, но, во-1-х, большое и все из маленького растет. Во-2-х, лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.

Пора, давно пора начинать спевку, ежели хотим иметь «спевшихся людей» в большом количестве.

«Нам пора иметь свой журнал». Ядро литераторское есть. Правильность линии подтверждена опытом 12 лет (или даже 20), а опытом последних 6 лет сугубо. Собирая вокруг этого ядра, тем самым определяя его детальнее, раста его и расширяя. С нелегального и с «Правды» мы должны были начать. Но останавливаться на этом мы не хотим. А поему, раз Вы сказали, что «нам пора иметь свой журнал», то позвольте Вас за сии слова притянуть к ответу: либо наметить сейчас план поисков денег для толстого журнала такой-то программы такой-то редакции такого-то состава сотрудников, либо начать по сему же плану расширять «Просвещение».

А вернее: не либо — либо, а и — и.

Жду ответа. Из Вены Вы, верно, имеете уже письмо о «Просвещении». Есть верная надежда его упрочить на 1913 г. в малом виде. Хотите, чтобы «мы имели свой журнал», так давайте двигать вместе».

Так писал Ленин. Горький, по-видимому, ответил быстро. Во всяком случае 25 февраля Ленин сообщал Н. Полетаеву, что Горький очень энергично взялся помогать «Просвещению» и превращает его в большой журнал. Согласие Горького помогать «Просвещению» очень обрадовало Ленина: «Чрезвычайно меня и всех нас здесь обрадовало, что Вы беретесь за «Просвещение», — писал он Горькому. — А я — покаюсь — подумал было: вот как только напишу про маленький журнальчик или журнальчишко наш, так у А. М. охота и пропадет. Каюсь, каюсь за такие мысли.

Вот действительно превосходно будет, ежели мы маленьку присоединим беллетристов да двинем «Просвещение»! Превосходно! Читатель новый, пролетарский, — сделаем журнал дешевым, — беллетристику станете Вы пускать только демократическую без нытья, без ренегатства».

Так Горький в 1913 году стал редактором литературного отдела большевистского журнала «Просвещение», руководимого Лениным. Но накануне первой мировой войны — в июне 1914 года — журнал был закрыт царским правительством. Горький поместил в нем очерк «Вездесущее», рассказ «Кража», первую главу повести «Детство», рассказ «По душе» и привлек к участию в журнале ряд писателей из народа: Дм. Семеновского, Ив. Касаткина, Ив. Волнова и других. Постоянным сотрудником журнала был Демьян Бедный<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Одновременно В. И. Ленин стремился привлечь Горького к активному участию в «Звезде» и «Правде». Он просил Горького (через Г. И. Петровского) организовать вокруг «Правды» пролетарских писателей и даже предполагал, что Горький сможет взять на себя заведование беллетристическим отделом «Правды». Горький принял в «Звезде» и «Правде» активное и близкое участие. Как известно, в «Звезде» и «Правде» разного рода литературно-художественные материалы занимали весьма существенное место. В решении ЦК РСДРП о газете «Правда» от 9—11 января 1914 года говорилось: «...необходимо сделать газету более разнообразной. Для этого вернуть обязательно Д. Ведного, отдать больше места под беллетристику, стихи, маленькие фельетоны и т. п.».

Таковы исключительно важные для изучения журналистики материалы из писем Ленина Горькому, на которые мы считаем необходимым обратить особое внимание. Они показывают, что Ленин как организатор и руководитель партийной печати придавал очень большое значение художественной литературе и наряду с изданием нелегальных и легальных политических газет и журналов стремился иметь «свой», партийный литературно-политический ежемесячник.

Главная идея, которая проходит через приведенные выше высказывания Ленина,— идея партийности литературы и журналистики. Именно из этого он исходил, когда настаивал на том, чтобы теснее связать с партийной работой литературную критику и публицистику, когда утверждал, что журнал должен иметь определенное, выдержанное направление, когда радовался возможности «двинуть» «Просвещение» — журнал для нового читателя, для рабочих и революционной демократии с демократической — без нитя и ренегатства — беллетристикой.

Выступая за партийность художественной литературы, за ее коммунистическую идейность, В. И. Ленин не сводил задачи литературы к иллюстрированию, беллетризации тех или иных идей и положений. Он считал, что художественная литература, связанная с пролетариатом и вооруженная марксистским мировоззрением, должна самостоятельно исследовать развитие действительности, обращать внимание на новые явления изменяющейся жизни и ставить новые вопросы, обогащать научный социализм новым опытом. В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин утверждал, что действительно свободная, открыто партийная литература будет оплодотворять «последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата». Горькому Ленин писал, что литературская работа во много раз выиграла бы, «теснее связавшись с партийной, с систематическим, непрерывным воздействием на партию». Не иллюстрировать уже выработанные общие положения, а, идя от жизни, от живого опыта, оплодотворять революционную мысль человечества, помогать партии осваивать и преобразовывать действительность — вот благородные и высокие цели художественного творчества с точки зрения Ленина.

Объединяя и связывая между собой партийную печать и художественную литературу, политику и искусство, Ленин всегда учитывал специфику художественного творчества и не отождествлял его с другими формами партийного дела пролетариата. Для него было бесспорным, что «литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством», что «в этом деле безусловно необходимо обеспечение большого простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» («Партийная организация и партийная литература»).

Эти важные утверждения о необходимости в литературном деле большого простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, мысли и фантазии, форме и содержанию Ленин последовательно проводил на практике, руководя партийной печатью, привлекая к участию в ней писателей. Его письма к Горькому представляют огромный интерес и в этом отношении.

Когда Ленин привлекал Горького к сотрудничеству в политической газете «Пролетарий», он делал это с предельной осторожностью и деликатностью. «...Я боюсь, страшно боюсь прямо предлагать это,— признавался Ленин Луначарскому,— ибо я не знаю характера работы (и работосклонности) А. М.—ча. Если человек занят серьезной большой работой, если этой работе повредит отрыванье на мелочи, на газету, на публицистику,— тогда было бы глупостью и преступлением мешать ему и отрывать его! Это я очень хорошо понимаю и чувствую». И действительно, в письме к Горькому, убеждая его принять участие «в концерте политической газеты, в связи с партийной работой, в духе начатого «Новой Жизнью», Ленин решительно оговаривался: «Если у Вас не лежит душа к небольшим, коротким, периодическим (недельным, двухнедельным) статьям, если лучше чувствуете себя за большой работой,— уж, конечно, я не посоветую прерывать ее. Она больше пользы принесет!»

Ленин с особым вниманием и чуткостью относился к особенностям художественного творчества. «...Я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества Вам все книги в руки»,— писал он Горькому, допуская, что «художник мо-

жет почерпнуть для себя много полезного во всякой философии».

Что Горькому в вопросах художественного творчества «все книги в руки» — Ленин показал на практике во время совместной работы с Горьким в журнале «Просвещение». Во всем, что касалось художественной литературы, Горькому принадлежало решающее слово. Достаточно сослаться на случай с романом В. Войтинского. Роман этот был принят «Просвещением» и должен был пойти в журнале. Но Ленин направил роман Горькому. «Думаем, что Вы не против. Если же Вы, паче чаяния, против, — телеграфируйте в «Просвещение»: «Войтинского отложите» или «роман Войтинского не пускайте». Горький, познакомившись с романом, решительно высказался против его публикации в «Просвещении». Ленин сразу поддержал Горького: «По-моему, задержать роман, раз Вы не за... Напишем в Питер, чтобы задержали». Роман В. Войтинского в «Просвещении» не появился.

Все это, разумеется, вовсе не означало, что Ленин не имел или не высказывал своего мнения о тех или иных явлениях искусства, о тех или иных произведениях литературы, целиком полагаясь здесь на Горького. Совсем нет. Широко известна борьба, которую вел Ленин с ошибками и колебаниями Горького, в том числе и с ошибками в художественном творчестве. Сошлемся для примера на ленинскую критику повести «Исповедь» и некоторых литературно-публицистических выступлений Горького. Ленин и здесь оставался принципиальным и до конца партийным. Но следует подчеркнуть, что это была борьба за Горького, критика с товарищеских позиций, что Ленин на основании отдельных ошибок писателя не стремился заклеить его и отсечь от партии, что цель Ленина заключалась в том, чтобы убедить Горького, помочь ему преодолеть ошибки. Ленин считал, что главное у Горького не те или иные временные и частные заблуждения, а его великие художественные произведения, которыми он крепко связал себя с рабочим движением России и всего мира, и громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению.

Ленин требовал от руководителей газет и журналов бережного отношения к талант-

ливым писателям, способным принести пользу народу. В этом отношении нельзя не помнить о письме Ленина в редакцию газеты «Правда» относительно Демьяна Бедного. Письмо относится к маю 1913 года. Демьян Бедный перестал тогда на время печататься в «Правде» и печатался исключительно в «Просвещении».

«Насчет Демьяна Бедного продолжаю быть за, — писал Ленин. — Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех... если вы талантливого сотрудника не притянете, не поможете ему. Конфликты были мелкие, а дело серьезное. Подумайте об этом!»

Таковы суждения Ленина, раскрывающие некоторые стороны его отношения к журналистике, понимание им роли и места художественной литературы, литературной критики и публицистики в партийной печати. Их значение утверждено всем опытом развития советской литературы и журналистики.

## 2

После того, как совершилась Октябрьская социалистическая революция, Советское государство и партия сразу же приняли решительные меры к тому, чтобы обеспечить трудящимся массам реальную свободу печати. Были национализированы крупнейшие полиграфические предприятия, конфискованы запасы бумаги, предоставлены широкие возможности для издательской деятельности Советам, профсоюзам, различным культурно-просветительным организациям и учреждениям. В их руки были переданы все технические и материальные средства к изданию газет, журналов и книг.

Так был осуществлен коренной перелом в истории печати в России, уничтожена зависимость печати от капитала, подорваны основы буржуазной прессы и журналистики, частных издательств, созданы предпосылки для развития новой — советской — печати.

С первых же дней революции Советское государство должно было ликвидировать ряд наиболее враждебных новому строю органов печати, пытавшихся стать центрами контрреволюционных сил. Уже на третий день после победы революции — 10 ноября 1917 года — В. И. Ленин подписал «Дек-



рет о печати». Декрет положил конец той «свободе печати», за ширмой которой «фактически скрывается свобода для имущих классов захватить в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс», и утвердил необходимые меры для «пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса».

«Мы не можем дать буржуазии возможность клеветать на нас... Если мы идем к социальной революции, мы не можем к бомбам Каледина добавлять бомбы лжи», — говорил Ленин при обсуждении вопроса о печати на заседании ВЦИКа 17 ноября 1917 года в ответ на вопли меньшевиков и эсеров о нарушении «свободы печати».

В январе 1918 года был обнародован подписанный Лениным декрет об учреждении Революционного трибунала печати. Ведению Революционного трибунала печати, говорилось в декрете, «подлежат преступления и проступки против народа, совершаемые путем использования печати». Советское правительство не хотело мириться с «бомбами лжи». Так были закрыты журналы «Русская мысль» Струве, «Новый Сатирикон» Аверченко, так были закрыты сеющие смуту и разжигающие антисоветские настроения газеты.

Была закрыта также издававшаяся Горьким «Новая жизнь» — газета в сущности своей меньшевистская, выступавшая до Октября против капиталистов, но впавшая в обывательскую истерику, когда дело дошло до социалистической революции.

Б. Малкин рассказывает:

«Вспоминаю, как перед Владимиром Ильичем встал вопрос о Горьком в 1918 году.

Шел вопрос об издававшейся им «Новой Жизни», полувраждебно к нам относившейся, ставшей центром леворадикальной интеллигенции, усмотревшей в большевизме угрозу «культуре».

За окончательным решением этого вопроса обратились к Владимиру Ильичу.

Перед нами стоял идейно беспощадный вождь рабочего государства. Ни тени сомнений, отброшены всякие личные симпатии и привязанности.

— Конечно, «Новую Жизнь» нужно закрыть. При теперешних условиях, когда

нужно поднять всю страну на защиту революции, всякий интеллигентский пессимизм крайне вреден. А Горький — наш человек... Он слишком связан с рабочим классом и с рабочим движением, он сам вышел из «низов». Он безусловно к нам вернется...»

Горький действительно скоро вернулся к советскому народу и партии. Врагам же революции и социализма не оставалось ничего другого, как изливать свою ярость и злобу на страницах бело-гвардейской и эмигрантской печати.

Снова вопрос о «свободе печати» возник в годы нэпа, когда в Москве и Петрограде начали функционировать несколько десятков частных издательств и появилось большое количество разных книг, альманахов, сборников, брошюр явным образом буржуазного характера. Зашевелились некоторые антисоветские журналы и альманахи, совсем было угасшие в суровое время гражданской войны («Вестник литературы», «Книжный угол»), и появилось несколько новых журналов, выступающих под флагом аполитизма, но так или иначе чуждых советскому строю и культуре («Дом искусств», «Русский современник», «Новая Россия» и другие). Буржуазная интеллигенция, мечтавшая о перерождении советской власти и реставрации капитализма, стала стремиться к легализации своей деятельности, прикрываясь лозунгом «свободы печати». Нашлись тогда защитники этого лозунга и среди коммунистов.

В. И. Ленин дал им резкую отповедь в своем докладе на XI съезде партии: «Если крестьянину необходима свободная торговля в современных условиях и в известных пределах, то мы должны ее дать, но это не значит, что мы позволим торговать сивухой. За это мы будем карать. Это не значит, что мы разрешим торговать политической литературой, которая называется меньшевистской и эсеровской и которая вся содержится на деньги капиталистов всего мира».

Непосредственно эти слова Ленин направлял в адрес так называемой «рабочей оппозиции», один из участников которой, Г. Мясников, незадолго до съезда требовал дать «свободу печати от монархистов до анархистов включительно». Ленин тогда же (5 августа 1921 года) ответил Мясникову большим письмом, в котором не оставил камня на камне от его рассуждений. В этом письме Ленин показал, что нельзя требо-

вать свободы печати, не разобравшись в том, какую свободу печати, для чего, для какого класса, что мы завоевали свободу печати для трудящихся масс и требование «свободы печати от монархистов до анархистов» играет на руку мировой буржуазии. «Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными врагами всего мира,— писал Ленин,— есть свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг, меньшевиков и эсеров».

Не раз предпринимались и до сих пор предпринимаются попытки представить Ленина сторонником невмешательства партии и государства в развитие социалистического искусства и литературы. Такие измышления не имеют ничего общего с действительностью. Достаточно обратиться к выступлениям Ленина и партийным документам, относящимся к Пролеткульту, чтобы убедиться в полной несостоятельности подобных построений.

В беседе с Кларой Цеткин Ленин говорил, что после Октябрьской революции каждый художник «имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего. Но, понятно,— пояснял он,— мы — коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

В этом отношении Ленин рассматривал художественную литературу (и тем более журналистику) как часть идеологической работы партии, часть партийной и советской печати и часто указывал на общность задач писателей, журналистов и пропагандистов, объединяя и связывая между собой пропаганду, печать и литературу.

Право руководить литературой и искусством, по мнению Ленина, принадлежит партии и государству. Ни одна литературная группа или орган не могут присвоить себе монополию на представительство линии партии в литературе. Н. Л. Мещеряков рассказывал, как бюро, избранное съездом журналистов (1919), «задумало взять на себя роль идейного центра советской журналистики, который впоследствии должен был стать идейным руководящим литературным центром». Мещерякову и Вардину было поручено ознакомить Ленина с этим планом и заручиться его согласием.

Ленин принял их, выслушал и ответил (Мещеряков оговаривается, что передает только смысл ответа, так как подлинных выражений, к сожалению, не запомнил): «Нет. Так, как вы хотите, делать не нужно. Нельзя съезду журналистов, избирающему бюро, поручить руководство литературой. Литература — могучее орудие пропаганды, и руководство ею в настоящий период должно находиться в руках государства» («Красная газета», 7 июня 1924 года, № 128).

При этом Ленин всегда был решительным противником любых попыток администрирования в литературных делах или мелочной опеки над литературой. «...Он (Ленин.— А. Д.) давал мне личные директивы подтянуть Пролеткульт ближе к государству, подчинить его контролю. Но в то же самое время он подчеркивал, что надо предоставить известную широту художественным программам Пролеткульта»,— свидетельствует Луначарский. Написанный Лениным «Проект Установления Пленума ЦК РКП(б) о Пролеткульте» (от 10 ноября 1920 года) полностью подтверждает справедливость этих слов Луначарского. В «Проекте» сказано, что «работа Пролеткульта в области научного и политического просвещения сливается с работой НКПроса и Губнаробразов, в области же художественной (музыкальной, театральной, изобразительных искусств, литературной) остается автономной, и руководящая роль органов НКПроса, сугубо процеженных РКП-й, сохраняется лишь для борьбы против явно буржуазных уклонов».

Руководя экономическим, политическим и культурным строительством нового общества, В. И. Ленин, естественно, уделял серьезное внимание и советским литературным журналам. В его библиотеке были и пролеткультовские издания, и «Творчество», и «Красная новь», и «Печать и революция», и «Сибирские огни», и многие другие советские литературные журналы. Он читал или просматривал их и оказывал им активную помощь.

Вот что рассказывает А. С. Серафимович: «В начале Великой Октябрьской социалистической революции я с группой товарищей организовал литературно-художественный журнал «Творчество». Владимир Ильич очень внимательно следил за жизнью журнала, за всем тем, что в нем появлялось. В общем он хорошо относился к журналу».

При встрече с А. С. Серафимовичем Ленин заговорил и о журнале. Свой разговор с Лениным Серафимович излагает следующим образом:

«— Пишете что-нибудь? — спросил он.

— Трудно сейчас писать: очень много организационной работы.

Ильич нахмурился.

— Да, организационной работы у нас сейчас в стране много. А вам, писателям, необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться. У вас в журнале рабочие помещают свои вещи?

— Маловато, Владимир Ильич, видимо, знаний, культуры не хватает.

Он поглядел на меня смеющимися прищуренными глазами:

— Ну, это ничего, научатся писать, и будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература...»

Совершенно ясно, что Ленин связывал будущее «первой в мире пролетарской литературы» с революционным творчеством масс, с появлением и ростом новой рабочей художественной интеллигенции, а литературным журналам отводил роль центров, привлекающих рабочих к литературному творчеству.

В то же время Ленин боролся со всякого рода упрощенно-сектантскими представлениями о культурном строительстве — с нигилистическим отношением к культурному наследию, с призывами создать новую культуру силами одного рабочего класса и т. д.

Известно, например, как отрицательно встретил он появление в «Правде» (27 сентября 1922 года) статьи пролеткультовца В. Плетнева «На идеологическом фронте», написанной в духе вульгарного социологизма и представлявшей явный рецидив богдановщины. Он назвал ее фальсификацией исторического материализма, игрой в исторический материализм. «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды», — утверждал Плетнев. Ленин, подчеркнув слова «только» и «его», написал на полях статьи Плетнева: «Архификция».

Самое непосредственное участие принял Ленин в судьбе первого советского толстого литературного ежемесячника «Красная

новья». Вот что рассказывает А. Воронский о возникновении этого журнала: «...Первое организационное собрание редакции «Красной нови» происходило в Кремле, в квартире Владимира Ильича Ленина. Помимо него, на этом собрании присутствовали: Надежда Константиновна Крупская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. Владимир Ильич пришел на это собрание в промежуток между двумя заседаниями. Я сделал краткий доклад о необходимости издания толстого литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Владимир Ильич согласился с моими мыслями. Здесь же было намечено, что журнал будет издаваться Главполитпросветом, что ответственным редактором буду я и что Алексей Максимович будет редактировать литературно-художественный отдел этого журнала».

Как видно, Ленин сразу же согласился с проектом издания толстого литературного журнала. Несомненно, суть дела ему была известна заранее. Не случайно на обсуждение вопроса был приглашен Горький. Вероятно, и к редактированию литературно-художественного отдела «Красной нови» Горький был привлечен по предложению Ленина. Если вспомнить, что еще до революции Ленин стремился наладить издание научно-публицистического и литературно-художественного ежемесячника и привлечь к работе в нем Горького, то его позиция при организации «Красной нови» станет совершенно понятной.

Участие Ленина в «Красной нови» не ограничилось первым организационным собранием. В первом номере «Красной нови» (он вышел в июне 1921 года) имя Ленина было названо в числе сотрудников издания и была напечатана его известная статья «О продовольственном налоге», специально предназначенная для журнала. Это показывает, какое значение придавал Ленин «Красной нови» и как он относился к журналу.

Следует отметить, что участие Ленина в «Красной нови» сразу же обратило на себя внимание. «Красная новья» — журнал довольно своеобразный, — писал журнал «Жизнь». — Во всей истории журналистики не было случая, чтобы первая книжка нового журнала содержала статью главы правительства... И статью такую, которая знаменовала целую эпоху в правительственном курсе, наложившую яркий отпечаток на всю мировую политику, перепутавшую все

карты международной дипломатии» (№ 1, 1922, стр. 207).

Рецензент «Жизни», обратив внимание на появление в литературном журнале статьи Ленина, правильно отметил своеобразие «Красной нови», но не увидел, что в этом факте и в этом своеобразии заключается принципиальная особенность советской журналистики — ее неразрывная связь с Советским государством и Коммунистической партией, их политикой и деятельностью.

Помогая развитию молодой советской журналистики, Ленин придавал ей очень большое значение.

Стать ближе к жизни, к строительству нового общества, к повседневному труду и борьбе рабочего класса и крестьянства — такова, по мнению Ленина, важнейшая задача советских журналов. «Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее», — писал Ленин в известной работе «Великий почин».

С этих позиций Ленин и подходил к печати и литературе, постоянно поддерживая правдивое, основанное на реальном отражении опыта коммунистического строительства, слово. Когда в 1918 году вышел очерк Александра Тодорского «Год — с винтовкой и плугом», безыскусственно и живо рассказывающий о работе коммунистов Вельегонского уезда, Ленин написал о нем специальную статью. Он назвал книжечку Тодорского «замечательной» и утверждал, что издание «наиболее правдивых, наиболее бесхитростных, наиболее богатых ценным фактическим содержанием из таких описаний было бы бесконечно более полезно для дела социализма, чем многие из газетных, журнальных и книжных работ записных литераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни».

Когда Горький взял на себя руководство издательством «Всемирная литература», Ленин всемерно помогал ему, но в известном письме от 31 июля 1919 года обращал внимание писателя на то, что в качестве профессионального редактора переводов он поставил себя в такое положение, «в котором наблюдать нового строения новой жизни нельзя». «Ни нового в армии, ни нового

в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать не можете», — писал Ленин.

И Горькому и другим литераторам и журналистам Ленин советовал изучать революционное творчество народа, рабочей и крестьянской массы. Он вкладывал в эти пожелания исключительно многосторонний и богатый смысл. «Живое творчество масс — вот основной фактор новой общественности... — говорил Ленин. — Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно бюрократический автоматизм: социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс».

Советуя журналистам и литераторам обратиться к действительности, наблюдать строительство новой жизни внизу, Ленин резко осуждал распространенное в нашей печати и литературе — в газетах и журналах — фразерство и беспочвенное умствование.

«У нас мало внимания, — писал Ленин, — к той будничной стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутриволостной жизни, где всего больше строится новое, где нужно всего больше внимания, огласки, общественной критики, травли негодного, призыва учиться у хорошего».

Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе. Побольше проверки того, насколько коммунистично это новое».

Развитию этих мыслей специально посвящена статья Ленина «О характере наших газет», намечавшая пути развития новой советской журналистики, неразрывно связанной с жизнью народа, с практикой строительства коммунизма.

Ленин подвергал критике те журналы, которые хотя и стояли на почве Октября, но отдавали сильную дань отвлеченной от жизни декламации.

В особенности это относилось, конечно, к пролеткультовской печати, к пролеткультовской журналистике. И не только к публицистике и критике этих журналов, но и к представленному в них художественному творчеству. «Фразистость» проникла и сюда.

Нельзя сказать, что Ленин не видел в Пролеткульте, его деятельности и журналах

ничего хорошего<sup>1</sup>. Пролеткультовские поэты, стихотворениями и поэмами которых были заполнены журналы, были проникнуты искренним энтузиазмом и пафосом революционной борьбы, романтическим устремлением к грядущему, к коммунизму. Однако они пророчествовали о пришествии «Железного мессии», воспевали «Завод», «Труд», «Железо», «Пролетариат» с большой буквы, в абстрактном виде. Повседневная, реальная жизнь пролетариата и трудового крестьянства, строящих новое общество, отстаивающих его на фронтах гражданской войны, находила в их произведениях слабое отражение.

Выступая против «фразистого подхода к революции», Ленин до конца своей жизни продолжал больше всего ценить близость к действительности и ее правдивое изображение и сильнее всего порицал поверхностное сочинительство. В апреле месяце 1922 года он писал Н. Осинскому: «Самое худое у нас — чрезмерное обилие общих рассуждений в прессе и политической трескотни при крайнем недостатке изучения местного опыта. И на местах и вверху могучие тенденции борются против его правдивого оглашения и правдивой оценки. Боятся внести сор из избы, боятся голой правды, отмахиваются от нее «взглядом и нечто», попросту верхоглядством...»

Близость к жизни, правдивость изображения — безусловно важнейшие критерии, с которыми Ленин подходил к оценке произведений художественной литературы. Он похвалил сатирическое стихотворение В. Маяковского «Прозаседавшиеся», в котором поэт «вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают». «Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, — говорил Ленин, — хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной... Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно». Ему понравилась книга В. Зазубрина «Два мира» о гражданской войне в Сибири. «Очень страшная, жуткая книга; конечно — не роман, но хорошая, нужная книга». В «Красной нови» Ленин обратил

внимание на печатавшиеся там новые произведения Горького (Н. К. Крупская рассказывает, что последние месяцы жизни Ленина она читала ему «Мои университеты» Горького и стихи Демьяна Бедного) и повесть М. Шагинян «Перемена», реалистически — на основе личных впечатлений — рисующую гражданскую войну на Дону.

Правдивое искусство, с точки зрения Ленина, помогает партии строить новое общество и находится в органическом соответствии с коммунистической идейностью, чистотой и выдержанностью которой была предметом постоянных забот партии. Ленин боролся с либерально-примиренческим отношением к тем или иным проявлениям буржуазной идеологии, к любой проповеди мирного идеологического сожительства. Он неоднократно выступал и против проникновения чуждых идей и тенденций в советскую литературу и литературную журналистику. Напомним, например, о его настойчивой и последовательной борьбе против богдановщины, то есть махистской философии, вульгарного социологизма и политического сектантства и сепаратизма.

В этой же связи важно подчеркнуть отрицательное отношение Ленина к формализму в искусстве. Он решительно выступал против того, чтобы за нечто новое выдавалось «самое нелепейшее кривляние» и под видом пролетарского искусства «преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное». В беседе с Кларой Цеткин Ленин сказал: «Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».

Среди «измов» Ленин назвал футуризм.

Отношение В. И. Ленина к футуризму общеизвестно. Ему было враждебно стремление футуристов «стереть с лица земли» реалистическое искусство и утвердить формалистические упреждения и выверты в живописи и литературе.

М. Н. Покровского Ленин просил «помочь в борьбе с футуризмом» и «найти надежных анти-футуристов», а о Луначарском иронически замечал, что его следует «сесть за футуризм». И дело здесь, конечно, не столько в том, что Луначарский провел печатание «150 000 000» Маяковского тиражом в 5000 экземпляров (а Ленин считал, что надо было печатать не более 1500 экземпляров), не столько в данном конкретном эпи-

<sup>1</sup> См. воспоминания Ф. Волгина в сборнике «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1960, стр. 699.

зоде, сколько в притязаниях футуризма вообще и в отношении Наркомпроса к этим притязаниям.

Дело в том, что футуристы, хоть и пропагандировали анархистские идеи «отделения искусства от государства», тем не менее были совсем не прочь установить свою монополию и диктатуру в искусстве и говорить от лица советской власти. «Мы, пожалуй, не отказались бы,—заявляли они,—от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». И беда заключалась в том, что Луначарский, хотя и критиковал футуризм, все же, как нарком просвещения, не давал должного отпора этим неосновательным претензиям и даже покровительствовал футуристам. Дело дошло до того, что футуристы стали играть главную роль в органах Изобразительного отдела Комиссариата народного просвещения — газете «Искусство коммуны» (издавалась с декабря 1918 по апрель 1919 года, вышло девятнадцать номеров) и журналах «Искусство» и «Изобразительное искусство».

Совершенно ясно, что «агрессия» футуристов и споры вокруг их деклараций и творчества не могли пройти мимо внимания В. И. Ленина. Он откликнулся на них и в беседе с Кларой Цеткин, и в споре со студентами-вхутемасовцами, и в речи на Первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию в мае 1919 года, и в ряде других выступлений. Когда М. Ф. Андреева обратила внимание В. И. Ленина на линию, которую проводят футуристы в «Искусстве коммуны», он (как сообщает А. А. Луначарская) «в разговоре с Луначарским предложил пресечь выступления такого рода в органах Наркомпроса»<sup>1</sup>. Поэтому и можно предположить, что, обращаясь к Покровскому за помощью для борьбы с футуризмом и возмущаясь по поводу отношения к футуризму Луначарского, Ленин имел в виду не только эпизод с изданием «150 000 000» В. Маяковского, но и более широкую совокупность фактов, в том числе и «захват» футуристами в свое время газеты «Искусство коммуны» и других органов Наркомпроса.

<sup>1</sup> В связи с этим Луначарский заявил, что «мы не можем позволить, чтобы официальный орган нашего Комиссариата изображал все художественное достояние от Адама до Маяковского иучей хлама, подлежащей разрушению».

О том, какое большое значение придавал Ленин идейной принципиальности литературных журналов, свидетельствует и его отношение к некоторым материалам, появившимся на страницах «Красной нови».

По мере выхода книжек «Красной нови» Ленин внимательно следил за их содержанием. Так, он обратил внимание на второй номер журнала за 1922 год, в котором были помещены кусок из «Записок о революции» Н. Суханова и статья В. Базарова о «Закате Европы» О. Шпенглера. «Не скрою,—вспоминал А. Воронский,—что у меня был случай, когда он (Ленин.— А. Д.) пожурил меня за помешение воспоминаний о февральской революции Суханова и за статью Базарова о Шпенглере. Я сказал ему, что Суханов не является постоянным сотрудником «Красной Нови», статья же Базарова помещена в дискуссионном порядке, и в следующем номере будет помещен ответ на эту статью. Он успокоился, но заметил, что, по его мнению, Шпенглер не интересен и что им заниматься в советской России не стоит...»

Ленин имел все основания беспокоиться по поводу сотрудничества Суханова и Базарова в «Красной нови». В недавнем прошлом он жестоко критиковал их как активных меньшевиков-новожизнцев, а еще раньше — в «Материализме и эмпириокритицизме» — выступал против богостроительских увлечений В. Базарова. Понятно, что появление статей Суханова и Базарова на страницах «Красной нови» обратило на себя внимание Ленина. Тем более что он знал и «Записки о революции» Суханова, и книгу О. Шпенглера «Закат Европы» и имел к ним вполне определенное отношение.

«Записки о революции» Н. Суханова Ленин характеризовал в статье «О нашей революции» (1923) как типично меньшевистское произведение, в основе которого лежит догма о якобы преждевременности социалистической революции в России. Что же касается книги Шпенглера «Закат Европы» и выступлений ее поклонников, то Ленин расценивал это как хныканье образованных мешан по поводу упадка старой буржуазной и империалистической Европы, которая «привыкла считать себя пупом земли», но «лопнула в первой империалистической войне, как вонючий нарыв».

Совершенно очевидно, что Воронскому не следовало печатать в «Красной нови»

статьи Суханова и Базарова, А. Воронский допустил серьезную ошибку.

Заслуживает внимания и еще одно место из рассказа А. Воронского об отношении Ленина к журналу «Красная новь». «Он (Ленин.— А. Д.) помогал мне советами и указаниями,— говорит Воронский.— Помню, что однажды он мне прислал новую книгу Гобсона об империализме с указанием главы, которую, по его мнению, следовало бы перевести и поместить в одном из очередных номеров журнала. Она была напечатана». Речь идет о книге известного английского экономиста Гобсона «Проблемы нового мира», глава из которой была помещена в июльско-августовской книжке «Красной нови» за 1922 год. Как известно, Гобсон был буржуазным экономистом, но Ленин ценил его работы за объективность и обилие ценного материала. Использование и публикацию трудов таких ученых он считал делом целесообразным.

Огромное значение для всей советской журналистики и — шире — для идеологической работы партии имеет статья В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма», напечатанная в марте месяце 1922 года в журнале «Под знаменем марксизма». Это был новый, только что основанный журнал, посвященный разработке проблем философии и социологии, ставящий целью борьбу за материалистическое мировоззрение. Статья Ленина «О значении воинствующего материализма» определяла его направление и основные задачи. И те цели, которые ставил Ленин перед журналом «Под знаменем марксизма», партия двигала перед всеми советскими журналами.

«...Журнал,— писал Ленин,— который хочет быть органом воинствующего материализма, должен быть боевым органом, во-первых, в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных «дипломированных лакеев поповщины», все равно, выступают ли они в качестве представителей официальной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя «демократическими левыми или идейно-социалистическими» публицистами.

Такой журнал должен быть, во-вторых, органом воинствующего атеизма».

Конечно, задачи коммунистического воспитания решаются теоретическим журналом по-особому, иначе, чем художественными изданиями, но все же эти слова Ленина

имеют значение и для литературных журналов. При всех своих особенностях и литературные журналы, издающиеся в Советском государстве, должны быть органами воинствующего материализма и атеизма, должны разоблачать и преследовать чуждую идеологию. Это тем более бесспорно, что наши журналы, как правило, являются не только художественными, но и научно-публицистическими.

Непримиримое отношение к чуждой идеологии нисколько не мешало Ленину всегда иметь в виду сложность некоторых идеологических явлений.

Существенна в этом отношении напечатанная в ноябре 1921 года в «Правде» рецензия Ленина на книгу писателя-эмигранта А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». «Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки», — писал Ленин. Давая убийственную характеристику ограниченности автора, изобразившего революцию с точки зрения «старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объедающейся и объедавшейся России», Ленин в то же время подчеркнул талантливость книжки и рекомендовал некоторые рассказы перепечатать.

Ленину был чужд вульгарно-социологический подход к литературе. Он умел видеть противоречивое переплетение в тех или иных произведениях правды жизни и ложных идей, умел ценить хорошее в них даже в том случае, если они содержали в себе и некоторые ошибочные мотивы. Известно, например, его сочувственное отношение к появившемуся в 1921 году роману И. Эренбурга «Хулио Хуренито» — произведению, разоблачавшему империалистическое хищничество, буржуазные нравы, мещанство, хотя и окрашенному настроениями скепсиса.

Идейное капитулянтство и сектантство — вот две опасности, от которых постоянно предостерегал Ленин работников идеологического, культурного фронта. Поучительные высказывания Ленина по этому поводу приводит Луначарский в малоизвестной статье «Один из культурных заветов Ленина» (1929).

«Если вы позволите произойти процессу рассасывания наших коммунистических начал,— вспоминает Луначарский слова Ленина,— если вы растворитесь в беспартийной

среде, это будет величайшее преступление. Но если вы замкнетесь в сектантскую группу, в какую-то касту завоевателей, возбуждете к себе недоверие, антипатию среди больших масс, а потом будете ссылаться на то, что они-де мешане, что они чуждый элемент, классовые враги, то придется спросить с вас со всей строгостью революционного закона».

Последовательно проводил Ленин принцип партийности журналистики.

Коммунистическая партийность — вот

главный завет Ленина советской литературе и журналистике. Великий Ленин помогал их рождению, направлял их первые шаги.

Продолжая и развивая ленинские традиции, Коммунистическая партия уверенно направляет развитие литературы и искусства в период развернутого строительства коммунизма. В мире идет острая борьба двух непримиримых идеологий — социалистической и буржуазной, и долг каждого писателя и журналиста активно служить делу партии и народа.





# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ф. Светов.** На Энской атомной...— **В. Непомнящий.** Подвиг Пушкина.—  
**И. Питляр.** Поэтичная проза.— **М. Блинкова.** Филолог на стройке.— **Д. Шестаков.** Два романа Чарльза Сноу.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Б. Дубровин.** Молодые воины Советской Армии.— **А. Карамышев.** Книга об отце В. И. Ленина.— **М. Кораллов.** Сквозь строй.— **И. Селинов.** Жизнь во Вселенной.

## *Литература и искусство*

### НА ЭНСКОЙ АТОМНОЙ...

**Илья Зверев.** Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева. Непридуманнные рассказы. «Знамя». № 1, 1963.

Очеркист Илья Зверев написал «Непридуманнные рассказы». Речь в них идет о людях, работающих на «Энской атомной электростанции». В специальном примечании к рассказам автор пишет: «Стройка названа здесь «Энской», потому что рассказы эти не документальны. И было бы ошибкой, если бы на Белоярской или Ново-Воронежской атомных станциях стали искать точных прототипов их героев. Но характеры и отношения людей взяты, как говорится, из жизни, и потому автор все же отважился назвать свои рассказы непридуманнными».

Что это — литературный прием, скромность очеркиста, впервые пробующего свои силы в прозе, или здесь объяснение своеобразия жанра? В последние годы появился целый ряд прозаических произведений, утрачивающих жесткие жанровые признаки. «Райгород» Е. Дороша, «В командировке» Н. Мельникова — что это, рассказы, очерки, повести? Авторы только что названных произведений подчас неторопливо, даже «скудно» развивают сюжет, проявляя внимание к несущественным, на первый, поверх-

ностный взгляд, подробностям и деталям, но постепенно этот «драматизм мелочей» начинает «забирать» читателя — они складываются в художественную картину жизни, сами жизненные проблемы словно бы информируют о себе, заставляют думать, понимать, принимать решения. Читателя подкупает естественность и особая шепетильная точность разговора, избегающего внешней беллетризации.

Естественность, непредвзятость повествования позволяют сблизить «Непридуманнные рассказы» И. Зверева с только что перечисленными произведениями. И. Зверев ищет драматизм не во внешних событиях, так или иначе поворачивающих судьбу героя, не в острых ситуациях, в которых герой по тем или иным причинам оказывается. Автор пытается проследить, как, по каким законам складывается человеческий характер, понять его истоки.

В центре каждого из четырех рассказов, входящих в «Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева», и стоит такой человеческий характер. Он рас-

крывается по-разному: в одном рассказе — это монолог героя («Течение времени»), в другом — мысли и «соображения» героя, «государственные и обыкновенные», записанные журналистом, казалось бы, безо всякой внешней связи и последовательности; в третьем — чуть иронически переданная история о том, как «звездный час» неожиданно перевернул всю жизнь тихого и скромного человека («Всем лететь в космос»).

Лучший из «Непридуманных рассказов» — на мой взгляд, «Безлюдный фонд». В нем отчетливо проявились наиболее интересные качества прозы И. Зверева — минимум авторского вмешательства и одновременно тщательность анализа характера.

Когда герой рассказа «Безлюдный фонд» Шалашов — «розовый и кудрявый» — появился в бригаде турбинистов, никто особенно не ликовал. Цену Шалашову здесь знали и потому обольщаться не могли. «Не бери его, — сказал Цаплин бригадиру Феде. — Не трожь дерьма. Ты же знаешь?» — «Знаю, — сказал Федя... — Но куда он зимой пойдет?» И Шалашов стал работать в бригаде, ибо зимой ему и правда деваться было некуда. Перед тем Шалашов работал у такелажников — оттуда его прогнали за то, что в самую тяжелую пору он нарочно стукнул себя молотком по пальцу и «гулял себе «на больничном», получая за производственную травму. А еще раньше Шалашов помогал отцу-бакеншику зажигать огни на реке, работа была «непыльная» — два часа вечером, два часа утром. Еще Шалашов работал рабочим «при санатории» «Маяк революции» — ел сколько влезет («подавальщицы к Шалашову особенно относились»), купался, деньги платили ему «по какому-то безлюдному фонду» — штатной единицы на него не было, потом безлюдный фонд закрыли...

Так Шалашов жил и все удивлялся, почему это хорошие люди соглашаются «на трудные работы, когда есть легкие», почему кто-то живет в Магадане, а не в Сочи, почему идут в бетонщики, а не в продавцы (деньги те же!), известно ведь, что «лучше лучше, чем хуже».

Для турбиниста Цаплина, которого «трясло», когда он смотрел на Шалашова, никаких загадок в нем не было — это про таких пишут в «Комсомольской правде»: «Пусть горит земля под ногами тунейдцев», в «Кро-

кодиле» их рисуют в узких брючках и по указу отправляют «в специально отведенные местности». Такие люди, как Шалашов, мучили и раздражали Цаплина, разбивали его стройное представление о мире. «Если б все люди были, как наш взвод!» — думал Цаплин, вспоминая своих прекрасных фронтовых товарищей.

Но люди были разными. Читатель убеждается в этом вслед за Цаплиным, как только начинает внимательнее присматриваться к Шалашову.

Пришел Шалашов однажды на воскресник (по всему городку были расставлены шиты: «На воскресник ты придешь, вклад рабочий свой внесешь!»), работать не стал, сидел на холме над копошпившимися в траншее землекопачи, смотрел, как обнаженные по пояс ребята рыли землю, девочки таскали носилки с землей, слушал, как оркестр бодро играет «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!». И когда взбешенный Цаплин добрался до него и сказал что-то про совесть, Шалашов ответил: «Неважно, какая у меня совесть... А вот рабочий класс вкалывает. В выходной день ямы копает. Лопатами. И носилки таскает. А за главным корпусом канавокопатель стоит и бульдозеры. В полной исправности. Для двух человек на три часа работы». И глядя на покрасневшего Цаплина, Шалашов добавил: «Из вас же дураков строят... Для чего, спрашивается? Для того, чтобы птичку поставить: проведен воскресник, охвачено 916. Может, я неправильно говорю? Клевещу, может?»

Цаплин, естественно, возмутился: «А чего ты радуешься?» Но тут же накинулся на секретаря райкома комсомола, который вместе со всеми бодро работал лопатой. В самом деле, для чего эта бесхозяйственная трата сил?

Что ж, пожалуй, Шалашов и правда не так уж похож на тех, кого рисуют в «Крокодиле»...

Несмотря на весь скептицизм и безразличие, ему все же мешает, что от остальных товарищей по бригаде его отделяет «какая-то невидимая пленка», что к нему просто так никто не обратится за помощью, что порой ребята разговаривают при нем, будто его и нет. «Кто-то все-таки ненормальный, — думает он иногда, — либо ребята, либо Шалашов»...

Однажды ему приходит в голову мысль,

что есть между ребятами какая-то высшая связь, а у него, Шалашова, никогда и ни с кем не было такой связи. Что вот про таких, как они, и книга и песни и что он пацаном именно в таких играл, «а в него никто и никогда играть не захочет». Эти мысли все чаще посещают Шалашова, смущают его. Его незадавшаяся, нескладная жизнь (все беды которой, как ему самому кажется, так просто объясняются ленью, но причины которых на самом деле значительно более сложные и не такие уж субъективные), — его, Шалашова, собственная жизнь начинает все больше огорчать и расстраивать его. И вот он почему-то не может уже уйти из бригады, хотя бывшие дружки подобрали ему было работенку в другом месте — «чтобы не перерабатывался». Слова «атомная электростанция» начинают все больше волновать его...

И. Зверев не боится сложностей этого характера, он исследует его, находит в душе Шалашова такие точки опоры, которые помогут ему перевернуть жизнь. И поэтому веришь, что Шалашов найдет дорогу к ребятам из бригады.

Не так всесторонне, но не менее полно исследован герой и другого «непридуманного рассказа» — «Все лететь в космос» — Савелий Павлович Фролов. Автор знакомит нас с Фроловым в его «звездный час»: во время ночного дежурства на радиостанции старший лейтенант Фролов одним из первых на Земле поймал сигнал спутника — «знаменитое и прославленное «бип-бип-бип». Он телеграфировал в Академию наук, получил через несколько дней оттуда поздравление и значок. «Ты, пап, вписал свое имя в историю!» — с восторгом сказал ему сын; дома был устроен праздник: взбудораженные дочери Майя и Эльза ходили по квартире с плакатом и кричали: «Все — в космос!» и т. п.

Ничто внешне не изменилось в жизни Фролова: он с прежней неукоснительной аккуратностью нес службу, робел перед начальством, но все чаще задумывался, вспоминал всю свою жизнь, пытаясь отыскать в ней хоть что-то значительное и возвышенное. Перебирал свои юношеские мечты: разоблачить шпиона, совершить подвиг на войне, покорить удивительную женщину Марксину, в совершенстве выучив английский язык или сделав «солнце» на турнике не хуже сержанта Савинского... Шпиона он

не разоблачил, подвига не совершил, а Марксина и так стала его женой, хотя он и не выучил английский язык и не смог одолеть Савинского.

А потом Фролова демобилизовали. Раздумывая, что же ему теперь делать, понимая, что «без армии он будет совсем никто», он долго выбирал между спокойной жизнью у тещи в Саратове и чем-то, что хоть отдаленно связывало бы его с космосом, и неожиданно поехал на Энскую атомную, не зная, есть ли там работа, квартира и т. д. И это был первый случай в его жизни, когда все сложилось не само собой, а так, как «он сам захотел, сам выбрал, сам решил. Что-то все-таки изменилось в нем наверняка. Это началось с той ночи, когда космос ворвался в его жизнь».

Савелий Павлович Фролов — образ неожиданный, обрисованный с юмором и с печалью, возникает в рассказе И. Зверева из «пустяков». Из того, как он, взволнованный своим «звездным часом», «против обыкновения», не разъясняет дочерям, что лозунг их («Все — в космос!») глупый, потому что не всем лететь в космос, а «только отдельным, специально для этой цели отобранным товарищам»; из того, как он думает о себе: что хоть и нет в его жизни ничего выдающегося, но «что-то все-таки во мне есть, раз такая женщина, как Марксина, красавица с цыганскими глазами, культурная («свободно дочитала до конца роман «Большой Мольн» из французской жизни, который Савелий на характер пытался одолеть и не смог»), вышла за него замуж; из того, как приятно было Савелию, когда Марксина спросила его про новую работу высотника: «Очень опасно?» — «мужчина должен подвергаться опасности, женщина должна тревожиться»...

Писатель не разъясняет, не растолковывает, не договаривает за героя. Савелий Павлович Фролов сам стоит перед читателем — человек простой и бесхитростный, со своими мечтами и заботами, со своими сомнениями и надеждами.

Но вот автор перестает доверять читательской «понятливости», а быть может, просто устав от поисков одной-единственной детали или подробности, которая сама все скажет, начинает «объяснять»...

И возникает рассказ о том, как одна инженерша покупала у «спекулянтки» на базаре петуха-гвардейца. Покоренная красотой

этого «белоснежного великана», она сда-лась, выложила пятерку, но когда «спекулянтка» узнала, что «гвардеец» нужен на суп, а «не на племя», она швырнула инженерше пятерку, вырвала петуха. Остроумно? Смешно? «Правильная женщина», — комментирует этот поступок Саша Синев, увидев возвращающуюся домой торговку со спасенным ею петухом. И оказывается, что эта живописная сцена, кроме всего прочего, назидательна, что «спекулянтка» вовсе не спекулянтка, а справедливая трудовая женщина, а инженерша — мешанка, что ли...

Или вполне «розовая» история об обманшике-вербовщике, посулившем ребятам на строительстве шахты в Средней Азии золотые горы, урюк и виноград, и о справедливом начальнике, завоевавшем их сердца правдой. Едва ли в поверхностной скороговорке рассказа уложится подлинная правда о трудностях строительства шахты в «голой степи». Или случай на концерте художественной самодеятельности. Кореец Хан Сок Юн «с лицом война» спел «Сомнение» Глинки так искренне и печально, что все поняли, что Хан очень страдает без жены, оставшейся в Корее, боится за свою любовь и ревнует. Но один «здоровенный парень из отделочного», желая утешить Хана, похлопал его по плечу: «Ну, что ты, Хан, расклеился! Боишься, что жинка дома номера откальвает? Так это такая их порода и в Москве, и в Корее, и где хочешь. Ты лучше сам не теряйся — и все». Но тут подбежал «мальчик Валя Морозов», обидевшийся за женщин, тонким голосом крикнул: «Подлец!» — и ударил «здоровенного» в подбородок. Талантливый Хан, неуклюжий в своем искреннем желании утешить товарища, «здоровенный парень» и «мальчик Валя Морозов» с необычайно тонкой чувствительностью — вся эта ситуация всего лишь напоминает печально известный конфликт «хорошего с отличным».

Или наконец «удивительно красивый старик» Смирнов — специалист по котлам, бросивший в семьдесят лет Москву, квартиру, жену Наталью Николаевну, пенсию — для

того, чтобы заведовать складом оборудования на атомной электростанции («Номенклатура там — несколько тысяч названий — сам черт ногу сломит. Нужен старый монтажный волк»), — Смирнов с его фантастической трудовой биографией (Владивосток, Пенза, Сингапур, Шанхай), с его юношеской энергией и старомодной грацией... Автор нанизывает друг на друга феерические и героические факты биографии Смирнова, но что остается в памяти, кроме впечатления пестроты?

А ведь все, о чем рассказал здесь И. Зверев, вполне вероятно. Был, верно, и случай с петухом на базаре, и вербовщик мог надуть ребят, а начальник против этого вранья выступил; живет где-то энтузиаст котлового дела, не желающий сидеть на пенсии семидесятилетний Смирнов. Но сколько во всех этих милых и остроумных описаниях, вероятных и сомнительных ситуациях и конфликтах прекрасногодушного, может быть, и неосознанного желания растворить в банальности ситуации мысль, пожуришь негодяев, восхититься громкими — напоказ — «государственными и обыкновенными соображениями» Саши Синева или красавцем стариком Смирновым... Автору вдруг изменяет слух и чувство юмора, он перестает улавливать фальшивые и придуманные ноты во вполне правдоподобных, но не становящихся от этого правдивыми ситуациях, умиляется тем, против чего только что негодовал, страдает там, где едва ли уместно столь высокое и дорогое чувство.

В «Непридуманных рассказах» Ильи Зверева явственно борются два начала: стремление разобраться в жизни, не пугаясь ее сложностей, понять и поделиться своим з н а н и е м с читателем — я идущая от поверхностного описательства убежденность в легком разрешении всех и всяких сложностей...

Думается, что первое — качество подлинной прозы — побеждает в «Непридуманных рассказах» И. Зверева.

**Ф. СВЕТОВ.**

## ПОДВИГ ПУШКИНА

**Ник. Смирнов-Сокольский. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина, о книгах других авторов, им изданных, о его журнале «Современник», о первом посмертном собрании сочинений, а также о всех газетах, журналах, альманахах, сборниках, хрестоматиях и песенниках, в которых печатались произведения поэта в 1814—1837 годах. Издательство Всесоюзной книжной палаты, М. 1962. 631 стр.**

Последняя книга Ник. Смирнова-Сокольского, носящая, на первый взгляд, несколько специальное название — «Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина», — не обзор, не исследование, не каталог. Готовя книгу к печати, Смирнов-Сокольский писал: «...появление каждого произведения писателя или поэта в печати... несомненно, важнейший факт в его биографии. Он требует не меньшего изучения и освещения, чем все остальные биографические факты его жизни. Не меньшего, чем рождение, женитьба, счастливая или несчастная любовь и даже смерть. Книги, написанные писателем, — это то, ради чего он существовал на земле. Его творческая биография начинается только с книги, с произведения, появившегося в печати». Биографии Пушкина в этом освещении у нас до сей поры не было. Книга Смирнова-Сокольского и представляет собою такую биографию.

Автор не «трактует» и не «излагает»; он рассказывает — с увлеченностью и увлекательностью неистового библиофила, с эрудицией и дотошностью исследователя, с глубокой и нежной любовью к Пушкину. Подсчеты тиражей, гонораров, типографских расходов стоят здесь рядом с картинными литературной жизни, с великолепно подобранными и «смонтированными» кусками из писем Пушкина и к Пушкину, отрывками из стихов, статей и заметок, архивными документами. И все это образует живую и движущуюся панораму трудов и дней Пушкина. Из материала, казалось бы, в значительной своей части интересного лишь специалисту, вырастает фигура Пушкина в такой житейской достоверности и в таком высоком трагизме, что еще раз убеждаешься: да, это именно рассказы о Пушкине, рассказы человека, которому Пушкин близок и дорог, который любит своего героя, восхищается им и скорбит о нем.

В конце каждого рассказа следуют сведения о том, насколько трудно «находим» то или иное прижизненное издание, или оно вообще «ненаходим», встречается ли оно в печатной обложке или в издательском

картоне и т. д. Эти строчки не воспринимаются как простая информация: переход к ним всегда подкупает своим «собираТЕЛЬСКИМ» азартом, коллекционерской непосредственностью, которые придают особый оттенок книге. Читая эти строки, мы в мгновение ока переносимся из сегодняшнего дня в XIX век и вдруг сознаем, что вот эти «находимые» или «трудно находимые» на антикварном рынке «экземпляры» и есть (те самые!) книги, которым радовался, из-за которых мучился и которые, быть может, даже держал в руках Пушкин. Это удивительное ощущение поддерживается иллюстрациями, портретами, цветными обложками первых изданий, всем оформлением (художник М. Эльцфен). Книги, которую можно признать достойным примером полиграфического искусства.

И все-таки лиризм и непосредственность книги — не самое главное в ней. И не в «открытиях» ее ценность — на открытия она и не претендует, хотя в ней есть интересные наблюдения и факты, увлекательная и страстная полемика. Материалы, на которых книга построена, в общем-то пушкинистам известны. Ценность и новизну ее определяет именно тот «поворот», в котором предстает перед нами жизненный и творческий путь Пушкина. Составленная в большей своей части из скрупулезно точных описаний первых изданий Пушкина, журналов, альманахов, сборников, где он печатался, финансовых выкладок и обширных примечаний, книга обстоятельно и неторопливо повествует о том, как писал и издавал свои произведения Пушкин и чего это ему стоило.

О. С. Павлищева, сестра Пушкина, писала о нем: «...куда ему, с его высокой, созерцательной, идеальной душой окунуться в самую обыденную прозу...» Своими «Рассказами» Смирнов-Сокольский демонстрирует, что Пушкин вынужден был повседневно «окунаться» в эту самую «прозу». Именно здесь — трагический ключ этой книги. На ее страницах с максимальной возможной точностью подсчитываются заработки Пушкина, его гонорары за каждую

поэму, за каждый сборник, за каждую главу «Евгения Онегина», за всю жизнь — эти якобы «баснословные» гонорары, столько лет бывшие предметом нечистоплотных рассуждений и неумных нападок литературных и нелитературных мешан.

Читая эти страницы, рассказывающие о Пушкине — продавце своих произведений, со всей реальностью ощущаешь, что «Евгений Онегин» был не только «энциклопедией русской жизни», но и основным «кормильцем» его автора; страшным, в полной мере практическим, житейским смыслом наполняется для нас вопль Пушкина: «Денег ради бога, денег!», «Чем нам жить будет?» Перед нами во всей своей жизненной достоверности встает потрясающая документальная картина каждодневной, изматывающей, мучительной борьбы Пушкина за существование.

Эту борьбу с полным правом можно назвать героической. Ибо Пушкин сам определил свою судьбу. Вернее, определила ее историческая логика, по которой родоначальник новой русской литературы должен был превратить литературное творчество из приятного досуга в профессиональный труд и, следовательно, в источник существования художника, должен был стать зачинателем профессионализации русской литературы.

Это был гражданский подвиг. Впервые житейское благополучие писателя было поставлено в зависимость от его таланта, трудолюбия, писательской добросовестности, смелости и тактической мудрости. Впервые писатель вооружался подлинным гражданским и творческим самосознанием и вместе с тем обрекал себя порою на лишения, связанные с непониманием «слишком» глубоких своих произведений светской «читающей публикой» или, напротив, слишком ясным пониманием смысла своих литературных выступлений цензурой и правительством. Наконец впервые появился человек, который поставил целью научить публику и власть имущих ценить труд художника и уважать его профессию.

«Писать книги для денег, видит бог, не могу», — говорил Пушкин жене. «Моя трагедия — произведение вполне искреннее, и я по совести не могу вычеркнуть того, что мне представляется существенным», — отвечал он Николаю. И даже царь решил уступить. Вымарки в «Борисе Годунове» он сделал только после смерти поэта.

Став писателем-профессионалом, Пушкин тем самым личное бескорыстие художника возвел в принцип. Можно, по его выражению, «головою прокормить брюхо», продавая рукописи, но нельзя быть писателем, продавая вдохновение и совесть.

Во всем этом инстинктивно чуяли опасность и Николай с Бенкендорфом, и Булгарин со своей компанией, хотя они и не очень понимали глубокий смысл той борьбы за профессионализацию, которую вел Пушкин. Бенкендорф называл его «порядочным шалопаем», но считал, что «если направить его перо и речи, то это будет выгодно». Булгарин бойко торговал своими «демократическими» романами и ругал Пушкина «литературным аристократом». «Аристократ» «исписывался», новые произведения его раскупались плохо, он не вылезал из долгов и жил «Евгением Онегиным»; «демократ» же «творил» из «любви к искусству», а кормился в III отделении.

«Направить перо и речи» Пушкина и получить выгоду не удалось. Задыхаясь от двойной цензуры (цензурного ведомства и Николая), Пушкин продолжал с ней бороться, и его боялись цензоры. Объединяться с булгаринскими он тоже не желал и писал М. Погодину: «...читаю в газете Шаликова: Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности, удостоены etc. etc. Воля ваша: это пощечина».

Все эти люди — от верхушки света и чиновной бюрократии до булгаринских подонков — не могли не понять в конце концов, что Пушкин, сделавший литературу делом своей жизни, пойдет в борьбе до конца. Опасен был человек, который сжигал корабли и оставлял за собою только звание писателя. Чем больше они чувствовали опасность этого, тем больше ненавидели Пушкина. За это же они продолжали ненавидеть его и после смерти. Председатель цензурного комитета князь Дондуков-Корсаков (тот самый «князь Дундук», который, по известной из пушкинской эпиграммы причине, «заседал» в Академии наук), учиня А. Краевскому разнос за опубликование некролога, кричал: «Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?.. Писать стихи не значит еще... проходить великое поприще!» И как эхо от-

кликался князю «демократ» Булгарин, заявивший, что мнение о Пушкине как о великом человеке страдает преувеличением и что говорить так можно лишь о людях, «которые способствовали трудами своими и усердною службой к преуспеянию великих предначертаний мудрых царей русских».

Так «почтили» они память первого профессионального писателя русской земли, первого, кто посвятил служению литературе всего себя.

Книга Смирнова-Сокольского резко и глубоко прочерчивает в нашем сознании весь тяжкий крестный путь Пушкина во имя русской литературы. Это хроника битвы, которую всю жизнь вел поэт с кликой Бенкендорфа — Булгарина, с цензурой, с лишениями, — битвы за писательскую честь, за свое существование как художника, за профессию писателя. Это летопись великого подвига Пушкина.

**В. НЕПОМНЯЩИЙ.**



## ПОЭТИЧНАЯ ПРОЗА

**Ион Друцэ. Степные баллады. Роман. Кн. I. С молдавского. Перевод автора. «Дружба народов», № 3, 1963.**

О Друцэ трудно писать. Это художник своеобразный, немного загадочный, «сопротивляющийся» привычному истолкованию. Может быть, этим и объясняется разноречивость критических суждений, ему посвященных.

На появление «Степных баллад» Янка Брыль откликнулся сочувственной и изящной рецензией («Литературная газета», 21 марта 1963 года). С автором трудно не согласиться. Новый роман Друцэ действительно написан «умно, сердечно, весело» (так озаглавлена рецензия). Но вот упрек в том, что писатель подчас «комкает и события, и переживания», представляется недостаточно обоснованным, свидетельствующим о неполном понимании тех законов, по которым творят именно этот художник, законов, которые он избрал для себя и от которых редко отступает.

Проза Друцэ поэтична. В этом, кажется, сходятся все писавшие о нем. Но сказать так — это ведь, в сущности, значит сказать еще очень и очень немного. Важно выяснить, чем она поэтична, в чем своеобразие именно этого поэта.

Итак, «Степные баллады». Откроем журнал где придется. Перед нами разговор о калитках:

«Их много, около двухсот калиток в Чутуре (Чутура — это деревня, в которой живет герой романа Онакий Карабуш со своей семьей.— И. П.). Они отличаются друг от друга в той мере, в какой отличаются сами хозяева, построившие их. Эти калитки ничего не прячут, они выставляют напоказ все, что у них есть. Тут говорят о земле, там жалуются, там проклинают, а иногда можно

набрести на такую небылицу с бантиками, что будешь век смеяться. Со временем забудешь и саму небылицу, и ее бантики, а все еще будешь ходить веселым.

Калитка Карабуша была низенькая, неказистая, сплетенная из облупленной лозы, но было время, она числилась на хорошем счету. Потом эта калитка Карабуша погрузнела, часто пустовала, а если и шли там какие-то разговоры, то были они грустные и печальные, все о земле да о земле».

В такой манере — неторопливой и обстоятельной (впрочем, только на первый взгляд), напевной, лукаво добродушной, народной — написаны «Степные баллады», рассказ о жизни бессарабского крестьянина Онакия Карабуша, охватывающий около тридцати лет. Первая мировая война, возвращение солдата в родную Чутуру (начисто выгоревшую накануне этого дня); рождение детей, жизнь в непрерывной борьбе за землю, борьбе за кусок хлеба; воспитание детей; юность Нуцы — дочери Карабуша; приход советской власти; недолгое счастье Карабуша и его семьи; замужество Нуцы; вторая мировая война, гибель сыновей; победа, возвращение к мирной жизни, возвращение Мирчи — зятя Карабуша в родную Чутуру...

Почти тридцать лет жизни легло между двумя войнами. А рассказано обо всем этом всего-навсего на восьмидесяти журнальных страницах. И при этом, заметьте, рассказано неторопливо и обстоятельно!

В чем же здесь секрет? В том, видимо, что автор избрал для себя несколько необычный путь повествования. Он рассказывает нам баллады, те самые «небылицы с бантиками», о которых мы только что про-

чли. Это путь поэзии, которая обладает способностью, говоря об одном — говорить при этом о другом, говоря о малом — говорить о большом, говоря о веселом — говорить о печальном...

Попробую пояснить эту мысль на нескольких примерах.

Вот, скажем, история с сыновьями Карабуша. По сравнению с красавицей Нуцей близнецы-сыновья Карабуша находятся в романе как бы на заднем плане. Но это обманчивое впечатление. Придет время, и о них будет сказано все, что следует. А пока где-то «на полпути» вас вдруг настораживает и удивляет то обстоятельство, что писатель никак не «окрестил» этих парней, не дал им имен. Вы уже уловили «медленно-быстрый» темп повествования и его особенные, многозначительные иносказания. И поэтому вы понимаете — не к добру то, что писатель не дал близнецам имен.

Война все приближалась и приближалась к Чутуре (Гитлер проглотил уже пол-Европы). Как раз в это время в Чутуре и появились знаменитые «желтые береты», береты цвета хаки. Сыновьям Карабуша тоже захотелось покрасоваться: «В восемнадцать лет желтые береты — это красота!» Пришлось пойти на прополку чужих маковых полей — нужно же было добыть денег парням на береты... Но вскоре началась военная муштра, ибо оказалось, что каждый, носящий желтый берет, является солдатом румынской армии. Война подступала вплотную к Чутуре, и «по ночам земля, на которой росли маки, земля, по которой ходили в беретах, земля, на которой таинственно пели шестирядные телеграфные провода, дрожала». Потом Карабуша мобилизовали, а через месяц с небольшим Бессарабия была освобождена Красной Армией. Карабуш получил землю.

Однако вскоре с правого, румынского берега Прута грохнули орудия, шквал большой войны накатился на Чутуру (Гитлер пошел походом на Советский Союз). Близнецы надели свои береты и ушли воевать...

«С тех пор прошло уже много лет, но и теперь, как только наступает лето, у Карабуша во дворе расцветают горячие, буйные маки... Некоторое время после войны, когда Карабуш все еще втайне надеялся на возвращение сыновей, он безжалостно выдерживал эти маки, срезал их лопатой, растаптывал, но на другой год они снова появля-

лись. Видать, сама земля, на которой стоит дом, так пропиталась маками, что и через тысячи лет, когда, возможно, не будет в помине ни Чутуры, ни самой степи, ни Карабуша, на этом самом месте раз в году, в середине июня, будут цвести горячие маки».

В этой «балладе», на первый взгляд, говорится только о желтых беретах и красных маках, но в то же время нам ясно, что это и рассказ об обманутых и загубленных молодых людях, о безмерном горе матерей и отцов, потерявших детей, о пожаре войны, сжигающем все живое, о морях горячей и красной человеческой крови, заливающей землю, о тяжелых воспоминаниях, которые невозможно искоренить и выкорчевать...

Нужно только все время помнить о том, что перед нами поэтическое иносказание — «небылица с бантиками!» И что эти «небылицы» могут рассказывать о чем угодно: о калитках, маках, беретах, телеграфных столбах, о касе маре (парадной горнице в молдавском доме), о целой деревне Чутуре — как о живом существе — и о многом другом, но что это всегда в то же время будет рассказ о людях, об их жизни со всеми ее радостями и болями.

Не поняв этой поэтической двуплановости творчества Друцэ, мы многого вообще не поймем в нем — и все нам будет казаться, что чего-то писатель «недоотобразил», «недосказал», что он слишком идиличен, благостен, сентиментален в одном случае и слишком фаталистически настроен в другом...

Друцэ умеет «весело» говорить о печальном, и самая печальная история вдруг «оборачивается» у него своей радостной и светлой стороной. И любовь у него — не только и не просто любовь, но мотив, отражающий многообразие человеческих отношений.

Была когда-то Нуца детской любовью Мирчи: «Еще недавно ревел — просила взять с собой в лес. Налетит гроза, она сгорбится, дрожит. Потом он ее раздевал, выжимал рубашечку, а она, синяя от холода, стояла рядом в чем мать родила. Заплетал косички, целую зиму промучился, втолковывая ей, почем служанка покупала яички на базаре, — кстати, кончила школу, а так и не знает, в чем там было дело». Потом Нуца выросла, превратилась в «семнадцатилетнего бесенка», вскружившего головы всем своим одногодкам, потом она стала невестой богатого и красивого Ники — сына священника.



Но тут случилась новая история: накануне свадьбы лошадь зашла девушку и, хотя она всячески скрывала свою хромоту и старалась ходить прямо и глядеть весело, свадьба расстроилась. Потом Мирчя все-таки женился на Нуце. Он встретил ее летней степной ночью, когда вез домой сено, а она, прихрамывая, шла домой из больницы, где безуспешно лечила свою больную ногу. Он пригласил ее к себе на воз с сеном, хотя и смотрел сейчас на нее «с большим сомнением». Была она слишком долго любовью другого парня, чтобы стать еще раз любимой им... Встретились все-таки слишком поздно, встретились очень чужими. Перезабыли все, что было между ними в детстве, а другого не было. И расстаться почему-то уже нельзя было.

Вскоре после свадьбы Мирчу забрали в армию («Нуца едва успела сварить с десяток щей да все волновалась, неудачные какие-то получались»). А нам с вами остается гадать — была здесь любовь или нет, или, может, так и расстались эти люди почти чужими, не успевшими узнать и полюбить друг друга. Особого драматизма поэтому достигают те «баллады», в которых повествуется о возвращении Мирчи домой после победы.

Много лет не был он дома, обошел за эти годы «полмира», много видел, много перенес, много пережил. В кармане гимнастерки у него — фотография девушки в белой кофточке («не то она хочет сказать «да», но, может статься, с такой же легкостью скажет «нет»). Мирчя мысленно показывает этой девушке (вернее, ее фотографии) свою деревню, свой дом. Да неужели же он не говорил ей, что женат? Девушка на фотографии перестала улыбаться. Чешки не любят, когда их обманывают.

Янке Брылю, например, «фотографическое» появление: «девушки-чешки» не понравилось, а мне кажется, что эта история говорит о многом. И совсем не нужно при этом знать, как звали «девушку в белой кофточке» и какая у них с Мирчей была любовь. Видно только, что любовь была, и фотография эта бросает совсем особый отсвет на сцену встречи Мирчи с женой — встречи двух людей, которые уже давно успели забыть то небольшое, что их когда-то связывало: «Было что-то дикое в этом древнейшем обычае вести супружескую жизнь. Он едва успел вернуться, она только что увидела его. Они еще ничего толком не

успели рассказать друг другу. После долгой разлуки их привычки, их взгляды заново знакомились. Они оба искали какой-то смысл в этой близости, какую-то радость в общении друг с другом, а на это им времени уже не отпускалось. Жизнь шла своим чередом. Каждому возрасту дано свое. Уснула Чутура, высоко замигали звездочки над степью, а в доме по-прежнему тихо, и тишина эта протянется до самого утра. Только две огромные, пухлые, добродушные подушки ухмыляются, обнявшись друг с дружкой, — ладно, чего уж там...»

Вот видите, к калиткам, макам, беретам и фотографии «девушки в белой кофточке» прибавились еще две «добродушные подушки»... Должно быть, это совсем безнадежное дело — пересказывать дружэвские «небылицы». Наверно, поэтому, кстати, все пишущие о Друцэ мгновенно «впадают» в его тон, начинают подражать ему и, убедившись в безуспешности этого занятия, спасают положение обильным цитированием.

А так хочется между тем вспомнить и балладу о русском солдате Николае, который в конце войны завел свою машину во двор к Карабушу. Он был тихим и скромным парнем, этот Николай, и когда Карабушу удавалось заставить его выпить стопку-другую вина, он «тут же вставал из-за стола, говорил печально и удивленно: «Пойду в кабину спать. Она одна у меня не кружится. Все остальное — карусели».

Так как-то они цепляются друг за дружку, эти баллады, что и остановиться невозможно. А нужно все-таки остановиться и попытаться ответить на «вопрос вопросов» искусства — на вопрос о том, как относится художник к изображаемой им жизни.

Это тем более необходимо сделать, что Друцэ не раз уже вменяли в вину склонность к «абстрактному гуманизму», тягу к «общечеловеческим» темам, некоторую идиличность и благостьность в изображении народной жизни.

«Степные баллады», думается, свидетельствуют об обратном. Да, Друцэ любит своих героев, сочувствует им всем своим сердцем. Да, это действительно очень добрый художник. Да, он пишет «весело», но разве вы уже сами не заметили, что эта «веселость» сродни гоголевской или шолом-алейхемской веселости — когда все «так смешно», что почему-то плакать хочется...

Нечасто, но звучат в романе и сатирические ноты (например, в «балладе», посвя-

шенной учителью Микулеску — юному романтику и националисту).

Вообще же в лирико-юмористической, наивно-лукавой интонации Друцэ много горечи. Писатель видит, как тяжело приходится его героям, как крутится и изворачивается его Карабуш, чтобы только прожить, чтобы не пропасть в жизненной драке. При всей своей любви к Чутуре (а Чутура — мы ведь уже условились — тоже живое существо!), Друцэ достаточно суров и трезв, чтобы увидеть и по-своему осудить ее жестокость, косность, суетность, упрямство, недалеко-видность — черты, вызванные к жизни веками нужды и классового угнетения.

Умеет Карабуш шутить и рассказывать байки, умеет не унывать и с туго затянутым поясом, умеет, когда это нужно, хитро завоевывать расположение Чутуры. Но вот уже старость подходит, а земли — кот наплакал, а сыновья убиты, а силы убывают... Вся надежда теперь на советскую власть. Кончилась война, вернулся (все-таки вернулся, а говорили — не вернется!) зять-герой. Как-то сейчас заживет наш Карабуш?

Но об этом мы узнаем не раньше, чем Друцэ напишет вторую книгу романа...

И. ПИТЛЯР.

★

## ФИЛОЛОГ НА СТРОЙКЕ

Григорий Свирский. Ленинский проспект. Роман. «Советский писатель». М. 1962. 392 стр.

Тип молодого специалиста, приезд которого на производство знаменует собой начало борьбы с рутинерством, не нов в наших книгах.

Григорий Свирский, учитывая некоторую литературную изношенность этого персонажа, вводит в своем романе видоизменения: на строительство жилищных зданий приходит не молодой инженер, а... филолог-фольклорист, которого сюда направили партгором.

Филолог и жилстрой — сочетание, на первый взгляд, странное, требующее от автора дополнительных разъяснений. Доводы секретаря обкома, доказывающего, что Тимофей Морозов необходим на стройке («Двадцатипятипятисотники, между прочим, не были землепашками... Дело не в том, что он не знает пока номенклатуры бетонных перемычек, а в том, что мы провалили стройку Заречья, если там останется старый парторг, бесхребетный, у Ермакова в кармане...»), могут показаться не очень убедительными, но что в «тресте Ермакова действительно очень много всякого неблагоприятия», доказано веско.

Писатель, по всей видимости, близко знаком с областью жилищного строительства, его специфическими проблемами и конфликтами.

На стройке, изображенной Г. Свирским, — зечная нехватка материала, вынужденное безделье строителей, неправильные нормы, из-за которых возникла сложная система

финансовых хитростей («выводиловка»), укоренившиеся в бригадах каменщиков нравы старой артели — с непремненными выпивками по каждому поводу и всевластием «старшого», непролазная грязь на строительной площадке, замедляющая и осложняющая ход работ. Все это приобрело здесь опасную прочность традиций. Где же источник этих пороков? — ищет новый парторг, «где таятся проклятие зареченской стройки?».

Движение сюжета в книге и связано с этими поисками Тимофея Морозова, с его борьбой за то новое в организации и технологии строительных работ, что должно снять «проклятие» с Заречья. Но автор — не новичок в литературе — старается, чтобы многочисленные производственные эпизоды были связаны с историей характеров и, таким образом, чтобы все это соответствовало главной идее романа, современной и актуальной, — идее борьбы за общественную активность человека, за его моральную самостоятельность и достоинство.

Действующие лица романа собраны, кажется, со всех этажей здания жилтреста, и каждому уготована автором своя роль. Здесь есть ярко выраженные положительные характеры (парторг Морозов, работница Нюра Староверова); есть носители вредных традиций, личности морально нечистоплотные, демагоги, корыстолюбцы (бессменный профсоюзный деятель Тихон Инякин, «доставала» Чувахин, Зот Иня-

кин — начальник никому не нужного кустового управления жилтрестов).

Весьма значительную простую составляют лица «переходного» типа: их инициатива долгое время была придушена, это выработало в них равнодушие, даже некоторую апатию по отношению к делам общественным. Постепенно они становятся все более активными и вместе с тем жизнерадостными (прораб Огнежка Акопян, каменщики — молодой Шура Староверов и старый хитренький Гуша). Есть еще в книге Михаил Сергеевич Ермаков, управляющий трестом, о его месте в системе образов «Ленинского проспекта» будет речь особ.

За каждым из перечисленных лиц стоит реальная жизненная проблема, если не всегда драматическая, то во всяком случае непростая. Так обещано автором. Другое дело — как задуманное воплощено и что из этого вышло.

Наверное, на любой стройке, на любом заводе можно встретить бойкую молодую работницу, приехавшую недавно из деревни, может быть, из детдома, начавшую с самых немудреных работ, но уверенно набирающую высоту и в квалификации, и в общем культурном развитии. Она, борясь за интересы стройки, и общественную работу выполнит с азартом, и каждому в глаза скажет все, что о нем думает. И в кабинет начальника она ворвется с любым требованием. И в семье она главная. Ничего негнни исключительного, ни неправдоподобного в этом образе — такой и задумана Нюра Староверова в романе «Ленинский проспект».

Автор старается расположить нас к своей героине. Не только на производстве, на собраниях правильно, разумно поступает Нюра; общественные дела, строительство, проблемы культурного роста занимают ее непрестанно, неотступно. Даже дома, на рассвете, после супружеских ласк предается Нюра своим обычным размышлениям:

«Одеяло лежало на полу. Простыня сбилась к ногам. Нюра натянула одеяло на грудь, закинула руки за голову. С четверть часа она лежала молча; наконец повернула голову к мужу:

— Слушаю я вчера лектора, Шураня. и берет меня зло. Чайковский, Глинка, Калинин... Именами сыплет как из мешка. И все, говорит, великие. Все великие. А чем

они великие?! Меня заело: даже постичь не могу, чем они великие. Неужели я такая дуреха?!»

Последний вопрос носит чисто риторический характер. Нюра отлично знает себе цену. Еще почти девчонкой, только что приехав на стройку, Нюра уверенно заявила: «Поступить на работу — не проблема... Замуж выйти — не проблема...» Да разве дуреха добилась бы того, чтобы муж «думал о ней смущенно и чуть завистливо: «умеет она как-то взглянуть широко», разве написала бы письмо-отзыв на пьесу, которое получило первую премию? Начинается, правда, это письмо фразой: «Извиняйте, если я, рядовая работница, подсобница каменщика, напишу вам письмо про то, про что висит у вас на дверях объявление, и в этом объявлении просят всех писать». Но это скорее для придания письму колорита «простой речи».

Нюра у Г. Свицкого любит поучить уму-разуму своего мужа:

«Нюра положила ложечку, которой размешивала в стакане сахар.

— Укоренилась в тебе, Шураня, одна черта проклятая. Перво-наперво искать виноватого на стороне. Ты в самого себя взгляни, сме-елый человек.

Революция была. Войны. Миллионы людей в землю полегли. И отец-мать твои. И мои. За что? Права добывали. Коли уж не себе, детишкам своим... Тебе эти права — дают. И без гвоей даже просьбы. Протяни руку, возьми.

Коли на нашей постройке что не так, разберись. Сам. Пойми, скажем, почему обескрылел?»

Речь эта длинная, очень правильная, ни одного слова ее оспорить нельзя. А только не говорят так жены с мужьями за вечерним чаем, то есть, если и говорят, то не такими словами и уж во всяком случае без многозначительного дробления фразы, без абзацев, что придает инвективе Нюры особо торжественный тон. По существу же своему речь Нюры сливается с авторскими пояснениями происходящего, что в данном случае сообщает всему отрывку наивно менторский характер.

Возникающий в сознании читателя образ Нюры не совпадает с тем, который был задуман автором.

Недоразумение совсем иного рода возникает при знакомстве с управляющим трестом Ермаковым. С самого начала нас

насторожило беглое упоминание этой фамилии секретарем обкома, сказавшим, что со старым парторгом стройка провалится, потому что он «у Ермакова в кармане». Действительно, Ермаков подавляет всех вокруг себя, и нужно быть очень сильным человеком, чтобы суметь противостоять ему. Но одновременно оказывается, что Ермаков давным-давно смирился с прочно укоренившимися пороками стройки и бороться с ними не желает — «это не нашего ума дело». В некоторых случаях мы видим, как он третировал тех, кто ниже его («Буду я каждую бабенку по имени-отчеству называть»), опять же неожиданно выясняется, что строители готовы идти за ним в огонь и воду, потому что управляющий заботится о высокой зарплате рабочих и всеми правдами и неправдами умеет раздобыть дефицитные материалы.

Как же связать все эти черты?

Автор не однажды «растолковывает» Ермакова читателю, чаще всего — от лица фольклориста Морозова: «Тимофей ошутил и растерянность, и боль, и чувство досады, почти жалости за этого недюжинного человека, который, оказывается, был немощен в самом главном, в деле, которому он посвятил свою жизнь»; «Ермаков взирал на общественную активность рабочего примерно так, как иной прославленный, привыкший к аплодисментам актер — на участников художественной самодеятельности... Ермаков относился так к рабочей самодеятельности... вовсе не потому, что был непомерно честолюбивым или алчущим власти человеком, хотя он был и честолюбивым и властным. Нет, главным образом потому, что, по его укоренившемуся представлению, «всегда было так».

Но Ермаков никак не укладывается в такие упрощенные толкования. Это фигура сложная, отчасти даже драматическая: автор близко подошел к ней, но разглядел лишь отдельные, друг с другом не связанные ее черты — так, стоя вплотную перед мозаичной композицией, человек видит то красное пятно, то синее, то белое... Если бы писатель сумел найти правильный ракурс в изображении этого характера, сумел бы не декларативно, а художественно показать единство его черт, часто внешне противоречащих друг другу, то стало бы ясно, что перед нами тот тип хозяйственника, который сложился в те годы, которые связаны с культом Сталина. Отсюда — и высо-

комерие Ермакова, и его нетерпимость; отсюда же — привычка за все браться самому, и вместе с тем неумение решать главные вопросы строительства, робость в них. Его талант инженера и администратора уходит на поиски неких боковых путей, прямо идти он уже разучился в своем трудном деле. Он жизнестоек и жизнерадостен, иначе он бы не выдержал все свои административные мучения, но и его железное здоровье сдает — слишком много нервного напряжения было в его жизни.

Это, безусловно, характер реальный, «продукт» и в чем-то жертва своего времени, и очень жаль, что в книге он распадается, не «сфокусирован».

Это не единственный случай, когда писатель близко подходит к сложным проблемам и при этом или отказывается от их решения, или лишает эти решения логики; их декларативная сторона и конкретная, непосредственно вытекающая из поступков и переживаний героев, не объединены друг с другом.

Один из таких нелегких вопросов — проблема семьи. В романе Г. Свицкого перед нами проходит множество трудных судеб. Старого инженера Аюкяна вместе с дочкой, тогда еще крошкой, оставила жена; незаживающая рана — в сердце Ермакова; всю жизнь любила дворничиха Ульяна недостойного Тихона Инякина. Лишь Нюра и Шура Староверовы объединились в счастливом союзе, который, впрочем, тоже начался не во Дворце бракосочетаний.

Нюра, месяц «прогуляв» с Шурой, не считала, что «ошиблась», родив ребенка, который мог остаться без отца, пополнить собой ряды «безотцовщины». В общежитии строителей «знали, что такое безотцовщина. Не об одном носившемся по коридорам ребенке женщины, случалось, говаривали между собой:

— Старшенький?.. Ошиблась, когда строили Вокзальную... А твой?

— На Ново-Окружной.

И хотя многие женщины стали матерями с радостью, порой вовсе не рассчитывая на замужество или даже отвергая своих женихов, оказавшихся недостойными, все равно они отвечали, как было принято в неписаном нравственном кодексе общежития» (то есть «ошиблась»).

Очень мажорно звучит весь этот пассаж, а ведь это неправда, а если правда — то горькая. Каждая женщина хочет иметь

близкого друга, вместе с ним растить ребенка и если идет на одинокое материнство сознательно, то чаще всего, уже потеряв надежду на нормальную семью. За этим решением всегда — боль, разочарование, неудачи, и не надо делать вид, будто этого нет. Да и сам Г. Свирский в другом случае опровергает свои «мажорные» пассажи, доказав, что именно страх подвергнуть своего ребенка обидам «безотцовщины» заставил Шуру позднее добиваться союза со своей случайной возлюбленной.

Автор старается утвердить личную свободу женщины, он с уважительным сочувствием относится к Ульяне и Тоне, которые, отказываясь от компромиссов в любви, обрекают себя на одиночество, лишь бы ничто не мешало им пронести свое единственное, хоть и неразделенное чувство через всю жизнь. Но какими жалкими они у него получились — и могучая телом, волевая Ульяна, все прощающая своему Тише и на все идущая, лишь бы быть поближе к нему: «Жить не пришлось с Тишей, хоть помереть возле него... Какие только дома, девонька, я не мыла-убирала. Такая у меня профессия сложилась: в чужой грязи задыхаться». И разбитная, озорная Тонька со своей приторной, сладостно-надрывной любовью к Шуре Староверову. Не только к Шурочку (так она звала парня), но и к жене его льнула изо всех сил Тоня и говорила с ними каким-то жалостно-льстивым тоном. Не вызывает уважения такое поведение, такая любовь!

А вот что произошло при распределении квартир для строителей в новом доме. Выяснилось, что ловкач и хапуга Чувахин живет в сырой, заплесневелой комнатухе на дебаркадере, а свою квартиру отдал трем незамужним дочерям, потому что, как это сформулировала тетка Ульяна, «при комнатах все легче мужика заарканить». И видя такой подвиг родительской любви, не только вековуха Матришка крикнула «сдавленным от волнения голосом»: «Запишите ему самую хорошую комнату!» — но и парторг Морозов растрогался и «почувствовал себя веселее, легче, словно бы ташла долго какую-то гяжесть и наконец

скинул», и предложил: «Дайте ему окнами на юг».

Жить, «как китаец в старое время», на воде, наживать ревматизм, мучиться в тесноте — лишь бы создать дочерям такие условия, чтобы скорее «отыскался мужичонка», — поступок как будто благородный. Только уважения к женскому достоинству во всем этом маловато...

Сумятица и непоследовательность заметны у Свирского не только в решении многих проблем и трактовке образов, но и в манере изложения.

Отдельные выразительные эпизоды — приезд Нюры на стройку, вечер у хитренького чиновника Зота Инякина и речь его отца, в которой раскрывается кулацкая суть Инякиных, и еще некоторые — теряются среди лишних, незапоминающихся, путанных сцен и картин. Часто зерно эпизода тонет во множестве незначительных сообщений, что делает чтение утомительным. С одинаковой степенью напряжения ведется повествование о существенных для развития сюжета событиях и вовсе маловажных. А сколько здесь ненужной символики, повторений, разъяснений, поверхностной и искусственно пристегнутой «эрудиции»!

Очень не к месту иногда посреди деловых споров строители вдруг начинают говорить чуть не былинным слогом: «У тебя гнев, как слезы детские, близко лежит. И цена им одна, слезам детским, гневу твоему». А нужно ли автору вводить в текст иностранное слово, чтобы в скобках дать его значение по-русски? Ермаков выгонял из своего кабинета людей, если они докладывали ему слишком медленно — «после третьего-четвертого «корочел», звучащих у него «крешендо» (с нарастанием)». А как нелепо и пошло звучит в устах Ермакова его обращение к Огнежке: «Садись... Жанна д'Арк жилищного строительства», или его lamentации: «Что у меня за аппарат! Спиноза на Спинозе сидит, Спинозой погоняет».

И как мало все это ассоциируется с многообещающим названием «Ленинский проспект»!

**М. БЛИНКОВА.**

## ДВА РОМАНА ЧАРЛЬЗА СНОУ

Чарльз Сноу. Дело. Роман. Перевод с английского В. Ефановой. Гослитиздат. М. 1962. 383 стр.

Чарльз П. Сноу. Пора надежд. Роман. Перевод с английского Н. Васильева и Т. Кудряцевой. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 391 стр.

— Теперь я знаю, как англичане делали атомную бомбу,— говорит читатель «Новых людей» Сноу.

— Теперь я знаю семейные нравы лондонских финансистов,— говорит читатель «Совести богачей» Сноу.

— Теперь я знаю, чем живут крупные государственные чиновники Англии,— говорит читатель «Родных очагов» Сноу.

— Теперь я знаю законы, по которым строятся отношения в коллективе английских ученых,— говорит читатель «Света и тьмы», «Наставников», «Дела» Сноу.

Какие только двери не отворяются перед теми, кто читает Сноу! Министерские кабинеты, ядерные лаборатории, салоны банкиров, промышленников, парламентариев, захудалых аристократов... Кембриджские профессорские, адвокатские конторы, залы муниципального собрания, суд, газетные редакции...

Правда, отворены перед читателем эти двери не слишком долго — ровно столько же времени, сколько и перед рассказчиком в цикле романов Сноу, юристом и правительственным чиновником Люисом Элиотом. Этому трезвому, практичному и наблюдательному человеку мы вынуждены целиком доверять, его опыт должны считать достаточным, его мнения — достоверными.

Русский читатель знакомится сейчас одновременно с романами двух планов, составляющими еще не заверченный цикл Сноу из десяти книг, который носит название «Чужие и братья».

«Пора надежд» — один из романов о жизненном пути самого Элиота. «Дело» — одна из книг, где Элиот, не участвуя в данном эпизоде «битвы жизни», выступает только как рассказчик — свидетель и толкователь событий.

Медленно, ценой большого труда и больших, смеем сказать — духовных, потерь подымается Элиот — герой «Поры надежд» — со ступеньки на ступеньку социальной лестницы.

Скромный окраинный родительский домик сменяется пропыленной конторой и комнатой, откуда видны городские крыши. Школьная парта, накрепко связанная в воспомина-

ниях со стеснительным положением бедного ученика, уступает место конторке в адвокатской фирме, а там и университетским кабинетам, вход в которые обеспечила завоеванная нелегким трудом стипендия.

Минует провинциально-честолюбивая юность («пора надежд» — это слишком громкое для нее название; Чехов сказал об этом точнее: «Что... дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости») — и перед Элиотом открывается возможность «приличной карьеры», ему сопутствуют успех, удача.

На каждом подъеме, при каждой встрече с новым лицом, с новой средой он пытается различить, что теряет и что приобретает рядовой член английского общества, меняя, пусть ненамного, свое социальное положение.

«Дело» — роман не о «пути наверх», но о давно сформировавшемся общественном институте — продолжает и укрупняет эти наблюдения. Его внутреннее движение острее, и определяется оно глубиной и верностью анализа изображенной в нем общественной среды. Если «Пору надежд» можно назвать романом биографией, то «Дело» — это роман-исследование.

В многочисленных частных, групповых, многолюдных беседах, которые составляют единственную форму отношений между героями этого романа, раскрывается во всех интереснейших подробностях лицо старейшего английского университета.

То, что жизнь академического коллектива, описанную у Сноу, следует трактовать расширительно, как модель общественных отношений, доказывают и самый дух романа-исследования Сноу, и отдельные мысли, высказанные в его книге. Это, например, рассуждение об особом языке политиков по призванию, не меняющемся от того, насколько высоки посты, ими занимаемые, или монолог Люиса Элиота о холодной войне.

Вот сюжетная канва романа. Физик Говард обвинен в подделке результатов научного опыта. Признан виновным и «засужен» — изгнан из университета. Однако молодой ученый настаивает на своей невинов-

ности и мало-помалу возвращает свое полузабытое в колледже «дело» к жизни. Первые признаки оживления «дела» есть одновременно первые страницы романа Сноу.

Поначалу никого нет на стороне жертвы — каждый из бывших обвинителей Говарда лишь постепенно, с большой неохотой начинает сомневаться в его виновности. Подталкивая вместе с Элиотом университетских старейшин к пересмотру их случайного решения, мы одновременно узнаем, что за души скрываются за университетскими мантиями, какие мысли в головах «ученых» и, наконец, как и почему судьба Говарда могла сложиться только так, а не иначе.

Один за другим коллеги Говарда становятся его защитниками, и Сноу настойчиво призывает читателя взглянуть в причины этих перемен. Отчего осторожный Орбэлл согласился стать посредником Говарда в колледже? Что просыпается в душе карьериста Мартина Элиота — брата Люиса, заставляя его принять сторону изгоя Говарда? Почему примкнули к ним консерватор во всем Скэффингтон и уставший от жизни знаменитый ученый Гетлиф? Почему, с другой стороны, остались люди, уцепившиеся за старые доводы, так и не нашедшие в себе силы предпочесть правду своему благополучию?

В действиях каждого из участников интриги перед нами раскрываются писанные и неписанные правила социального поведения — каркас жизни замкнутой корпорации ученых.

Суть этих правил, по мысли Сноу, составляет баланс, равновесие между волей и терпимостью, между азартностью и расчетом, между властолюбием и осторожностью — спасительный мостик «золотой середины».

Баланс Сноу видит повсюду. Он олицетворен для него в общем итоге любого события, где скрещивается множество интересов. Сложная общественная «партия» — «дело» Говарда — не случайно кончается «ничейной смертью»: Говарду выплачивают денежную компенсацию, но не возвращают в число преподавателей колледжа. В данных условиях, не нарушая ни одного из прочно укоренившихся правил игры, Элиот мог привести «дело» только к этому.

Сбалансирована у Сноу и всякая «средняя» душа, и в особенности душа прирожденного политика. Скажем, тщеславие, огра-

ниченность, карьеризм у Брауна — одного из столпов университета — уравнивают такие черты, как общественная энергия, воля и своеобразная самоотверженность, умение находить радость в поддержании бесперебойной жизни управляемого коллектива.

Но при этом выказываемая и скрытая части человеческих качеств тоже всегда должны быть уравновешены. Поднялась чуть выше «ватерлинии» скрытая, дурная часть — и кубарем летит с должности, завоеванной годами терпения и трудов, казначей колледжа Найтингэйл. Только тут являются против него и подозрения — вещь неожиданная в «сбалансированной» корпорации Сноу. Может даже статься, что это он, Найтингэйл, а не изгнанный из колледжа Говард совершил скандальный подлог!

Абстрактная идея равновесия дурного и благого в жизни, из которой исходит философия «Дела», сама по себе ничего не решает и не может решить ни в этой, ни в других книгах Сноу. К его романам нас привлекает их конкретный материал и конкретный анализ социальных отношений, достоверность которых не вызывает сомнения.

Читатели «Поры надежд» и «Дела», видимо, уже догадались — хоть узнают они это только из других романов цикла, — что самые любимые герои Сноу — наставник Элиота в юности Джордж Пассант, первая жена Люиса Шейла и ближайший друг рассказчика по университету Рой Калверт — отличаются от большинства других персонажей.

Отличаются прежде всего неприятием законов жизни, согласно которым живет Люис Элиот и исследованию которых посвящает себя Сноу. Отличаются искренностью восприятия, свободой мышления, тем, что их существование подчиняется не удовлетворению случайных жизненных предложений, а поискам жизненного предназначения (собственного, как у Шейлы, или всего человечества — у Пассанта). Читатели заметят, наверное, и то, что путь этих героев сопровождается самими трагическими несчастьями и что они гибнут — нравственно или физически, — оставляя Элиота среди равной ему посредственности.

За этих любимых друзей Элиота баланс подводит их судьба. Тем самым подтверждается трагическая истина: в описанной общественной жизни одним талантом, одной душевной тонкостью или одним бескомпро-

миссным воодушевлением жив не будешь — нарушение равновесия, забвение кода условностей и самоограничений равнозначно здесь самоубийству. Таков весьма пессимистический взгляд Сноу на судьбу счастливых исключений из буржуазной заурядности.

Идея баланса жизни проходит через все книги Сноу (отсюда название цикла «Чужие и братья», читай: «Когда мы друг другу чужие и когда братья»). Так как в этот цикл входят книги о самых разных сферах английского общества, весь он в целом может быть приравнен к капитальному социологическому исследованию.

На фоне большинства современных английских романов, в своей основе чрезвычайно лиричных, книги Сноу выделяются объективным, «незаинтересованным» тоном, каким излагаются в них события. Тон этот не имеет ничего общего с авторским равнодушием и своим происхождением обязан особой наукообразности, отличающей творчество Сноу.

В западной литературе было много попыток подчинить роман науке. Но и Золя, и братья Гонкуры, и Джордж Элиот, провозгласив беспристрастное изучение методами естественных наук общественной среды, ее формирующей роли, в большинстве случаев рано или поздно возвращались к человеку, к жизни, «как она есть».

Слишком очевидны были их индивидуальные склонности, пристрастия, чтоб держаться лишь чисто академических целей во всех этих «естественных и социальных» исследованиях. Слишком много сил, гражданского темперамента, таланта тратили они, создавая многомерные характеры, чтобы тут же отдать их без остатка безжалостно объективной, точной науке.

Сноу таких сил тратить не приходится. Жизнь в его романах не течет сама по себе, свободная от его анализа. И хотя писатель вовсе не видел своей задачи в создании цикла романов-исследований, занимающих все средства и отдающих все результаты науке — социологии, получается у него все именно так.

В книгах Сноу царит порядок, какой встретишь не в каждой научной работе. С академической аккуратностью — это особенно должно бросаться в глаза читателю «Дела», классического для Сноу романа, — вводятся в круг героев все новые и новые лица. Каждое из них тут же снабжается

стереотипной «анкетной карточкой»: внешность, социальное происхождение, характер, политические взгляды. С этого момента и до конца книги каждый герой интересуется автором не столько как Браун, Орбэлл, Найтингэйл или еще какой-нибудь участник «дела», сколько как *x, y, z* сложного и увлекательного социального уравнения.

Не доверяя «не очищенной» наукой реальной действительности, Сноу предпочитает как можно больше рассказать о героях сам, обрамляет сжатые эпизоды романа развернутым комментарием, полным категорических суждений, заключает героев в густую сетку оценочных эпитетов, приводимых к тому же группами — для лучшей экономии и логичности. С этими оценочными эпитетами дело у него может доходить и до такой, скажем, любопытной «цепочки»: «...она была упряма, самодовольна, тщеславна, ограничена, куда менее добродушна, чем ее предприимчивый, простой и властный муж».

Диалог у Сноу похож на тщательно отобранные цитаты, иллюстрирующие черты характера или ситуацию. Сами же характер и ситуация нужны автору главным образом как материал для его «количественных» вычислений. Выдающегося исследователя коллективной психологии Сноу мало заботит психология индивидуальная, взятая «изнутри», во всем богатстве ее конкретных деталей. В «Деле», например, мы не видим проявления вспыхнувших эмоций персонажей, мы лишь участвуем в вычислениях Элиота: чего окажется больше, что окажется наверху — служение истине или личные пристрастия, альтруизм или эгоизм, расчетливость или добросовестность.

Пейзаж для Сноу значит столько же, сколько для ученого, который раз-другой оглянется вокруг по дороге из лаборатории домой. Редкие сравнения — и те близки к научному миру: небо — циклограма и т. п. Почти нет шуток, но это и понятно — разве шутит ученый за работой? Портреты — словно детали внешности людей, мелькающие в голове исследователя их поступков, углубленного в чтение научных протоколов. Сами книги Сноу по сосредоточенности и последовательности рассказа, свободного от всякого подобия экскурсов или отвлечений, напоминают такие протоколы — сухие, добросовестные, лишь исподволь указывающие на личные особенности автора.



И все же стиль Сноу абсолютно органичен, оттого по-своему привлекателен и по-своему оправдан. Льюис Элиот — рассказчик его романов — с малолетства (таким мы застаем его уже в «Поре надежд») приучен носить маску беспристрастия и лояльности, а это меньше всего писательские черты. Невыразительность и вместе с тем аналогичность стиля Сноу таким образом выступают как естественная или рано приобретенная особенность героя-рассказчика, уходящая корнями снова в социальную почву.

Последовательно придерживаясь единого повествовательного метода, Сноу добивается главного: его книги будят в широком читателе отклик на важнейшие вопро-

сы общественной и духовной жизни Англии, и не одной только Англии. И этот отклик — не холодное восприятие информации, но благодарный ответ на широту взглядов, пронизательный ум, сочувствие всему доброму в людях.

В романах Сноу отражена суть отношений рядового индивидуума и буржуазного общества в их каждодневной реальности. Знание исследуемых сфер жизни, проникновение в законы их существования позволили романисту создать ценные литературные документы. Многие читатели давно ждали момента, когда Сноу заговорит наконец по-русски. Будем надеяться, их ожидания были не напрасными.

**Д. ШЕСТАКОВ.**

★

### Политика и наука

## МОЛОДЫЕ ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

**Лев Экономов. Часовые неба. Издательство ДОСААФ. М. 1962. 102 стр.**

**Майор С. Немец ев. Крепче брони. Воениздат. М. 1963. 46 стр.**

**Ведущий огонек. Сборник. Издательство газеты «Красная звезда». М. 1963. 32 стр.**

**А. Киселев. Их девиз — дерзать! Воениздат. М. 1963. 68 стр.**

**Х**орошо помню 12 мая 1945 года. В тот день мы, офицеры-летчики штурмового авиационного полка, приехали в поверженный Берлин. Как и тысячам других воинов Советской Армии, участвовавших в боях за Берлин, нам страстно хотелось увидеть Знамя Победы, которое уже почти две недели реяло над рейхстагом. Мы долго стояли перед этим большим зданием, медленно ходили по его залам. Затем, достав где-то лестницу-времянку, приставили ее к одной из колонн и среди сотен других фамилий углем написали имена павших товарищей, чья память для нас священна, и расписались сами. «Вот и подвели черту под войной», — сказал Герой Советского Союза майор Сергей Куфонин. — Сделали то, о чем мечтали на Волге...»

Там, у рейхстага, мы не говорили о тех, кто займет место под боевыми знаменами Советской Армии. Но твердо знали, что боевые традиции, воспринятые нашим поколением от героев гражданской войны и приумноженные в суровых сражениях, найдут достойных преемников.

Прошло восемнадцать лет. Новое поколение советских воинов с честью несет зна-

мена, овеянные бессмертной славой, как самое дорогое, хранит в сердцах своих верность народу, партии, отечеству.

О молодых советских воинах рассказывают книги, вышедшие в свет за последние несколько месяцев и посвященные передовым воинам нашей армии. Эти книги различны по своему характеру, языку, не все в них удачно. Но есть у этих книг нечто общее, положительное, что не оставляет читателя равнодушным. Это общее прежде всего в том, что люди, с которыми мы знакомимся, не выдуманы, они шагнули на страницы очерков прямо из жизни.

...Над районом базирования истребительной авиачасти противовоздушной обороны нависли темные облака. Сплошным тяжелым покрывалом затянули они небо. Кажется, что ни о каких полетах не может быть и речи. Действительно, несколько лет назад жизнь на аэродроме в такой ненастный день замерла бы надолго. Но сейчас здесь все было в боевом напряжении: радиолокаторы обнаружили самолеты «противника». Мгновенные расчеты, четкие донесения, короткие команды. Проходит несколько минут — и тишину разрывает рев

могучих турбин: военный летчик майор Вашенко взлетает на перехват цели.

Так начинается Лев Экономов свои очерки о часовых неба — воинах противоздушной обороны. Читатель знакомится с начальником радиолокационной станции старшим лейтенантом Ершиковым, операторами Алексеевым и Бруем, дежурным штурманом пункта наведения капитаном Белозеровым. Автор знакомит нас с большой дружной семьей авиаторов. Мы узнаем, как воины несут службу, изучают технику, выполняют учебно-боевые задания.

И кажется, что все здесь так же, как было в любом из авиапунктов и пятнадцать и двадцать лет назад. Та же размеренная воинская жизнь с ее радостями и трудностями, успехами и неудачами. Те же люди — влюбленные в свои профессии, не жалеющие сил и энергии для овладения боевым мастерством. Однако чем дальше читаешь очерки, тем тверже убеждаешься, что первое впечатление не совсем полно. Да, все то же, но много и нового — такого, чего не было и не могло быть раньше.

Автор не акцентирует своего внимания на боевой технике, — в центре его внимания человек. Но даже простое перечисление новых воинских специальностей красноречиво говорит о том, что «человек с ружьем», родившийся в огне Великого Октября, неизмеримо вырос вместе со всей нашей страной. Теперь в руках у него не простая винтовка. В наше время он управляет атомными двигателями, ракетно-ядерным оружием, он уверенно пользуется сложной электронно-вычислительной техникой, новыми изумительными приборами. Воин стал другим. Ныне он не просто солдат. Он солдат-техник, солдат-инженер. И когда автор даже мельком говорит о возрастающем значении техники, вооружения, он все время подчеркивает, что главное — это люди. Что воюет не техника сама по себе, а люди, овладевшие техникой, что таких людей, беспредельно преданных родине, твердо идущих дорогой отцов, в нашей армии многие тысячи.

И именно это заставляет по-новому взглянуть на каждого из тех, о ком рассказывается в очерках; заставляет глубже оценить эпизоды, на первый взгляд, обычные в жизни любой части, но приобретающие большое, а бы даже сказал, государственное значение, потому что они характерны для всех воинов наших Вооруженных Сил.

Летчик, выполняющий команду на взлет в исключительно трудных метеорологических условиях, хорошо знает, что вылет учебный, что настоящего врага перехватили и уничтожили бы еще на границе. Но раз приказано запускать двигатели, вырывать на исполнительный старт и взлетать — значит, в воздухе есть контрольная цель. Охранять мирный труд своего народа, быть всегда в полной боевой готовности — это для офицера не отвлеченное понятие, это его священный долг, его повседневная обязанность, его вклад в боевые традиции части. И поэтому учебный полет он выполняет так, как в годы войны выполняли сложнейшие боевые задания его старшие товарищи: самоотверженно.

Так же, как герои очерков Экономова, выполняют свой долг и испытатели ракет (разве могли мы пятнадцать лет назад даже представить себе такую специальность!) коммунисты инженеры Костенко, Желудев, Агин («Ведущий огонек»), и механик-водитель ганка старший сержант Белан (С. Немцев, «Крепче брони»), и подполковник Теряев, и мичман Гербенский (А. Киселев, «Их девиз — дерзать!»), и тысячи других воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота. Каждый из них на своем посту — в кабине сверхзвукового самолета, нового танка, в лаборатории, на испытательном ракетном полигоне — делает все для того, чтобы еще выше поднять боевую готовность части, армии.

Наши Вооруженные Силы оснащены самым современным ракетно-ядерным оружием. Ракеты — это очень сложные, точные механизмы. Чтобы ими управлять, надо иметь весьма высокую специальную подготовку. Достаточно сказать, что в наших ракетных войсках на каждые сто офицеров приходится семьдесят два инженера и техника. А какие глубокие знания должен иметь человек, которому доверено испытание ракет! Какое тонкое чутье ко всему новому, какое высокое чувство ответственности за порученное дело должно быть воспитано у него!

Герои очерка Н. Горбачева — испытатели ракет инженеры Агин, Желудев, Костенко — как раз такие люди. Разные по характерам и наклонностям, они имеют и много общего: они любят свою профессию, всем им присуще благородное творческое беспокойство за дела коллектива, за боеготовность ракетных войск.

...Огромная ракета покойно лежала на тележках в ангаре, люди в белых халатах сосредоточенно хлопотали вокруг нее. Когда дошла очередь до проверки системы управления, обнаружилось, что происходит непредвиденное колебание исполнительных органов.

«Проверим еще раз,— предложил Костенко».

Проверили. Эффект прежний.

Начинаются поиски неисправности. Автор показывает творческую работу испытателей, их высокую инженерную эрудицию, необыкновенную настойчивость и упорство. Трое суток продолжалась эта работа. Трое суток почти без сна и отдыха находился коммунист инженер Костенко со своими коллегами в ангаре. Сложнейшие механизмы разбирали до винтика, тщательно проверяли каждую электрическую цепь, каждый агрегат — и дефект нашли. Еще одна новая ракета была готова к старту.

Но только ли оттого мы стали сильнее, что на одну ракету увеличилась мощь наших войск? Нет, не менее важно и другое: богаче стал опыт наших кадров, еще раз проявились те замечательные качества советских воинов, которые воспитываются у них Коммунистической партией.

Инженер Костенко — испытатель ракет, старший сержант Белан — механик-водитель танка. Казалось бы: что общего между ними? Люди разного возраста, разных воинских профессий, различного уровня теоретической подготовки. Но есть у них много и такого, что роднит этих двух людей. Вот эпизод из брошюры С. Немцева.

На тактических учениях механику-водителю старшему сержанту Белану пришлось преодолевать топкое болото. Конечно, можно было бы обойти его стороной: не война ведь — учения. Но это значит отступить перед трудностями. И выход был найден. Он был очень трудным, путь танка через болото. Экипажу пришлось привязывать бревно к тракам. Затем медленно, только на длину корпуса, двигаться вперед, а потом вновь вынимать бревно из грязи, снова крепить его впереди танка и опять делать несколько метров вперед...

Конечно, эти два эпизода из практики инженера-ракетчика и механика-водителя различны по своему характеру. Но внутреннее

их содержание едино. И тем и другим двигают общие силы, одни душевные порывы. Костенко и Белану, так же как летчику Ващенко, присуще неукротимое стремление быть всегда на высоте задач, поставленных перед воинами партией и народом.

Не все, разумеется, равноценно в очерках, на которых мы остановились. Немало, например, лишних деталей в рассказе С. Немцева о механике-водителе Белане. Можно упрекнуть и Н. Горбачева — автора очерка об испытателях ракет — в излишней сухости.

Но, несмотря на эти и некоторые другие недостатки, очерки представляют несомненную ценность. Они убедительно показывают, что воины молодого поколения с достоинством и честью выполняют свои почетные обязанности.

В речи на XXII съезде партии министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский заявил, что советская военная доктрина самой важной, самой главной и первоочередной задачей Вооруженных Сил считает: быть в постоянной боевой готовности к надежному отражению внезапного нападения врага и к срыву его преступных замыслов. Авторы рецензируемых книг не говорят об этой доктрине. Но их герои живут по законам постоянной боевой готовности. Каждый свой шаг, поступок, действие они подчиняют выполнению благородной задачи: бдительно защищать свободу и независимость своей любимой родины, быть до конца верными идеалам Коммунистической партии.

Воениздат, «Молодая гвардия», Издательство ДОСААФ выпускают немало книг и брошюр, посвященных воинам Советской Армии, их повседневным ратным делам. Но, к сожалению, в этом потоке литературы еще много серых, поверхностных произведений, написанных торопливо, без глубокого проникновения в личность воина, в тот большой мир явлений и чувств, который характерен для всей нашей жизни. Воины сегодняшних дней достойны, чтобы их образ был обрисован ярче, полней, чтобы авторы раскрывали не только обстановку, в которой действуют герои, но также их благородные помыслы, стремления. Это пожелание хочется прежде всего адресовать Воениздату.

**Б. ДУБРОВИН.**

## КНИГА ОБ ОТЦЕ В. И. ЛЕНИНА

А. И в а н с к и й. *Илья Николаевич Ульянов. По воспоминаниям современников и документам.* Госполитиздат. М. 1963. 288 стр.

На протяжении многих лет А. Иванский изучал педагогическое наследие И. Н. Ульянова. И вот перед нами выпущенная им книга, повествование в которой ведется от лица современников И. Н. Ульянова.

Составитель стремился не упустить из этих свидетельств ничего существенного, что помогло бы нам узнать воззрения Ильи Николаевича, ознакомиться с методами его педагогической деятельности и вместе с тем разглядеть в нем неутомимого труженика, человека большой души — отца и воспитателя великого Ленина.

В отличие от других исследователей А. Иванский пытается привлечь и осмыслить более широкий круг источников, относящихся к гимназической и студенческой поре жизни И. Н. Ульянова. Думается все же, что архивные документы использованы им недостаточно. Областные и республиканские архивы Поволжья исследованы мало. Так, автор считает, что имеются сведения лишь о двух сочинениях гимназиста Ильи Ульянова по русской словесности: «Объяснение некоторых синонимов» (1847) и «О сатирическом направлении в русской литературе» (1850). В одном из архивов Казани удалось разыскать сочинение гимназиста-выпускника И. Н. Ульянова «О вдохновении». Документ этот представляется мне настолько ценным, что я позволю себе привести его полностью (тем более что это единственное уцелевшее сочинение Ильи Николаевича).

### «О вдохновении»

Что такое вдохновение? Вдохновение есть состояние фантазии, в котором душа художника, сильно возбужденная или растроганная, не только сильно стремится к увлекательному ее предмету, не только посредством живого воображения подмечает важные его стороны, но чувствует какое-то внутреннее побуждение сообщить свои приобретения другим. Этим-то стремлением к сообщению вдохновение отличается от фантазии, которая только творит, а не проявляется вне, следовательно, недоступна никому. Отчего же зависит вдохновение? От внешних ли каких-нибудь побуждений или единственно

от внутренних явлений? Оно зависит сколько от внешних каких-нибудь побуждений, столько и от внутреннего стремления души выразить себя.

Вдохновением можно назвать способность, которая в отношении к другим внешним условиям обработки имеет действие, подобно врожденному стремлению, ни от чего не зависящему. В этом состоянии художник так пристрастен бывает к избранному предмету, что забывает все постороннее, он живет, он, так сказать, дышит только этим предметом.

Укажем последовательность вдохновенного состояния. Сперва художник избирает идеальную сторону предмета, потом фантазия совершенно обрабатывает части этого предмета, наконец все это является от вдохновения в известных формах, то есть выражается или звуками, или образами. Некоторые говорят, что вдохновение расстраивает прекрасное состояние душевных сил именно внезапными движениями, восклицаниями, слезами и тому подобными действиями. Напротив, это движение сообщает все свои мысли другим, согласно с душою. Художник должен запастись мыслями и чувствами, которые в минуту вдохновения только свободнее развиваются, а не рождаются. Напрасно иной хочет сделаться вдохновенным посредством искусственных средств, внешних возбуждений: усилие его бывает бесплодно.

Вообще нет ни одного художественного произведения без вдохновения. Это есть основание произведениям поэзии и начало искусства.

Илья Ульянов».

Далее следует оценка учителя: «Очень хорошее сочинение. Г. Ульянов сознательно рассуждает о предмете, им избранном. А. Тимофеев».

Это сочинение характеризует И. Ульянова как вполне зрелого юношу, умеющего обобщать факты, анализировать довольно сложные вопросы. Систематическое чтение книг, серьезная самообразовательная работа были для гимназиста Ульянова правилом. Его познания выходили далеко за рамки гимназических требований. Он пер-

вым за всю историю гимназии был награжден серебряной медалью и званием личного почетного гражданина. В своем роду он первым получил среднее образование.

Путь И. Н. Ульянова в университет был тернист. Ему, «как происходящему из податного состояния», было отказано в стипендии. Но, невзирая на большие материальные трудности, Илья Николаевич поступил на физико-математический факультет Казанского университета.

В литературе об И. Н. Ульянове не показано должным образом, какую педагогическую подготовку он получил в университете. Получается так, что педагогический знания приобретены им будто бы вне университета, в порядке самообразования. Не исправил этой ошибки и А. Иванский. Между тем известно, что уже в Казанском университете Илья Николаевич получил довольно солидную теоретическую подготовку по педагогике, дидактике, психологии и логике. При университете существовал педагогический институт, готовивший учителей для гимназий, а в 1851 году была открыта кафедра педагогики.

Посещение лекций по педагогике было обязательным для студентов, готовившихся к педагогической деятельности. И. Н. Ульянов на первом и втором курсах слушал лекции по психологии и логике, на третьем и четвертом — систематический курс педагогики, включавший в себя историю педагогики, дидактику и педагогическую практику. Таким образом, он вышел из Казанского университета хорошо подготовленным не только в научном, но и педагогическом отношении. Это А. Иванскому следовало бы обстоятельно показать.

Первые годы учительской деятельности Ильи Николаевича прошли в Пензе, в дворянском институте. Большая работоспособность и любовь к педагогическому труду позволили ему вскоре стать одним из лучших преподавателей. Он решительно выступил против зубрежки и вообще против старых методов обучения. Он излагал материал просто, наглядно, вызывая у учащихся интерес к науке. К сожалению, составитель не привел здесь ни одного документа, характеризующего И. Н. Ульянова как руководителя и организатора Пензенской воскресной школы, что очень важно для биографии Ильи Николаевича как педагога.

С 1863 года деятельность И. Н. Ульянова проходила в Нижнем Новгороде, куда

он был переведен на должность старшего учителя математики и физики. Здесь обогатился его педагогический опыт, отшлифовалось педагогическое мировоззрение. Он читал произведения Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, изучал труды Ушинского, Корфа и других русских педагогов. В 1869 году И. Н. Ульянов получил назначение на должность инспектора, а через пять лет стал директором народных училищ Симбирской губернии. Всей душой отдался Илья Николаевич организации обучения и воспитания крестьянских детей.

Школ в губернии было мало. Подготовленных учителей почти совсем не было. Понятно, что в этой обстановке основное внимание И. Н. Ульянова было направлено на улучшение состава учителей.

Воспоминания современников и документы довольно подробно характеризуют работу первых в Симбирской губернии педагогических курсов, которые были созданы при содействии Ильи Николаевича. Учителей, подготовленных И. Н. Ульяновым на двухгодичных педагогических курсах, называли «учителями нового типа», «украшением времени». Учительская деятельность была их «высоким гражданским долгом».

Огромная роль принадлежит И. Н. Ульянову в создании в Симбирской губернии первой учительской семинарии, открытой в селе Порецком в 1872 году. Илья Николаевич уделял ей много внимания, бывал на занятиях, ежегодно присутствовал на экзаменах. Семинария дала много хорошо подготовленных, передовых учителей своего времени. За «крайне вредное направление» учителей-семинаристов реакционное симбирское земство прекратило содержание своих стипендиатов в Порецкой семинарии. Илье Николаевичу было указано «на неуместность» поощрения учителей-семинаристов при определении на учительские должности.

Неустанно заботясь о повышении общей и педагогической культуры педагогов, И. Н. Ульянов ежегодно созывал учительские съезды. Подход Ильи Николаевича к организации этих съездов крайне для нас поучителен, а отчеты о них являются ценным вкладом в историю развития методики начального образования. Эти отчеты не потеряли практического значения и для современной советской школы.

Съезды учителей были многолюдными. Во время их работы действовала временная

школа, где учителя давали показательные уроки. Особое внимание обращалось на наглядное обучение. На съезде устраивалась выставка учебно-наглядных пособий, распространялась новейшая педагогическая и учебная литература. На вечерних заседаниях съезда учителя обсуждали уроки. Наиболее опытные из них выступали с докладами и рефератами.

В книге приводятся документы о системе инспектирования школ И. Н. Ульяновым. Наиболее интересны в этой системе методика и техника организации педагогического контроля и оказания практической помощи учителю.

Прибыв в школу, И. Н. Ульянов старался по возможности посетить все уроки. При этом его интересовало, как учитель подготовлен к уроку, правильно ли ведет занятия, знает ли свой предмет, умеет ли владеть классом, какова культура его речи.

В тех случаях, когда Илья Николаевич видел, что преподаватель мало знаком с передовыми методами обучения, он сам давал показательные уроки и таким образом учил учителей. Илья Николаевич был и наставником, и большим другом учителей. Он заботился об их здоровье и быте, об улучшении их правового и материального положения, за что заслужил с их стороны большую любовь и благодарность.

Многие документы посвящены изложению взглядов И. Н. Ульянова на организацию начального народного образования в многонациональной Симбирской губернии. Книга знакомит читателя с тем, как Илья Николаевич, будучи инспектором, а затем и директором народных училищ, руководил школами огромной губернии, деятельностью районных инспекторов, излагает его взгляды на организацию просвещения нерусских народов и т. д. Шестнадцатилетний период педагогической деятельности И. Н. Ульянова оставил большой след в истории народного образования. Илья Николаевич был не только видным педагогом-демократом, но и замечательным организатором и руководителем школьного дела. Деятельность его как педагога справедливо сравнивается с выдающимися деятелями русского просвещения Н. И. Пироговым, Л. Н. Толстым, Н. А. Корфом и другими. Совершенно справедливо мнение А. Иванского, что «если бы собрать все составленные И. Н. Ульяновым отчеты о состоянии начальных народных

училищ Симбирской губернии, всю его обширнейшую и до сих пор остающуюся неизвестной читателю переписку по вопросам организации народного образования, то получилась бы замечательная и очень поучительная книга, превосходящая многие теоретические исследования именно тем, что в ней прогрессивные педагогические идеи неразрывно увязаны с повседневной практикой и вытекают из нее. Такая книга имела бы большое практическое значение и для нашего времени...»

Жаль, что в сборник не включены документы Ульяновских архивов, относящиеся к последним годам жизни Ильи Николаевича. Именно в эти годы И. Н. Ульянову пришлось вести борьбу не только за укрепление, но и за сохранение созданных им новых земских школ. Наступившая реакция пыталась уничтожить плоды его многолетнего труда. «...Последние годы жизни Ильи Николаевича,— писала А. И. Ульянова,— были омрачены худшим отношением власть имущих к его детищу — к земской школе». Деятельность директора народных училищ И. Н. Ульянова стала попадать под подозрение. «По нашим школьным делам в Симбирске не все спокойно,— писал об этом времени инспектор А. А. Красев.— Местное духовенство, особенно же известный его деятель П. П. Никольский (член губернского училищного совета), обнаруживает необыкновенное раздражение в отношении к правам и деятельности местных инспекторов народных училищ, уличает нас в весьма неумелом и неискреннем отношении к вопросам школьного законоучительства и вообще набрасывает на нас такие тени, от которых может очень не поздоровиться всем нам в настоящее время...» (фонды Ульяновского Дома-музея В. И. Ленина, дело 22).

Трудно было работать в обстановке политического террора, но преданные своему делу люди, к каким принадлежал И. Н. Ульянов, несмотря ни на что, продолжали бороться с отсталостью и темнотой угнетенного народа. Об этом говорят многие архивные материалы, которые ждут своей публикации.

В заключительной главе книги особое внимание уделяется раскрытию роли, которую сыграли в становлении В. И. Ленина его родители — Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы. Они создали семью, представляющую собой, по выражению друга и соратника Владимира Ильича

П. Лепешинского, подлинную «аристократию духа», воспитали детей таким образом, что они все стали стойкими и негибкими революционерами. Илья Николаевич имел очень большое влияние на В. И. Ленина. «Сила воли, энергия, способность целиком и безраздельно отдаваться своему делу, гореть на нем, крайне добросовестное отношение к своим обязанностям, а также большой демократизм, внимательное отношение к людям,— писала М. И. Ульянова,— эти черты были общи для Илья Николаевича и Владимира Ильича».

Не менее благотворным было влияние и Марии Александровны — матери В. И. Ленина. Человек большой души и твердого характера, она обладала огромным талантом и знаниями педагога, которые помогли ей воспитать детей образованными, идейными, честными. Влиянию матери Владимир Ильич во многом обязан такими качествами, как сила воли, трудолюбие, чуткость и внимание к простым

людям, самодисциплина, бережливость, скромность, жизнерадостность.

Давая яркое представление о том, как умело и педагогически правильно было организовано воспитание детей в семье Ульяновых, как внимательно и целенаправленно руководили Илья Николаевич и Мария Александровна учением детей, книга может помочь читателю полезным советом в благороднейшем деле воспитания детей.

Несмотря на некоторые недостатки, книга А. Иванского — весьма ценное издание. Приведенный в ней богатый документальный и фактический материал, часть которого в литературе об И. Н. Ульянове приводится впервые, дает возможность почувствовать историческую обстановку, в которой проходила общественно-педагогическая деятельность И. Н. Ульянова. Книга, несомненно, будет с благодарностью встречена самыми широкими читательскими кругами.

**А. КАРАМЫШЕВ.**

г. Ульяновск.



## СКВОЗЬ СТРОЙ

**Л. М. Добровольский. Запрещенная книга в России. 1825—1904. Архивно-библиографические разыскания. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1962. 254 стр.**

«Ах, это писательское ремесло! — Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мной не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный». Этой выдержкой из «Мелочей жизни» Щедрина начинается рецензируемая книга...

Безбрежная по своему содержанию тема вводится здесь в жесткое русло. За строгими рамками исследования остаются годы, протекшие от стародавних гонений на русское слово до восстания декабристов и от первой русской революции до Октября. За пределами разысканий — книги, задержанные цензурой, а потом все же выпущенные; запрещенные для публичных чтений и общественных библиотек; изданные нелегально и за рубежом...

Чему же тогда посвящен труд? Произведениям, напечатанным легально, а затем конфискованным. Так ли уж много их?

Используя все, что было опубликовано по этому поводу, обратившись к частным и государственным архивам, автор утверждает, что истинная цифра запрещенных книг, оказывается, 248..

Всего лишь?

Но мастерство только что умершего Л. М. Добровольского в том, что скромной, казалась бы, цифрой он дал остро почувствовать муки подцензурной царской России.

Дело не в цифрах. За каждым запрещенным изданием скрываются десятки и сотни других книг, убитых еще до рождения, тысячи тем и замыслов, задавленных в зародыше. Книга Л. Добровольского — первая попытка показать в перечне запрещенных изданий не только что запрещено, но и когда запрещено, кем запрещено, почему запрещено — словом, превратить «сухой» перечень в яркое повествование. истинное название которого — трагедия русской мысли в эпоху царизма.

Среди действующих лиц этой трагедии — гениальные и бездарные, знаменитые и бес-

славные. Рядом с Толстым — Суворин, некто Чанцев, Волховский... Цензура царская была настолько «демократична», что с одинаковым рвением запрещала книги сенатора Закревского и плебея Дидро, брошюру великого князя Николая Константиновича «О выборе кратчайшего направления среднеазиатской железной дороги» и статьи журналиста Писарева. Среди авторов, чьи книги были запрещены, интендант Лукин и хирург Фейгин, литературовед Брандес и ученый-естествовед Геккель, философы и социологи — Томас Гоббс, Герберт Спенсер. Разумеется, Маркс с его верными учениками и союзниками. Поэты и прозаики — Некрасов, Флорбер, Марко Вовчек...

Романы и мемуары, легенды и карманные словари, исторические хрестоматии для гимназистов и медицинские рекомендации для престарелых — всюду проникло, все пронизало недреманное цензорское око.

Вполне отвечает ожиданиям, что перечень запрещенных книг начинается с альманаха «Звездочка», который А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев надеялись предложить публике в 1826 году. Неожиданности подстерегают позднее: «поэма» С. Глинки «О нынешних происшествиях или воззвание к народам о единодушном восстании против турок, подражание Вольтеру», «Двенадцать спящих бутошников» — «поучительная баллада», написанная племянником поэта В. А. Жуковского В. А. Проташинским, предавшим интересы московской полиции, в которой он известное время служил.

Основываясь на некоторых «казусах», было бы легко поиздеваться над деятельностью николаевской цензуры. Постараемся, однако, трезво вникнуть в мотивы, побуждавшие ее вторгаться не только в серьезную науку и подлинную поэзию (скажем, в диссертацию Н. Костомарова «О причинах и характере Унии в Западной России», в поэму «Кобзарь» Шевченко), но и в такую непритязательную продукцию, как безымянная повесть «Похождения и приключения гостиннодворских сидельцев, или Поваливай! Наши гуляют!».

При всей анекдотичности отдельных проявлений бдительности, контроль цензуры за общественной мыслью вовсе не был анекдотическим. Это была система, реагирующая на каждое движение общественной мысли и, конечно, на любой каприз монарха.

Скажем, «принял смелость» адмирал А. Н. Мордвинов «поднести» его величеству

«Русские сказки...» казака Луганского, под именем которого выступил Вл. Ив. Даль. (Надо ли добавлять, что «подношение» сопровождалось доносом насчет крамольного содержания книги?) Реакция последовала мгновенно. Николай I, как пишет адмирал шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, «приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения».

«Запретить», «изъять», «конфисковать»... При Николае I действовал автоматический закон: книга — донос — запрет. Действовал так безотказно, что очевидным становится принцип, который лежал в основе деятельности цензурного ведомства. Принцип этот лаконично выражен в дневнике цензора А. В. Никитенко, записавшего отзыв высокопоставленного лица о книге Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе»: «Книга эта тем вреднее, что в ней что строчка, то правда».

Вопреки либерально-розовой болтовне и официальным восторгам по поводу избавления от рабства, обретения свободы и т. п. в «пореформенную, но дореволюционную эпоху» николаевские традиции сохраняли свою силу. Причем не одну лишь силу инерции.

В николаевское тридцатилетие под запрет попали двадцать четыре книги, а в александровские времена более полутора сотен. По-прежнему самодержавный сапог топтал мысль России. Во исполнение высочайшей воли «должны быть немедленно арестованы» «Записки декабриста» барона А. Е. Розена: поскольку «государю императору благоугодно было повелеть», сжигаются герценовские «Письма об изучении природы»; по «высочайшему повелению» летит в печь архивная «История Византийской и Греческой империи» Георга Финля (а вдруг возникнут ассоциации между современной Россией и средневековой Византией?) — хотя в этих и других случаях цензурные комитеты сначала допускали возможность отказа от цензурных гонений на представленные им издания.

Что и говорить, новый императорский слог отличается от старого: когда Александр III прочел книгу «того самого скота», «этого негодяя» Бильбасова «История Екатерины Второй», то даже, по словам начальника главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова, в раздражении своем зашел чересчур далеко. «По-настоящему, — заметил Александр III, — следовало



бы worse запретить Бильбасову заниматься историей...» На докладе Е. М. Феоктистова царь написал: «Вообще надо обратить внимание на все теперешние исторические журналы...»

«Следовало бы запретить», «надо обратить внимание» звучит несколько иначе, чем «запретить», «изъять», «арестовать». И все же... менялась погода, но не климат. Можно провести сколько угодно параллелей между николаевскими и александровскими временами в подтверждение того, что вполне установившийся почерк цензуры оставался в сути своей неизменен.

Представляя комитету министров книгу Л. Штейна «История социального движения во Франции с 1789 года», министр внутренних дел А. Е. Тимашев пишет, в частности, следующее: «Если не подготовленные наукой и поверхностные читатели, особенно из молодежи, прочтут этот эпизод (речь идет об анализе учения Бабефа.— М. К.), то он может возбудить в них ложные толкования...» «Особенно в среде неустановившейся молодежи обоих полов», как полагает министр Л. С. Маков, найдет своих читателей «Искушение пустытника»<sup>1</sup> Густава Флобера. Формулу Макова — Тимашева повторяет их наследник министр внутренних дел граф Д. А. Толстой, предлагая комитету министров запретить «крайне вредную» книгу стихов Н. Минского, которая «может получить широкое распространение, в особенности среди молодежи, не вполне еще установившейся...»

Ничуть не нарушают «ансамбль» и фантастические, на теперешний взгляд, отзывы о творениях Толстого. Комитет духовной цензуры запретил, например, книгу его «Народных рассказов» как «непригодную для чтения народа»!

Без комментариев ясно: за дежурными фразами о простачках, о юных и малонискусшенных гайтся страх цензуры перед подлинным искусством и наукой, перед талантом и правдой.

Бунтарская правда не по нутру власти. Бездарность и угодничество — вот что безопасно, желанно, благонадежно. Поэтому уничтожают «посредством обращения в бумажную массу» тысячные тиражи на картонной фабрике Крылова; рвут и режут «на мелкие части», рубят топором, спускают

<sup>1</sup> Приводимые здесь названия произведений даются в соответствии с материалами Л. М. Добровольского.

в «дробильную машину» замечательные издания на бумажной фабрике Печаткина; сжигают книги на императорском Стекляном заводе, при «Басманном частном доме» при Сушевском полицейском доме, отправляют книги в печи зала заседаний санкт-петербургского цензурного комитета. Цензуру шокировало то, что автор книги о Чаадаеве, Белинском и Герцене «не обладает спокойствием, на каждом шагу увлекается в свое направление». Ее коробили «бестактность» и «резкость изложения» в книге о раскольниках и острожниках. Ей казались «дерзкими» отзывы о православной вере, если церкви и правительству «приписывались» жестокие и несправедливые действия против сектантов. Ей хотелось бы, чтобы «Документы и материалы по истории противоеврейских беспорядков 1881—1883» были составлены в духе «беспристрастного исторического исследования». Цензурный жаргон, созданный, чтобы все читалось наоборот, с легкостью необыкновенной превращал черное в белое, белое в черное. Простейшим средством магических превращений были словечки «будто бы», «якобы», «как бы», придававшие сомнительность всему бесспорному («якобы ученый естествоиспытатель» Бюхнер, «будто бы безнаказанность тюремного начальства»).

Материалы, собранные Л. Добровольским, блистательно доказывают, что побеждала правда, талант, жизнь.

В «пореформенную, но дореволюционную эпоху» цензура заметно сдавала позиции. Важным признаком поражения стало открытое отступничество в ее собственных рядах: склонность к либеральному размягчению принципов, более частые и отважные, чем прежде, изменения своему знамени. И одновременно возрастающая стойкость авторов. Иногда она выражалась в отказе исключать и переделывать запрещенные страницы книги и, следовательно, в отказе от надежды увидеть книгу изданной; иногда, наоборот, в многократных переделках негодных мест и упорном сохранении их смысла.

Очень характерным стилистическим показателем новых веяний является полюбившаяся цензорам подчеркнута объективная формула «нельзя не признать». В николаевские времена трепет, вселяемый монархом, перекрывал все остальные страхи, и у цензора хватало куража усердствовать

от собственного имени: «Рассмотрев внимательно это дело, нахожу... экземпляры истрепаться» (С. Уваров). Теперь же цензоры рядятся в тогу беспристрастия и предпочитают безличные обороты: «...нельзя не признать совершенно неудобными в печатном слове» некоторые места написанного А. Соколовым «юмористического романа из времен непонимания друг друга» — «Возмутительницы или кто же тут социалисты», романа, который, впрочем, по «усматриваемому в нем характеру мыслей едва ли может быть, в строгом смысле, отнесен к сочинениям безусловно вредным»...

Итоги многолетних и тщательных архивно-библиографических разысканий Л. Добровольского, как истинная трагедия, оптимистичны. Срывая маску с цензуры и, следовательно, разоблачая всю политику самодержавия, «сухой перечень» не только напоминает, как унижала достоинство, как враждебна была цензура интересам народа, России, нуждавшейся, как в хлебе насущном, в демократии и революции. «Сухой перечень» — свидетельство силы русской прогрессивной мысли, прошедшей сквозь строй, сквозь огонь — и победившей!

**М. КОРАЛЛОВ.**



## ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ

**И. С. Шкловский. Вселенная, жизнь, разум. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 240 стр.**

«Есть ли жизнь на Земле?» — этот, казалось бы, нелепый вопрос стоит в заголовке одной из глав увлекательной книги профессора И. С. Шкловского, посвященной жизни во Вселенной и возможности установления связи с «инопланетными» цивилизациями. В этой главе рассматривается такой вопрос: могли бы марсиане (если бы они были) при помощи средств наблюдений, аналогичных тем, которые имеют современные астрономы, установить существование на Земле человеческого общества? Как показывают подсчеты автора, с достоверностью обнаружить наличие разумных существ на Земле им вряд ли удалось бы.

Этот пример иллюстрирует трудности, с которыми приходится сталкиваться ученым при решении вопроса о существовании жизни на других планетах. Поэтому Шкловский и пишет в следующей главе, что сентенция: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это пока науке неизвестно», оказывается близкой к истине.

Автор рассматривает все известные данные (сезонные изменения цвета поверхности Марса и другие), которые можно привлечь для решения вопроса о существовании жизни на Марсе, и приходит к выводу, что существование там жизни в ее низших формах довольно вероятно, но для окончательного ответа на этот вопрос необходимы новые данные, более несомненные, чем те, которыми наука располагает сейчас. Решающую роль сыграли бы непосредственные

эксперименты со спуском на поверхность Марса автоматической станции. Успехи в использовании ракет, достигнутые в последнее время, показывают, что подобные эксперименты не фантазия. Вероятно, уже в ближайшем десятилетии они могут быть осуществлены.

До недавнего времени вопрос о жизни во Вселенной можно было решать только умозрительно. Ныне же наметилась возможность экспериментального подхода к этой проблеме. И она стала достоянием не только философии и научно-фантастической литературы, но и предметом физико-математических и технических исследований. В этом состоит то главное и принципиально новое, что характеризует современное состояние вопроса и чему автор уделяет основное внимание.

Книга увлекает читателя в безбрежные просторы научных гипотез и затрагивает большое число самых разнообразных тем. Читателю, несомненно, будет интересно узнать, что уже организована «служба неба» — систематические поиски радиосигналов из космоса. В книге упоминается о радиоастрономической установке Дрейка в обсерватории Грин Бэнк (США), используемой для регистрации радиосигналов, которые могут быть переданы с других планет на волне 21 см или кратной ей. Эта длина волны была выбрана потому, что она излучается нейтральными атомами водорода во Вселенной. Можно предположить, что этот

«голос» водорода, самого распространенного элемента в космосе, может быть универсальным сигналом для разумных существ во Вселенной. Наблюдения с помощью радиотелескопа с диаметром зеркала двадцать семь метров, проводимые по проекту «ОЗМА» (названному так в честь королевы мифической страны ОЗ), начались осенью 1960 года. В качестве объектов наблюдений были выбраны две сравнительно близкие (расстояние около одиннадцати световых лет) звезды: Эпсилон Эриданы и Тау созвездия Кита. По расчетам Су Шу-хуанга, здесь можно ожидать существования планет с природными условиями, благоприятными для развития органического мира. Однако никакие сигналы из космоса не были зарегистрированы. В близком будущем в астрономическом институте имени Штернберга советские ученые, исходя из нескольких иных принципов и используя высокочувствительную аппаратуру, также предпримут попытку обнаружения радиосигналов из космоса.

В связи с применением исключительно важных и перспективных приборов, так называемых лазеров, открылись новые перспективы оптической связи. В этих квантовых усилителях в какой-то мере реализуется уничтожающий тепловой луч, описанный в «Борьбе миров» Г. Уэллса или в романе А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

В книге рассматривается проект австралийского радиоастронома Брэйсуэлла, предполагающего, что связь между инопланетными цивилизациями может быть установлена посредством запуска автоматических ракет-зондов. Такой космический разведчик, став искусственным спутником звезды, на которую был направлен, смог бы посылать сигналы за счет энергии звезды. Естественно, что на планете, населенной разумными существами, легче будет обнаружить эти сигналы, так как они будут несравненно мощнее, чем сигналы, посылаемые непосредственно с планеты, пославшей ракету-зонд.

Наряду с такой гипотезой естественно предположить также возможность прямых контактов между инопланетными цивилизациями. Осуществимость далеких полетов в космосе вытекает из теории относительности, показывающей, что время у пассажиров в ракете, движущейся со скоростью, близкой к скорости света, течет значительно медленнее, чем на оставленной ими пла-

нете. Пролетев огромные расстояния, исчисляемые сотнями и тысячами световых лет, они лишь немного постареют, в то время когда на покинутой ими планете умрут уже самые отдаленные их потомки. Например, для полета до туманности Андромеды потребуется двадцать восемь лет (по часам пассажиров), в то время как по календарю Земли пройдет около двух миллионов лет. Конечно, для таких дальних полетов необходимо радикальное изменение принципов полета межпланетных кораблей, так как практически невозможно взять с собой нужное для путешествия количество горючего. Поэтому согласно расчетам Бюссара и других авторов космический корабль должен заправляться горючим во время полета за счет межзвездного газа или другого встречающегося по пути вещества.

Признание принципиальной возможности межпланетных и межзвездных перелетов является основой встречающейся в ряде научно-фантастических произведений гипотезы о посещении Земли в прошлом инопланетными астронавтами, которые могли оставить след в истории человечества в виде каких-либо загадочных предметов материальной культуры или обусловили неожиданно быстрый расцвет научно-технической культуры у населения, с которым вошли в контакт. Однако до настоящего времени нет ни одного неоспоримого факта, доказывающего, что на Земле бывали пришельцы из космоса.

Существуют весьма чувствительные методы регистрации долгоживущих радиоизотопов, которые должны были образоваться при делении ядерного горючего или возникнуть из окружающего вещества под действием мощного потока нейтронов, образующегося при взрыве. Поэтому, если бы в местах, где мог бы быть ядерный взрыв космического происхождения, были бы найдены трансурановые элементы, возникающие в мощных нейтронных потоках ядерного взрыва (но не образующиеся в результате расщепления тяжелых элементов космическими лучами), то это могло бы служить прямым доказательством ядерного взрыва, связанного с посещением в прошлом Земли астронавтами космоса.

Одно из основных достоинств книги И. С. Шкловского — строго научный, критический анализ материала. Так, например, автор правильно отмечает, что в настоящее время нет доказательств обнаружения в ме-

теоритах следов живых организмов космического происхождения. А между тем в № 47 «Огонька» за 1962 год была опубликована статья об «открытии метеоритной палочки» в куске Сихотэ-Алинского метеорита. Причем автор статьи без стеснения назвал это «открытие» великим. Вскоре академики В. Фесенков, А. Имшенецкий и А. Опарин опровергли это «открытие» («Известия», 19 декабря 1962 года).

В рецензируемой книге дано популярное изложение основных астрономических данных о Вселенной и о звездной эволюции, которые необходимы для правомерности постановки вопроса, рассматриваемого в последующих разделах: об условиях, необходимых для возникновения и развития жизни на космических телах и возможности установления связи с разумными существами на других планетах. В книге не только излагается большое число данных по этому вопросу, но, что особенно ценно, приводятся оригинальные расчеты и гипотезы самого автора, вызвавшие большой интерес в советской и зарубежной печати. Так, Шкловский выдвинул в 1959 году гипотезу о том, что спутники Марса Фобос и Деймос — искусственного происхождения и были созданы много миллионов лет назад, когда, по расчетам американского космохимика Юри, на Марсе существовали обширные океаны и было значительное количество атмосферного кислорода. Можно предположить, что в этот период на Марсе была технически высокоразвитая цивилизация. В настоящее же время разумная жизнь на Марсе по всем данным, вероятно, отсутствует. Видимо, марсианская цивилизация по каким-либо причинам погибла или «перемигрировалась» на другие космические тела вследствие ухудшения условий жизни на Марсе. В гипотезе Шкловского помимо частного вопроса о спутниках Марса содержится еще два общих аспекта проблемы, представляющих большой интерес: вопрос о длительности существования высокоразвитой цивилизации сравнительно с временем звездной эволюции и о возможных причинах ее гибели, а также вопрос о жизни как факторе, проявляющем себя в изменениях космического масштаба (создание искусственных

спутников, планет и т. п.). Этим вопросам посвящены последние две главы книги, содержащие наиболее дискуссионные и проблематичные вопросы научного и философского характера.

И. С. Шкловский правильно отмечает, что псевдонаучные расчеты некоторых буржуазных астрономов перекликаются с идеями немецкого философа Шпенглера о «неизбежной гибели цивилизации». Надо отметить, что всякого рода пессимистические рассуждения о неизбежной гибели человечества широко распространены в иностранной литературе.

Интересен затронутый автором вопрос о далеком будущем технически развитой цивилизации и, в частности, об энергетических ресурсах человеческого общества через несколько тысяч лет. В этой связи любопытна гипотеза известного американского физика-теоретика Дайсона (перекликающаяся с высказанной в свое время идеей Циолковского) о возможности в будущем перестройки человечеством всей Солнечной системы для полного использования солнечного излучения. Согласно подсчету Дайсона при сохранении современных темпов роста производительных сил и потребления энергии даже запасов энергии термоядерного синтеза через две-три тысячи лет окажется совершенно недостаточно. Это и приводит к мысли о возможности в будущем перестройки Солнечной системы.

Много спорного содержится в приводимых автором рассуждениях об искусственных разумных существах, о возможности забрасывания искусственно получаемого радиоактивного элемента — технеция на некоторые звезды, об искусственном взрыве звезды и некоторых других. Думается, что предположения, высказанные в последней главе, скорее относятся к области научно-фантастической беллетристики, чем к научно-популярному рассказу о современном состоянии науки о жизни Вселенной. Вероятно, автору следовало бы как-то отделить эту часть, назвав ее, например, «научно-фантастическим аспектом проблемы».

**И. СЕЛИНОВ,**

*доктор физико-математических наук.*



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## КАКИМ БЫЛ ГАЙДАР?

*В январе 1964 года исполняется шестьдесят лет со дня рождения замечательного советского писателя Аркадия Гайдара.*

*К этому времени, вероятно, будут издаваться книги о Гайдаре — ведь воспоминаний и биографических очерков о нем написано уже немало. Будут, наверное, выходить и новые книги о нем. Думается, что в этом свете несомненный интерес представляют заметки Натальи Петровны Поляковой (Голоиковой), сестры Гайдара, в которых она делится своими соображениями о некоторых из вышедших книг, отмечая в них разного рода неточности и фактические погрешности.*

*Биографы и мемуаристы призваны бережно, с максимальной достоверностью донести до читателя прекрасную, до последней капли крови отданную революции жизнь писателя.*

С понятным волнением читаю я каждую книгу, очерк, рассказ, посвященные Аркадию Гайдару. Мне дороги многие вещи, написанные о нем. Среди них — теплые и правдивые записки С. Маршака «Памяти Гайдара», лично знавшего писателя и хорошо передавшего свои впечатления о человеке, который был «жизнерадостен и прямодушен, как ребенок. Слово у него не расходилось с делом, мысль — с чувством, жизнь — с поэзией...».

Когда я читаю «Встречи с Гайдаром» К. Паустовского, то, пусть речь идет даже о самых незначительных эпизодах, я словно слышу и вижу Аркадия — «обаятельного, простого, значительного в любом своем поступке и слове». Многое мне нравится в очерке Л. Кассиля «Чудо» Гайдара». Все эти воспоминания собраны в изданной Детгизом книге «Жизнь и творчество А. П. Гайдара» (1954).

Мне хочется назвать еще одно произведение, не вошедшее в эту книгу и поэтому почти неизвестное широкому читателю,

но, по-моему, очень хорошо воссоздающее образ Гайдара. Это «Сказка (Из воспоминаний о А. П. Гайдаре)» писателя Сергея Розанова (воскресное приложение к «Комсомольской правде», 7 августа 1960 года). Мне даже хочется процитировать оттуда рассказ о том, как однажды Гайдар незаметно подложил одному нечаянно попавшему в беду парню, бывшему саперу, деньги для уплаты штрафа в милицию и как парень, обнаружив у себя деньги, самолюбиво вернул их Гайдару, подозревая, что его зачем-то хотят «купить».

«— Не пойму я, что вы за люди, — сумрачно произнес сапер. — И какой вам интерес меня... купить?».

— Да разве, солнышко, мы купить тебя хотим? Да разве кто может купить советского солдата? Мы просто даем тебе в долг. Заработаешь — отдашь.

— Да где я вас искать-то буду?

— А ты и не ищи. Увидишь солдата в беде, ну и выручи. Я скажу тебе по секрету, что каждый человек в душе — советский солдат. Это уж я никак не вру. А он оправится — выручит кого еще. Деньгами ли, просто ли хорошим делом. Вот долг и не залежится. Дойдет когда-нибудь по кругу и до меня. И будем в расчете... Тоже вроде твоей карусели. Только лучше. Ты знаешь теорию Штиглица-Миглица?

Нет, не знал такой теории сапер, но, побежденный доводами Гайдара... сдался на милость победителя... и взял деньги.

Если бы мне даже не сказали, о ком эта сказка, я все равно подумала бы: как это похоже на Гайдара! Это, конечно, он: тут и выдумка его, и речь его, и мысль, что добрые дела, которые мы делаем своим товарищам, дойдут опять «по кругу» до тебя. И шутка о теории Штиглица-Миглица, такая смешная, присущая ему шутка...

Недавно вышедшая книга В. Смирновой «Аркадий Гайдар» дорога мне тем, что в ней — хотя это и не собственно биография писателя, а литературоведческое исследование — очень точно, по-настоящему передан облик писателя через его творчество.

Но в то же время авторы некоторых других статей и рассказов о Гайдаре грешат приблизительными и неточными описаниями, в которых писатель выглядит, как

верно говорится в книге В. Смирновой, «примитивнее и мельче, то назидательнее, то эксцентричнее, чем в жизни, а иногда даже высален, что уж совсем ему не пристало».

Так, в книге Ю. Мишаткина «Эй, бей, турумбей!» («Советская Россия», 1961) Гайдар выведен каким-то чудачком, который, по словам его дачной хозяйки, «словно дите неразумное тешится». По утрам Гайдар, если верить Ю. Мишаткину, со своей непонятной песней: «Эй, бей, турумбей» и со своей (!) игрушечной деревянной саблей (один, без ребят!) шел в огород и начинал там рубить крапиву или же перекапывал «весь огород» в поисках червей, хотя и не думал идти на рыбалку.

Нет, не надо Гайдару навязывать бессмысленное оригинальничанье: если уж он играл в какую-либо игру, то вместе с детьми.

Другой автор, пишущий о Гайдаре, рассказывает, как однажды писатель бегом бежал по Ленинградскому шоссе за грузовой машиной, с которой падала картошка. Гайдар будто бы на бегу набивал свои карманы и кубанку грязной картошкой, чтобы вернуть ее водителю. Автор хотел, видимо, сказать: вот, мол, какой Гайдар сознательный, а получается на деле просто глуповато — и машину, пока заталкиваешь картошку по карманам, не догонишь, да и шапку-то незачем так пачкать, все-таки ее надо потом на голову надевать.

Говоря о книгах, посвященных Гайдару, мне хотелось бы остановиться преимущественно на некоторых неверно освещенных фактах биографии писателя, на характеристике его родителей и среды, в которой он рос.

Следует сказать несколько слов о воспоминаниях Р. Фраермана «Наш Гайдар», напечатанных в уже упоминавшемся сборнике.

Р. Фраерман — известный детский писатель, чудесной души человек, с которым Аркадий был в долгой, крепкой и настоящей дружбе, — хорошо рассказал о зрелых годах Гайдара и о том, как были созданы некоторые его повести и рассказы: «Школа», «Дальние страны», «Голубая чашка», но в описании юношеских и детских лет Гайдара у Р. Фраермана, к сожалению, не все верно.

Ошибается он, например, когда пишет, что Аркадий, учась в Арзамасском реаль-

ном училище, не выносил французского языка.

Учительницу-француженку он не любил — это правда, так же как она не любила его за скверное произношение и небрежный почерк. Но любовь к французскому языку нам с детства пришила мать, хорошо его знавшая. Когда мы жили в Нижнем Новгороде, мать много помогала отцу, который занимался французским языком по самоучителю. Аркадий еще до школы знал много французских слов и пословиц, а когда учился в реальном училище, то его любимый учитель литературы Н. Н. Соколов вне класса учил Аркадия французской разговорной речи. И в Ленинграде, после демобилизации из Красной Армии, и в двадцать пятом году, когда мы жили с ним в Гаграх, и в другие времена Аркадий брал частные уроки. Потом постоянно разговаривал по-французски с некоторыми своими товарищами, например с писателем Сергеем Розановым.

Кстати, здесь стоит возразить и против сложившегося у некоторых пишущих о Гайдаре мнения, что учился он не очень хорошо и, в частности, не любил географии.

География — это для Гайдара «дальние страны», мечты о синих морях, желтых песках, джунглях. Большой интерес Аркадия к людям разных стран, его любовь к книгам о путешествиях — все это сделало географию на всю жизнь его любимым предметом. Где бы ни жил Аркадий, я помню, всегда у него над кроватью или над столом висела географическая карта — эта непрочитанная книга жизни разных народов. И даже игра у Аркадия была такая. Бывало, придешь к нему, наговоришься обо всем, а потом он ведет к карте и просит назвать какие-либо самые далекие города, реки, горы. Назовешь ему по карте, а он не только скажет, в какой это стране находится, но и какие там люди живут, какие там обычаи, климат, звери, птицы. Кстати сказать, память у него была замечательная.

Вообще эта ошибка возникла из-за того, что биографам известен единственный школьный дневник Аркадия, где честно, его собственной рукой были записаны его годовые неважные отметки. Но ведь это дневник 1917—1918 годов, дневник тех лет, когда действительно он не только охладел к учебе, но и основательно забросил ее, потому что был захвачен революционными событиями.

Аркадий в то время часто выполнял поручения большевиков, патрулировал ночами в городе, присутствовал при разных реквизициях и даже был ранен однажды ночью ножом в грудь.

Тогда было не до уроков. Но до семнадцатого года учился он хорошо, и мне дома всегда его в пример ставили, за исключением, конечно, рисования, а еще раньше — чистописания, которые действительно он всегда терпеть не мог.

Хочется еще остановиться на изображенном у Р. Фраермана разговоре Аркадия с редактором, которому он принес свою первую рукопись — повесть «В дни поражений и побед». Редактор у Аркадия спрашивает фамилию. Он отвечает:

«— Как хотите... Голиков, а то, может быть, и... Гайдар.

— Это что же, ваш псевдоним? А что такое Гайдар? Станный псевдоним!.. Михаил Голодный — это я знаю. А такого никогда не слышал.

— Вы могли и не слышать! Но на монгольском языке такие слова есть. Гайдар — это человек на коне, то есть всадник или верховой, которого обычно высылают впереди войска на дозор».

Это преждевременное примеривание — псевдоним ли «Гайдар» или фамилия Голиков ему лучше подойдет, когда он не знает еще главного: будет ли его книга принята в печать — выглядят несерьезно.

Дальше Аркадий описан каким-то бледным и больным; рукопись, принесенная им, — это «хаос страниц», многие из которых разорваны.

Я хорошо помню Аркадия того времени. Внешне он выглядел крепким, здоровым. Свое горькое расставание с горячо любимой им Красной Армией он уже пережил. Был подтянут и сильно увлечен работой над своей первой повестью. Прежде чем представить редактору рукопись, он возил ее в Ленинград и читал там ее своему бывшему арзамасскому учителю литературы и любимому им человеку Н. Н. Соколову, который в то время был ректором Военно-политической академии. Н. Н. Соколов в основном положительно оценил повесть, дал ряд практических указаний, и будущий автор отлично знал, что в редакцию с «хаосом страниц» не приходят.

Очень часто интересуются, почему Аркадий выбрал себе именно псевдоним Гайдар. Я тоже одной из первых задавала ему

этот вопрос. Вот примерно как я понимаю происхождение псевдонима.

Детство наше проходило в Арзамасе, где бытовало тогда одно татарское слово «айда». Когда ребята заходили друг за другом, чтобы позвать куда-либо, они говорили: «Айда купаться», «Айда в перелесок», «Айда на каток», а те, которых звали, отвечали: «Айда!» Это во-первых.

Во-вторых, Аркадий очень любил слова с буквой «р», такие, как «рубин», «Рубикон»; из новых советских сокращений ему нравились слова «рабкрин» (рабоче-крестьянская инспекция), «РВС».

Ему нравились не только по содержанию, но и по звучанию стихи с резкими буквами «р»:

Трактором разума сроем  
Рабских душ целину,  
Звезды в ряды построим.  
В вожжи впряжем луну!

Когда в 1924 году он ездил в Крым навещать больную мать и проезжал Байдарские ворота, его очаровало название «Байдары», и он там у нее все повторял: «Байдары... Байдары...»

Работал тогда Аркадий над своей первой повестью «В дни поражений и побед», и о псевдонимах думать было еще рано. Позже, после того как повесть была уже напечатана в «Ковше», он вспомнил, что существует такое слово «гайдар» и что это красивое по звучанию слово означает «всадник, едущий впереди», «всадник, смотрящий вперед», и, как находке, обрадовался, что в это слово входит прежнее мальчишеское «айда», которое тоже понимается всегда как «вперед!», «идем!», да еще начинается это слово с той же буквы, что и его настоящая фамилия Голиков, а кончается оно на любимую букву «р». Слово «гайдар» стало сразу каким-то своим, близким, и Аркадий не только избрал его себе псевдонимом, но и по паспорту стал навсегда Гайдаром.

Возвращаясь к детским годам Гайдара, я хочу отметить еще некоторые погрешности, допущенные Р. Фраерманом, в частности в характеристике наших родителей.

Неверно, например, говорится в книге Р. Фраермана: «Отца дети не боялись. Строгость не была в его правилах». Если нам случалось в чем-нибудь провиниться, мы, бывало, даже взгляда отца боялись. Нас не били никогда, но наши провинности нам не спускали и всегда за них наказывали:

маленьких ставили в угол, старших лишали любимых развлечений, не пускали гулять к ребятам и пр. Отец умел быть строгим, но он всегда был справедлив и этим невольно завоевывал наше доверие. Когда мы стали старше, он был нашим большим другом. Мы делились с ним всеми своими переживаниями.

Автор книги о Гайдаре пишет, будто бы мать на какой-то вопрос Аркадия ответила: «И, пожалуйста, не имей привычки обо всем спрашивать. Не все, что приходит тебе в голову, интересно». В действительности же было как раз наоборот, нас всегда поощряли, чтобы обо всем, что нам интересно, обо всем, что придет в голову, мы спрашивали бы первым делом у родителей.

Довольно много неточностей содержится и в биографическом очерке «Жизнь необыкновенная...» Б. Емельянова, помещенном в сборнике воспоминаний. Начать хотя бы с даты рождения писателя. Б. Емельянов пишет: «Аркадий Петрович Гайдар (Голников) родился 9 (22) февраля 1904 года». К этим словам сделана сноска, где Б. Емельянов объясняет, что в школьном дневнике рукой Аркадия была записана именно эта дата рождения. И хотя в позднейших письмах к друзьям Аркадий указывал другую дату — 9 (22) января — и взрослым «праздновал свой день рождения в январе», все же Емельянов, очевидно, считает более достоверной февральскую дату.

Путаница в датах произошла оттого, что, будучи учеником реального училища, Аркадий, вероятно по рассеянности, в своем школьном дневнике ошибочно написал вместо 9 января — 9 февраля. Об этой своей описке он сам никогда не знал и в дальнейшем в течение всей жизни во всех анкетах, серьезных документах, в паспорте писал правильно — 9 (22) января 1904 года.

Своим утверждением Б. Емельянов усиливает путаницу, и до сих пор многие школы отмечают дату рождения Гайдара в феврале, а не в январе, как следовало бы.

В том же биографическом очерке есть и другие ничем не оправданные выдумки. Так, в книжке помещена детская фотокарточка: Аркадий и я. Б. Емельянов пишет о ней:

«Четырехлетний Аркадий снят со своей маленькой сестрой Талкой. На фото запечатлен готовый рассказ о детских годах Гайдара. Сидят они рядом: спокойный, снисходительный мальчуган в бархатном костюмчи-

ке, с пустым кошельком в руке и сияющая его сестренка. В руках у Талки монета, по свидетельству родственников — пятак.

В этот день Аркадию исполнилось четыре года, и ему был подарен затейливый кошелек с новеньким пятаком внутри. Богач уже подсчитывал, сколько рогулек и свистулек можно приобрести на такой капитал у соседских мальчишек. Но семейное торжество, оказывается, только начиналось. Его не пустили к мальчишкам во двор, а сначала вместе с сестрой Натальей повели к фотографу сниматься... Маленькая Талка подняла отчаянный рев и вой и «за так» сниматься не пожелала. Что было делать? Тогда Аркадий расстегнул кошелек, вынул пятак и отдал Талке. «Бери,— сказал он и добавил мрачно:— С вами разбогатеешь!»

Таким он и остался на всю жизнь, и сколько он таких «пятаков» роздал людям — трудно подсчитать...»

На первый взгляд, рассказанное Б. Емельяновым правдоподобно. Но вот подлинная история этой фотографии, как мне рассказывали родители.

Привели нас фотографироваться, и, как обычно, чтобы занять чем-либо детей, фотограф дал Аркадию кошелек, а мне не дал ничего. Я подняла рев, и тогда фотограф взял у Аркадия кошелек, вынул от туда пятак и дал его мне, а Аркадию вернул пустой кошелек. Аркадий надулся, а я просияла. Вот и все. Эпизод, на мой взгляд, представляет только внутрисемейный интерес. Но раз автор решил остановиться на нем, то надо было рассказать его так, как он слышал, а не сочинять лигерагурное произведение, в котором все сместилось. Как здесь выглядят родители (отец, кстати, еще и учитель), которые не нашли ничего лучшего, чем подарить четырехлетнему сыну в день рождения кошелек с пятаком! Нам никогда — совершенно сознательно — не дарили денег, даже когда мы стали старше, никогда не заводили никаких глиняных свинок, кошечек с дыркой на голове и прочих копилочек — это было чуждо нашим родителям.

В соответствии с общим тоном рассказа неловко звучат и такие фразы об Аркадии: «Богач уже подсчитывал, сколько рогулек и свистулек можно приобрести на такой капитал», и что, когда у малыша взяли пятак, якобы он мрачно добавил: «С вами разбогатеешь!» Конечно, это шутка, но шутка весьма неудачная. Кстати, на этой фотографии Аркадию не четыре года,



а всего только два года и четыре месяца, а мне год, и ради этой «юбилейной» дагы нас и привели сниматься, так что «богачу» еще рано было что-то там подсчитывать! Рассказ, очевидно, придуман только для того, чтобы иметь возможность написать о Гайдаре следующую фразу: «...и сколько он таких «пятак» роздал людям — трудно подсчитать...» Так неужели к этой мысли нельзя было подойти как-нибудь иначе?

Теперь о принадлежащих Б. Емельянову многократно издававшихся «Рассказах о Гайдаре» (цигирую по книге «Повести и рассказы», «Советский писатель», 1956). Б. Емельянов знал лично Гайдара. Одно время они часто встречались. Ездили вместе путешествовать на Урал. Есть у него, по-моему, несколько хороших рассказов, в которых чувствуется настоящий Гайдар, например, рассказы «Случай», «Иван-да-марья», «Игра». Но есть и такие (и как раз именно те, которые называются, как гайдаровские: например, «Военная тайна», «Клятва Гайдара», «Голубая чашка»), которые мне кажутся очень неудачными. Мне хочется заступиться за Гайдара даже не только как сестре, но и просто как читательнице, у которой на основании чтения книг Гайдара составилось мнение о самом авторе как о более разумном человеке, чем он выглядит в рассказах Б. Емельянова.

Возьмем «Военную тайну». Март двадцать четвертого года. Гайдар пришел в госпиталь на медицинскую комиссию. У него дрожали руки, и комиссия определила, что к военной службе он не годен. Гайдар у Б. Емельянова упрямо говорит: «Я годен, я буду жаловаться» — и тут же идет в приемную Реввоенсовета, причем рапорт на имя народного комиссара по военным и морским делам у него уже заранее приготовлен (очевидно, он все же не надеялся и сам, что будет годен). В приемной он отдает свой рапорт, в котором ни о чем не просит, а только за что-то благодарит командира и прощается с Красной Армией. На другое утро он идет в ЦК комсомола, очевидно, поделиться своим горем. Ему там резонно говорят: «Ничего, брат, не поделаешь. Жить придется начинать по-новому».

И как же отвечает им недавний боевой красный командир Голиков? По Емельянову, так:

«— Как? — спросил Гайдар. — Ребята мои, ребята! Как же так? Дружили, служили,

в бой ходили, падали, поднимались... Красная Армия без меня проживет, а я?»

— И ты проживешь, — сказали товарищи. — А как будешь жить, об этом тебе расскажет сам товарищ Фрунзе. Беги, торопись, от него звонили сюда два раза.

Переглянулись товарищи, засмеялись, обернулись — Гайдара в комнате уже не было.

Да, действительно, как не поомеяться, когда перед ними какой-то хлюпик, а не бывший командир Красной Армии.

Итак, рапорт подан был в приемную Реввоенсовета только накануне, а уже утром два раза звонили в ЦК комсомола, вызывали Голикова к Фрунзе. И эта срочность нужна была Фрунзе только для того, чтобы сказать обиженному командиру, что в армию он больше не подходит, а что пусть он лучше пишет об армии книгу. Совет этот ему Фрунзе дает лишь на основании хорошо написанного рапорта да еще утвердительного ответа на вопрос, пишет ли он стихи. Кстати, Аркадий у Б. Емельянова представляется, входя к Фрунзе: «Аркадий Голиков-Гайдар», хотя писателем в ту пору он еще не был и о псевдониме даже и не думал.

Такое вольное обращение с фактами запутывает тех, кто интересуется подлинным жизнеописанием Гайдара. Я понимаю, конечно, что рассказ о Гайдаре — это не биография, но все же обидно про него читать небылицы. Чтобы двадцатилетний командир Красной Армии ставил себе в заслугу перед Фрунзе, что он не выдал никогда и никому военной тайны! Чтобы он, взволнованный отставкой, чуть ни бия себя в грудь, задавал истерические вопросы: «За что? почему?» Уж кто-кто, а Аркадий, будучи воином Красной Армии и участником гражданской войны, знал, какими боевыми качествами должен обладать советский командир.

И еще такая фраза есть в этом рассказе, тоже вложенная в уста Аркадия Голикова: «Я тут одного писателя встретил — так он обо мне книгу хотел написать». Аркадий так говорить не мог. Нескромность, бахвальство и любовование своей особой никогда не были присущи ему.

Вообще весь этот рассказ «Военная тайна» не отражает образа настоящего Гайдара. Неубедителен, неудачен, на мой взгляд, и другой рассказ Б. Емельянова — «Голубая чашка».

«Рассказами о Гайдаре» Б. Емельянова и его методом воспользовался горьковчанин В. Малюгин, приняв там многое за подлинные факты. Свою книгу «Жизнь такая, как надо» («Молодая гвардия», 1962) В. Малюгин назвал «документальной повестью». Это, по-моему, легкомысленно. Приведу несколько примеров.

У Гайдара есть фельетон «Альбомные стихи», который он написал, когда ему было двадцать два года. Ему тогда случайно в руки попал альбом пермских совпартшкольцев и комсомольцев.

Фельетон был злым, с фельетонным заострением и выдумкой. Чтобы сильнее осмеять пошлость, Гайдар даже сочинил эпизод, будто бы он в юности разочаровался в своей «первой любви» к гимназистке Ниночке из-за девичьего альбома со стихами.

Но В. Малюгин принял фельетон Гайдара за истину и начал «развивать» сюжет дальше: как Аркадий был счастлив, переживая свою первую любовь, как «Ниночка тоже ужасно гордилась тем, что ее любит настоящий декламатор, почти артист и к тому же поэт, как уверяли ее завистливые одноклассницы», и как он долго сочинял стихи, мучительно подбирая рифмы. Возможно ли все это в документальном повествовании?

В уже упоминавшейся книге Ю. Мишаткина, имеющей подзаголовок «Рассказы о Гайдаре», есть рассказ «Драка на берегу моря».

В этом рассказе описание поведения Гайдара, его манера держаться, говорить, пожалуй, похожи на подлинные. Но в этом же коротеньком рассказе есть смехотворный эпизод, где автор выводит Гайдара каким-то героем, совершившим необыкновенный подвиг. Дело, оказывается, в том, что в Батуми жил свирепый одноглазый пес Пират, который появлялся на базаре каждое

утро в одно и то же время. Его боялись все. Этот пес представлен таким чудовищем, что даже если бы сам начальник милиции «хоть раз увидел Пирата, то поднял бы на ноги всю батумскую милицию, и еще не известно, кто победил бы в этой неравной борьбе».

А Гайдар увидел и победил. И не только победил, но и перевоспитал пса в два счета! И вот как: однажды Гайдар спокойно дождался этого пса, поговорил с ним по-человечески, предупредительно сам дал ему кусок мяса, взятый им с прилавка у продавца, и, уже смиренного и перевоспитанного, увел с базара. Больше пес никогда уже там не появлялся.

Оказывается, пса просто посадили на цепь, и он стал сторсжить хозяйство одной рыболовецкой бригады. Возможно, посадили на цепь по совету Гайдара — и в этом вся его заслуга! А где же здесь подвиг и за что такие дифирамбы гайдаровскому бесстрашию?

Ю. Мишаткин также очень вольно рассказывает о таком биографическом факте, как первое ранение Гайдара на гражданской войне (рассказ «Всегда впереди»). Было это совсем не при таких обстоятельствах и не так — пулей в бок он ранен никогда не был.

Конечно, мне могут возразить — это все художественные произведения и автор имеет право на вымысел.

Да, конечно, но при этом мне кажется, что даже в художественном произведении, называя подлинную фамилию человека, нельзя писать о нем что кому вздумается. Хотелось бы, чтобы те, кто будет писать о Гайдаре, не подменяли бы биографических фактов выдумкой, критически относились бы к некоторым уже существующим книгам и статьям о Гайдаре и не пользовались ими без проверки как документальным биографическим материалом.

**Н. ПОЛЯКОВА.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**В. А. СМЕРНОВА.** Вильгельм Вольф — человек, которому Маркс посвятил «Капитал». Соцэкгиз. М. 1963. 164 стр. Цена 18 к.

О жизненном пути этого замечательного человека живо и образно рассказывается в биографическом очерке В. А. Смирновой.

Выходец из семьи наследственно зависимого (т. е. крепостного) крестьянина одного из горных районов Силезии, Вильгельм Вольф, еще будучи студентом Бреславского университета, примкнул к оппозиционному движению против прусского деспотизма и с тех пор до последних дней своей жизни находился в передовых рядах борцов за интересы трудящихся. Ни тюремные застенки, ни преследования прусских властей, ни материальные бедствия и лишения — ничто не могло сломить железную волю этого выдающегося пролетарского революционера.

От секретаря студенческой ассоциации до видного деятеля первой в истории человечества партии пролетариата — таковы полюсные границы его политической биографии, до краев наполненной гражданским мужеством и революционным героизмом. Основным оружием Вильгельма Вольфа было острое перо, при помощи которого он метко разил политических противников.

Под влиянием Маркса и Энгельса, на основе критического анализа собственного политического опыта Вольф приходит к твердому убеждению, что пролетариат может добиться освобождения только в результате решительной борьбы за свои социальные права, за установление своей политической власти и превращение средств производства в общенародную собственность.

Вольф часто выступает в печати, вместе с Марксом и Энгельсом разрабатывает устав «Сюза коммунистов», входит в состав редколлегии «Новой Рейнской газеты», ведет разностороннюю идеологическую и организационную работу в партии.

Когда 14 сентября 1867 года в Гамбурге вышел в свет первый том «Капитала», читатели увидели на первой странице книги такие слова: «Посвящается моему незабвенному другу, смелому, верному, благородному, передовому борцу пролетариата Вильгельму Вольфу. Родился в Тарнау 21 июня 1809 года. Умер в изгнании в Манчестере 9 мая 1864 года».

С. Тараев.

★

**А. СМЕРНОВ-ЧЕРКЕЗОВ.** Дом холостяков. Повесть. «Советский писатель». М. 1962. 276 стр. Цена 36 к.

А. Смирнов-Черкезов принадлежит к тем писателям, которые пришли в литературу уже немолодыми, с большим жизненным опытом, определенной профессией.

Повесть «Дом холостяков» — одно из наиболее крупных произведений Смирнова-Черкезова — рассказывает о строителях. И это не случайно. Инженер по образованию, много лет проработавший на стройках Урала, Алтая, Сибири, Смирнов-Черкезов знает все тонкости строительного дела. Но при всем том, что в повести уметь раскрыть эту производственную сторону, главное в ней — люди со своими поисками, радостями и горестями.

Повесть современна и по времени действия, и по вопросам, которые в ней затронуты. Молодая женщина, только что окончившая московский институт, приезжает на стройку Алтая. Она сразу же попадает в круг сложных проблем — технических и человеческих. Ей трудно сначала понять, кто прав — управляющий трестом Орехов, старый, опытный работник, старающийся, однако, любой ценой — угрозами и лаской, приписками и подтасовками — выполнить план и выглядеть в министерстве в лучшем виде; или молодой специалист Талызин, который со всем пылом молодости принялся разоблачать Орехова.

Суровые и подчас жестокие уроки, которые Варя получает на стройке, многому научили ее. Только на собственном горьком опыте она начинает «разбираться в людях».

Повесть написана в простой и ясной манере. Часто мы слышим голос автора, его раздумья, оценки происходящего. К сожалению, он иногда злоупотребляет этим: комментирует поступки и характеры героев, которые уже достаточно ясно раскрылись перед читателем. В некоторых описаниях, особенно внешности героев, чувствуется шаблон, хотя автор слегка иронизирует над ним. Вот, например, как выглядит Варя: «Особенно хорош у Вари рот, с подвижными губами, с зубами белыми, ровными. Если к этому добавить, что волосы у нее темно-каштановые, на солнце отливающие красной медью, тяжелые, падающие густыми и, конечно, чуть-чуть подвижными прядями почти до плеч, а цвет ее

кожи матово-белый, мягко переходящий в розовый на щеках... то вот и все слова, какие автор нашел для описания своей героини...» Однако в повести есть и точные психологические наблюдения, меткие характеристики.

Г. К.

★

**ТАН (В. Г. БОГОРАЗ). Восемь племен. Чукотские рассказы.** Гослитгиздат. М. 1962. 404 стр. Цена 69 к.

Своеобразное творчество Тана-Богоразы ныне почти забыто. Более тридцати лет прошло со времени последнего издания романа «Восемь племен». Другие романы ждут переиздания еще дольше. Правда, в 1958 году вышла в Детгизе книжка чукотских рассказов писателя, но до широкого «взрослого» читателя она вряд ли дошла. А жаль! Многие из наследия Богоразы и сегодня достойно внимания.

Писатель принадлежал к числу тех революционеров-народников, на жизнь и творчество которых Сибирь или Крайний Север оказали решающее влияние.

Достаточно вспомнить «Записки революционера» П. Кропоткина, чтобы понять, насколько сильны были его сибирские впечатления. Именно в годы ссылки друг Кропоткина Дмитрий Клеменц развернул свою многогранную деятельность исследователя Сибири и Монголии. Народник В. И. Иохельсон тоже стал в якутской ссылке незаурядным этнографом. Владимир Германович Богораз, их младший современник, был последним представителем этой славной плеяды.

Богораз стал выдающимся этнографом, великодушным знатоком быта северных народов, особенно чукчей.

Секрет успеха Богоразы — писателя Тана — в глубоком знании своих героев, среди которых он прожил десять лет, в уважении к ним, в поддержке их.

Если в отдельных «чукотских» рассказах (например, «У Григорыхи», «На мертвом стойбище» и других) наблюдатель-этнограф побеждает в Тане художника, то в романе «Восемь племен» перед нами сплав глубокого знания жизни и быта северян с поэзией и в то же время с умением построить сюжет, с лепкой своеобразных образов. Именно это и позволило писателю создать поэтичную песню любви чукотских Ромео и Джульетты (Ваттан и Мами).

Внимательно и бережно издал книгу Гослитиздат. Книге предпослано интересное предисловие Вл. Муравьева. Оформление художника Л. Подольского передает суровый и мрачный колорит Севера: скромная и строгая черная обложка с изображением серебряного солнца — слепящего и холодного.

Певец Севера, знаток и хранитель его фольклора, Тан умел заражать своей любовью окружающих. Знакомство с его книгами не только обогатит сегодняшнего чи-

тателя, но и возбудит во многих сердцах благородную страсть к познанию дальних краев нашей страны.

Б. Яранцев.

★

**К. М. ФОФАНОВ. Стихотворения и поэмы. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 334 стр. Цена 67 к.**

Константин Михайлович Фофанов — полузабытый поэт конца XIX — начала XX века. Его стихи ценили Толстой, Чехов, Горький, Репин, Блок и многие другие видные люди того времени.

В Брюсов в статье, посвященной Фофанову, писал: «...он был писатель крайне неровный: прекрасные стихотворения у него чередуются с совершенно ничтожными, и число его неудачных произведений даже подавляет собой сравнительно немногие истинные перлы его поэзии. Однако из этих немногих стихотворений можно было бы составить небольшой томик стихов замечательных и часто безукоризненных, которые навсегда сохраняют Фофанову право на видное и почетное место среди русских поэтов XIX века».

Такой томик, включающий произведения К. М. Фофанова, сохраняющие наибольшую художественную ценность, вышел в серии «Библиотека поэта» со вступительной статьей Г. Цуриковой. При составлении (составитель Б. Смирненский) использован обширный рукописный фонд поэта. Некоторые стихотворения публикуются впервые.

Любовь и природа — вот две главнейшие темы лирики Фофанова. Стихи его освещены ярким, подчас фантастическим светом, овеяны легкой грустью и лишь иногда трагедийны. Фофанов хотел быть поэтом «чистого искусства»; «люблю, устав от дум заботы, от пыток будничных минут, уйти в лазоревые гроты моих фантазий и причуд», — признавался он.

Но в лучшей части наследия поэта побеждает все же реалистический элемент, о чем свидетельствуют хотя бы «Весенняя поэма» и рассказ в стихах «Волки».

Лирика К. М. Фофанова — предшественника символизма — одна из интереснейших страниц русской поэзии переходного времени.

Н. Левченко.

★

**Л. ПЛОТКИН. Творчество Веры Пановой. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 231 стр. Цена 61 к.**

Работа Л. Плоткина о Vere Пановой написана с желанием избежать многословия и повторения общеизвестных истин. Цель критика — определить художественный смысл в первую очередь, пожалуй, повестей и романов сороковых—пятидесятых годов: «Спутники», «Кружилиха», «Ясный берег», «Времена года», пересмотреть многие старые характеристики, поспорить, хоть и запоздало, с критикой тех лет. Это намерение трезво и объективно взглянуть на давние суждения вызывает интерес; жаль

только, что иногда при этом автор ведет спор, как бы не выходя из круга представлений об искусстве своих оппонентов.

Впрочем, книга эта написана не только ради полемики. В ней есть стремление к серьезному литературоведческому анализу. «Ни одно произведение литературы не вырастает на голом месте, оно всегда имеет своих предшественников», и критик действительно рассматривает книги Пановой на литературном фоне, оставаясь, правда, в кругу достаточно традиционных сопоставлений.

Понятен интерес исследователя к сложным стилистическим особенностям прозы Пановой — без наблюдений такого рода определить своеобразие ее таланта вообще невозможно. Хотелось бы только, чтобы анализ стиля не распадался на описание отдельных приемов, в характеристике которых нередко к тому же не содержится ничего нового для читателя. «В данном случае обращение к читателю самого автора исполнено ядовитого сарказма. Иногда это обращение окрашено в тона добродушной иронии», — указывает, например, Л. Плоткин. Но и та и другая «окраска» заметна и невооруженному глазу и вряд ли нуждается в особом осмыслении.

Интересен конкретный анализ раннего и позднего варианта повести «Евдокия», рассказов и пьес Пановой, где проступают многие черточки индивидуального строя писательницы. В заключении автор переходит к обобщающим выводам. К сожалению, здесь появляются ходячие формулировки. «Одной из существенных сторон художественной манеры Пановой является то, что можно было бы назвать пластичностью». Это слово даже подчеркнута как нечто новое, определяющее именно эту манеру. Однако нет, пожалуй, ни одной современной монографии о писателе-прозаике, где не встретилось бы это слово — и тоже как наконец-то обретенное и до конца раскрывающее секреты индивидуального мастера...

М. Чудакова.

★

**Н. И. ВАВИЛОВ.** Пять континентов. Повесть о путешествиях в поисках новых растений. Географгиз. М. 1962. 254 стр. Цена 66 к.

Вся жизнь автора этой книги — научный подвиг. Выдающийся ботаник-растениевед, генетик и селекционер, географ и путешественник, Н. И. Вавилов внес огромный вклад в науку о происхождении культурных растений. Ему принадлежит ряд открытий определивших развитие мирового растениеводства.

Еще на заре становления советской власти, в трудные годы хозяйственной разрухи и гражданской войны, Н. И. Вавилов выдвигает смелый, но глубоко обоснованный план обновления растительных ресурсов нашей страны. План этот был одобрен В. И. Лениным. В результате большой се-

рии научных экспедиций, охвативших не только отдаленные уголки нашей страны, но и пятьдесят стран обоих полушарий, была создана всемирная коллекция из двухсот тысяч форм и сортов культурных растений.

Своим рождением книга «Пять континентов» обязана именно этим научным экспедициям. Н. И. Вавилов рассказывает об исследованиях флоры самых различных по своему географическому происхождению и природным особенностям стран мира: Ирана и Памира, Японии и Италии, Марокко и Бразилии, Греции и Южной Америки... В основе исследований Н. И. Вавилова — теория о центрах происхождения культурных растений земного шара. В его очерках не найти ничего узкого, специфического. В Афганистане, в наиболее замкнутом его районе Нуристане, Вавилова интересует язык кафиров и его отличие от таджикского, турецкого и узбекского языков, в древней Эфиопии его внимание привлекают обелиски — свидетели культуры времен фараонов, в Испании — сокровища Прадо, в Сомали — различные этнические группы населения и их взаимоотношения. Все это преподносится не как собрание случайных фактов, а как материал для размышлений о культуре народов мира.

Читатель найдет в книге много интересных наблюдений, окрашенных мягким юмором рассказов о встречах с самыми разными людьми. В свое время А. М. Горький восхищался глубиной, оригинальностью и широтой мысли Н. И. Вавилова, проявленными им в книге «Среды происхождения культурных растений». В не меньшей мере эти черты свойственны и книге «Пять континентов», которая, к сожалению, далеко не завершена, а часть рукописи ее была даже утеряна. Выдающийся ученый и патриот стал жертвой клеветы в период культа личности. В изданной книге опубликован план ненаписанных или утраченных разделов книги, и по нему мы можем судить о том, сколько интересного мог бы еще рассказать ученый-путешественник.

С. Смуглый.

★

**Л. Е. РОДИН.** В стране глубоких колодез. «Молодая гвардия». М. 1962. 272 стр. Цена 58 к.

В основе этой книги — личные наблюдения автора — ботаника и географа, принимавшего участие в работах по обводнению пастбищ Сирийской Арабской Республики. Однако профессиональные интересы его не сузили ее широкой направленности. Очерки знакомят не только с растительностью и условиями водоснабжения страны, но и с достопримечательностями ее крупных городов (Дамаска, Хомму, Хамы, Халеба), особенностями быта, нравов и культуры народа и, что особенно важно, с малонаисследованными районами, которые граничат на востоке с Ираком, на юге с Иорданией и населены бедуинами, кочующими со своими стадами по безводной пустыне.

Вместе с автором грустишь о недостатке воды, о заброшенных полях, о гибели скота и радуешься каждому встреченному на пути ручейку, колодцу, выходам грунтовых вод.

...Погребены в песке древние колодцы, замечательные памятники Пальмиры, Босры, Гузаны. Но наряду с руинами до наших дней сохранились исправно действующий в течение двух тысяч лет водопровод, уложенная базальтовыми плитами мостовая, подземные каналы-кяризы, и поныне питающие водой сирийские поля.

...Где бы ни был автор, его всюду привлекают люди: слепой пастух у затерянного в пустыне колодца; женщины, бредущие в поисках работы по безлюдным дорогам; ребятишки, пасущие верблюдов в пустыне, владелец крохотного оазиса, сеющий несколько горстей пшеницы в надежде, что дождь принесет ему урожай...

«Пройдет немного лет,— пишет автор в заключение,— дадут люди воду и этому краю... Там, где была бесплодная пустыня, новый путешественник увидит зеленеющие нивы, оранжевые абрикосы в гуще садов и отыщет тяжелые гроздья на виноградных лозах».

**В. Владимиров.**

★

**Дж. Л. Б. СМИТ. Старина Четвероног. Как был открыт целакант. Географгиз. М. 1962. 216 стр. Цена 73 к.**

«Старина Четвероног» — это дружески-фамильярное прозвище относится к кистеперой рыбе, имеющей также научное название «целакант». Поимка живого целаканта — одно из величайших биологических открытий нашего столетия. До недавнего времени кистеперые рыбы считались вымершими. Сохранились их окаменевшие остатки. Наука определила, что возраст наиболее древних из этих остатков — около трехсот миллионов лет (девонский период), а наиболее молодых — «всего лишь» пятьдесят — семьдесят миллионов лет. Целакантов считали вымершими пятьдесят миллионов лет тому назад.

И вдруг в 1938 году южноафриканский траулер извлек из водных глубин необыкновенную, крупную рыбу. Она оказалась живым целакантом! Случайная находка произвела среди ученых впечатление разорвавшейся бомбы. Возникли сомнения, споры, газетный ажиотаж и сенсация.

Ведь кистеперые рыбы замечательны тем, что от них произошли наземные позвоночные. Не случайно их плавники очень напоминают конечности животных.

Поимка первого экземпляра целаканта повлекла за собою дальнейшие поиски. Автор книги профессор Смит вел эти поиски с необычайным упорством и энергией. И только четырнадцать лет спустя, претерпев горькие неудачи, преодолев множество трудностей, Смит достиг своей цели: второй экземпляр целаканта был найден. Впоследствии выяснилось, что целаканты сохранились только в одном месте земного шара: в северной части Мозамбикского пролива (Африка).

Существуют книги особого рода. Они могут относиться к самым разным отраслям науки: Тимирязев может писать о растениях, о солнечном свете и хлорофилле, Ферсман — о камнях, Пол де Крайф — об охотниках за микробами, Крачковский — о старинных арабских рукописях, Тур Хейердал — о загадках острова Пасхи, Толстов — о раскопках в Средней Азии, Ираклий Андроников — о Лермонтове, Гарун Тазиев — о вулканах. У таких книг, хотя они очень различны по тематике, есть одна общая драгоценная особенность — они возбуждают интерес к научному исследованию, заражают читателя стремлением познать.

К числу таких книг принадлежит и «Старина Четвероног». Это научная книга, но она написана увлекательно и вдохновенно. Вся освещена мягким юмором. Пусть не считает читатель эту книгу узко специальной. Пусть он откроет ее и начнет читать. Можно поручиться, что, начав, он уже не расстанется со «Стариной Четвероногом» до последней страницы.

**В. Шпринк.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

**Н. С. Хрущев.** Высокое призвание литературы и искусства. Сборник выступлений 246 стр. Цена 50 к.

### ГОСПОЛИТЗДАТ

**Н. К. Крупская.** Ленин и партия. Сборник статей. 256 стр. Цена 27 к.

**Н. С. Хрущев.** Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Том 6. Октябрь 1961 года — март 1962 года. 479 стр. Цена 60 к. Том 7. Март 1962 года — март 1963 года. 495 стр. Цена 60 к.

**А. Арсеньев.** Материя и сознание. 48 стр. Цена 5 к.

**В огненном кольце.** Воспоминания участников обороны города Ленина и разгрома немецко-фашистских захватчиков под Ленинградом. 215 стр. Цена 25 к.

**С. Ю. Выгодский.** Внешняя политика СССР. 1924—1929. 383 стр. Цена 80 к.

**Г. А. Габинский.** «Верую, потому что нелепо» (Логика против религии). 87 стр. Цена 10 к.

**И. Грант.** По ту сторону... Из жизни моих знакомых. Перевод с немецкого. 104 стр. Цена 15 к.

**XXI съезд Коммунистической партии Дании** (Копенгаген, 31 мая — 3 июня 1962 года). Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий. 112 стр. Цена 15 к.

**Демократическая Республика Вьетнам.** Перевод с вьетнамского. 151 стр. Цена 20 к.

**В. Ф. Зыбовец.** О черной и белой магии. 127 стр. Цена 15 к.

**Мирослав Иванов.** Ленин в Праге. Перевод с чешского. 168 стр. Цена 25 к.

**Ленин о нормах партийной жизни и принципах партийного руководства.** 560 стр. Цена 82 к.

**Ю. Г. Лосев.** Международное рабочее движение в годы первой мировой войны. Крах II Интернационала. 64 стр. Цена 7 к.

**Л. Пишенина.** Партийные собрания. 64 стр. Цена 6 к.

**Революционно-исторический календарь-справочник на 1963 год.** 334 стр. Цена 65 к.

**Юзеф Серадский.** Польские годы Ленина. Перевод с польского. 64 стр. Цена 8 к.

**В. И. Снастин.** В единстве теории и практики — залог победы коммунизма. 128 стр. Цена 14 к.

### СОЦЭНГИЗ

**Аграрный вопрос и национально-освободительное движение.** Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле—сентябре 1960 г. в Гаване и Бухаресте. 532 стр. Цена 1 р. 74 к.

**Б. Г. Гафуров.** Дни колониализма сочтены. 131 стр. Цена 19 к.

**Б. О. Кашнаев.** Борьба за Советы в Дагестане (1917—1920 гг.). 287 стр. Цена 80 к.

**К. П. Оболенский.** Определение экономической эффективности сельскохозяйственного производства (Вопросы теории и практики). 308 стр. Цена 1 р. 1 к.

**В. В. Рымалов.** СССР и экономически слаборазвитые страны. Экономическое сотрудничество и помощь. 191 стр. Цена 21 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Акимов.** Перейма. Повесть. 248 стр. Цена 35 к.

**И. Астахов.** Искусство и проблема прекрасного. 171 стр. Цена 48 к.

**А. Битов.** Большой шар. Повесть и рассказы. 215 стр. Цена 28 к.

**Е. Воробьев.** Сколько лет, сколько зим. Повесть и рассказ. 168 стр. Цена 26 к.

**А. Жемчужников.** Избранные произведения. 416 стр. Цена 84 к.

**В. Ланшин.** Толстой и Чехов. 570 стр. Цена 1 р. 35 к.

**И. Лиснянская.** Не просто — любовь. Стихи. 98 стр. Цена 17 к.

**В. Орлов.** Пути и судьбы. Литературные очерки. 668 стр. Цена 1 р. 47 к.

**Д. Павлова.** Совесть. Роман. 375 стр. Цена 50 к.

**Е. Ржевская.** Земное притяжение. Повесть. 178 стр. Цена 31 к.

**Г. Севунц.** Вьетнамская весна. Путевые очерки. Перевод с армянского. 143 стр. Цена 17 к.

**А. Старцев.** Марк Твен и Америка. 307 стр. Цена 57 к.

**Г. Фиш.** Норвегия рядом. Очерки. 480 стр. Цена 64 к.

**С. Черный.** Стихотворения. 574 стр. Цена 56 к.

### ГОСЛИТЗДАТ

**Массимо д'Адзельо.** Этторе Фьерамоска, или Турнир в Варлетте. Роман. Перевод с итальянского. 300 стр. Цена 55 к.

**Мирза Фатали Ахундов.** Обманутые звезды. Избранное Перевод с азербайджанского. 422 стр. Цена 52 к.

**Шарлотта Бронте.** Шерли. Роман. Перевод с английского. 631 стр. Цена 1 р. 17 к.

**М. Еремин.** Пушкин-публицист. 447 стр. Цена 1 р. 16 к.

**Наири Зарьян.** Стихи. Перевод с армянского. 215 стр. Цена 39 к.

**С. Касторский.** Горький-художник. Очерки. 348 стр. Цена 92 к.

**Камиль Лемонье.** Конец буржуа. Роман. Перевод с французского. 331 стр. Цена 64 к.

**Сергей Михалков.** Собрание сочинений. В четырех томах. Том 1. 431 стр. Цена 85 к.

**Франческо Петрарка.** Книга песен. Переводы с итальянского. 166 стр. Цена 27 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Василь Быков.** Третья ракета. Повесть. 240 стр. Цена 50 к.

**С. Голицын.** Городок сорванцов. Повесть. 208 стр. Цена 45 к.

**Сергей Гуськов.** «Союз одержимых». Роман. 352 стр. Цена 73 к.

**Николай Дамдинов.** Битва за солнце. Стихи и поэма. Перевод с бурятского. 112 стр. Цена 35 к.

**Анатолий Жигулин.** Рельсы. Стихи. 104 стр. Цена 28 к.

**Борис Зубавин.** Мишка. Повести и рассказы. 239 стр. Цена 50 к.

**Вячеслав Кузнецов.** Я остаюсь романтиком. Стихи. 112 стр. Цена 30 к.

**А. Малахов.** Сто профессий геолога. Очерки. 192 стр. Цена 28 к.

**А. Моруа.** Три Дюма. Перевод с французского. 544 стр. Цена 1 р. 5 к.  
**Михаил Пархомов.** Игра начинается с центра. Повесть. 192 стр. Цена 27 к.  
**Е. Седов.** Репортаж с Ничейной земли. Рассказы об информации. 272 стр. Цена 54 к.

#### ВОЕНИЗДАТ

**Боевая эстафета поколений.** Очерки и документы о героических подвигах комсомольцев Армии и Флота. 552 стр. Цена 96 к.  
**А. С. Васильев.** Мы не сдались. 168 стр. Цена 40 к.  
**И. В. Виноградов.** На берегах Шелони. О Ленинградском партизанском крае. 184 стр. Цена 20 к.  
**Ф. И. Жаров.** Подвиг красных летчиков. 120 стр. Цена 29 к.  
**Исследование операций на практике.** Материалы конференции НАТО. Перевод с английского и французского. 320 стр. Цена 90 к.  
**Д. М. Карбышев.** Избранные научные труды. 704 стр. Цена 2 р. 42 к.  
**Э. Кингстон-Макклори.** Военная политика и стратегия. Перевод с английского. 268 стр. Цена 84 к.  
**Р. Н. Мордвинов.** Курсом «Авроры». Формирование Советского Военно-Морского Флота и начало его боевой деятельности (ноябрь 1917 — март 1919 гг.). 400 стр. Цена 88 к.  
**Б. Лиддел-Гарт.** Устрашение или оборона? (Новый взгляд на военное положение Запада). Сокращенный перевод с английского. 192 стр. Цена 60 к.  
**С. Э. Морисон.** Вторжение во Францию и Германию 1944—1945. Из истории действий флотов США во второй мировой войне. 352 стр. Цена 1 р. 35 к.  
**А. П. Платонов.** Одухотворенные люди. Военные рассказы. 240 стр. Цена 46 к.  
**Д. М. Прозектор.** Война в Европе 1937—1941 гг. 440 стр. Цена 82 к.  
**Д. Ричардс, Х. Сондерс.** Военно-воздушные силы Великобритании во второй мировой войне 1939 — 1945 гг. Сокращенный перевод с английского. 724 стр. Цена 2 р. 45 к.  
**Н. М. Румянцев.** Разгром врага в Заполярье (1941—1944 гг.). Военно-исторический очерк. 288 стр. Цена 62 к.  
**Ю. С. Тарский.** Сильнее смерти. Рассказы. 152 стр. Цена 34 к.  
**В. А. Тимофеев.** Товарищи летчики (Записки авиационного командира). 384 стр. Цена 75 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**О. Н. Бадер.** Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. 372 стр. Цена 1 р. 68 к.  
**И. А. Бодуан де Куртенэ.** Избранные труды по общему языкознанию. Том I. 384 стр. Цена 1 р. 63 к.

**Л. А. Зеннович.** Биология морей СССР. 740 стр. Цена 4 р. 70 к.  
**Б. Н. Иванов.** Новая физика (Обзор основных принципов современной физики). 136 стр. Цена 20 к.  
**История советского крестьянства и колхозного строительства СССР.** 448 стр. Цена 2 р. 64 к.  
**Я. Б. Кваша.** Капитальные вложения и основные фонды СССР и США. 264 стр. Цена 92 к.  
**И. Л. Кнунянц, А. В. Фокин.** Покорение неприступного элемента. 190 стр. Цена 29 к.  
**Космос.** Выпуск I. 96 стр. Цена 15 к.  
**И. С. Кремер.** Германский пролетариат в борьбе за мир с Советской Россией (ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.). 152 стр. Цена 49 к.  
**Литературное наследство.** Том 71. Василий Сленцов. Неизвестные страницы. 547 стр. Цена 3 р. 7 к.  
**Народы мира.** Этнографические очерки. Народы Средней Азии и Казахстана. Том II. 779 стр. Цена 4 р. 76 к.  
**Н. К. Одуева.** О переходе от ощущения к мысли (К истории умственного развития ребенка). 120 стр. Цена 38 к.  
**Природные ресурсы Советского Союза, их использование и воспроизводство.** 244 стр. Цена 1 р. 61 к.  
**М. Н. Сперанский.** Рукописные сборники XVIII века. Материалы для истории русской литературы XVIII века. 268 стр. Цена 87 к.  
**Акад. С. Г. Струмилин.** Избранные произведения в пяти томах. Том I. Статистика и экономика. 488 стр. Цена 2 р. 60 к. Том II. На плановом фронте. 444 стр. Цена 2 р. 60 к.  
**Акад. И. А. Трахтенберг.** Денежные кризисы (1821—1938 гг.). 732 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Триумфальное шествие Советской власти.** Часть первая. Серия «Великая Октябрьская социалистическая революция». Документы и материалы. 560 стр. Цена 1 р. 26 к.

**П. А. Хромов.** Некоторые закономерности развития промышленности СССР. 324 стр. Цена 1 р. 14 к.

**В. П. Чертков.** Ядро диалектики. 152 стр. Цена 48 к.

#### АЙПЕТРАТ (ЕРЕВАН)

**Сурен Айвазян.** Протяни руку, жизнь. Роман. Перевод с армянского. 291 стр. Цена 63 к.

**Сильва Капутикян.** Живу я сердцем. Стихи. 195 стр. Цена 38 к.

#### ГОСЛИТИЗДАТ (ВИЛЬНОС)

**Л. М. Вайсберг.** Хозяин. Повесть. 166 стр. Цена 34 к.

**Ева Симонайте.** ...а было так. Роман. Перевод с литовского. 399 стр. Цена 60 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),  
**Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва Центр, Пушкинская площадь 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 9-III 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 28 V 1963 г.  
 Формат бумаги 70x108/16. 9 бум. л.— 2466 печ. л.

А 01981.

Зак. 480

Тираж 113.800

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 70 коп.

70636